ISSN 0130 – 6545

4. 1988

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Х. Глаови «Лошади»

Цветные иллюстрации номера — работы марокканских художников

На 1-й и 4-й страницах обложки —
А. Бенаиф «Два голубя»
М. Мизиан «Касба»

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

4 апрель 1988

Содержание

ГЮНТЕР ГРАСС — Стихи из трех романов *(Перевод с немецкого Б. Хлебникова. Вступление А. Карельского)* 3

ОЛДОС ХАКСЛИ — О дивный новый мир *(Роман. Перевод с английского О. Сороки. Послесловие П. Палиевского)* 13

ХУСТО ХОРХЕ ПАДРОН — Лирика *(Перевод с испанского и вступление Н. Ванханен)* 127

МИОДРАГ БУЛАТОВИЧ — Самая большая тайна на свете *(Рассказ. Перевод с сербскохорватского Татьяны Вирты)* 135

Публицистика

Т. МОТЫЛЕВА — Друзья Октября и наши проблемы 158

ГАННА КРАЛЛЬ — Опередить Господа Бога *(Перевод с польского и вступление К. Старосельской. Послесловие Евг. Евтушенко)* 174

Критика

ВЛАДИМИР ОГНЕВ — «Нам нечего скрывать друг от друга» *(Литературный процесс в социалистических странах и новое мышление)* 241

Рассказывают итальянские писатели

Луиджи Малерба, Марио Грассо, Мило Де Анджелис, Джузеппе Конте, Маурицио Кукки, Валерио Магрелли, Грегорио Скализе, Сальваторе Скалия, Пьетро Читати *(Запись бесед Л. Вершинина, Е. Солоновича, И. Истратовой)* 216

Письма из-за рубежа

Зарубежные писатели о советской литературе

Ральф Де Буассьер (Австралия), Патрик Смит (США) *(Перевод с английского В. Исакович)* 221

Антирубрика

ПАТРИК КАВАНАХ — Стихи *(Перевод с английского Григория Кружкова, Марины Бородицкой)* 223

Наша почта

Из ответов на анкету «ИЛ» 227

Диалог с читателем: Сергей Грачев — Ю. Каграманов 231

Среди книг

Издано в СССР

А. Николюкин — «Моя вера в человека безгранична...» *(Уильям Фолкнер. Собрание сочинений в шести томах)* ✦ Е. Гаврон — «...В моей руке цветок не отцветет» *(Ярослав Сейферт. Прощание с весной. Избранная лирика)* ✦ Ю. Здоровов — Если перевод — искусство *(Перевод — средство взаимного сближения народов)* 235

Издано за рубежом

В. Буров — Романы о перестройке в Китае *(Кэ Юньлу. Новая звезда. Ночь и день)* ✦ И. Ланин — Мир набекрень, или Достоверные невероятности Хермана Питера де Бура *(Херман Питер де Бур. Мотоциклетный ангел и другие рассказы)* 240

Из месяца в месяц 244

Коротко об авторах 254

© «Иностранная литература», 1988

ГЮНТЕР ГРАСС

Стихи из трех романов

■

Перевод с немецкого Б. ХЛЕБНИКОВА

Среди художников слова бывают прирожденные поэты, драматурги, прозаики. Однако редко кто из них не уступает соблазну попробовать себя и в другом качестве. Как правило, природа себя выдает: у поэта проза или драматургия выходят лирическими (скажем, Пастернак или Блок), у драматурга проза оказывается глубоко драматичной (скажем, Клейст). Если согласиться с этой логикой, то участь прозаика, соблазнившегося на стихи, будет особенно рискованной: в то время как «лирическая проза» звучит даже и более впечатляюще, «прозаическая поэзия» отдает чем-то несообразным, сомнительным. Так, Пушкин иронически спрашивал о не понравившихся ему стихах: «Что, если это проза...?» Прозу поэзия вроде бы исключает.

Гюнтер Грасс — прирожденный прозаик, рассказчик с редкостной, неистощимой фантазией, но и он время от времени пишет стихи, и они выдают прозаика. Только Грасс — достаточно самобытный и сильный художник, чтобы нужду обратить в добродетель. Не то чтобы он страховался ссылками на веяния времени: мол, прозаичность стиха и есть единственная приличествующая двадцатому веку форма лирического выражения; напротив, он всегда оговаривался, что пишет всего лишь «стихотворения по случаю». Он прекрасно понимает, что если рифма нынче считается устаревшей, то и верлибр сам по себе не спасает от банальности: в той же немецкоязычной послевоенной поэзии нередки случаи, когда очевидный трюизм разбивается на короткие строчки и печатается как стихотворение. Получается то самое — «проза, да и дурная».

В поэзии Грасса прозаическая стихия производит впечатление полной органичности, ибо она соответствует глубинной основе всего его творчества — если угодно, его художественной натуре. Не случайно в последние годы он почти не пишет стихов «специально» — он вкрапливает их по ходу дела («по случаю») в свои большие романы; в нашей подборке это стихи из «Дневника улитки» (1972), «Камбалы» (1977), «Крысихи» (1986).

Все это не должно означать, что натура Грасса прозаична в расхожем смысле слова (то есть непоэтична или «антипоэтична»). Будь это так, зачем бы ему переходить вдруг с прозы на стихи? Но вот чего он поистине аллергически боится — это афишированной поэтичности: пафоса, экзальтации, умильности. Тут он скорее впадет в другую крайность. Чуть ли не на всякий «возвышенный» образ у него сразу же найдется снижающий, охолаживающий, даже шокирующий. Еще в ранних своих стихах он лебедю вызывающе-демонстративно противопоставил крысу. То был эпатаж: вы воспевали соловьев, орлов, альбатросов, лебедей — вот вам в качестве «лирического объекта» крыса. Но то была, при всей полемической заостренности, и концентрированная формула грассовской художнической позиции.

Аллергия Грасса на «поэтическое» — не совсем уж индивидуальная причуда и не сугубо личный изъян. Понять ее сразу поможет другая, более известная — и, в сущности, не менее заостренная — формула: слова Теодора Адорно о том, что «после Освенцима нельзя писать стихи». Грасс из тех художников, которые в таких суждениях видят не только эффектную риторическую фигуру.

Он всегда, с первых своих шагов в литературе, осознавал, что пишет после Освенцима. Сейчас, уже маститый писатель с мировым именем, шестидесятилетний юбиляр, он осознает, что пишет перед возможным атомным апокалипсисом. В этих координатах ему не до изысков самовыражения, не до глубин и тайн «лирического Я».

«После Освенцима» — это, конечно, подразумевает вопрос: а как был возможен Освенцим? Своими первыми романами и повестями Грасс пытался на него ответить.

© Hermann Luchterhand Verlag, 1972, 1977, 1986.

Выходило — в первую очередь благодаря не исполнителям даже, а созерцателям, свидетелям; не вершившим, а допустившим. В его романах царит повседневность, проза жизни — Быт и его обитатель — Обыватель. Быт отлажен, надежен, удобен — и потому неотразимо-соблазнителен; обыватель житейски простодушен и хлопотлив, иной раз пройдошлив, другой раз простоват. А Освенцим — разве он быт? Он — какая-то далекая, неясная, подозрительно-чуждая аномалия; быта она не касается. Это как с Веймаром: он в уютной живописной долине, а Бухенвальд — он где-то там, на горе, за горой.

Но Грасс взорвал корку быта, и все преобразилось: простодушие предстало равнодушием и бездушием, больше того — исказилось в гротескную, жуткую гримасу; получились ныне уже знаменитые грассовские обыкновенные монстры, вроде бы даже и потешные — но страшные именно этой своей обыденностью, будничностью.

В конечном счете все очень просто: Грасс всю жизнь воюет с колыбельной инерцией быта, текучкой повседневности, в критические моменты делающей возможными такие метаморфозы души. Но тут необходима и оговорка. Современный быт — это не старинный дремотный «поток повседневности». Нынче быт и оглушительно-громок, и стремительно-быстр. В нем бросается в глаза не застой, а, напротив, марш и бег наперегонки с веком и прогрессом. Но это тоже быт, и влекомые этим потоком могут быть не менее простодушны. Просто нынче святая простота подкладывает не примитивное полено в доморощенный костер, а, скажем, оплачивает налоговыми отчислениями из заработка ядерную боеголовку.

Только учитывая все это, можно понять и образный язык стихов Грасса, их поэтический код. Он по видимости прост, даже примитивен: рутинный язык масс-медиев сменяется речевыми штампами будней. Изначально отринув поэтические клише («лебедь»), Грасс разделывается и с клише прозаическими.

Клише — язык и мышление Быта. Грасс показывает, как этот язык замазывает и цементирует корку быта, заглушая клокочущий под ней вулкан. В соответствии с «веком скоростей» клише тоже приобрели своеобразную гибкость реагирования, пластичность. Скажем, не успело себя скомпрометировать клише «мы-то ни в чем не виноваты», как уже формируется и утверждается другое: «мы все виноваты». Не выстраданное откровение и убеждение совести, а именно клише, внушенный масс-медиями штамп. Грасс это запечатлеет в молниеносной сценке уличной встречи: «Привет! Это я виноват. Как, ты тоже?»

Такое покаяние — маска того же равнодушия. Нашли формулу — и успокоились. Прогрессируем дальше. Дальше — пропасть? Но мы-то что можем поделать? Мы уже даже признали, что виноваты. Чего еще от нас хотят?

Грасс хочет самого естественного — активности, решительного деяния. В своей антимилитаристской публицистике, известной и у нас, он на этот счет откровенно прям и агитационен; в поэзии средства выражения у него, понятное дело, тоньше — она имеет дело с более глубокими пластами индивидуального и массового сознания, с материей более зыбкой, слоистой. Например, Грасс особенно чуток ко всякой девальвации даже самых достойных идей, будь то идея личной ответственности или идея прогресса. Голый, неочеловеченный технический прогресс для него — дурная активность. Его космическому марафону он, верный своему давнему принципу эпатажа, тогда противопоставит улитку; но, собственно, это метафора старинной мудрости «тише едешь — дальше будешь». И он прекрасно понимает, что это лишь метафора, художественное заострение, а не практический рецепт, — так просто его не подловишь. Его улитка посмеется над спринтерами, которые выдохлись и рухнули в кювет, но тут же озадачится и над самой собой: «Позабыла, зачем ползу». Ирония сигнализирует нам: заострение — вынужденное, выход еще предстоит искать.

Одна из постоянных и давних забот Грасса — судьба молодого поколения. В атмосфере Быта, в житейской школе Обывателя оно утрачивает ценностные ориентиры, и даже естественный юношеский бунт против равнодушия и инертности принимает искаженные формы: раньше это был левацкий анархизм (роман «Под местным наркозом»), теперь это демонстративная самоизоляция сообществ хиппи, панков и прочих (одна из сквозных тем романа «Крысиха»). Грасс, как умудренный опытом человек, вынужден осудить такие формы бунта, ибо видит всю их бессмысленность, конечную бездейственность; и, как человек, принимающий судьбы современного мира глубоко всерьез, он не может не зафиксировать смехотворность такого бунтарства. Но делать ему это и больно, ибо судьбу молодежи он тоже принимает всерьез. Ему так понятно ее стремление к непохожести на окаменело-улыбчивое обличье Быта; его не удивишь ни длинными, ни выстриженными волосами, ни демонстративной нежностью к крысе — метод шока так ему знаком! И для него эти дети века — не просто заблудшие, а и покинутые дети, и он, усмехнувшись их обличью, обратит к тем, кто оставил их на распутье, совсем иное, саркастически-гневное лицо: он, например, по-своему, по-грассовски переосмыслит легенду о гамельнском крысолове. Вы, наверное, полагаете, что родители умирали от горя и раскаяния, когда крысолов увел их детей? Так нет же. Они обрадовались избавлению, эти странные дети мешали их спокойствию, их быту, — они сами их изолировали, замуровали в чреве горы! Наше будущее? Зачем обывателю будущее? Ему нужна прочность быта или хотя бы ее иллюзия. А после него — хоть атомный гриб.

Как видим, Грасс не розовый оптимист. Атмосфера тревоги — и горечи, и усталости — пронизывает его стихи, и, может быть, именно она прежде всего сообщает их прозаической внешности дыхание чувства, Поэзии. Грасс не видит легких решений — но он снова и снова взвешивает возможности гражданской позиции художника в мире, действенности художнического слова. Он борется не только с обывательским равнодушием, но и с собственной усталостью. Поддавшись ей, он захочет «чем-то поступиться» — но все-таки не сумеет уйти в мирок рождественского уюта, отвязаться от мыслей о голодающих в этом мире, о детской смертности. Улитка у него гордится своей неспешностью — но Камбала огорчается тем, что «все пропускают друг друга вперед», а мудрая Крыса скорбит о девальвации таких понятий человеческой совести, как «вина», «ответственность», «потрясенность».

Стихотворение «Мне приснилось, что есть надежда» — последнее в романе «Крысиха» — завершается как будто безутешным выводом об «упущенном шансе» вырваться из заколдованного круга гонки вооружений, победить угрозу гибели человеческого рода. Но стоит вспомнить, что роман вышел в 1986 году, а в наши дни у надежды появилось больше шансов на осуществление, да и в самой концовке романа Грасса — на полутора страничках, следующих за стихотворением,— господствует все-таки не точка, а вопрос; не полная безнадежность, а длящаяся схватка неверия и надежды. Вот этот диалог повествователя и Крысихи:

«— Но должно же быть, вопреки всему...

— Ничего, ничего уже не может быть.

— Но я хочу, все равно хочу...

— Ну чего ты хочешь, чего?

— Предположим, что есть еще люди на земле...

— Хорошо, предположим.

— Мы тогда будем друг за друга, слышишь? Будем миролюбивыми, любящими, кроткими, такими, какими создала нас природа...

— Прекрасная мечта,— сказала Крысиха, прежде чем исчезнуть».

И еще. До сих пор о быте применительно к Грассу говорилось лишь в негативном смысле: быт как форма существования обывателя. Но Грасс и здесь неоднозначен — диалектичен: быт тоже не должен окаменеть в удобное — «обличительное» — клише. Быт — это еще и Жизнь, простая повседневная человеческая жизнь, наша общая, кем бы мы ни были и кем бы себя ни считали — обывателями или воителями. Из нее не выпрыгнешь. Спасению подлежит именно она.

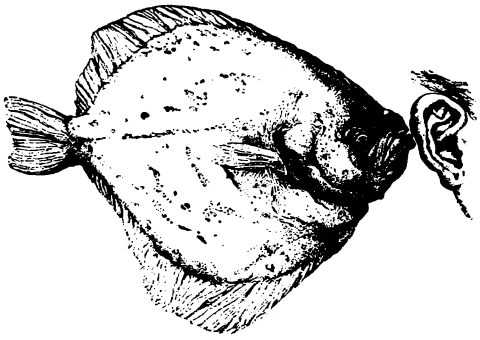
Это последний секрет Грасса: он давно и безнадежно влюблен в Быт, в Прозу Жизни, в саму Жизнь, но влюблен не слепо. Почитайте его стихотворение «Бессмертие» — так об этом, кажется, еще не писали. «Обычное послежитие»... Жизнь не прекратится и там, за чертой, — нам не стоит быть слишком самонадеянными. Там не райские кущи, но и не пустота. Там те же соседи и те же скворцы. Просто вопрос в том, чтобы постараться вернуть Быту достоинство Бытия, Жизни, — чтобы все-таки, сломав коросту штампов и клише, пропитать его подлинной человечностью.

А. КАРЕЛЬСКИЙ

Из дневника улитки

За время нашего забега
зрители состарились и перемерли.
На финише ни публики, ни оваций.
Главное — терпение! Ползу себе потихоньку, зато вперед.
Многие меня обогнали, да на полдороге свалились.
Вот вам и большие скачки.

Я остаюсь позади самой себя.
Клейкий след мой высыхает.
Позабыла, зачем ползу.
Заберусь-ка назад в свой домик,
хрупкую скорлупу.
Пусть снаружи бушует ветер,
подгоняет спринтеров в спину.



Чего нам не хватает

Прогресс? Это старая песня.
Давайте двинемся вспять,
прямо сейчас. И пусть каждый
возьмет что-нибудь в дорогу.

Итак, мы регрессируем,
поглядываем по сторонам.
Кое-кто уже приотстал.
Валленштейн вербует войско.
Экзальтированных поклонников средневековья
(о, брабантские сукна!) прихватила чума.

Одна группировка откололась с готами
при великом переселении народов.
Тот, кто будет запоздалым марксистом,
стал ранним христианином или греком
до и после дорийской чистки.

И вот — никаких исторических дат!
Никаких династий.
Голый каменный век.
Но у меня с собой пишущая машинка,
я в нее заправляю лопух.
Технология изготовления рубил, мифы огнепоклонников,
способы решения конфликтов в орде (первой коммуне),
неписаные законы матриархата —
все это надо срочно записать,
хотя время еще не считают.

Я печатаю: каменный век прекрасен!
Как уютно сидеть у костра!
Женщина, похитив с неба огонь,
правит вполне терпимо.
Расхожая утопия — вот, пожалуй, единственное,
чего нам не хватает.

Сегодня (правда, такого понятия еще нет)
один мужчина сделал топор из бронзы.
Теперь (правда, такого понятия еще нет)
орда обсуждает вопрос,
является ли бронза прогрессом.

Некий фотолюбитель,
также прибывший из настоящего,
запечатлел для грядущих веков
широкоугольным объективом
начало истории — в цвете и черно-белым.

Чересчур

Рождественской ночью,
когда гомон почти умолк,
я открыл роман Оруэлла «1984»,
прочитанный впервые в 1949 году
совсем иными глазами.

Рядом со щипцами для орехов и табаком
лежит статистический сборник
с прогнозом излишков-нехватки продовольствия на Земле
к двухтысячному году.
Когда я курю или ем орехи
в промежутках между чтением
справочника и романа,
мне в голову лезут проблемы,
которые хоть и ничтожны
в сравненье с Большим Братом
или глобальной нехваткой белковых продуктов,
но весьма
меня донимают.

Читаю о пытках в недалеком будущем,
о нынешней детской смертности
в южной Азии
и чувствую: нервы у меня растрепались,
как кончики лент, которыми обвязаны
успокоительные средства от семейных ссор —
подарки для Ильзебиль.

Пепельница полна скорлупы!
Нет, это уж чересчур.
Чем-то надо поступиться: Индией,
олигархическим коллективизмом
или Рождеством в семейном кругу.

К разговорам о погоде

Вдруг прекратились обгоны.
Куда и зачем спешить?
Заторы теперь — только сзади,
но где это «сзади»?

А есть ли вообще у нас право
навязываться миллионам людей,
которые примечательны лишь тем,
что где-то там голодают?

Вот вопрос, который, между прочим,
слышен все чаще.
Природа — объясняют в учебной телепрограмме —
сама во всем разберется.
Поменьше эмоций!
У нас хватает своих забот.
Например, рост разводов.
Или аргументы вроде: дважды два — четыре.
Наконец, проблема госслужащих.

А вечером мы возмущаемся,
что и прогноз погоды снова наврал.

* * *

Что-то с нами творится не то.
Может, выбран неверный путь?
Или где-то вкралась ошибка,
но где и какая?
А ведь все идет как по маслу,
хотя дорожные знаки
ясно говорят,
что мы движемся не туда.

Когда лихорадочный поиск
не вскрыл причину ошибки,
встал вопрос:
а не в нас ли самих причина?
Например, в тебе или в нем.
Нет, мы никого не хотим обидеть!

Все пропускают друг друга вперед.
И жизнь идет как по маслу,
хотя не туда, куда надо,
но, по общему мнению,
таков единственный выход.
При встречах же только и слышно:
Привет! Это я виноват. Как, ты тоже?
Редкое единодушие.
Потом перестали искать,
где ошибка
и в чем ее корень.
Отпала проблема вины
и виновных.

Ибо ясно — все виноваты.
Как никогда, спокойно
идем не туда, надеясь,
что ошиблись дорожные знаки
и все опять обойдется.

* * *

А потом, что было потом?
Денежная реформа.
А дальше?
Дальше зажили побогаче,
правда, лезли в долги.
А потом, когда все купили?
Тогда уж пошли и дети.
Ну, а дети, что делали дети?
Расспросами донимали,
что, мол, было прежде да после.
И вы им все рассказали?
Да. Вот помнится в 39-м
очень жаркое выдалось лето...
Что еще?
Дальше — скверные времена.
А потом, что было потом?
Денежная реформа.

* * *

Все страшнее жить нашим детям.
Они маскируют свой ужас
ядовитой расцветкой причесок,
меловым и зеленым гримом.
Отбившиеся от рук,
они кричат — мы не слышим.
Что им до библейских заветов?
Никому не охота ждать у одра
отцовского благословенья
или брать на себя родительские долги.
Да и наше наследство мельчает,
умиляет лишь нас самих.
Они считают — так жить не стоит.
Для них наш путь слишком долог,
им недосуг.
То, что мы вынесли на своих плечах,
кажется им, видите ли, невыносимым.
Им даже лень заявить
свое гневное «нет»
нашему усердному «да».
Просто фьють! — и ищи-свищи.

Ах, дружище! За что нам
эти поздние сомненья?
Когда мы так устремленно двинулись к ложной цели?
Чем оправдать бессмысленность прожитой жизни?

Как страшно за сыновей и за себя,
раз даже мать, которая все понимает,
и та понять ничего не может.

* * *

Нет, этого мы не хотели! —
говорят глубоко потрясенные люди
не менее потрясенным.
Подобное потрясение имеет и статистический вес.
Отмечено небывалое количество телезрителей.

Мы буквально ошеломлены! —
перекликаются многоголосые хоры ошеломленных.
Согласно подсчетам, потрясено и ошеломлено
подавляющее большинство.
Послышались разговоры,
что пора обрести новую твердость,
пусть даже ценой кое-каких потерь,
с которыми надо смириться.

Вновь воспрянувшее большинство
так просто не сдаст позиций,
что, по словам комментатора,
не лишает возможности проявлять потрясение,
например, после телевыпуска новостей.

* * *

Аминь! Все предрешено.
Недаром в кино и в романах
катастрофа уже свершилась
и стала легендой, вроде
той сказки о Гаммельне, где
все также было предрешено.

Там ребят с их крысами
замуровали в пещере
Лысой горы.
Время тянулось долго,
ребята шептали друг другу:
нас обязательно найдут.

Родители между тем
делали вид, будто ищут детей,
которых сами же замуровали.
Окрест разносились вопли:
Мы их найдем!
Найдем
обязательно!

Лишь один мальчуган тихонько сказал своей крысе:
Никто нас тут не найдет, потому что никто и не ищет.
Все заранее предрешено.

* * *

Мне приснилось, что есть надежда
(пусть лишь кроха в пустой тарелке).
И нечто, даже не идея,
а какое-то доброе поветрие
стало распространяться,
не признавая границ,
подобно целительной заразе.

Есть надежда дождаться новой
земляники и новых яблок,
лысин у сыновей, сединок у дочерей,
а от внуков — открыток с приветом.
Есть надежда дождаться авансов,
получить проценты с процентов.
Неужто людям снова
открыт бессрочный кредит?

Поверив, что есть надежда,
я начал искать аргументы
для подкрепления веры.
Я называл надежду
благой, осторожной, прочной —
я взывал к ее милосердию.
А она была зыбкой
и какой-то тщедушной.

Мне приснилось, что есть надежда —
противники снимут пальцы с кнопок,
распахнутся настежь двери,
и мы перестанем бояться друг друга.
Кое в чем надежда сбылась:
хлеб никто не жует в одиночку...
Но крысы над нами смеются,
ибо мы упустили свой шанс,
последнюю нашу надежду.

Бессмертие

Распахнув небесные окна
на все стороны света,
я думал, что, будучи мертвым,
уже ничего не увижу.

Но увидел равнину,
опрятные домики
и напротив — открытые окна,
а в них пожилых соседей,
увидел переменную облачность,
скворцов на груше,
школьный автобус с детворой,
новое зданье сберкассы,
кирху с часами,
на них — половина второго.

На жалобу мне объяснили:
обычное послежитие,
скоро пройдет.

Соседи меня приветствуют.
Значит, они и впрямь
видят меня из окон.
А Ильзебиль с тяжелой сумкой
возвращается из магазина.
Завтра — воскресенье.

Подборка иллюстрирована рисунками Гюнтера Грасса.

ОЛДОС ХАКСЛИ

О дивный новый мир

РОМАН

Перевод с английского О. СОРОКИ

Глава первая

Серое приземистое здание — всего лишь в тридцать четыре этажа. Над главным входом надпись: «ЦЕНТРАЛЬНО-ЛОНДОНСКИЙ ИНКУБАТОРИЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» и на геральдическом щите — девиз Мирового Государства: «ОБЩНОСТЬ, ОДИНАКОВОСТЬ, СТАБИЛЬНОСТЬ».

Огромный зал на первом этаже обращен окнами на север, точно художественная студия. На дворе лето, в зале и вовсе тропически жарко, но по-зимнему холоден и водянист свет, что жадно течет в эти окна в поисках живописно драпированных манекенов или нагой натуры, пусть блеклой и зябко-пупырчатой,— и находит лишь никель, стекло, холодно блестящий фарфор лаборатории. Зиму встречает зима. Белы халаты лаборантов, на руках перчатки из белесой, трупного цвета, резины. Свет заморожен, мертвен, призрачен. Только на желтых тубусах микроскопов он как бы сочнеет, заимствуя живую желтизну,— словно сливочным маслом мажет эти полированные трубки, вставшие длинным строем на рабочих столах.

— Здесь у нас Зал оплодотворения,— сказал Директор Инкубатория и Воспитательного Центра, открывая дверь.

Склонясь к микроскопам, триста оплодотворителей были погружены в тишину почти бездыханную, разве что рассеянно мурлыкнет кто-нибудь или посвистит себе под нос в отрешенной сосредоточенности. По пятам за Директором робко и не без подобострастия следовала стайка новоприбывших студентов, юных, розовых и неоперившихся. При каждом птенце был блокнот, и как только великий человек раскрывал рот, студенты принимались яро строчить карандашами. Из мудрых уст — из первых рук. Не каждый день такая привилегия и честь. Директор Центрально-Лондонского ИВЦ считал всегдашним своим долгом самолично провести студентов-новичков по залам и отделам. «Чтобы дать вам общую идею»,— пояснял он цель обхода. Ибо, конечно, общую идею хоть какую-то дать надо — для того, чтобы делали дело с пониманием,— но дать лишь в минимальной дозе, иначе из них не выйдет хороших и счастливых членов общества. Ведь, как всем известно, если хочешь быть счастлив и добродетелен, не обобщай, а держись узких частностей; общие идеи являются неизбежным интеллектуальным злом. Не философы, а собиратели марок и выпиливатели рамочек составляют становой хребет общества.

«Завтра,— прибавлял он, улыбаясь им ласково и чуточку грозно,— наступит пора приниматься за серьезную работу. Для обобщений у вас не останется времени. Пока же...»

Пока же честь оказана большая. Из мудрых уст — и прямиком в блокноты. Юнцы строчили как заведенные.

Высокий, сухощавый, но нимало не сутулый, Директор вошел в зал. У Директора был длинный подбородок, крупные зубы слегка выпирали из-под свежих, полных губ. Стар он или молод? Тридцать ему лет? Пятьдесят? Пятьдесят пять? Сказать было трудно. Да и не возникал у вас этот вопрос; ныне, на 632-м году эры стабильности, Эры Форда, подобные вопросы в голову не приходили.

— Начнем с начала,— сказал Директор, и самые усердные юнцы тут же запротоколировали: «Начнем с начала». — Вот здесь,— указал он рукой,— у нас инкубаторы. — Открыл теплонепроницаемую дверь, и взорам предстали ряды нумерованных пробирок — штативы за штативами, стеллажи за стеллажами. — Недельная партия яйцеклеток. Хранятся,— продолжал он,— при тридцати семи градусах; что же касается мужских гамет,— тут он открыл другую дверь,— то их надо хранить при тридцати пяти. Температура крови обеспложивала бы их. (Барана ватой обложив, приплода не получишь.)

И, не сходя с места, он приступил к краткому изложению современного оплодотворительного процесса — а карандаши так и забегали, неразборчиво строча, по бумаге; начал он, разумеется, с хирургической увертюры к процессу — с операции, «на которую ложатся добровольно, ради блага Общества, не говоря уж о вознаграждении, равном полугодовому окладу»; затем коснулся способа, которым сохраняют жизненность и развивают продуктивность вырезанного яичника; сказал об оптимальной температуре, вязкости, солевом содержании; о питательной жидкости, в которой хранятся отделенные и вызревшие яйца; и, подведя своих подопечных к рабочим столам, наглядно познакомил с тем, как жидкость эту набирают из пробирок; как выпускают капля за каплей на специально подогретые предметные стекла микроскопов; как яйцеклетки в каждой капле проверяют на дефекты, пересчитывают и помещают в пористый яйцеприемничек; как (он провел студентов дальше, дал понаблюдать и за этим) яйцеприемник погружают в теплый бульон со свободно плавающими сперматозоидами, концентрация которых, подчеркнул он, должна быть не ниже ста тысяч на миллилитр; и как, через десять минут, приемник вынимают из бульона и содержимое *опять смотрят; как, если не все яйцеклетки оказались* оплодотворенными, сосудец снова погружают, а потребуется, то и в третий раз; как оплодотворенные яйца возвращают в инкубаторы, и там альфы и беты остаются вплоть до укупорки, а гаммы, дельты и эпсилоны через тридцать шесть часов снова уже путешествуют с полок для обработки по методу Бокановского.

— По методу Бокановского,— повторил Директор, и студенты подчеркнули в блокнотах эти слова.

Одно яйцо, один зародыш, одна взрослая особь — вот схема природного развития. Яйцо же, подвергаемое бокановскизации, будет пролиферировать — почковаться. Оно даст от восьми до девяноста шести почек, и каждая почка разовьется в полностью оформленный зародыш, и каждый зародыш — во взрослую особь обычных размеров. И получаем девяносто шесть человек, где прежде вырастал лишь один. Прогресс!

— По существу,— говорил далее Директор,— бокановскизация состоит из серии процедур, угнетающих развитие. Мы глушим нормальный рост, и, как это ни парадоксально, в ответ яйцо почкуется.

«Яйцо почкуется»,— строчили карандаши.

Он указал направо. Конвейерная лента, несущая на себе целую батарею пробирок, очень медленно вдвигалась в большой металлический ящик, а с другой стороны ящика выползала батарея уже обработанная. Тихо гудели машины. Обработка штатива с пробирками длится восемь минут, сообщил Директор. Восемь минут жесткого рентгеновского облучения — для яиц это предел, пожалуй. Некоторые не выдерживают, гибнут; из остальных самые стойкие разде-

ляются надвое; большинство дает четыре почки; иные даже восемь; все яйца затем возвращаются в инкубаторы, где почки начинают развиваться; затем, через двое суток, их внезапно охлаждают, тормозя рост. В ответ они опять пролиферируют — каждая почка дает две, четыре, восемь новых почек,— и тут же их чуть не насмерть глушат спиртом; в результате они снова, в третий раз, почкуются, после чего уж им дают спокойно развиваться, ибо дальнейшее глушение роста приводит, как правило, к гибели. Итак, из одного первоначального яйца имеем что-нибудь от восьми до девяноста шести зародышей — согласитесь, улучшение природного процесса фантастическое. Причем это одноя йцевые, тождественные близнецы — и не жалкие двойняшки или тройняшки, как в прежние живородящие времена, когда яйцо по чистой случайности изредка делилось, а десятки близнецов.

— Десятки,— повторил Директор, широко распахивая руки, точно одаряя благодатью. — Десятки и десятки.

Один из студентов оказался, однако, до того непонятлив, что спросил, а в чем тут выгода.

— Милейший юноша! — круто обернулся к нему Директор. — Неужели вам не ясно? Неужели не яс-но? — Он вознес руку; выражение лица его стало торжественным. — Бокановскизация — одно из главнейших орудий общественной стабильности.

«Главнейших орудий общественной стабильности»,— запечатлелось в блокнотах.

— Она дает стандартных людей. Равномерными и одинаковыми порциями. Целый небольшой завод комплектуется выводком из одного бокановскизированного яйца.

— Девяносто шесть тождественных близнецов, работающих на девяноста шести тождественных станках! — Голос у Директора слегка вибрировал от воодушевления.— Тут уж мы стоим на твердой почве. Впервые в истории. «Общность, Одинаковость, Стабильность»,— проскандировал он девиз планеты. Величественные слова. — Если бы можно было бокановскизировать беспредельно, то решена была бы вся проблема.

Ее решили бы стандартные гаммы, тождественные дельты, одинаковые эпсилоны. Миллионы одноя йцевых, единообразных близнецов. Принцип массового производства, наконец-то примененный к биологии.

— Но, к сожалению,— покачал Директор головой,— идеал недостижим, беспредельно бокановскизировать нельзя.

Девяносто шесть — предел, по-видимому; а хорошая средняя цифра — семьдесят два. Приблизиться же к идеалу (увы, лишь приблизиться) можно единственно тем, что производить побольше бокановскизированных выводков от гамет одного самца, из яйцеклеток одного яичника. Но даже и это — непросто.

— Ибо в природных условиях на то, чтобы яичник дал две сотни зрелых яиц, уходит тридцать лет. Нам же требуется стабилизация народонаселения безотлагательно и постоянно. Производить близнецов через год по столовой ложке, растянув дело на четверть столетия,— куда это годилось бы?

Ясно, что никуда бы это не годилось. Однако процесс созревания в огромной степени ускорен благодаря методике Подснапа. Она обеспечивает получение от яичника не менее полутораста зрелых яиц в короткий срок — в два года. А оплодотвори и бокановскизируй эти яйца — иначе говоря, умножь на семьдесят два,— и полтораста выводков составят в совокупности почти одиннадцать тысяч близнецовых братцев и сестриц с всего лишь двухгодичной максимальной разницей в возрасте.

— В исключительных же случаях удается получить от одного яичника более пятнадцати тысяч взрослых особей.

В это время мимо проходил белокурый румяный молодой человек. Директор окликнул его: «Мистер Фостер», сделал приглашающий жест. Румяный молодой человек подошел.

— Назовите нам, мистер Фостер, рекордную цифру производительности для яичника.

— В нашем Центре она составляет шестнадцать тысяч двенадцать,— ответил мистер Фостер без запинки, блестя живыми голубыми глазами. Он говорил очень быстро и явно рад был сыпать цифрами. — Шестнадцать тысяч двенадцать — в ста восьмидесяти девяти одноячейцевых выводках. Но конечно,— продолжал он тараторить,— в некоторых тропических Центрах показатели намного выше. Сингапур не раз уже перевалывал за шестнадцать тысяч пятьсот, а Момбаса достигла даже семнадцатитысячного рубежа. Но разве это состязание на равных? Видели бы вы, как негритянский яичник реагирует на вытяжку гипофиза! Нас, работающих с европейским материалом, это просто ошеломляет. И все-таки,— прибавил он с добродушным смешком (но в глазах его зажегся боевой огонь, и с вызовом выпятился подбородок),— все-таки мы еще с ними потягаемся. В данное время у меня работает чудесный дельта-минусовый яичник. Всего полтора года как задействован. А уже более двенадцати тысяч семисот детей, раскупоренных или на ленте. И по-прежнему работает вовсю. Мы их еще побьем.

— Люблю энтузиастов! — воскликнул Директор и похлопал мистера Фостера по плечу.— Присоединяйтесь к нам, пусть эти юноши воспользуются вашей эрудицией.

Мистер Фостер скромно улыбнулся:

— С удовольствием.

И все вместе они продолжили обход.

В Укупорочном зале кипела деятельность дружная и упорядоченная. Из подвалов Органохранилища на скоростных грузоподъемниках сюда доставлялись лоскуты свежей свиной брюшины, накроенные под размер. Вззз! И затем: щелк! — крышка подъемника отскакивает; устильщице остается лишь протянуть руку, взять лоскут, вложить в бутыль, расправить, и еще не успела устланная бутыль отъехать, как уже — вззз, щелк! — новый лоскут взлетает из недр хранилища, готовый лечь в очередную из бутылей, нескончаемой вереницей следующих по конвейеру.

Тут же за устильщицами стоят зарядчицы. Лента ползет; одно за другим переселяются яйца из пробирок в бутыли: быстрый надрез устилки, легла на место морула [1], залит солевой раствор... и уже бутыль проехала, и очередь действовать этикетчицам. Наследственность, дата оплодотворения, группа Бокановского — все эти сведения переносятся с пробирки на бутыль. Теперь уже́ не безымянные, а паспортизованные, бутыли продолжают медленный маршрут и через окошко в стене медленно и мерно вступают в Зал социального предопределения.

— Восемьдесят восемь кубических метров — объем картотеки!— объявил — просмаковал цифру — мистер Фостер при входе в зал.

— Здесь вся относящаяся к делу информация,— прибавил Директор.

— Каждое утро она дополняется новейшими данными.

— И к середине дня увязка завершается.

— На основании которой делаются расчеты нужных контингентов.

— Заявки на таких-то особей таких-то качеств,— пояснил мистер Фостер.

---

[1] Морула (от лат. «morum» — тутовая ягода) — одна из ранних стадий развития зародыша. На этой стадии он внешне напоминает ягоду тутовника. *(Здесь и далее примечания переводчика; им же сделан перевод стихотворных вставок и цитат.)*

— В таких-то конкретных количествах.

— Задается оптимальный темп раскупорки на текущий момент.

— Непредвиденная убыль кадров восполняется незамедлительно.

— Незамедлительно,— подхватил мистер Фостер. — Знали бы вы, какой сверхурочной работой обернулось для меня последнее японское землетрясение! — Добродушно засмеявшись, он покачал головой.

— Предопределители шлют свои заявки оплодотворителям.

— И те дают им требуемых эмбрионов.

— И бутыли приходят сюда для детального предопределения.

— После чего следуют вниз, в Эмбрионарий.

— Куда и мы проследуем сейчас.

И, открыв дверь на лестницу, мистер Фостер первым стал спускаться в цокольный этаж.

Температура и тут была тропическая. Сгущался постепенно сумрак. Дверь, коридор с двумя поворотами и снова дверь — чтобы исключить всякое проникновение дневного света.

— Зародыши подобны фотопленке,— юмористически заметил мистер Фостер, толкая вторую дверь. — Иного света, кроме красного, не выносят.

И в самом деле, знойный мрак, в который вступили студенты, рдел зримо, вишнево, как рдеет яркий день сквозь сомкнутые веки. Выпуклые бока бутылей, ряд за рядом уходивших вдаль и ввысь, играли бессчетными рубинами, и среди рубиновых отсветов двигались мглисто-красные призраки мужчин и женщин с багряными глазами и багровыми, как при волчанке, лицами. Приглушенный рокот, гул машин слегка колебал тишину.

— Попотчуйте юношей цифрами, мистер Фостер,— сказал Директор, пожелавший дать себе передышку.

Мистер Фостер с великой радостью принялся потчевать цифрами.

Длина Эмбрионария — двести двадцать метров, ширина — двести, высота — десять. Он указал вверх. Как пьющие куры, студенты задрали головы к далекому потолку.

Бесконечными лентами тянулись рабочие линии: нижние, средние, верхние. Куда ни взглянуть, уходила во мрак, растворяясь, стальная паутина ярусов. Неподалеку три красных привидения деловито сгружали бутыли с движущейся лестницы.

— Эскалатор этот — из Зала предопределения.

Прибывшая оттуда бутыль ставится на одну из пятнадцати лент, и каждая такая лента является конвейером — ползет неприметно для глаза с часовой скоростью в тридцать три и одну треть сантиметра. Двести шестьдесят семь суток, по восемь метров в сутки. Итого: две тысячи сто тридцать шесть метров. Круговой маршрут внизу, затем по среднему ярусу, еще полкруга по верхнему, а на двести шестьдесят седьмое утро — Зал раскупорки и появление на свет, на дневной свет. Выход в так называемое самостоятельное существование.

— Но до раскупорки,— заключил мистер Фостер,— мы успеваем плодотворно поработать над ними. О-очень плодотворно,— хохотнул он многозначаще и победоносно.

— Люблю энтузиастов,— похвалил опять Директор. — Теперь пройдемтесь по маршруту. Потчуйте их знаниями, мистер Фостер, не скупитесь.

И мистер Фостер не стал скупиться.

Он поведал им о зародыше, растущем на своей подстилке из брюшины. Дал каждому студенту попробовать насыщенный питательными веществами кровезаменитель, которым кормится зародыш. Объяснил, почему необходима стимулирующая добавка плацентина и тироксина. Рассказал об экстракте желтого тела. Показал инжек-

торы, посредством которых этот экстракт автоматически впрыскивается через каждые двенадцать метров по всему пути следования вплоть до 2040-го метра. Сказал о постепенно возрастающих дозах гипофизарной вытяжки, вводимых на финальных девяноста шести метрах маршрута. Описал систему искусственного материнского кровообращения, которой оснащается бутыль на 112-м метре, показал резервуар с кровезаменителем и центробежный насос, прогоняющий без остановки эту синтетическую кровь через плаценту, сквозь искусственное легкое и фильтр очистки. Упомянул о неприятной склонности зародыша к малокровию и о необходимых в связи с этим крупных дозах экстрактов свиного желудка и печени лошадиного эмбриона.

Показал им простой механизм, с помощью которого бутыли — на двух последних метрах каждого восьмиметрового отрезка пути — встряхиваются все сразу, чтобы приучить зародышей к движению. Дал понять об опасности так называемой «раскупорочной травмы» и перечислил принимаемые контрмеры — рассказал о специальной тренировке обутыленных зародышей. Сообщил об определении пола, производимом в районе 200-го метра. Привел условные обозначения: Т — для мужского пола, О — для женского, а для будущих «неплод» — черный вопросительный знак на белом фоне.

— Понятно ведь,— сказал мистер Фостер,— что в подавляющем большинстве случаев плодоспособность является только помехой. Для наших целей был бы, в сущности, вполне достаточен один плодоносящий яичник на каждые тысячу двести женских особей. Но хочется иметь хороший выбор. И разумеется, должен всегда быть обеспечен огромный аварийный резерв плодоспособных яичников. Поэтому мы позволяем целым тридцати процентам женских зародышей развиваться нормально. Остальные же получают дозу мужского полового гормона через каждые двадцать четыре метра дальнейшего маршрута. В результате к моменту раскупорки они уже являются неплодами — в структурном отношении вполне нормальными особями (с той, правда, оговоркой, что у них чуточку заметна тенденция к волосистости щек), но неспособными давать потомство. Гарантированно, абсолютно неспособными. Что наконец-то позволяет нам,— продолжал мистер Фостер,— перейти из сферы простого рабского подражания природе в куда более увлекательный мир человеческой изобретательности.

Он удовлетворенно потер руки.

— Вынашивать плод и корова умеет; довольствоваться этим мы не можем. Сверх этого мы предопределяем и приспособляем, формируем. Младенцы наши раскупориваются уже подготовленными к жизни в обществе — как альфы или эпсилоны, как будущие работники канализационной сети или же как будущие... — Он хотел было сказать «Главноуправители», но вовремя поправился: — Как будущие директора инкубаториев.

Директор улыбкой поблагодарил за комплимент.

Остановились далее у ленты 11, на 320-м метре. Молодой техник, бета-минусовик, настраивал там отверткой и гаечным ключом кровенасос очередной бутыли. Он затягивал гайки, и гул электромотора понижался, густел понемногу. Ниже, ниже... Последний поворот ключа, взгляд на счетчик — и дело сделано. Затем два шага вдоль конвейера — и началась настройка следующего насоса.

— Убавлено число оборотов,— объяснил мистер Фостер. — Кровезаменитель циркулирует теперь медленнее; следовательно, реже проходит через легкое; следовательно, дает зародышу меньше кислорода. А ничто так не снижает умственно-телесный уровень, как нехватка кислорода.

— А зачем нужно снижать уровень? — спросил один наивный студент.

Длинная пауза.

— Осел! — произнес Директор. — Как это не сообразить, что у эпсилон-зародыша должна быть не только наследственность эпсилона, но и питательная среда эпсилона.

Несообразительный студент готов был сквозь землю провалиться от стыда.

— Чем ниже каста,— сказал мистер Фостер,— тем меньше поступление кислорода. Нехватка прежде всего действует на мозг. Затем на скелет. При семидесяти процентах кислородной нормы получаются карлики. А ниже семидесяти — безглазые уродцы, которые ни к чему уж не пригодны,— отметил мистер Фостер. — А вот изобрети мы только,— мистер Фостер взволнованно и таинственно понизил голос,— найди мы только способ сократить время взросления, и какая бы это была победа, какое благо для Общества! Обратимся для сравнения к лошади.

Слушатели обратились мыслями к лошади.

В шесть лет она уже взрослая. Слон взрослеет к десяти годам. А человек и к тринадцати еще не созрел сексуально; полностью же вырастает к двадцати. Отсюда и этот продукт замедленного развития — человеческий разум.

— Но от эпсилонов,— весьма убедительно вел далее мысль мистер Фостер,— нам человеческий разум не требуется.

Не требуется — стало быть, и не формируется. Но хотя мозг эпсилона кончает развитие в десятилетнем возрасте, тело эпсилона лишь к восемнадцати годам созревает для взрослой работы. Долгие потерянные годы непроизводительной незрелости. Если бы физическое развитие можно было ускорить, сделать таким же незамедленным, как, скажем, у коровы,— какая бы гигантская получилась экономическая выгода для Общества!

— Гигантская! — шепотом воскликнули студенты, зараженные энтузиазмом мистера Фостера.

Он углубился в ученые детали: повел речь об анормальной координации эндокринных желез, вследствие которой люди и растут так медленно; ненормальность эту можно объяснить зародышевой мутацией. А можно ли устранить последствия этой мутации? Можно ли с помощью надлежащей методики вернуть каждый отдельный эпсилон-зародыш к былой нормальной, как у собак и у коров, скорости развития? Вот в чем проблема. И ее уже чуть было не решили.

Пилкингтону удалось в Момбасе получить особи, половозрелые к четырем годам и вполне выросшие к шести с половиной. Триумф науки! Но в общественном аспекте бесполезный. Шестилетние мужчины и женщины слишком глупы — не справляются даже с работой эпсилонов. А метод Пилкингтона таков, что середины нет — либо все, либо ничего не получаешь, никакого сокращения сроков. В Момбасе продолжаются поиски золотой середины между взрослением в двадцать и взрослением в шесть лет. Но пока — безуспешные. Мистер Фостер вздохнул и покачал головой.

Странствия в вишневом сумраке привели студентов к ленте 9, к 170-му метру. Начиная от этой точки, лента 9 была закрыта с боков и сверху; бутыли совершали дальше свой маршрут как бы в тунеле; лишь кое-где виднелись открытые промежутки в два-три метра длиной.

— Формирование любви к теплу,— сказал мистер Фостер. — Горячие туннели чередуются с прохладными. Прохлада связана с дискомфортом в виде жестких рентгеновских лучей. К моменту раскупорки зародыши уже люто боятся холода. Им предназначено поселиться в тропиках или стать горнорабочими, прясть ацетатный шелк, плавить сталь. Телесная боязнь холода будет позже подкреплена воспитанием мозга. Мы приучаем их тело благоденствовать в тепле.

А наши коллеги на верхних этажах внедрят любовь к теплу в их сознание,— заключил мистер Фостер.

— И в этом,— добавил назидательно Директор,— весь секрет счастья и добродетели: люби то, что тебе предначертано. Все воспитание тела и мозга как раз и имеет целью привить людям любовь к их неизбежной социальной судьбе.

В одном из межтуннельных промежутков действовала шприцем медицинская сестра — осторожно втыкала длинную тонкую иглу в студенистое содержимое очередной бутыли. Студенты и оба наставника с минуту понаблюдали за ней молча.

— Привет, Линайна,— сказал мистер Фостер, когда она вынула наконец иглу и распрямилась.

Девушка, вздрогнув, обернулась. Даже в этой мгле, багрянившей ее глаза и кожу, видно было, что она необычайно хороша собой — как куколка.

— Генри! — Она блеснула на него алой улыбкой, коралловым ровным оскалом зубов.

— О-ча-ро-вательна,— заворковал Директор, ласково потрепал ее сзади, и в ответ девушка его тоже одарила улыбкой, но весьма почтительной.

— Какие производишь инъекции? — спросил мистер Фостер уже сугубо деловым тоном.

— Да обычные уколы — от брюшного тифа и сонной болезни.

— Работников для тропической зоны начинаем колоть на 150-м метре,— объяснил мистер Фостер студентам,— когда у зародыша еще жабры. Иммунизируем рыбу против болезней будущего человека.— И, повернувшись опять к Линайне, сказал ей: — Сегодня, как всегда, в без десяти пять на крыше.

— Очаровательна,— бормотнул снова Директор, дал прощальный шлепочек и отошел, присоединился к остальным.

У грядущего поколения химиков — у длинной вереницы бутылей на ленте 10 — формировалась стойкость к свинцу, каустической соде, смолам, хлору. На ленте 3 партия из двухсот пятидесяти зародышей, предназначенных в бортмеханики ракетопланов, как раз подошла к тысяча сотому метру. Специальный механизм безостановочно переворачивал эти бутыли.

— Чтобы усовершенствовать их чувство равновесия,— разъяснил мистер Фостер. — Работа их ждет сложная: производить ремонт на внешней обшивке ракеты во время полета непросто. При нормальном положении бутыли скорость кровотока мы снижаем, и в это время организм зародыша голодает; зато в момент, когда зародыш повернут вниз головой, мы удваиваем приток кровезаменителя. Они приучаются связывать перевернутое положение с отличным самочувствием, и счастливы они по-настоящему бывают в жизни лишь тогда, когда находятся вверх тормашками. А теперь,— продолжал мистер Фостер,— я хотел бы показать вам кое-какие весьма интересные приемы формовки интеллектуалов альфа-плюс. Сейчас пропускаем по ленте 5 большую их партию. Нет, не на нижнем ярусе — на среднем,— остановил он двух студентов, двинувшихся было вниз.— Это в районе 900-го метра,— пояснил он.— Формовку интеллекта практически бесполезно начинать прежде, чем зародыш становится бесхвостым. Пойдемте.

Но Директор уже поглядел на часы.

— Без десяти минут три,— сказал он. — К сожалению, на интеллектуалов у нас не осталось времени. Нужно подняться в Питомник до того, как у детей кончится мертвый час.

Мистер Фостер огорчился.

— Тогда хоть на минуту заглянем в Зал раскупорки,— сказал он просяще.

— Согласен. — Директор снисходительно улыбнулся. — Но только на минуту.

Глава вторая

Оставив мистера Фостера в Зале раскупорки, Директор и студенты вошли в ближайший лифт и поднялись на шестой этаж.

«МЛАДОПИТОМНИК. ЗАЛЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕФЛЕКСОВ»,— гласила доска при входе.

Директор открыл дверь. Они очутились в большом голом зале, очень светлом и солнечном: южная стена его была одно сплошное окно. Пять или шесть нянь в форменных брючных костюмах из белого вискозного полотна и в белых асептических, скрывающих волосы шапочках были заняты тем, что расставляли на полу цветы. Ставили в длинную линию большие вазы, переполненные пышными розами. Лепестки их были шелковисто гладки, словно щеки тысячного сонма ангелов — нежно-румяных индоевропейских херувимов, и лучезарно-чайных китайчат, и мексиканских смуглячков, и пурпурных от чрезмерного усердия небесных трубачей, и ангелов, бледных как смерть, бледных мраморной надгробной белизною.

Директор вошел — няни встали смирно.

— Книги по местам,— сказал он коротко.

Няни без слов повиновались. Между вазами они разместили стоймя и раскрыли большеформатные детские книги, манящие пестро раскрашенными изображениями зверей, рыб, птиц.

— Привезти ползунков.

Няни побежали выполнять приказание и минуты через две возвратились; каждая катила высокую, в четыре сетчатых этажа, тележку, груженную восьмимесячными младенцами, как две капли похожими друг на друга (явно — из одной группы Бокановского) и одетыми все в хаки (отличительный цвет касты «дельта»).

— Снять на пол.

Младенцев сгрузили с проволочных сеток.

— Повернуть лицом к цветам и книгам.

Завидя книги и цветы, детские шеренги смолкли и двинулись ползком к этим скоплениям цвета, к этим красочным образам, таким празднично-пестрым на белых страницах. А тут и солнце вышло из-за облачка. Розы вспыхнули, точно воспламененные внезапной страстью; глянцевитые страницы книг как бы озарились новым и глубинным смыслом. Младенцы поползли быстрей, возбужденно попискивая, гукая и щебеча от удовольствия.

— Превосходно! — сказал Директор, потирая руки. — Как по заказу получилось.

Самые резвые из ползунков достигли уже цели. Ручонки протянулись неуверенно, дотронулись, схватили, обрывая лепестки преображенных солнцем роз, комкая цветистые картинки. Директор подождал, пока все дети не присоединились к этому радостному занятию. Затем:

— Следите внимательно! — сказал он студентам. И подал знак вскинутой рукой.

Старшая няня, стоявшая у щита управления в другом конце зала, включила рубильник.

Что-то бахнуло, загрохотало. Завыла сирена, с каждой секундой все пронзительнее. Бешено зазвенели сигнальные звонки.

Дети трепыхнулись, заплакали в голос; личики их исказились от ужаса.

— А сейчас,— не сказал, а прокричал Директор (ибо шум стоял оглушительный),— сейчас мы слегка подействуем на них электротоком, чтобы закрепить преподанный урок.

Он опять взмахнул рукой, и Старшая включила второй рубильник. Плач детей сменился отчаянными воплями. Было что-то дикое, почти безумное в их резких, судорожных вскриках. Детские тельца вздрагивали, цепенели; руки и ноги дергались, как у марионеток.

— Весь этот участок пóла теперь под током,— проорал Директор в пояснение. — Но достаточно,— подал он знак Старшей.

Грохот и звон прекратились, вой сирены стих, иссяк. Тельца перестали дергаться, бесноватые вскрики и взрыды перешли в прежний нормальный перепуганный рев.

— Предложить им снова цветы и книги.

Няни послушно подвинули вазы, раскрыли картинки; но при виде роз и веселых кисок-мурок, петушков — золотых гребешков и черненьких бяшек дети съежились в ужасе; рев моментально усилился.

— Видите! — сказал Директор торжествующе. — Видите!

В младенческом мозгу книги и цветы уже опорочены, связаны с грохотом, электрошоком; а после двухсот повторений того же или сходного урока связь эта станет нерасторжимой. Что человек соединил, природа разделить бессильна.

— Они вырастут, неся в себе то, что психологи когда-то называли «инстинктивным» отвращением к природе. Рефлекс, привитой на всю жизнь. Мы их навсегда обезопасим от книг и от ботаники.— Директор повернулся к няням: — Увезти.

Все еще ревущих младенцев в хаки погрузили на тележки и укатили, остался только кисломолочный запах, и наконец-то наступила тишина.

Один из студентов поднял руку: он, конечно, вполне понимает, почему нельзя, чтобы низшие касты расходовали время Общества на чтение книг, и притом они всегда ведь рискуют прочесть что-нибудь могущее нежелательно расстроить тот или иной рефлекс, но вот цветы... насчет цветов неясно. Зачем класть труд на то, чтобы для дельт сделалась психологически невозможной любовь к цветам?

Директор терпеливо стал объяснять. Если младенцы теперь встречают розу ревом, то прививается это из высоких экономических соображений. Не так еще давно (лет сто назад) у гамм, дельт и даже у эпсилонов культивировалась любовь к цветам — и к природе вообще. Идея была та, чтобы в часы досуга их непременно тянуло за город, в лес и поле, и таким образом они загружали бы транспорт.

— И что же, разве они не пользовались транспортом? — спросил студент.

— Транспортом-то пользовались,— ответил Директор.— Но на этом хозяйственная польза и кончалась.

У цветочков и пейзажей тот существенный изъян, что это блага даровые, подчеркнул Директор. Любовь к природе не загружает фабрики заказами. И решено было отменить любовь к природе — во всяком случае у низших каст; отменить, но так, чтобы загрузка транспорта не снизилась. Оставалось существенно важным, чтобы за город ездили по-прежнему, хоть и питая отвращение к природе. Требовалось лишь подыскать более разумную с хозяйственной точки зрения причину для пользования транспортом, чем простая тяга к цветочкам и пейзажам. И причина была подыскана.

— Мы прививаем массам нелюбовь к природе. Но одновременно мы внедряем в них любовь к загородным видам спорта. Причем именно к таким, где необходимо сложное оборудование. Чтобы не только транспорт был загружен, но и фабрики спортивного инвентаря. Вот из чего проистекает связь цветов с электрошоком,— закруглил мысль Директор.

— Понятно,— произнес студент и смолк — в безмолвном восхищении.

Пауза; откашлянувшись, Директор заговорил опять:

— В давние времена, еще до успения господа нашего Форда, жил-был мальчик по имени Рувим Рабинович. Родители Рувима говорили по-польски.— Директор приостановился.— Полагаю, вам известно, что такое «польский»?

— Это язык, мертвый язык.

— Как и французский, и как немецкий,— поспешил другой студент выказать свои познания.

— А «родители»? — вопросил Директор.

Неловкое молчание. Иные из студентов покраснели. Они еще не научились проводить существенное, но зачастую весьма тонкое различие между непристойностями и строго научной терминологией. Наконец, один набрался храбрости и поднял руку.

— Люди были раньше...— он замялся; щеки его залила краска.— Были, значит, живородящими.

— Совершенно верно.— Директор одобрительно кивнул.

— И когда у них дети раскупоривались...

— Рождались,— поправил Директор.

— Тогда, значит, они становились родителями — то есть не дети, конечно, а те, у кого...— Бедный юноша смутился окончательно.

— Короче,— резюмировал Директор,— родителями назывались отец и мать.

Гулко упали (трах! тарах!) в сконфуженную тишину эти ругательства, а в данном случае — научные термины.

— Мать,— повторил Директор громко, закрепляя термин, и, откинувшись в кресле, веско сказал: — Факты это неприятные, согласен. Но большинство исторических фактов принадлежит к разряду неприятных. Однако вернемся к Рувиму. Как-то вечером отец и мать (трах! тарах!) забыли выключить в комнате у Рувима радиоприемник. А вы должны помнить, что тогда, в эпоху грубого живородящего размножения, детей растили их родители, а не государственные воспитательные центры.

Мальчик спал, а в это время неожиданно в эфире зазвучала передача из Лондона; и на следующее утро, к изумлению его отца и матери (те из юнцов, что посмелей, отважились поднять глаза, перемигнуться, ухмыльнуться), проснувшийся Рувимчик слово в слово повторил переданную по радио длинную беседу Джорджа Бернарда Шоу. («Это старинный писатель-чудак — один из весьма немногих литераторов, чьим произведениям было позволено дойти до нас».) По преданию, довольно достоверному, в тот вечер темой беседы была его, Шоу, гениальность. Рувимовы отец и мать (перемигиванье, тайные смешки) ни слова, конечно, не поняли и, вообразив, что их ребенок сошел с ума, позвали врача. К счастью, тот понимал по-английски, распознал текст вчерашней радиобеседы, уразумел важность случившегося и послал сообщение в медицинский журнал.

— Так открыли принцип гипнопедии, то есть обучения во сне.— Директор сделал внушительную паузу.

Открыть-то открыли; но много, много еще лет минуло, прежде чем нашли этому принципу полезное применение.

— Происшествие с Рувимом случилось всего лишь через двадцать три года после того, как господь наш Форд выпустил на автомобильный рынок первую модель Т [1].— При сих словах Директор перекрестил себе живот знаком Т, и все студенты набожно последовали примеру.— Но прошло еще...

Карандаши с бешеной быстротой бегали по бумаге. «Гипнопедия впервые официально применена в 214 г. Э. Ф. Почему не раньше? По двум причинам. 1) ...»

---

[1] Модель Т (первый легковой автомобиль, предназначенный для массового производства) была выпущена в 1908 году. За последующее двадцатилетие сошло с конвейера более 15 млн. этих машин.

— Эти ранние экспериментаторы,— говорил Директор, — действовали в ложном направлении. Они полагали, что гипнопедию можно сделать средством образования...

(Малыш, спящий на правом боку; правая рука свесилась с кроватки. Из репродуктора, из сетчатого круглого отверстия, звучит тихий голос:

— Нил — самая длинная река в Африке и вторая по длине среди рек земного шара. Хотя Нил и короче Миссисипи-Миссури, но он стоит на первом месте по протяженности бассейна, раскинувшегося на 35 градусов с юга на север...

Утром, когда малыш завтракает, его спрашивают:

— Томми, а какая река в Африке длиннее всех, ты знаешь?

«Нет»,— мотает головой Томми.

— Но разве ты не помнишь, как начинается: «Нил — самая...»

«Нил-самая-длинная-река-в-Африке-и-вторая-по-длине - среди-рек-земного-шара.— Слова льются потоком.— Хотя-Нил-и-короче...»

— Так какая же река длиннее всех в Африке?

Глаза мальчугана ясны и пусты.

— Не знаю.

— А как же Нил?

— «Нил-самая-длинная-река-в-Африке-и-вторая...»

— Ну, так какая же река длинней всех — а, Томми?

Томми разражается слезами.

— Не знаю.— ревет он.)

Этот горестный рев обескураживал ранних исследователей, подчеркнул Директор. Эксперименты прекратились. Были оставлены попытки дать детям во сне понятие о длине Нила. И правильно сделали, что бросили эти попытки. Нельзя усвоить науку без понимания, без вникания в смысл.

— Но вот если бы они занялись нравственным воспитанием,— говорил Директор, ведя студентов к двери, а те продолжали поспешно записывать и на ходу, и пока подымались в лифте.— Вот нравственное-то воспитание никогда, ни в коем случае не должно основываться на понимании.

«Тише! Тише!» — зашелестел репродуктор, когда они вышли из лифта на пятнадцатом этаже, и это шелестение сопровождало их по коридорам, неустанно исходя из раструба репродукторов, размещенных через равные промежутки. Студенты и даже сам Директор невольно пошли на цыпочках. Все они, конечно, были альфы; но и у альф рефлексы выработаны неплохо. «Тише! Тише!» — весь пятнадцатый этаж шелестел этим категорическим императивом.

Пройдя на цыпочках шагов сто, Директор осторожно открыл дверь. Они вошли и оказались в сумраке зашторенного спального зала. У стены стояли в ряд восемьдесят кроваток. Слышалось легкое, ровное дыхание и некий непрерывный бормоток, точно слабенькие голоса журчали в отдалении.

Навстречу вошедшим встала воспитательница и застыла навытяжку перед Директором.

— Какой проводите урок? — спросил он.

— Первые сорок минут были уделены началам секса,— ответила она.— А теперь переключила на основы кастового самосознания.

Директор медленно пошел вдоль шеренги кроваток. Восемьдесят мальчиков и девочек тихо дышали, разрумянившись от сна. Из-под каждой подушки тек шепот. Директор остановился и, нагнувшись над кроваткой, вслушался.

— Основы, говорите вы, кастового самосознания. Дадим-ка чуть погромче — через рупор.

В конце зала, на стене, был укреплен громкоговоритель. Директор подошел, включил его.

— ...ходят в зеленом,— с полуфразы начал тихий, но очень отчет-

ливый голос,— а дельты — в хаки. Нет, нет, не хочу я играть с детьми-дельтами. А эпсилоны еще хуже. Они вовсе глупые, ни читать, ни писать не умеют. Да еще ходят в черном, а это такой гадкий цвет. Как хорошо, что я бета.

Голос помолчал — и начал снова:

— Дети-альфы ходят в сером. У альф работа гораздо трудней, чем у нас, потому что альфы страшно умные. Прямо чудесно, что я бета, что у нас работа легче. И мы гораздо лучше гамм и дельт. Гаммы глупые. Они ходят в зеленом, а дельты в хаки. Нет, нет, не хочу я играть с детьми-дельтами. А эпсилоны еще хуже. Они вовсе глупые, ни...

Директор нажал выключатель. Голос умолк. Остался только его призрак — слабый шепот, по-прежнему идущий из-под восьмидесяти подушек.

— До подъема им повторят это еще разочков сорок или пятьдесят; затем снова в четверг и в субботу. Трижды в неделю по сто двадцать раз в продолжение тридцати месяцев. После чего они перейдут к другому, усложненному уроку.

Розы и электрошок, дельты в хаки и струя чесночной вони — эта связь уже нерасторжимо закреплена, прежде чем ребенок научится говорить. Но бессловесное внедрение рефлексов действует грубо, огульно; с помощью его нельзя сформировать более тонкие и сложные шаблоны поведения. Для этой цели требуются слова, но вдумывания не нужно. Короче — требуется гипнопедия.

— Величайшая нравоучительная сила всех времен, готовящая к жизни в обществе.

Студенты записали это изречение в блокноты. Прямехонько из мудрых уст.

Директор опять включил рупор.

— ...страшно умные,— работал тихий, задушевный, неутомимый голос.— Прямо чудесно, что я бета, что у нас...

Словно это падает вода капля за каплей, а ведь вода способна проточить самый твердый гранит; или, вернее, словно капает жидкий сургуч, и капли налипают, обволакивают и пропитывают, покуда бывший камень весь не обратится в ало-восковой комок.

— Покуда наконец все сознание ребенка не заполнится тем, что внушил голос, и то, что внушено, не станет в сумме своей сознанием ребенка. И не только ребенка. А и взрослого — на всю жизнь. Мозг рассуждающий, желающий, решающий — весь насквозь будет состоять из того, что внушено. Внушено нами! — воскликнул Директор торжествуя.— Внушено Государством! — Он ударил рукой по столику.— И следовательно...

Шум заставил его обернуться.

— О господи Форде! — произнес он сокрушенно.— Надо же, детей перебудил.

Глава третья

За зданием, в парке, было время игр. Под теплым июньским солнцем шестьсот-семьсот голеньких мальчиков и девочек бегали со звонким криком по газонам, играли в мяч или же уединялись по двое и по трое, присев и примолкнув в цветущих кустах. Благоухали розы, два соловья распевали в ветвях, кукушка куковала среди лип, слегка сбиваясь с тона. В воздухе плавало дремотное жужжанье пчел и вертопланов.

Директор со студентами постояли, понаблюдали, как детвора играет в центробежную лапту. Десятка два детей окружали башенку из хромистой стали. Мяч, закинутый на верхнюю ее площадку, скатывался внутрь и попадал на быстро вертящийся диск, так что мяч выбрасывало с силой через одно из многих отверстий в цилиндрическом корпусе башни, а дети, вставшие кружком, ловили.

— Странно,— заразмышлял вслух Директор, когда пошли дальше,— странно подумать, что даже при господе нашем Форде для большинства игр еще не требовалось ничего, кроме одного-двух мячей да нескольких клюшек или там сетки. Какая эта была глупость — допускать игры, пусть и замысловатые, но нимало не способствующие росту потребления. Дикая глупость. Теперь же Главноуправители не разрешают никакой новой игры, не удостоверясь прежде, что для нее необходимо по крайней мере столько же спортивного инвентаря, как для самой сложной из уже допущенных игр... Что за очаровательная парочка,— указал он вдруг рукой.

В траве на лужайке среди древовидного вереска двое детей — мальчик лет семи и девочка примерно годом старше — очень сосредоточенно, со всей серьезностью ученых, углубившихся в научный поиск, играли в примитивную сексуальную игру.

— Очаровательно, очаровательно! — повторил сентиментально Директор.

— Очаровательно,— вежливо поддакнули юнцы. Но в улыбке их сквозило снисходительное презрение. Сами лишь недавно оставив позади подобные детские забавы, они не могли теперь смотреть на это иначе как свысока. Очаровательно? Да просто малыши балуются, и больше ничего. Возня младенческая.

— Я всегда вспоминаю...— продолжал Директор тем же слащавым тоном; но тут послышался громкий плач.

Из соседних кустов вышла няня, ведя за руку плачущего мальчугана. Следом семенила встревоженная девочка.

— Что случилось? — спросил Директор.

Няня пожала плечами.

— Ничего особенного,— ответила она.— Просто этот мальчик не слишком охотно участвует в обычной эротической игре. Я уже и раньше замечала. А сегодня опять. Расплакался вот...

— Ей-форду,— встрепенулась девочка,— я ничего такого нехорошего ему не делала. Ей-форду.

— Ну конечно же, милая,— успокоила ее няня.— И теперь,— продолжала она, обращаясь к Директору,— веду его к помощнику старшего психолога, чтобы проверить, нет ли каких ненормальностей.

— Правильно, ведите,— одобрил Директор, и няня направилась дальше со своим по-прежнему ревущим питомцем.— А ты останься в саду, деточка. Как тебя зовут?

— Полли.

— Превосходнейшее имя,— похвалил Директор.— Беги-ка поищи себе другого напарничка.

Девочка вприпрыжку побежала прочь и скрылась в кустарнике.

— Прелестная малютка,— молвил Директор, глядя ей вслед. Затем, повернувшись к студентам, сказал: — То, что я вам сообщу сейчас, возможно, прозвучит как небылица. Но для непривычного уха факты исторического прошлого в большинстве своем звучат как небылица.

И он сообщил им поразительную вещь. В течение долгих столетий до эры Форда и даже потом еще на протяжении нескольких поколений эротические игры детей считались чем-то ненормальным (взрыв смеха) и, мало того, аморальным («Да что вы!») и были поэтому под строгим запретом.

Студенты слушали изумленно и недоверчиво. Неужели бедным малышам не позволяли забавляться? Да как же так?

— Даже подросткам не позволяли,— продолжал Директор,— даже юношам, как вы...

— Быть того не может!

— И они, за исключением гомосексуализма и самоуслаждения, практикуемых украдкой и урывками, не имели ровно ничего.

— Ни-че-го?

— Да, в большинстве случаев ничего — до двадцатилетнего возраста.

— Двадцатилетнего? — хором ахнули студенты, не веря своим ушам.

— Двадцатилетнего, а то и дольше. Я ведь говорил вам, что историческая правда прозвучит как небылица.

— И к чему ж это вело? — спросили студенты.— Что же получалось в результате?

— Результаты были ужасающие,— неожиданно вступил в разговор звучный бас.

Они оглянулись. Сбоку стоял незнакомый черноволосый человек среднего роста — горбоносый, с сочными красными губами, с глазами очень проницательными и темными.

— Ужасающие,— повторил он.

Директор, присевший было на одну из каучуково-стальных скамей, удобно размещенных там и сям по парку, вскочил при виде незнакомца и ринулся к нему, широко распахнув руки, скаля все свои зубы, шумно ликуя.

— Главноуправитель! Какая радостная неожиданность! Представьте себе, юноши,— сам Главноуправитель, его фордейшество Мустафа Монд!

Во всех четырех тысячах зал и комнат Центра четыре тысячи электрических часов одновременно пробили четыре. Зазвучали из репродукторов бесплотные голоса:

— Главная дневная смена кончена. Заступает вторая дневная. Главная дневная смена...

В лифте, поднимаясь к раздевальням, Генри Фостер и помощник Главного предопределителя подчеркнуто повернулись спиной к Бернарду Марксу, специалисту из отдела психологии,— отстранились от человечка со скверной репутацией.

Глухой рокот и гул машин по-прежнему колебал вишнево-сумрачную тишь Эмбрионария. Смены могут приходить и уходить, одно лицо волчаночного цвета сменяться другим; но величаво и безостановочно ползут вперед конвейерные ленты, груженные будущими людьми.

Линайна Краун упругим шагом пошла к выходу.

Его фордейшество Мустафа Монд! Глаза дружно приветствующих студентов чуть не выскакивали из орбит. Мустафа Монд! Постоянный Главноуправитель Западной Европы! Один из десяти Главноуправителей мира. Один из Десяти — а запросто сел на скамью рядом с Директором и посидит, побудет с ними, побеседует... да, да, они услышат слова из фордейших уст. Считай, из самих уст господних.

Двое детишек, бурых от загара, как вареные креветки, явились из зарослей, поглядели большими, удивленными глазами и вернулись в кусты к прежним играм.

— Все вы помните,— сказал Главноуправитель своим звучным басом,— все вы, я думаю, помните прекрасное и вдохновенное изречение господа нашего Форда: «История — сплошная чушь». История,— повторил он не спеша,— сплошная чушь.

Он сделал сметающий жест — словно невидимой метелкой смахнул горсть пыли, и пыль та была Ур Халдейский и Хараппа [1]; смел древние паутинки, и то были Фивы, Вавилон, Кносс, Микены. Ширк, ширк метелочкой — и где ты, Одиссей, где Иов, где Юпитер, Гаутама,

[1] Ур, Хараппа, Фивы, Кносс, Микены — центры древних цивилизаций (соответственно в Месопотамии, Пенджабе, Египте, на Крите, в южной Греции).

Иисус? Ширк! — и прочь полетели крупинки античного праха, именуемые Афинами и Римом, Иерусалимом и Срединным царством. Ширк! — и пусто место, где была Италия. Ширк! — сметены соборы; ширк, ширк! — прощай, «Король Лир» и Паскалевы «Мысли». Прощайте, «Страсти», ау, Реквием; прощай, Симфония; ширк! ширк!..

— Летишь вечером в ощущалку, Генри? — спросил помощник Предопределителя.— Я слышал, сегодня в «Альгамбре» первоклассная новая лента. Там любовная сцена есть на медвежьей шкуре; говорят, изумительная. Воспроизведен каждый медвежий волосок. Потрясающие осязательные эффекты.

— Потому-то вам и не преподают историю,— продолжал Главноуправитель.— Но теперь пришло время...

Директор взглянул на него обеспокоенно. Ходят ведь странные слухи о старых запрещенных книгах, спрятанных у Монда в кабинете, в сейфе. Поэзия, библии всякие — форд знает что.

Мустафа Монд заметил этот беспокойный взгляд, и уголки его красных губ иронически дернулись.

— Не тревожьтесь, Директор,— сказал он с легкой насмешкой.— Они не развратятся от моей беседы.

Директор устыженно промолчал.

Презирающих тебя сам встречай презрением. На лице Бернарда застыла надменная улыбка. Медвежий волосок — вот что они ценят!

— Обязательно слетаю,— сказал Генри Фостер.

Мустафа Монд подался вперед, к слушателям, потряс поднятым пальцем.

— Вообразите только,— произнес он таким тоном, что у юнцов под ложечкой похолодело, задрожало.— Попытайтесь вообразить, что это означало — иметь живородящую мать.

Опять это непристойное слово. Но теперь ни у кого на лице не мелькнуло и тени улыбки.

— Попытайтесь лишь представить, что означало «жить в семье».

Студенты попытались; но видно было, что без всякого успеха.

— А известно ли вам, что такое был «родной дом»?

«Нет»,— покачали они головой.

Из своего сумрачно-вишневого подземелья Линайна Краун взлетела в лифте на семнадцатый этаж и, выйдя там, повернула направо, прошла длинный коридор, открыла дверь с табличкой «Женская раздевальная» и окунулась в шум, гомон, хаос рук, грудей и женского белья. Потоки горячей воды с плеском вливались в сотню ванн, с бульканьем выливались. Все восемьдесят вибровакуумных массажных аппаратов трудились, гудя и шипя, разминая, сосуще массируя тугие загорелые тела восьмидесяти превосходных экземпляров женской особи, наперебой галдящих. Из автомата синтетической музыки звучала сольная трель суперкорнета.

— Привет, Фанни,— поздоровалась Линайна с молоденькой своей соседкой по шкафчику.

Фанни работала в Укупорочном зале; фамилия ее была тоже Краун. Но поскольку на два миллиарда жителей планеты приходилось всего десять тысяч имен и фамилий, это совпадение не столь уж поражало.

Линайна четырежды дернула книзу свои застежки-молнии: на курточке, справа и слева на брюках (быстрым движением обеих рук) и на комбилифчике. Сняв одежду, она в чулках и туфлях пошла к ванным кабинам.

Родной, родимый дом — в комнатенках его, как сельди в бочке, обитатели: мужчина, периодически рожающая женщина и разновозрастный сброд мальчишек и девчонок. Духота, теснота; настоящая тюрьма, притом антисанитарная; темень, болезни, вонь.

(Главноуправитель рисовал эту тюрьму так живо, что один студент, повпечатлительнее прочих, побледнел и его чуть не стошнило.)

Линайна вышла из ванны, обтерлась насухо, взялась за длинный свисающий со стены шланг, приставила дульце к груди, точно собираясь застрелиться, и нажала гашетку. Струя подогретого воздуха обдула ее тончайшей тальковою пудрой. Восемь особых кранико предусмотрено было над раковиной — восемь разных одеколонов и духов. Она отвернула третий слева, надушилась шипром и, с туфлями в руке, направилась из кабины к освободившемуся виброваку.

А в духовном смысле родной дом был так же мерзок и грязен, как в физическом. Психологически это была мусорная яма, кроличья нора, жарко нагретая взаимным трением спершихся в ней жизней, смердящая душевными переживаниями. Какая душная психологическая близость, какие опасные, дикие, смрадные взаимоотношения между членами семейной группы! Как помешанная, тряслась мать над своими детьми (своими! родными!) — ни дать ни взять как кошка над котятами, но кошка, умеющая говорить, умеющая повторять без устали: «Моя детка, моя крохотка». «О моя детка, как он проголодался, прильнул к груди, о эти ручонки, эта невыразимо сладостная мука! А вот и уснул моя крохотка, уснул моя детка, и на губах белеет пузырик молока. Спит мой родной...»

— Да,— покивал головой Мустафа Монд,— вас недаром дрожь берет.

— С кем развлекаешься сегодня вечером?

— Ни с кем.

Линайна удивленно подняла брови.

— В последнее время я как-то не так себя чувствую,— объяснила Фанни.— Доктор Уэллс прописал мне курс псевдобеременности.

— Но, милая, тебе всего только девятнадцать. А первая беременность не обязательна до двадцати одного года.

— Знаю, милочка. Но некоторым полезно начать раньше. Мне доктор Уэллс говорил, что таким, как я, брюнеткам с широким тазом следует пройти первую псевдобеременность уже в семнадцать лет. Так что я не на два года раньше времени, а уже с опозданием на два года.

Открыв дверцу своего шкафчика, Фанни указала на верхнюю полку, уставленную коробочками и флаконами.

— «Сироп желтого тела,— стала Линайна читать этикетки вслух.— Оварин, свежесть гарантируется; годен до 1 августа 632 г. Э. Ф. Экстракт молочной железы; принимать три раза в день перед едой, разведя в небольшом количестве воды. Плацентин; по 5 миллилитров через каждые два дня внутривенно...» Брр! — поежилась Линайна.— Ненавижу внутривенные.

— И я их не люблю. Но раз они полезны...

Фанни была девушка чрезвычайно благоразумная.

Господь наш Форд — или Фрейд, как он по неисповедимой некой причине именовал себя, трактуя о психологических проблемах,— господь наш Фрейд первый раскрыл гибельные опасности семейной жизни. Мир кишел отцами — а значит, страданиями; кишел матерями — а значит, извращениями всех сортов, от садизма до целомудрия, кишел братьями, сестрами, дядьями, тетками — кишел помешательствами и самоубийствами.

— А в то же время у самоанских дикарей, на некоторых островах близ берегов Новой Гвинеи...

Тропическим солнцем, словно горячим медом, облиты нагие тела детей, резвящихся и обнимающихся без разбора среди цветущей зелени. А дом для них — любая из двадцати хижин, крытых пальмовыми листьями. На островах Тробриан зачатие приписывали духам предков; об отцовстве, об отцах там не было и речи.

— Крайности сходятся,— отметил Главноуправитель.— Ибо так и задумано было, чтобы они сходились.

— Доктор Уэллс сказал, что трехмесячный курс псевдобеременности поднимет тонус, оздоровит меня на три-четыре года.

— Что ж, если так,— сказала Линайна.— Но, Фанни, выходит, ты целых три месяца не должна будешь...

— Ну что ты, милая. Всего неделю-две, не больше. Я проведу сегодня вечер в клубе, за музыкальным бриджем. А ты, конечно, полетишь развлекаться?

Линайна кивнула.

— С кем сегодня?

— С Генри Фостером.

— Опять? — сказала Фанни с удивленно-нахмуренным выражением, не идущим к ее круглому, как луна, добродушному лицу.— Неужели ты до сих пор все с Генри Фостером? — укорила она огорченно.

Отцы и матери, братья и сестры. Но были еще и мужья, жены, возлюбленные. Было еще единобрачие и романтическая любовь.

— Впрочем, вам эти слова, вероятно, ничего не говорят,— сказал Мустафа Монд.

«Ничего»,— помотали головами студенты.

Семья, единобрачие, любовная романтика. Повсюду исключительность и замкнутость, сосредоточенность влечения на одном предмете; порыв и энергия направлены в узкое русло.

— А ведь каждый принадлежит всем остальным,— привел Мустафа гипнопедическую пословицу.

Студенты кивнули в знак полного согласия с утверждением, которое — от шестидесяти двух с лишним тысяч повторений в сумраке спальни — сделалось не просто справедливым, а стало истиной бесспорной, самоочевидной и не требующей доказательств.

— Но,— возразила Линайна,— я с Генри всего месяца четыре.

— Всего четыре месяца! Ничего себе! И вдобавок,— обвиняюще ткнула Фанни пальцем,— все это время, кроме Генри, ты ни с кем. Ведь ни с кем же?

Линайна залилась румянцем. Но в глазах и в голосе ее осталась непокорность.

— Да, ни с кем,— огрызнулась она.— И не знаю, с какой такой стати я должна еще с кем-то.

— Она, видите ли, не знает, с какой стати,— повторила Фанни, обращаясь словно к незримому слушателю, вставшему за плечом у Линайны. Но тут же переменив тон: — Ну кроме шуток,— сказала она,— ну прошу тебя, веди ты себя осторожней. Нельзя же так долго все с одним да с одним — это ужасно неприлично. Уж пусть бы тебе было сорок или тридцать пять — тогда бы простительнее. Но в твоем-то возрасте, Линайна! Нет, это никуда не годится. И ты же знаешь, как решительно наш Директор против всего чрезмерно пылкого и затянувшегося. Четыре месяца все с Генри Фостером и ни с кем кроме — да узнай Директор, он был бы вне себя...

— Представьте себе воду в трубе под напором.— Студенты представили себе такую трубу.— Пробейте в металле отверстие,— продол-

жал Главноуправитель.— Какой ударит фонтан! Если же проделать не одно отверстие, а двадцать, получим два десятка слабых струек.

То же и с эмоциями. «Моя детка. Моя крохотка!..» «Мама!» Безумие чувств заразительно. «Любимый, единственный мой, дорогой и бесценный...»

Материнство, единобрачие, романтика любви. Ввысь бьет фонтан; неистово ярится пенная струя. У чувства одна узенькая отдушина. Мой любимый. Моя детка. Немудрено, что эти горемыки, люди дофордовских времен, были безумны, и порочны, и несчастны. Мир, окружавший их, не позволял жить беспечально, не давал им быть здоровыми, добродетельными, счастливыми. Материнство и влюбленность, на каждом шагу запрет (а рефлекс повиновения запрету не сформирован), соблазн и одинокое потом раскаяние, всевозможные болезни, нескончаемая боль, отгораживающая от людей, шаткое будущее, нищета — все это обрекало их на сильные переживания. А при сильных переживаниях — притом в одиночестве, в безнадежной разобщенности и обособленности — какая уж могла быть речь о стабильности?

— Разумеется, необязательно отказываться от Генри совсем. Чередуй его с другими, вот и все. Ведь он же не только с тобой?

— Не только,— сказала Линайна.

— Ну, разумеется. Уж Генри Фостер не нарушит правил жизни — он всегда корректен и порядочен. А подумай о Директоре. Ведь как неукоснительно Директор соблюдает этикет.

Линайна кивнула:

— Да, он сегодня потрепал меня по ягодицам.

— Ну вот видишь,— торжествующе сказала Фанни.— Вот тебе пример того, как строжайше он держится приличий.

— Стабильность,— подчеркнул Главноуправитель,— устойчивость, прочность. Без стабильного общества немыслима цивилизация. А стабильное общество немыслимо без стабильного члена общества.— Голос Мустафы звучал как труба. В груди у слушателей теплело и ширилось.

Машина вертится, работает и должна вертеться непрерывно — вечно. Остановка означает смерть. Копошился прежде на земной коре миллиард обитателей. Завертелись шестерни машин. И через сто пятьдесят лет стало два миллиарда. Остановите машины. Через сто пятьдесят не лет, а недель население земли сократится вполовину. Один миллиард умрет с голоду.

Машины должны работать без перебоев, но они требуют ухода. Их должны обслуживать люди — такие же надежные, стабильные, как шестеренки и колеса,— люди, здоровые духом и телом, послушные, постоянно довольные.

А горемыкам, восклицавшим: «Моя детка, моя мама, мой любимый и единственный», стонавшим: «Мой грех, мой грозный Бог», кричавшим от боли, бредившим в лихорадке, оплакивавшим нищету и старость,— по плечу ли тем несчастным обслуживание машин? А если не будет обслуживания?.. Трупы миллиарда людей непросто было бы зарыть или сжечь.

— И в конце концов,— мягко уговаривала Фанни,— разве это тягостно, мучительно — иметь еще одного-двух в дополнение к Генри? Ведь не тяжело тебе — а значит, обязательно надо разнообразить мужчин...

— Стабильность,— подчеркнул опять Главноуправитель,— стабильность. Первооснова и краеугольный камень. Стабильность. Для достижения ее — все это.— Широким жестом он охватил громадные

здания Центра, парк и детей, бегающих нагишом или укромно играющих в кустах.

Линайна покачала головой, сказала в раздумье:

— Что-то в последнее время не тянет меня к разнообразию. А разве у тебя, Фанни, не бывает временами, что не хочется разнообразить?

Фанни кивнула сочувственно и понимающе.

— Но надо прилагать старания,— наставительно сказала она,— надо жить по правилам. Что ни говори, а каждый принадлежит всем остальным.

— Да, каждый принадлежит всем остальным,— повторила медленно Линайна и, вздохнув, помолчала. Затем, взяв руку подруги, слегка сжала в своей: — Ты абсолютно права, Фанни. Ты всегда права. Я приложу старания.

Поток, задержанный преградой, взбухает и переливается — позыв обращается в порыв, в страсть, даже в помешательство: сила потока множится на высоту и прочность препятствия. Когда же преграды нет, поток стекает плавно по назначенному руслу в тихое море благоденствия.

— Зародыш голоден, и день-деньской питает его кровезаменителем насос, давая свои восемьсот оборотов в минуту. Заплакал раскупоренный младенец, и тут же подошла няня с бутылочкой млечно-секреторного продукта.

Эмоция таится в промежутке между позывом и его удовлетворением. Сократи этот промежуток, устрани все прежние ненужные препятствия.

— Счастливцы вы! — воскликнул Главноуправитель.— На вас не жалели трудов, чтобы сделать вашу жизнь в эмоциональном отношении легкой — оградить вас, насколько возможно, от эмоций и переживаний вообще.

— Форд в своем «форде» — и в мире покой,— продекламировал вполголоса Директор.

— Линайна Краун? — застегнув брюки на молнию, отозвался Генри Фостер.— О, это девушка великолепная. Донельзя пневматична. Удивляюсь, как это ты не отведал ее до сих пор.

— Я и сам удивляюсь,— сказал помощник Предопределителя.— Непременно отведаю. При первой же возможности.

Со своего раздевального места — в ряду напротив — Бернард услышал этот разговор и побледнел.

— Признаться,— сказала Линайна,— мне и самой это чуточку прискучивать начинает — каждый день Генри да Генри.— Она натянула левый чулок.— Ты Бернарда Маркса знаешь? — спросила она слишком уж нарочито-небрежным тоном.

— Ты хочешь с Бернардом? — вскинулась Фанни.

— А что? Бернард ведь альфа-плюсовик. К тому же он приглашает меня слетать с ним в дикарский заповедник — в индейскую резервацию. А я всегда хотела побывать у дикарей.

— Но ведь у Бернарда дурная репутация!

— А мне что за дело до его репутации?

— Говорят, он гольфа не любит.

— Говорят, говорят,— передразнила Линайна.

— И потом он бóльшую часть времени проводит нелюдимо — один,— с сильнейшим отвращением сказала Фанни.

— Ну, со мной-то он не будет один. И вообще, отчего все к нему так по-свински относятся? По-моему, он милый.— Она улыбнулась, вспомнив, как до смешного робок он был в разговоре. Почти испу-

ган — как будто она Главноуправитель мира, а он — дельта-минусовик из машинной обслуги.

— Поройтесь-ка в памяти,— сказал Мустафа Монд.— Наталкивались ли вы хоть раз на непреодолимые препятствия?

Студенты ответили молчанием, означавшим, что нет, не наталкивались.

— А приходилось ли кому-нибудь из вас долгое время пребывать в этом промежутке между позывом и его удовлетворением?

— У меня...— начал один из юнцов и замялся.

— Говорите же,— сказал Директор.— Его фордейшество ждет.

— Мне однажды пришлось чуть не месяц ожидать, пока девушка согласилась.

— И, соответственно, желание усилилось?

— До невыносимости!

— Вот именно, до невыносимости,— сказал Главноуправитель.— Наши предки были так глупы и близоруки, что когда явились первые преобразователи и указали путь избавления от этих невыносимых эмоций, то их не желали слушать.

«Точно речь о бараньей котлете,— скрипнул зубами Бернард.— «Не отведал, отведаю». Как будто она кусок мяса. Низводят ее до уровня бифштекса... Она сказала мне, что подумает, что даст до пятницы ответ. О господи Форде. Подойти бы да в физиономию им со всего размаха, да еще раз, да еще».

— Я тебе настоятельно ее рекомендую,— говорил между тем Генри Фостер приятелю.

— Взять хоть эктогенез. Пфитцнер и Кавагучи разработали весь этот внетелесный метод размножения. Но правительства и во внимание его не приняли. Мешало нечто, именовавшееся христианством. Женщин и дальше заставляли быть живородящими.

— Он же страшненький! — сказала Фанни.

— А мне нравится, как он выглядит.

— И такого маленького роста,— поморщилась Фанни. (Низкорослость — типичный мерзкий признак низших каст.)

— А по-моему, он милый,— сказала Линайна.— Его так и хочется погладить. Ну, как котеночка.

Фанни брезгливо сказала:

— Говорят, когда он еще был в бутыли, кто-то ошибся — подумал, он гамма, и влил ему спирту в кровезаменитель. Оттого он и щуплый вышел.

— Вздор какой! — возмутилась Линайна.

— В Англии запретили даже обучение во сне. Было тогда нечто, именовавшееся либерализмом. Парламент (известно ли вам это старинное понятие?) принял закон против гипнопедии. Сохранились архивы парламентских актов. Записи речей о свободе британского подданного. О праве быть неудачником и горемыкой. Неприкаянным, неприспособленным к жизни.

— Да что ты, дружище, я буду только рад. Милости прошу.— Генри Фостер похлопал друга по плечу.— Ведь каждый принадлежит всем остальным.

«По сотне повторений три раза в неделю в течение четырех лет,— презрительно подумал Бернард; он был специалист-гипнопед.— Шестьдесят две тысячи четыреста повторений — и готова истина. Идиоты!»

— Или взять систему каст. Постоянно предлагалась — и постоянно отвергалась. Мешало нечто, именовавшееся демократией. Как будто равенство людей заходит дальше физико-химического равенства.

— А я все равно полечу с ним,— сказала Линайна.

«Ненавижу, ненавижу,— кипел внутренне Бернард.— Но их двое, они рослые, они сильные».

— Девятилетняя война началась в 141-м году Эры Форда.

— Все равно, даже если бы ему и правда влили тогда спирту в кровезаменитель.

— Фосген, хлорпикрин, йод-уксусный этил, дифенилцианарсин, слезоточивый газ, иприт. Не говоря уже о синильной кислоте.

— А никто не подливал, неправда и не верю.

— Вообразите гул четырнадцати тысяч самолетов, налетающих широким фронтом. Сами же разрывы бомб, начиненных сибирской язвой, звучали на Курфюрстендамм и в восьмом парижском округе не громче бумажной хлопушки.

— А потому что хочу побывать в диком заповеднике.

— $CH_3C_6H_2(NO_2)_3+Hg(CNO)_2$; и что же в сумме? Большая воронка, груда щебня, куски мяса, комки слизи, нога в солдатском башмаке летит по воздуху и — шлеп! — приземляется среди ярко-красных гераней, так пышно цветших в то лето.

— Ты неисправима, Линайна,— остается лишь махнуть рукой.

— Восточный способ заражать водоснабжение был особенно остроумен.

Повернувшись друг к дружке спиной, Фанни и Линайна продолжали одеваться уже молча.

— Девятилетняя война, Великий экономический крах. Выбор был лишь между всемирной властью и полным разрушением. Между стабильностью и...

— Фанни Краун тоже девушка приятная,— сказал помощник Предопределителя.

В Питомнике уже отдолбили основы кастового самосознания, голоса теперь готовили будущего потребителя промышленных товаров. «Я так люблю летать,— шептали голоса,— я так люблю летать, так люблю носить все новое, так люблю...»

— Конечно, сибирская язва покончила с либерализмом, но все же нельзя было строить общество на принуждении.

— Но Линайна гораздо пневматичней. Гораздо, гораздо.

— А старая одежда — бяка,— продолжалось неутомимое нашептывание.— Старье мы выбрасываем. Овчинки не стоят починки. Чем старое чинить, лучше новое купить; чем старое чинить, лучше...

— Править надо с умом, а не кнутом. Не кулаками действовать, а на мозги воздействовать. Чтоб заднице не больно, а привольно. Есть у нас опыт: потребление уже однажды обращали в повинность.

— Вот я и готова,— сказала Линайна; но Фанни по-прежнему молчала, не глядела.— Ну, Фанни, милая, давай помиримся.

— Каждого мужчину, женщину, ребенка обязали ежегодно потреблять столько-то. Для процветания промышленности. А вызвали этим единственно лишь...

— Чем старое чинить, лучше новое купить. Прорехи зашивать — беднеть и горевать; прорехи зашивать — беднеть и...

— Не сегодня-завтра,— раздельно и мрачно произнесла Фанни,— твое поведение доведет тебя до беды.

— ...гражданское неповиновение в широчайшем масштабе. Движение за отказ от потребления. За возврат к природе.

— Я так люблю летать, я так люблю летать.

— За возврат к культуре. Даже к культуре, да-да. Ведь, сидя за книгой, много не потребишь.

— Ну как я выгляжу? — спросила Линайна. На ней был ацетатный жакет бутылочного цвета, с зеленой вискозной опушкой на воротнике и рукавах.

— Уложили восемьсот сторонников простой жизни на Голдерс-Грин — скосили пулеметами.

— Чем старое чинить, лучше новое купить; чем старое чинить, лучше новое купить.

Зеленые плисовые шорты и белые, вискозной шерсти, чулочки до колен.

— Затем устроили Мор книгочеев: переморили горчичным газом в читальне Британского музея две тысячи человек.

Бело-зеленый жокейский картузик с затеняющим глаза козырьком. Туфли на Линайне ярко-зеленые, отлакированные.

— В конце концов,— продолжал Мустафа Монд,— Главноуправители поняли, что насилием не многого добьешься. Хоть и медленней, но несравнимо верней другой способ — способ эктогенеза, формирования рефлексов и гипнопедии...

А вокруг талии — широкий, из зеленого искусственного сафьяна, отделанный серебром пояс-патронташ, набитый уставным комплектом противозачаточных средств (ибо Линайна не была неплодой).

— Применили наконец открытия Пфитцнера и Кавагучи. Широко развернута была агитация против живородящего размножения...

— Прелестно,— воскликнула Фанни в восторге. Она не умела долго противиться чарам Линайны.— А какой дивный мальтузианский пояс!

— И одновременно начат поход против Прошлого, закрыты музеи, взорваны исторические памятники (большинство из них, слава Форду, и без того уже сровняла с землей Девятилетняя война); изъяты книги, выпущенные до 150-го года Э. Ф.

— Обязательно и себе такой достану,— сказала Фанни.

— Были, например, сооружения, именовавшиеся пирамидами.

— Мой старый чернолаковый наплечный патронташ...

— И был некто, именовавшийся Шекспиром. Вас, конечно, не обременяли всеми этими наименованьями.

— Просто стыдно надевать мой чернолаковый.

— Таковы преимущества подлинно научного образования.

— Овчинки не стоят починки, овчинки не стоят...

— Дату выпуска первой модели Т господом нашим Фордом...

— Я уже чуть не три месяца его ношу.

— ...избрали начальной датой Новой Эры.

— Чем старое чинить, лучше новое купить; чем старое...

— Как я уже упоминал, было тогда нечто, именовавшееся христианством.

—...лучше новое купить.

— Мораль и философия недопотребления...

— Люблю новое носить, люблю новое носить, люблю...

— ...была существенно необходима во времена недопроизводства; но в век машин, в эпоху, когда люди научились связывать свободный азот воздуха, недопотребление стало прямым преступлением против общества.

— Мне его Генри Фостер подарил.

— У всех крестов спилили верх — преобразовали в знаки Т. Было тогда некое понятие, именовавшееся Богом.

— Это настоящий искусственный сафьян.

— Теперь у нас Мировое Государство. И мы ежегодно празднуем День Форда, мы устраиваем вечера песнословия и сходки единения.

«Господи Форде, как я их ненавижу»,— думал Бернард.

— Было нечто, именовавшееся Небесами; но тем не менее спиртное пили в огромном количестве.

«Как бифштекс, как кусок мяса».

— Было некое понятие — душа и некое понятие — бессмертие.

— Пожалуйста, узнай у Генри, где он его достал.

— Но тем не менее употребляли морфий и кокаин.

«А хуже всего то, что она и сама думает о себе как о куске мяса».

— В 178 году Э. Ф. были соединены усилия и финансированы изыскания двух тысяч фармакологов и биохимиков.

— А хмурый у малого вид,— сказал помощник Предопределителя, кивнув на Бернарда.

— Через шесть лет был налажен уже широкий выпуск. Наркотик получился идеальный.

— Давай-ка подразним его.

— Успокаивает, дает радостный настрой, вызывает приятные галлюцинации.

— Хмуримся, Бернард, хмуримся.— От хлопка по плечу Бернард вздрогнул, поднял глаза. Это Генри Фостер, скотина фордова.— Грамм сомы принять надо.

— Все плюсы христианства и алкоголя — и ни единого их минуса.

«Убил бы скотину». — Но вслух он сказал только:
— Спасибо, не надо,— и отстранил протянутые таблетки.

— Захотелось, и тут же устраиваешь себе сомотдых — отдых от реальности,— и голова с похмелья не болит потом, и не засорена никакой мифологией.

— Да бери ты,— не отставал Генри Фостер,— бери.

— Это практически обеспечило стабильность.

— «Сомы грамм — и нету драм»,— черпнул помощник Предопределителя из кладезя гипнопедической мудрости.

— Оставалось лишь победить старческую немощь.

— Да катитесь вы от меня! — взорвался Бернард.

— Скажи, пожалуйста, какие мы горячие.

— Половые гормоны, соли магния, вливание молодой крови...

— К чему весь тарарам, прими-ка сомы грамм.— И, посмеиваясь, они вышли из раздевальной.

— Все телесные недуги старости были устранены. А вместе с ними, конечно...

— Так не забудь, спроси у него насчет пояса,— сказала Фанни.

— А с ними исчезли и все старческие особенности психики. Характер теперь остается на протяжении жизни неизменным.

— ...до темноты успеть сыграть два тура гольфа с препятствиями. Надо лететь.

— Работа, игры — в шестьдесят лет наши силы и склонности те же, что были в семнадцать. В недобрые прежние времена старики отрекались от жизни, уходили от мира в религию, проводили время в чтении, в раздумье — сидели и думали!

«Идиоты, свиньи!» — повторял про себя Бернард, идя по коридору к лифту.

— Теперь же — настолько шагнул прогресс — старые люди работают, совокупляются, беспрестанно развлекаются; сидеть и думать им некогда и недосуг,— а если уж не повезет и в сплошной череде развлечений обнаружится разрыв, расселина, то ведь всегда есть сома, сладчайшая сома: принял полграмма — и получай небольшой сомотдых; принял грамм — нырнул в сомотдых вдвое глубже; два грамма унесут тебя в грезу роскошного Востока, а три умчат к луне на блаженную темную вечность. А возвратясь, окажешься уже на той стороне расселины — и снова ты на твердой и надежной почве ежедневных трудов и утех, снова резво порхаешь от ощущалки к ощущалке, от одной упругой девушки к другой, от электромагнитного гольфа к...

— Уходи, девочка! — прикрикнул Директор сердито. — Уходи, мальчик! Не видите разве, что мешаете его фордейшеству? Найдите себе другое место для эротических игр.

— Бедные детки! — посочувствовал Главноуправитель.

Величаво, медленно, под тихий гул машин, продвигались конвейеры — на тридцать три сантиметра в час. Мерцали в красном сумраке бессчетные рубины.

Глава четвертая

1

Лифт был заполнен мужчинами из альфа-раздевален, и Линайну встретили дружеские, дружные улыбки и кивки. Ее в обществе любили; почти со всеми с ними — с одним раньше, с другим позже — провела она ночь.

Милые ребята, думала она, отвечая на приветствия. Чудные ребята! Жаль только, что Джордж Эдзел лопоух (быть может, ему крошечку лишнего впрыснули гормона паращитовидки на 328-м метре?). А взглянув на Бенито Гувера, она невольно вспомнила, что в раздетом виде он, право, чересчур уж волосат.

Глаза ее чуть погрустнели при мысли о чернокудрявости Гувера, она отвела взгляд — и увидела в углу щуплую фигуру и печальное лицо Бернарда Маркса.

— Бернард! — Она подошла к нему. — А я тебя ищу. — Голос ее раздался звонко, покрывая гуденье скоростного, идущего вверх лифта. Мужчины с любопытством оглянулись.— Я насчет нашей экскурсии в Нью-Мексико.— Уголком глаза она увидела, что Бенито Гувер удивленно открыл рот. «Удивляется, что не с ним горю желанием повторить поездку»,— подумала она с легкой досадой. Затем вслух еще горячей продолжала: — Прямо мечтаю слетать на недельку с тобой в июле. (Как бы ни было, она открыто демонстрирует сейчас, что неверна Генри Фостеру. На радость Фанни — хотя новым партнером будет все же Бернард.) То есть,— Линайна подарила Бернарду самую чарующе-многозначительную из своих улыбок,— если ты меня еще не расхотел.

Бледное лицо Бернарда залилось краской. «С чего он это?» — подумала она, озадаченная и в то же время тронутая этим странным свидетельством силы ее чар.

— Может, нам бы об этом потом, не сейчас,— пробормотал он, запинаясь от смущения.

«Как будто я что-нибудь стыдное сказала,— недоумевала Линайна. — Так сконфузился, точно я позволила себе непристойную шутку — спросила, кто его мать или тому подобное».

— Не здесь, не при всех... — Он смолк, совершенно потерявшись.

Линайна рассмеялась хорошим, искренним смехом.

— Какой же ты потешный! — сказала она, от души веселясь.— Только по крайней мере за неделю предупредишь меня, ладно? — продолжала она, отсмеявшись. — Мы ведь «Синей Тихоокеанской» полетим? Она с Черинг-Тийской башни отправляется? Или из Хэмпстеда?

Не успел еще Бернард ответить, как лифт остановился.

— Крыша! — объявил скрипучий голосок.

Лифт обслуживало обезьяноподобное существо, одетое в черную форменную куртку минус-эпсилон-полукретина.

— Крыша!

Лифтер распахнул дверцы. В глаза ему ударило сиянье погожего летнего дня, он встрепенулся, заморгал.

— О-о, крыша! — повторил он восхищенно. Он как бы очнулся внезапно и радостно от глухой, мертвящей спячки. — Крыша!

Поднявши свое личико к лицам пассажиров, он заулыбался им с каким-то собачьим обожаньем и надеждой. Те вышли из лифта переговариваясь, пересмеиваясь. Лифтер глядел им вслед.

— Крыша? — произнес он вопросительно.

Тут послышался звонок, и с потолка кабины, из динамика, зазвучала команда, очень тихая и очень повелительная:

— Спускайся вниз, спускайся вниз. На девятнадцатый этаж. Спускайся вниз. На девятнадцатый этаж. Спускайся...

Лифтер захлопнул дверцы, нажал кнопку и в тот же миг канул в гудящий сумрак шахты, в сумрак обычной своей спячки.

Тепло и солнечно было на крыше. Успокоительно жужжали пролетающие вертопланы; рокотали ласково и густо ракетопланы, невидимо несущиеся в ярком небе, километрах в десяти над головой. Бернард набрал полную грудь воздуха. Устремил взгляд в небо, затем на голубые горизонты, затем — на Линайну.

— Красота какая! — Голос его слегка дрожал.

Она улыбнулась ему задушевно, понимающе.

— Погода просто идеальная для гольфа,— упоенно молвила она. — А теперь, Бернард, мне надо лететь. Генри сердится, когда я заставляю его ждать. Значит, сообщишь мне заранее о дате поездки.— И, приветно махнув рукой, она побежала по широкой плоской крыше к ангарам. Бернард стоял и глядел, как мелькают, удаляясь, белые чулочки, как проворно разгибаются, сгибаются — раз-два, раз-два — загорелые коленки и плавней, колебательней движутся под темно-зеленым жакетом плисовые, в обтяжку, шорты. На лице Бернарда выражалось страдание.

— Ничего не скажешь, хороша,— раздался за спиной у него громкий и жизнерадостный голос.

Бернард вздрогнул, оглянулся. Над ним сияло красное щекастое лицо Бенито Гувера — буквально лучилось дружелюбием и сердечностью. Бенито славился своим добродушием. О нем говорили, что он мог бы хоть всю жизнь прожить без сомы. Ему не приходилось, как другим, глушить приступы дурного или злого настроения. Для Бенито действительность всегда была солнечна.

— И пневматична жутко! Но послушай,— продолжал Бенито посерьезнев,— у тебя вид какой хмурый! Таблетка сомы, вот что тебе нужно.— Из правого кармана брюк он извлек флакончик. — Сомы грамм — и нету др... Куда ж ты?

Но Бернард, отстранившись, торопливо шагал уже прочь.

Бенито поглядел вслед, подумал озадаченно: «Что это с парнем творится?» — покачал головой и решил, что Бернарду и впрямь, пожалуй, влили спирту в кровезаменитель. «Видно, повредили мозг бедняге».

Он спрятал сому, достал пачку жевательной секс-гормональной резинки, сунул брикетик за щеку и неторопливо двинулся к ангарам, жуя на ходу.

Фостеру выкатили уже из ангара вертоплан, и, когда Линайна подбежала, он сидел в кабине, ожидая. Она села рядом.

— На четыре минуты опоздала,— кратко констатировал Генри. Запустил моторы, включил верхние винты. Машина взмыла вертикально. Генри нажал на акселератор; гуденье винтов из густого шмелиного стало осиным, истончилось затем в комариный писк; тахометр показывал, что скорость подъема равна почти двум километрам в минуту. Лондон шел вниз, уменьшаясь. Еще несколько секунд — и огромные плосковерхие здания обратились в кубистические подобья грибов, торчащих из садовой и парковой зелени. Среди них был гриб повыше и потоньше — это Черинг-Тийская башня взносила на тонкой ноге свою бетонную тарель, блестящую на солнце.

Как дымчатые торсы сказочных атлетов, висели в синих высях сытые громады облаков. Внезапно из облака выпала, жужжа, узкая алого цвета букашка и устремилась вниз.

— «Красная Ракета» прибывает из Нью-Йорка,— сказал Генри. Взглянул на часики, прибавил: — На семь минут запаздывает,— и покачал головой. — Эти атлантические линии возмутительно непунктуальны.

Он снял ногу с акселератора. Шум лопастей понизился на полторы октавы — пропев снова осой, винты загудели шершнем, шмелем, хрущом и, еще басовей, жуком-рогачом. Подъем замедлился; еще мгновенье — и машина повисла в воздухе. Генри двинул от себя рычаг; щелкнуло переключение. Сперва медленно, затем быстрей, быстрей завертелся передний винт и обратился в зыбкий круг. Все резче засвистел в расчалках ветер. Генри следил за стрелкой; когда она коснулась метки «1200», он выключил верхние винты. Теперь машину несла сама уж поступательная тяга.

Линайна глядела в смотровое окно у себя под ногами, в полу. Они пролетали над шестикилометровой парковой зоной, отделяющей Лондон-Центр от первого кольца пригородов-спутников. Зелень кишела копошащимися куцыми фигурками. Между деревьями густо мелькали, поблескивали башенки центробежной лапты. В районе Шепардс-Буш две тысячи бета-минусовых смешанных пар играли в теннис на римановых поверхностях. Не пустовали и корты для эскалаторного хэндбола, с обеих сторон окаймляющие дорогу от Ноттинг-Хилла до Уилсдена. На Илингском стадионе дельты проводили гимнастический парад и праздник песнословия.

— Какой у них гадкий цвет — хаки,— выразила вслух Линайна гипнопедический предрассудок своей касты.

В Хаунслоу на семи с половиной гектарах раскинулась ощущальная киностудия. А неподалеку армия рабочих в хаки и черном обновляла стекловидное покрытие Большой западной магистрали. Как раз в этот момент открыли летку одного из передвижных плавильных тиглей. Слепяще раскаленным ручьем тек по дороге каменный расплав; асбестовые тяжкие катки двигались взад-вперед; бело клубился пар из-под термозащищенной поливальной цистерны.

Целым городком встала навстречу фабрика Телекорпорации в Брентфорде.

— У них, должно быть, сейчас пересменка,— сказала Линайна.

Подобно тлям и муравьям, роились у входов лиственно-зеленые гамма-работницы и черные полукретины — или стояли в очередях к монорельсовым трамваям. Там и сям в толпе мелькали темно-красные бета-минусовики. Кипело движение на крыше главного здания: одни вертопланы садились, другие взлетали.

— А, ей-форду, хорошо, что я не гамма,— проговорила Линайна.

Десятью минутами поздней, приземлившись в Сток-Поджес, они начали уже свой первый круг гольфа с препятствиями.

2

Бернард торопливо шел по крыше, пряча глаза,— если и встречался взглядом с кем-либо, то бегло тут же снова потупляясь. Шел точно за ним погоня и он не хочет видеть преследователей — а вдруг они окажутся еще враждебней даже, чем ему мнится, и тяжелее тогда станет ощущение какой-то вины и еще беспомощнее одиночество.

«Этот несносный Бенито Гувер!» А ведь Гувера не злоба толкала, а добросердечие. Но положение от этого лишь намного хуже. Не желающие зла точно так же причиняют ему боль, как и желающие. Даже Линайна приносит страдание. Он вспомнил те недели робкой нерешительности, когда он глядел издали и тосковал, не отваживаясь подойти. Что, если напорешься на унизительный, презрительный отказ? Но если скажет «да» — какое счастье! И вот Линайна сказала «да», а он по-прежнему несчастлив — несчастлив потому, что она нашла погоду «идеальной для гольфа», что бегом побежала к Генри Фостеру, что он, Бернард, показался ей «потешным» из-за нежелания при всех говорить о самом интимном. Короче, потому несчастен, что она вела себя как всякая здоровая и добродетельная жительница Англии, а не как-то иначе, странно, ненормально.

Он открыл двери своего ангарного отсека и подозвал двух лениво сидящих дельта-минусовиков из обслуживающего персонала, чтобы выкатили вертоплан на крышу. Персонал ангаров составляли близнецы из одной группы Бокановского — все тождественно маленькие, черненькие и безобразненькие. Бернард отдавал им приказания резким, надменным, даже оскорбительным тоном, к какому прибегает человек, не слишком уверенный в своем превосходстве. Иметь дело с членами низших каст было Бернарду всегда мучительно. Правду ли, ложь представляли слухи насчет спирта, по ошибке влитого в его кровезаменитель (а такие ошибки случались), но физические данные у Бернарда едва превышали уровень гаммовика. Бернард был на восемь сантиметров ниже, чем определено стандартом для альф, и соответственно щуплей нормального. При общении с низшими кастами он всякий раз болезненно осознавал свою невзрачность. «Я — это я; уйти бы от себя». Его мучило острое чувство неполноценности. Когда глаза его оказывались вровень с глазами дельтовика (а надо бы сверху вниз глядеть), он неизменно чувствовал себя униженным. Окажет ли ему должное уважение эта тварь? Сомнение его терзало. И не зря. Ибо гаммы, дельты и эпсилоны приучены были в какой-то мере связывать кастовое превосходство с крупнотелостью. Да и во всем обществе чувствовалось некоторое гипнопедическое предубеждение в пользу рослых, крупных. Отсюда смех, которым женщины встречали предложения Бернарда; отсюда шуточки мужчин, его коллег. Вследствие насмешек он ощущал себя чужим, а стало быть, и вел себя как чужой — и этим усугублял предубеждение против себя, усиливал презрение и неприязнь, вызываемые его щуплостью. Что в свою очередь усиливало его чувство одиночества и чуждости. Из боязни наткнуться на неуважение он избегал людей своего круга, а с низшими вел себя преувеличенно гордо. Как жгуче завидовал он таким, как Генри Фостер и Бенито Гувер! Им-то не надо кричать для того, чтобы эпсилон исполнил приказание; для них повиновенье низших каст само собою разумеется; они в системе каст, словно рыбы в воде — настолько дома, в своей уютной, благодетельной стихии, что не ощущают ни ее, ни себя в ней.

С прохладцей, неохотно, как показалось ему, обслуга выкатила вертоплан на крышу.

— Живей!— произнес Бернард раздраженно. Один из близнецов взглянул на него. Не скотская ли издевочка мелькнула в пустом взгляде этих серых глаз?— Живей!— крикнул Бернард с каким-то уже скрежетом в голосе. Влез в кабину и полетел на юг, к Темзе.

Институт технологии чувств помещался в шестидесятиэтажном здании на Флит-стрит. Цокольный и нижний этажи были отданы редакциям и типографиям трех крупнейших лондонских газет — здесь издавались «Ежечасные радиовести» для высших каст, бледно-зеленая «Гамма-газета», а также «Дельта-миррор», выходящая на бумаге цвета хаки и содержащая слова исключительно односложные. В средних двадцати двух этажах находились разнообразные отделы пропаганды: Телевизионной, Ощущальной, Синтетически-голосовой и Синтетически-музыкальной. Над ними помещались исследовательские лаборатории и защищенные от шума кабинеты, где занимались своим тонким делом звукосценаристы и творцы синтетической музыки. На долю института приходились верхние восемнадцать этажей.

Приземлившись на крыше здания, Бернард вышел из кабины.

— Позвоните мистеру Гельмгольцу Уотсону,— велел он дежурному гамме-плюсовику,— скажите ему, что мистер Бернард Маркс ожидает на крыше.

Бернард присел, закурил сигарету.

Звонок застал Гельмгольца Уотсона за рабочим столом.

— Передайте, что я сейчас подымусь,— сказал Гельмгольц и положил трубку. Дописав фразу, он обратился к своей секретарше тем же безлично-деловым тоном:— Будьте так добры прибрать мои бумаги,— и, без внимания оставив ее лучезарную улыбку, энергичным шагом направился к дверям.

Гельмгольц был атлетически сложен, грудь колесом, плечист, массивен, но в движениях быстр и пружинист. Мощную колонну шеи венчала великолепная голова. Темные волосы вились, крупные черты лица отличались выразительностью. Он был красив резкой мужской красотой — настоящий альфа-плюсовик «от темени до пневматических подошв», как говаривала восхищенно секретарша. По профессии он был лектор-преподаватель, работал на институтской кафедре творчества и прирабатывал как технолог-формировщик чувств: сочинял ощущальные киносценарии, сотрудничал в «Ежечасных радиовестях», с удивительной легкостью и ловкостью придумывал гипнопедические стишки и рекламные броские фразы.

«Способный малый,— отзывалось о нем начальство.— Быть может (и тут старшие качали головой, многозначительно понизив голос), немножко даже чересчур способный».

Да, немножко чересчур; правы старшие. Избыток умственных способностей обособил Гельмгольца и привел почти к тому же, к чему привел Бернарда телесный недостаток. Бернарда отгородила от коллег невзрачность, щуплость — и возникшее чувство обособленности (чувство умственно-избыточное, по всем нынешним меркам) в свою очередь стало причиной еще большего разобщения. А Гельмгольца — того талант заставил тревожно ощутить свою особенность и одинокость. Общим у обоих было сознание своей индивидуальности. Но физически неполноценный Бернард всю жизнь страдал от чувства отчужденности, а Гельмгольц совсем лишь недавно, осознав свою избыточную умственную силу, одновременно осознал и свою несхожесть с окружающими. Этот теннисист-чемпион, этот неутомимый любовник (говорили, что за каких-то неполных четыре года он переменил шестьсот сорок девушек), этот деятельнейший член комиссий и душа общества внезапно обнаружил, что спорт, женщины, общественная деятельность служат ему лишь плохонькой

заменой чего-то другого. По-настоящему, глубинно его влечет иное. Но что именно? Вот об этом-то и хотел опять поговорить с ним Бернард — вернее, послушать, что скажет друг,— ибо весь разговор вел неизменно Гельмгольц.

При выходе из лифта Уотсону преградили путь три обворожительные сотрудницы Синтетически-голосового отдела.

— Ах, душка Гельмгольц, пожалуйста, поедем с нами в Эксмур на ужин-пикничок,— стали они умоляюще льнуть к нему.

— Нет-нет,— покачал он головой, пробиваясь сквозь девичий заслон.

— Мы только тебя одного приглашаем!

Но даже эта заманчивая перспектива не поколебала Гельмгольца.

— Нет,— повторил он, решительно шагая.— Я занят.

Но девушки шли следом. Он сел в кабину к Бернарду, захлопнул дверцу. Вдогонку Гельмгольцу полетели прощальные укоры.

— Ох, эти женщины!— сказал он, когда машина поднялась в воздух.— Ох, эти женщины! — И покачал опять головой, нахмурился.— Беда прямо.

— Спасенья нет,— поддакнул Бернард, а сам подумал: «Мне бы иметь столько девушек и так запросто». Ему неудержимо захотелось похвастаться перед Гельмгольцем.— Я беру Линайну Краун с собой в Нью-Мексико,— сказал он как можно небрежней.

— Неужели?— произнес Гельмгольц без всякого интереса. И продолжал после небольшой паузы:— Вот уже недели две как я отставил все свидания и заседания. Ты не представляешь, какой из-за этого поднят шум в институте. Но игра, по-моему, стоит свеч. В результате...— Он помедлил.— Необычный получается результат, весьма необычный.

Телесный недостаток может повести к своего рода умственному избытку. Но получается, что и наоборот бывает. Умственный избыток может вызвать в человеке сознательную, целенаправленную слепоту и глухоту умышленного одиночества, искусственную холодность аскетизма.

Остаток краткого пути они летели молча. Потом, удобно расположась на пневматических диванах в комнате у Бернарда, они продолжили разговор.

— Приходилось ли тебе ощущать,— очень медленно заговорил Гельмгольц,— будто у тебя внутри что-то такое есть и просится на волю, хочет проявиться? Будто некая особенная сила пропадает в тебе попусту — вроде как река стекает вхолостую, а могла бы вертеть турбины.— Он вопросительно взглянул на Бернарда.

— Ты имеешь в виду те эмоции, которые можно было бы перечувствовать при ином образе жизни?

Гельмгольц отрицательно мотнул головой.

— Не совсем. Я о странном ощущении, которое бывает иногда,— будто мне дано что-то важное сказать и дана способность выразить это что-то, но только не знаю, что именно, и способность моя пропадает без пользы. Если бы по-другому писать или о другом о чем-то...— Он надолго умолк.— Видишь ли,— произнес он наконец,— я ловок придумывать фразы, слова, заставляющие встрепенуться, как от резкого укола,— такие внешне новые и будоражащие, хотя содержание у них гипнопедически-банальное. Но этого мне как-то мало. Мало, чтобы фразы были хороши; надо, чтобы целость, суть значительна была и хороша.

— Но, Гельмгольц, вещи твои и в целом хороши.

Гельмгольц пожал плечами.

— Для своего масштаба. Но масштаб-то у них крайне мелкий. Маловажные я даю вещи. А чувствую, что способен дать гораздо более значительное что-то. И более глубокое, взволнованное. Но

что? Есть ли у нас темы более значительные? А то, о чем пишу,— может ли оно меня взволновать? При правильном их применении слова способны быть всепроникающими, как рентгеновы лучи. Прочтешь — и ты уже пронизан и пронзен. Вот этому я и стараюсь, среди прочего, научить моих студентов — искусству всепронизывающего слова. Но на кой нужна пронзительность статье об очередном фордослужении или о новейших усовершенствованиях в запаховой музыке? Да и можно ли найти слова по-настоящему пронзительные — подобные, понимаешь ли, самым жестким рентгеновским лучам,— когда пишешь на такие темы? Можно ли сказать нечто, когда перед тобой ничто? Вот к чему в конце концов сводится дело. Я стараюсь, силюсь...

— Тшш!— произнес вдруг Бернард и предостерегающе поднял палец.— Кто-то там, по-моему, за дверью,— прошептал он.

Гельмгольц встал, на цыпочках подошел к двери и распахнул ее рывком. Разумеется, никого там не оказалось.

— Прости,— сказал Бернард виновато, с глупо-сконфуженным видом.— Должно быть, нервы расшатались. Когда человек окружен недоверием, то начинает сам не доверять.

Он провел ладонью по глазам, вздохнул, голос его звучал горестно. Он продолжал оправдываться.

— Если бы ты знал, что я перетерпел за последнее время,— сказал он почти со слезами. На него нахлынула, его затопила волна жалости к себе.— Если бы ты только знал!

Гельмгольц слушал с каким-то чувством неловкости. Жалко ему было бедняжку Бернарда. Но в то же время и стыдновато за друга. Не мешало бы Бернарду иметь немного больше самоуважения.

Глава пятая

1

К восьми часам стало смеркаться. Из рупоров на башне Гольф-клуба зазвучал синтетический тенор, оповещая о закрытии площадок. Линайна и Генри прекратили игру и направились к домам клуба. Из-за ограды Треста внутренней и внешней секреции слышалось тысячеголосое мычание скота, чье молоко и чьи гормоны шли основным сырьем на большую фабрику в Фарнем-Ройал.

Непрестанный вертопланный гул полнил сумерки. Через каждые две с половиной минуты раздавался звонок отправления и сиплый гудок монорельсовой электрички — это низшие касты возвращались домой в столицу со своих игровых полей.

Линайна и Генри сели в машину, взлетели. На двухсотметровой высоте Генри убавил скорость, и минуту-две они висели над меркнущим ландшафтом. Как налитая мраком заводь, простирался внизу лес от Бернам-Бичез к ярким западным небесным берегам. На горизонте там рдела последняя малиновая полоса заката, а выше небо тускнело — от оранжевых через желтые переходя к водянистым бледно-зеленым тонам. Правей, к северу, электрически сияла над деревьями фарнам-ройальская фабрика, свирепо сверкала всеми окнами своих двадцати этажей. Прямо под ногами виднелись строения Гольф-клуба — обширные, казарменного вида, постройки для низших каст и, за разделяющей стеной, дома поменьше, для альф и для бет. На подходах к моновокзалу черно было от муравьиного кишенья низших каст. Из-под стеклянного свода вынесся на темную равнину освещенный поезд. Проводив его к юго-востоку, взгляд затем уперся в здания-махины Слауского крематория. Для безопасности ночных полетов четыре высоченные дымовые трубы подсвечены были прожекторами, а верхушки обозначены багряными сигнальными огнями. Крематорий высился, как веха.

— Зачем эти трубы обхвачены как бы балкончиками? — спросила Линайна.

— Фосфор улавливать,— лаконично стал объяснять Генри.— Поднимаясь по трубе, газы проходят четыре разных обработки. Раньше при кремации пятиокись фосфора выходила из кругооборота жизни. Теперь же более девяноста восьми процентов пятиокиси улавливается. Что позволяет ежегодно получать без малого четыреста тонн фосфора от одной только Англии.— В голосе Генри было торжество и гордость, он радовался этому достижению всем сердцем, точно своему собственному.— Как приятно знать, что и после смерти мы продолжаем быть общественно полезными. Способствуем росту растений.

Линайна между тем перевела взгляд ниже, туда, где виден был моновокзал.

— Приятно,— кивнула она.— Но странно, что от альф и бет растения растут не лучше, чем от этих противненьких гамм, дельт и эпсилонов, что копошатся вон там.

— Все люди в физико-химическом отношении равны,— нравоучительно сказал Генри.— Притом даже эпсилоны выполняют необходимые функции.

«Даже эпсилоны»... Линайна вдруг вспомнила, как она, младшеклассница тогда, проснулась за полночь однажды и впервые услыхала наяву шепот, звучавший все ночи во сне. Лунный луч, шеренга белых кроваток; тихий голос произносит вкрадчиво (слова те, после стольких повторений, остались незабыты, сделались незабываемы): «Каждый трудится для всех других. Каждый нам необходим. Даже от эпсилонов польза. Мы не смогли бы обойтись без эпсилонов. Каждый трудится для всех других. Каждый нам необходим...» Линайна вспомнила, как она удивилась сразу, испугалась; как полчаса не спала и думала, думала; как под действием этих бесконечных повторений мозг ее успокаивался постепенно, плавно — и наползал, заволакивал сон...

— Наверно, эпсилона и не огорчает, что он эпсилон,— сказала она вслух.

— Разумеется, нет. С чего им огорчаться? Они же не знают, что такое быть неэпсилоном. Мы-то, конечно, огорчались бы. Но ведь у нас психика иначе сформирована. И наследственность у нас другая.

— А хорошо, что я не эпсилон,— сказала Линайна с глубоким убеждением.

— А была бы эпсилоном,— сказал Генри,— и благодаря воспитанию точно так же радовалась бы, что ты не бета и не альфа.

Он включил передний винт и направил машину к Лондону. За спиной, на западе, почти уже угасла малиновая с оранжевым заря; по небосклону в зенит всползла темная облачная гряда. Когда пролетали над крематорием, вертоплан подхватило потоком горячего газа из труб и тут же снова опустило прохладным нисходящим током окружающего воздуха.

— Чудесно колыхнуло, прямо как на американских горках,— засмеялась Линайна от удовольствия.

— А отчего колыхнуло, знаешь? — произнес Генри почти с печалью.— Это окончательно, бесповоротно испарялась человеческая особь. Уходила вверх газовой горячей струей. Любопытно бы знать, кто это сгорал — мужчина или женщина, альфа или эпсилон?..— Он вздохнул. Затем решительно и бодро кончил мысль: — Во всяком случае, можем быть уверены в одном: кто б ни был тот человек, жизнь он прожил счастливую. Теперь каждый счастлив.

— Да, теперь каждый счастлив,— эхом откликнулась Линайна. Эту фразу им повторяли по сто пятьдесят раз еженощно в течение двенадцати лет.

Приземлясь в Вестминстере на крыше сорокаэтажного жилого дома, где проживал Генри, они спустились прямиком в столовый зал. Отлично там поужинали в веселой и шумной компании. К кофе подали им сому. Линайна приняла две полуграммовых таблетки, а Генри — три. В двадцать минут десятого они направились через улицу в Вестминстерское аббатство — в новооткрытое там кабаре. Небо почти расчистилось; настала ночь, безлунная и звездная; но этого, в сущности, удручающего факта Линайна и Генри, к счастью, не заметили. Космическая тьма не видна была за световой рекламой. «КЭЛВИН СТОУПС И ЕГО ШЕСТНАДЦАТЬ СЕКСОФОНИСТОВ» — зазывно горели гигантские буквы на фасаде обновленного аббатства. «ЛУЧШИЙ В ЛОНДОНЕ ЦВЕТОЗАПАХОВЫЙ ОРГАН. ВСЯ НОВЕЙШАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ МУЗЫКА».

Они вошли. На них дохнуло теплом и душным ароматом амбры и сандала. На купольном своде аббатства цветовой орган в эту минуту рисовал тропический закат. Шестнадцать сексофонистов исполняли номер, давно всеми любимый: «Обшарьте целый свет — такой бутыли нет, как милая бутыль моя». На лощеном полу двигались в файв-степе четыреста пар. Линайна с Генри тут же составили четыреста первую. Как мелодичные коты под луной, взвывали сексофоны, стонали в альтовом и теноровом регистрах, точно в смертной муке любви. Изобилуя обертонами, их вибрирующий хор рос, возносился к кульминации, звучал все громче, громче — и наконец, по взмаху руки дирижера, грянула финальная сверхчеловеческая, неземная нота, отбросивши в небытие шестнадцать дудящих людишек,— грянул гром в ля бемоль мажоре. Затем, почти что в бездыханности, почти что в темноте, последовало плавное спадание, диминуэндо — медленное, четвертями тона, нисхожденье в доминантовый аккорд, нескончаемо и тихо шепчущий поверх биенья ритма (в размере $^{5}/_{4}$) и наполняющий секунды напряженным ожиданием. И вот томленье разрешилось, взорвалось, брызнуло солнечным восходом, и все шестнадцать заголосили:

Бутыль моя, зачем нас разлучили?
Укупорюсь опять в моей бутыли.
Там вечная весна, небес голубизна,
Лазурное блаженство забытья.
Обшарьте целый свет — такой бутыли нет,
Как милая бутыль моя.

Линайна и Генри замысловато двигались по кругу вместе с остальными четырьмястами парами — и в то же время пребывали в другом мире, в теплом, роскошно цветном, бесконечно радушном, праздничном мире сомы. Как добры, как хороши собой, как восхитительно-забавны все вокруг! «Бутыль моя, зачем нас разлучили?..» Но для Линайны и для Генри разлука эта кончилась... Они уже укупорились наглухо, надежно — вернулись под ясные небеса, в лазурное забытье. Изнемогшие шестнадцать положили свои сексофоны, и аппарат синтетической музыки вступил самоновейшим медленным мальтузианским блюзом,— и колыхало, баюкало Генри с Линайной, словно пару эмбрионов-близнецов на обутыленных волнах кровезаменителя.

— Спокойной ночи, дорогие друзья. Спокойной ночи, дорогие друзья,— стали прощаться репродукторы, смягчая приказ музыкальной и милой учтивостью тона.— Спокойной ночи, дорогие...

Послушно, вместе со всеми остальными, Линайна и Генри покинули Вестминстерское аббатство. Угнетающе-дальние звезды уже переместились в небесах на порядочный угол. Но хотя завеса рекламных огней поредела, Линайна с Генри по-прежнему блаженно не замечали ночи.

Повторная доза сомы, проглоченная за полчаса перед окончанием танцев, отгородила молодую пару и вовсе уж непроницаемой стеной от реального мира. Укупоренные, пересекли они улицу; укупоренные, поднялись к себе на двадцать девятый этаж. И однако, несмотря на укупоренность и на второй грамм сомы, Линайна не забыла принять все предписанные правилами противозачаточные меры. Годы интенсивной гипнопедии в сочетании с мальтузианским тренажем, проводимым трижды в неделю с двенадцати до семнадцати лет, выработали в Линайне навык, почти такой же автоматический, непроизвольный, как мигание.

— Да, кстати,— сказала она, вернувшись из ванной,— Фанни Краун интересуется, где ты раздобыл этот мой прелестный синсафьянный патронташ.

2

Раз в две недели, по четвергам, Бернарду положено было участвовать в сходке единения. В день сходки, перед вечером, он пообедал с Гельмгольцем в «Афродитеуме» (куда Гельмгольца недавно приняли, согласно второму параграфу клубного устава), затем простился с другом, сел на крыше в вертакси и велел пилоту лететь в Фордзоновский дворец фордослужений. Поднявшись метров на триста, вертоплан понесся к востоку, и на развороте предстала глазам Бернарда великолепная громадина дворца. В прожекторной подсветке снежно сиял на Ладгейтском холме фасад «Фордзона» — триста двадцать метров искусственного белого каррарского мрамора; по четырем углам взлетно-посадочной площадки рдели в вечернем небе гигантские знаки Т, а из двадцати четырех огромных золотых труб-рупоров лилась, рокоча, торжественная синтетическая музыка.

— Опаздываю, форд побери,— пробормотал Бернард, увидев циферблат «Большого Генри» на дворцовой башне. И в самом деле, не успел он расплатиться с таксистом, как зазвучали куранты.

— Форд,— бухнул густейший бас из золотых раструбов.— Форд, форд, форд...— и так девять раз. Бернард поспешил к лифту.

В нижнем этаже дворца — грандиозный актовый зал для празднований Дня Форда и других массовых фордослужений. А над залом — по сотне на этаж — семь тысяч помещений, где группы единения проводят дважды в месяц свои сходки. Бернард мигом спустился на тридцать четвертый этаж, пробежал коридор, приостановился перед дверью № 3210 и, собравшись с духом, открыл ее, вошел.

Слава Форду, не все еще в сборе. Три стула из двенадцати, расставленных по окружности широкого стола, еще не заняты. Он поскорей, понезаметней сел на ближайший и приготовился встретить тех, кто придет еще позже, укоризненным качаньем головы.

— Ты сегодня в какой гольф играл — с препятствиями или в электромагнитный? — повернувшись к нему, спросила соседка слева.

Бернард взглянул на нее (Господи Форде! Это Моргана Ротшильд) и, краснея, признался, что не играл ни в какой. Моргана раскрыла глаза изумленно. Наступило неловкое молчание.

Затем Моргана подчеркнуто повернулась к своему соседу слева, не уклоняющемуся от спорта.

«Хорошенькое начало для сходки»,— горько подумал Бернард, предчувствуя уже свою очередную неудачу — неполноту единения. Оглядеться надо было прежде, чем кидаться к стулу! Ведь можно же было сесть между Фифи Брэдлоо и Джоанной Дизель. А вместо этого он слепо сунулся к Моргане. К Моргане! О господи! Эти черные ее бровищи — вернее, одна слитная бровища, потому что брови срослись над переносицей. Господи Форде! А справа — Клара Детердинг. Допустим, что у нее брови не срослись. Но Клара уж чересчур, чрезмерно пневматична. А вот Джоанна и Фифи — абсолютно в меру.

Тугие блондиночки, не слишком крупные. И уже уселся между ними Том Кавагучи, верзила этот косолапый.

Последней пришла Сароджини Энгл.з.

— Ты опоздала,— сурово сказал председатель группы.— Прошу, чтобы это не повторялось больше.

Сароджини извинилась и тихонько села между Джимом Бокановским и Гербертом Бакуниным. Теперь состав был полон, круг единения сомкнут и целостен. Мужчина, женщина, мужчина, женщина — чередованье это шло по всему кольцу. Двенадцать сопричастников, чающих единения, готовых слить, сплавить, растворить свои двенадцать раздельных особей в общем большом организме.

Председатель встал, осенил себя знаком Т и включил синтетическую музыку — квазидуховой и суперструнный ансамбль, щемяще повторяющий, под неустанное, негромкое биенье барабанов, колдовски-неотвязную короткую мелодию Первой Песни единения. Опять, опять, опять — и не в ушах уже звучал этот пульсирующий ритм, а под сердцем где-то; звон и стон созвучий не головой воспринимались, а всем сжимающимся нутром.

Председатель снова сотворил знаменье Т и сел. Фордослужение началось. В центре стола лежали освященные таблетки сомы. Из рук в руки передавалась круговая чаша клубничной сомовой воды с мороженым, и, произнеся: «Пью за мое растворение», каждый из двенадцати в свой черед осушил эту чашу. Затем, под звуки синтетического ансамбля, пропели Первую Песнь единения:

Двенадцать воедино слей,
Сбери нас, Форд, в поток единый,
Чтоб понесло нас, как твоей
Сияющей автомашиной...

Двенадцать зовущих к слиянию строф. Затем настало время пить по второй. Теперь тост гласил: «Пью за Великий Организм». Чаша обошла круг. Не умолкая, играла музыка. Били барабаны. От звенящих, стенящих созвучий замирало, млело, таяло нутро. Пропели Вторую Песнь единения, двенадцать куплетов опять:

Приди, Великий Организм,
И растворй в себе двенадцать.
Большая, слившаяся жизнь
Должна со смерти лишь начаться.

Сома стала уже оказывать свое действие. Заблестели глаза, разрумянились щеки, внутренним светом вселюбия и доброты озарились лица и заулыбались счастливо, сердечно. Даже Бернард и тот ощутил некоторое размягчение. Когда Моргана Ротшильд взглянула на него, лучась улыбкой, он улыбнулся в ответ как только мог лучисто. Но эта бровь черная сплошная бровь — увы, бровища не исчезла; он не мог, не мог отвлечься от нее, как ни старался. Размягчение оказалось недостаточным. Возможно, если бы он сидел между Джоанной и Фифи... По третьей стали пить. «Пью за близость Его Пришествия»,— объявила Моргана, чья очередь была пускать чашу по кругу. Объявила громко, ликующе. Выпила и передала Бернарду. «Пью за близость Его Пришествия»,— повторил он, искренне усиливаясь ощутить близость Высшего Организма; но бровища чернела неотступно, и для Бернарда Пришествие оставалось до ужаса неблизким. Он выпил, передал чашу Кларе Детердинг. «Опять не сольюсь,— подумал.— Уж точно не сольюсь». Но продолжал изо всех сил улыбаться лучезарно.

Чаша пошла по кругу. Председатель поднял руку, и по ее взмаху запели хором Третью Песнь единения:

Его Пришествие заслышав,
Истай, восторга не тая!

В Великом Организме Высшем
Я — это ты, ты — это я.

Строфа следовала за строфой, и голоса звучали все взволнованней. Воздух наэлектризованно вибрировал от близости Пришествия. Председатель выключил оркестр, и за финальной нотой финальной строфы настала полная тишина — тишь напрягшегося ожидания, дрожью, мурашками, морозом подирающего по спине. Председатель протянул руку; и внезапно Голос, глубокий звучный Голос — музыкальней всякого человеческого голоса, гуще, задушевней, богаче трепетной любовью и томлением и жалостью,— таинственный, чудесный, сверхъестественный Голос раздался над их головами. «О Форд, Форд, Форд»,— очень медленно произносил он, постепенно понижаясь, убывая. Сладостно растекалась в слушателях теплота — от солнечного сплетения к затылку и кончикам пальцев рук, ног; слезы подступали; сердце, все нутро взмывало и ворочалось. «О Форд!» — они истаивали; «Форд!» — растворялись, растворялись. И тут внезапно и ошеломительно:

— Слушайте! — трубно воззвал Голос.— Слушайте!

Они прислушались. Пауза — и Голос сник до шепота, но шепота, который потрясал сильнее вопля:

— Шаги Высшего Организма...

И опять:

— Шаги Высшего Организма...

И совсем уж замирая:

— Шаги Высшего Организма слышны на ступенях.

И вновь настала тишина; и напряженье ожидания, на миг ослабшее, опять возросло, натянулось почти до предела. Шаги Высшего Организма — о, их слышно, их слышно теперь, они тихо звучат на ступенях, близясь, близясь, сходя по невидимым этим ступеням. Шаги Высшего, Великого... И напряжение зашло внезапно за предел. Расширив зрачки, раскрыв губы, Моргана Ротшильд поднялась рывком.

— Я слышу его,— закричала она.— Слышу!

— Он идет,— крикнула Сароджини.

— Да, он идет. Я слышу.— Фифи Брэдлоо и Том Кавагучи вскочили одновременно.

— О, о, о! — нечленораздельно возгласила Джоанна.

— Он близится! — завопил Джим Бокановский.

Подавшись вперед, председатель нажал кнопку, и ворвался бедлам медных труб и тарелок, исступленный бой тамтамов.

— Близится! Ай! — визгнула, точно ее режут, Клара Детердинг.

Чувствуя, что пора и ему проявить себя, Бернард тоже вскочил и воскликнул:

— Я слышу, он близится.

Неправда. Ничего он не слышал, и к нему никто не близился. Никто — невзирая на музыку, несмотря на растущее вокруг возбуждение. Но Бернард взмахивал руками, Бернард кричал, не отставая от других; и когда те начали приплясывать, притопывать, пришаркивать, то и он затанцевал и затоптался.

Хороводом пошли они по кругу, каждый положив руки на бедра идущему перед ним, каждый восклицая и притопывая в такт музыке, отбивая, отбивая этот такт на ягодицах впереди идущего; закружили, закружили хороводом, хлопая гулко и все как один — двенадцать пар ладоней по двенадцати плотным задам. Двенадцать как один, двенадцать как один. «Я слышу, слышу, он идет». Темп музыки ускорился; быстрее затопали ноги, быстрей, быстрей забили ритм ладони. И тут мощный синтетический бас зарокотал, возвещая наступленье единения, финальное слияние Двенадцати в Одно, в осу-

ществленный, воплощенный Высший Организм. «Пей-гу-ляй-гу»,— запел бас под ярые удары тамтамов:

Пей-гу-ляй-гу, веселись,
Друг-подруга единись.
Слиться нас Господь зовет,
Обновиться нам дает.

— Пей-гу-ляй-гу, ве-се-лись,— подхватили пляшущие литургический запев,— друг-по-дру-га, е-ди-нись...

Освещение начало медленно меркнуть — но в то же время теплеть, делаться краснее, рдяней,— и вот уже они пляшут в вишневом сумраке Эмбрионария. «Пей-гу-ляй-гу...» В своем бутыльном, кровяного цвета мраке плясуны двигались вкруговую, отбивая, отбивая неустанно такт. «Ве-се-лись...» Затем хоровод дрогнул, распался, разделился, пары опустились на диваны, образующие внешнее кольцо вокруг стола и стульев. «Друг-по-дру-га...» Густо, нежно, задушевно ворковал могучий Голос; словно громадный негритянский голубь в красном сумраке благодетельно парил над лежащими теперь попарно плясунами.

Они стояли на крыше; «Большой Генри» только что проблаговестил одиннадцать. Ночь наступила тихая и теплая.

— Как дивно было! — сказала Фифи Брэдлоо, обращаясь к Бернарду.— Ну просто дивно!

Взгляд ее сиял восторгом, но в восторге этом не было ни следа волнения, возбуждения — ибо где полная удовлетворенность, там возбуждения уже нет. Восторг ее был тихим экстазом осуществленного слияния — покой не пустоты, не серой сытости, а покой гармонии, покой жизненных энергий, приведенных в равновесие. Покой обогащенной, обновленной жизни. Ибо сходка единения не только лишь взяла, но и дала — опустошила для того лишь, чтобы наполнить. Фифи всю, казалось, наполняло силами и совершенством; слиянье для нее еще длилось.

— Ведь правда же дивно? — не унималась она, устремив на Бернарда эти свои сверхъестественно сияющие глаза.

— Да, именно дивно,— солгал он, глядя в сторону; ее преображенное лицо было ему и обвинением, и насмешливым напоминанием о его собственной неслиянности.

Бернард был сейчас все так же тоскливо отъединен от прочих, как и в начале сходки — еще даже горше обособлен, ибо опустошен, но не наполнен — сыт, но мертвой сытостью. Оторван и далек в то время, когда другие растворялись в Высшем Организме; одинок даже в объятиях Морганы — одинок, как еще никогда в жизни, и безнадежней прежнего замурован в себе. Из вишневого сумрака в мир обычных электрических огней Бернард вышел с чувством отчужденности, обратившимся в настоящую муку. Он был до крайности несчастен, и возможно (в том обвиняло сиянье глаз Фифи) — возможно, по своей же собственной вине.

— Именно дивно,— повторил он; но маячило в его мозгу по-прежнему одно — бровь Морганы.

Глава шестая

1

Чудно́й, чудно́й, чудно́й — такое сложилось у Линайны мнение о Бернарде. Чудной настолько, что в последовавшие затем недели она не раз подумывала: а не отменить ли поездку в Нью-Мексико и не слетать ли взамен с Бенито Гувером на Северный полюс? Но

только была она уже на полюсе — недавно, прошлым летом, с Джорджем Эдзелом,— и безотрадно оказалось там. Заняться нечем, отель до жути устарелый — спальни без телевизоров, и запахового орга́на нет, а только самая наидряннейшая синмузыка, и всего-навсего двадцать пять эскалаторных кортов на двести с лишним отдыхающих. Нет, снова на полюс — брр! Притом она разочек только летала в Америку. И то на два лишь дня, на уик-энд. Дешевая экскурсия в Нью-Йорк с Жан-Жаком Хабибуллой или с Бокановским Джонсом? Забыла уже. Да и какая разница? А полететь туда теперь на целую неделю — так заманчиво! Да к тому же из этой недели три дня, если не больше, провести в индейской резервации! Во всем их Центре лишь человек пять-шесть побывали в диких заповедниках. А Бернард как психолог-высшекастовик имеет право на пропуск к дикарям — среди ее знакомых чуть ли не единственный с таким правом. Так что случай из ряда вон. Но и странности у Бернарда настолько из ряда вон, что Линайна всерьез колебалась — не пренебречь ли этой редкостной возможностью и не махнуть ли все-таки на полюс с волосатеньким Бенито? По крайней мере Бенито нормален. А вот Бернард...

Для Фанни-то все его чудаковатости объяснялись одним — добавкой спирта в кровезаменитель. Но Генри, с которым Линайна как-то вечером в постели озабоченно стала обсуждать своего нового партнера,— Генри сравнил бедняжку Бернарда с носорогом.

— Носорога не выдрессируешь,— пояснил Генри в своей лаконично-энергичной манере.— Бывают и среди людей почти что носороги; формировке поддаются весьма туго. Бернард из таких горемык. Счастье его, что он работник неплохой. Иначе Директор давно бы с ним распростился. А впрочем,— прибавил Генри в утешение,— он, по-моему, вреда не причинит.

Вреда-то, может, и не причинит; но беспокойство очень даже причиняет. Взять хотя бы эту его манию уединяться, удаляться от общества. Ну чем можно заняться, уединясь вдвоем? (Не считая секса, разумеется,— но невозможно же заниматься все время только этим.) Ну правда, чем заняться, уйдя от общества? Да практически нечем. День, который они впервые проводили вместе, выдался особенно хороший. Линайна предложила поплавать в бассейне Торкийского пляжного клуба и затем пообедать в «Оксфорд-юнионе». Но Бернард возразил, что и в Торки [1], и в Оксфорде будет слишком людно.

— Ну тогда в Сент-Андрус [2], поиграем там в электромагнитный гольф.

Но опять не хочет Бернард: не стоит, видите ли, на гольф тратить время.

— А на что же его тратить? — спросила Линайна не без удивления.

На пешие, видите ли, прогулки по Озерному краю [3] — именно это предложил Бернард. Приземлиться на вершине горы Скидо и побродить по вересковым пустошам.

— Вдвоем с тобой, Линайна.

— Но, Бернард, мы всю ночь будем вдвоем.

Бернард покраснел, опустил глаза.

— Я хочу сказать — побродим, поговорим вдвоем,— пробормотал он.

— Поговорим? Но о чем?

Бродить и говорить — разве так проводят люди день?

В конце концов она убедила Бернарда, как тот ни упирался, сле-

---

[1] Город на южном побережье Англии.
[2] Город на восточном побережье Шотландии.
[3] Живописная местность на севере Англии.

тать в Амстердам на четвертьфинал чемпионата по борьбе среди женщин-тяжеловесов.

— Опять в толпу,— ворчал Бернард.— Вечно в толпе.

И до самого вечера хмурился упрямо; не вступал в разговоры с друзьями Линайны, которых они встречали множество в баре «Сомороженое» в перерывах между схватками; и наотрез отказался полечить свою хандру сомовой водой с малиновым пломбиром, как ни убеждала Линайна.

— Предпочитаю быть самим собой,— сказал он.— Пусть хмурым, но собой. А не кем-то другим, хоть и развеселым.

— Дорога таблетка к невеселому дню,— блеснула Линайна перлом мудрости, усвоенной во сне.

Бернард с досадой оттолкнул протянутый фужер (полграмма сомы в сливочно-малиновом растворе).

— Не надо раздражаться,— сказала Линайна.— Помни: «Сому ам! — и нету драм».

— Замолчи ты, ради Форда!— воскликнул Бернард.

Линайна пожала плечами.

— Лучше полграмма, чем ругань и драма,— возразила она с достоинством и выпила фужер сама.

На обратном пути через Ла-Манш Бернард из упрямства выключил передний винт, и вертоплан повис всего метрах в тридцати над волнами. Погода стала уже портиться; подул с юго-запада ветер, небо заволоклось.

— Гляди,— сказал он повелительно Линайне.

Линайна поглядела и отшатнулась от окна:

— Но там ведь ужас!

Ее устрашила ветровая пустыня ночи, черная вздымающаяся внизу вода в клочьях пены, бледный, смятенный, чахлый лик луны среди бегущих облаков.

— Включим радио. Скорей! — Она потянулась к щитку управления, к ручке приемника, повернула ее наудачу.

— «...Там вечная весна,— запели, тремолируя, шестнадцать фальцетов,— небес голубиз...»

Ик! — щелкнуло и пресекло руладу. Это Бернард выключил приемник.

— Я хочу спокойно глядеть на море,— сказал он.— А этот тошный вой даже глядеть мешает.

— Но они очаровательно поют. И я не хочу глядеть.

— А я хочу,— не уступал Бернард.— От моря у меня такое чувство...— Он помедлил, поискал слова.— Я как бы становлюсь более собой. Понимаешь, самим собой, не вовсе без остатка подчиненным чему-то. Не просто клеточкой, частицей общественного целого. А на тебя, Линайна, неужели не действует море?

Но Линайна повторяла со слезами:

— Там ведь ужас, там ужас. И как ты можешь говорить, что не желаешь быть частицей общественного целого! Ведь каждый трудится для всех других. Каждый нам необходим. Даже от эпсилонов...

— Знаю, знаю,— сказал Бернард насмешливо.— «Даже от эпсилонов польза». И даже от меня. Но чихал я на эту пользу!

Линайну ошеломило услышанное фордохульство.

— Бернард! — воскликнула она изумленно и горестно.— Как это ты можешь?

— Как это могу я? — Он говорил уже спокойней, задумчивей.— Нет, по-настоящему спросить бы надо: «Как это я не могу?», или вернее — я ведь отлично знаю, отчего я не могу,—«А что, если бы я мог, если б я был свободен, а не сформован по-рабьи?»

— Но, Бернард, ты говоришь ужаснейшие вещи.

— А ты бы разве не хотела быть свободной?

— Не знаю, о чем ты говоришь. Я и так свободна. Свободна веселиться, наслаждаться. Теперь каждый счастлив.

— Да,— засмеялся Бернард.— «Теперь каждый счастлив». Мы вдалбливаем это детям, начиная с пяти лет. Но разве не манит тебя другая свобода — свобода быть счастливой как-то по-иному? Как-то, скажем, по-своему, а не на общий образец?

— Не знаю, о чем ты,— повторила она и повернувшись к нему:— О Бернард, летим дальше!— сказала умоляюще Линайна.— Мне здесь невыносимо.

— Разве ты не хочешь быть со мной?

— Да хочу же! Но не среди этого ужаса.

— Я думал, здесь... думал, мы сделаемся ближе друг другу — здесь, где только море и луна. Ближе, чем в той толпе, чем даже дома у меня. Неужели тебе не понять?

— Ничего не понять мне,— решительно сказала она, утверждаясь в своем непонимании.— Ничего. И непонятней всего,— продолжала она мягче,— почему ты не примешь сому, когда у тебя приступ этих мерзких мыслей. Ты бы забыл о них тут же. И не тосковал бы, а веселился. Со мною вместе.— И сквозь тревогу и недоумение она улыбнулась, делая свою улыбку чувственной, призывной, обольстительной.

Он молча и очень серьезно смотрел на нее, не отвечая на призыв,— смотрел пристально. И через несколько секунд Линайна дрогнула и отвела глаза с неловким смешком; хотела замять неловкость и не нашлась, что сказать. Пауза тягостно затянулась.

Наконец Бернард заговорил — тихо и устало.

— Ну, ладно,— произнес он,— летим дальше.— И, выжав педаль акселератора, послал машину резко ввысь. На километровой высоте он включил передний винт. Минуты две они летели молча. Затем Бернард неожиданно начал смеяться. По-чудному как-то, подумалось Линайне,— но все же засмеялся.

— Лучше стало? — рискнула она спросить.

Вместо ответа он снял одну руку со штурвала и обнял ее этой рукой, нежно поглаживая груди.

«Слава Форду,— подумала она,— вернулся в норму».

Еще полчаса — и они уже в квартире Бернарда. Он проглотил сразу четыре таблетки сомы, включил телевизор и радио и стал раздеваться.

— Ну как? — спросила Линайна многозначительно-лукаво, когда назавтра они встретились под вечер на крыше.— Ведь славно же было вчера?

Бернард кивнул. Они сели в машину. Вертоплан дернулся, взлетел.

— Все говорят, что я ужасно пневматична,— задумчивым тоном сказала Линайна, похлопывая себя по бедрам.

— Ужасно,— подтвердил Бернард. Но в глазах его мелькнула боль. «Будто о куске мяса говорят»,— подумал он.

Линайна поглядела на него с некоторой тревогой.

— А не кажется тебе, что я чересчур полненькая?

— Нет,— успокоительно качнул он головой. («Будто о куске мяса...»)

— Я ведь как раз в меру?

Бернард кивнул.

— По всем статьям хороша?

— Абсолютно по всем,— заверил он. И подумал: «Она и сама так на себя смотрит. Ей не обидно быть куском мяса».

Линайна улыбнулась торжествующе. Но, как оказалось, прежде времени.

— А все же,— продолжал он помолчав,— пусть бы кончилось у нас вчера по-другому.

— По-другому? (А какие другие бывают концы?)

— Я не хотел, чтобы кончилось у нас вчера постелью,— уточнил он.

Линайна удивилась.

— Пусть бы не сразу, не в первый же вечер.

— Но чем же тогда?..

В ответ Бернард понес несусветную и опасную чушь. Линайна мысленно заткнула себе уши поплотней; но отдельные фразы то и дело прорывались в ее сознание:

— ...попробовать бы, что получится, если застопорить порыв, отложить исполнение желания...

Слова эти задели некий рычажок в ее мозгу.

— Не откладывай на завтра то, чем можешь насладиться сегодня,— с важностью произнесла она.

— Двести повторений дважды в неделю с четырнадцати до шестнадцати с половиной лет,— сухо отозвался он на это. И продолжал городить свой дикий вздор.— Я хочу познать страсть,— доходили до Линайны фразы.— Хочу испытать сильное чувство.

— Когда страстями увлекаются, устои общества шатаются,— молвила Линайна.

— Ну и пошатались бы — что за беда.

— Бернард!

Но Бернарда не унять было.

— В умственной сфере и в рабочие часы мы взрослые. А в сфере чувства и желания — младенцы.

— Господь наш Форд любил младенцев.

Словно не слыша, Бернард продолжал:

— Меня осенило на днях, что можно ведь быть взрослым во всех сферах жизни.

— Не понимаю,— твердо возразила Линайна.

— Знаю, что не понимаешь. Потому-то мы и легли сразу в постель, как младенцы, а не повременили с этим, как взрослые.

— Но было же славно,— не уступала Линайна.— Ведь славно?

— Еще бы не славно,— ответил он, но таким скорбным тоном, с такой унылостью в лице, что весь остаток торжества Линайны улетучился. «Видно, все-таки показалась я ему слишком полненькой».

— Предупреждала я тебя,— только и сказала Фанни, когда Линайна поделилась с ней своими печалями.— Это все спирт, который влили ему в кровезаменитель.

— А все равно он мне нравится,— не сдалась Линайна.— У него ужасно ласковые руки. И плечиками вздергивает до того мило.— Она вздохнула.— Жалко лишь, что он такой чудно́й.

2

Перед дверью директорского кабинета Бернард перевел дух, расправил плечи, зная, что за дверью его ждет неодобрение и неприязнь, и готовя себя к этому. Постучал и вошел.

— Нужна ваша подпись на пропуске,— сказал он как можно беззаботнее и положил листок Директору на стол.

Директор покосился на Бернарда кисло. Но пропуск был со штампом канцелярии Главноуправителя, и внизу размашисто чернело: Мустафа Монд. Все в полнейшем порядке. Придраться было не к чему. Директор поставил свои инициалы — две бледные приниженные буковки в ногах у жирной подписи Главноуправителя — и хотел уже вернуть листок без всяких комментариев и без напутственного дружеского «С Фордом!», но тут взгляд его наткнулся на слово «Нью-Мексико».

— Резервация в Нью-Мексико? — произнес он, и в голосе его

неожиданно послышалось — и на лице, поднятом к Бернарду, изобразилось — взволнованное удивление.

В свою очередь удивленный, Бернард кивнул. Пауза.

Директор откинулся на спинку кресла, хмурясь.

— Сколько же тому лет? — проговорил он, обращаясь больше к себе самому, чем к Бернарду.— Двадцать, пожалуй. Если не все двадцать пять. Я был тогда примерно в вашем возрасте...— Он вздохнул, покачал головой.

Бернарду стало неловко в высшей степени. Директор, человек предельно благопристойный, щепетильно корректный, и на тебе — совершает такой вопиющий ляпсус! Бернарду хотелось отвернуться, выбежать из кабинета. Не то чтобы он сам считал в корне предосудительным вести речь об отдаленном прошлом — от подобных гипнопедических предрассудков он уже полностью освободился, как ему казалось. Конфузно ему стало оттого, что Директор был ему известен как ярый враг нарушений приличия — и вот этот же самый Директор нарушал теперь запрет. Что же его понудило, толкнуло предаться воспоминаниям? Подавляя неловкость, Бернард жадно слушал.

— Мне, как и вам,— говорил Директор,— захотелось взглянуть на дикарей. Я взял пропуск в Нью-Мексико и отправился туда на краткий летний отдых. С девушкой, моей очередной подругой. Она была бета-минусовичка и, кажется... (он закрыл глаза), кажется, русоволосая. Во всяком случае, пневматична, чрезвычайно пневматична — это я помню. Ну-с, глядели мы там на дикарей, на лошадях катались и тому подобное. А потом — уже почти в последний день моего отпуска,— потом вдруг... пропала без вести моя подруга. Мы с ней поехали кататься на одну из этих мерзких гор, было невыносимо жарко, душно, и, поев, мы прилегли и уснули. Вернее, я уснул. Она же, видимо, встала и пошла прогуляться. Когда я проснулся, ее рядом не было. А разразилась ужасающая гроза, буквально ужасающая. Лило, грохотало, слепило молниями; лошади наши сорвались с привязи и ускакали; я упал, пытаясь удержать их, и ушиб колено, да так, что вконец охромел. Но все же я искал, звал, разыскивал. Нигде ни следа. Тогда я подумал, что она, должно быть, вернулась одна на туристский пункт отдыха. Чуть не ползком стал спускаться обратно в долину. Колено болело мучительно, а свои таблетки сомы я потерял. Спускался я не один час. Уже после полуночи добрался до пункта. И там ее не было; там ее не было,— повторил Директор. Помолчал.— На следующий день провели поиски. Но найти мы ее не смогли. Должно быть, упала в ущелье куда-нибудь или растерзал ее кугуар. Одному Форду известно. Так или иначе, происшествие ужасное. Расстроило меня чрезвычайно. Я бы даже сказал: чрезмерно. Ибо, в конце концов, несчастный случай такого рода может произойти с каждым; и, разумеется, общественный организм продолжает жить, несмотря на смену составляющих его клеток.— Но по-видимому, это гипнопедическое утешение не вполне утешало Директора. Опустив голову, он тихо сказал: — Мне даже снится иногда, как я вскакиваю от удара грома, а ее нет рядом, как ищу, ищу, ищу ее в лесу.— Он умолк, ушел в воспоминания.

— Большое вы испытали потрясение,— сказал Бернард почти с завистью.

При звуке его голоса Директор вздрогнул и очнулся; бросил какой-то виноватый взгляд на Бернарда, опустил глаза, побагровел; метнул на Бернарда новый взгляд — опасливый — и с гневным достоинством произнес:

— Не воображайте, будто у меня с девушкой было что-либо неблагопристойное. Ровно ничего излишне эмоционального или не в меру продолжительного. Взаимопользование наше было полностью здоровым и нормальным.— Он вернул Бернарду пропуск.— Не знаю, зачем я рассказал вам этот незначительный и скучный эпизод.

И с досады на то, что выболтал постыдный свой секрет, Директор вдруг свирепо накинулся на Бернарда:

— И я хотел бы воспользоваться случаем, мистер Маркс (в глазах Директора теперь была откровенная злоба), чтобы сообщить вам, что меня нимало не радуют сведения, которые я получаю о вашем внеслужебном поведении. Вы скажете, что это меня не касается. Нет, касается. На мне лежит забота о репутации нашего Центра. Мои работники должны вести себя безупречно, в особенности члены высших каст. Формирование альфовиков не предусматривает бессознательного следования инфантильным нормам поведения. Но тем сознательнее и усерднее должны альфовики следовать этим нормам. Быть инфантильными, младенчески-нормальными даже вопреки своим склонностям — их прямой долг. Итак, вы предупреждены.— Голос Директора звенел от гнева, уже вполне самоотрешенного и праведного,— был уже голосом всего осуждающего Общества.— Если я опять услышу о каком-либо вашем отступлении от младенческой благовоспитанности и нормальности, то осуществлю ваш перевод в один из филиалов Центра — предпочтительно в Исландию. Честь имею.— И, повернувшись в своем вращающемся кресле прочь от Бернарда, он взял перо, принялся что-то писать.

«Привел в чувство голубчика»,— думал Директор. Но он ошибался. Бернард вышел гордо, хлопнув дверью,— ликуя от мысли, что он один геройски противостоит всему порядку вещей; его окрыляло, пьянило сознание своей особой важности и значимости. Даже мысль о гонениях не угнетала, а скорей бодрила. Он чувствовал в себе довольно сил, чтобы бороться с бедствиями и преодолевать их, даже Исландия его не пугала. И тем увереннее был он в своих силах, что ни на секунду не верил в серьезность опасности. За такой пустяк людей не переводят. Исландия — не больше чем угроза. Бодрящая, живительная угроза. Шагая коридором, он даже насвистывал.

Вечером он поведал Гельмгольцу о стычке с Директором, и отвагою дышала его повесть. Заканчивалась она так:

— А в ответ я попросту послал его в Бездну Прошлого и круто вышел вон. И точка.

Он ожидающе глянул на Гельмгольца, надеясь, что друг наградит его должной поддержкой, пониманием, восхищением. Но не тут-то было. Гельмгольц сидел молча, уставившись в пол.

Он любил Бернарда, был благодарен ему за то, что с ним единственным мог говорить о вещах по-настоящему важных. Однако были в Бернарде неприятнейшие черты. Это хвастовство, например. И чередуется оно с приступами малодушной жалости к себе. И эта удручающая привычка храбриться после драки, задним числом выказывать необычайное присутствие духа, ранее отсутствовавшего, Гельмгольц терпеть этого не мог — именно потому, что любил Бернарда. Шли минуты. Гельмгольц упорно не подымал глаз. И внезапно Бернард покраснел и отвернулся.

3

Полет был ничем не примечателен. «Синяя Тихоокеанская Ракета» в Новом Орлеане села на две с половиной минуты раньше времени, затем потеряла четыре минуты, попав в ураган над Техасом, но, подхваченная на 95-м меридиане попутным воздушным потоком, сумела приземлиться в Санта-Фе с менее чем сорокасекундным опозданием.

— Сорок секунд на шесть с половиной часов полета. Не так уж плохо,— отдала должное экипажу Линайна.

В Санта-Фе и заночевали. Отель там оказался отличный — несравненно лучше, скажем, того ужасного «Полюсного сияния», где Линайна так томилась и скучала прошлым летом. В каждой спальне здесь подача сжиженного воздуха, телевидение, вибровакуумный

массаж, радио, кипящий раствор кофеина, подогретые противозачаточные средства и на выбор восемь кранов с духами. В холле встретила их синтетическая музыка, не оставляющая желать лучшего. В лифте плакатик доводил до сведения, что при отеле шестьдесят эскалаторно-теннисных кортов, и приглашал в парк на гольф — как электромагнитный, так и с препятствиями.

— Но это просто замечательно,— воскликнула Линайна.— Прямо ехать никуда больше не хочется. Шестьдесят кортов!..

— А в резервации ни одного не будет,— предупредил Бернард.— И ни духов, ни телевизора, ни даже горячей воды. Если ты без этого не сможешь, то оставайся и жди меня здесь.

Линайна даже обиделась.

— Отчего же не смогу? Я только сказала, что тут замечательно, потому что... ну потому, что замечательная же вещь прогресс.

— Пятьсот повторений, раз в неделю, от тринадцати до семнадцати,— уныло пробурчал Бернард себе под нос.

— Ты что-то сказал?

— Я говорю: прогресс — замечательная вещь. Поэтому если тебе не слишком хочется в резервацию, то и не надо.

— Но мне хочется.

— Ладно, едем,— сказал Бернард почти угрожающе.

На пропуске полагалась еще виза Хранителя резервации, и утром они явились к нему. Негр, эпсилон-плюсовик, отнес в кабинет визитную карточку Бернарда, и почти сразу же их пригласили туда.

Хранитель был коренастенький альфа-минусовик — короткоголовый блондин с круглым красным лицом и гудящим, как у лектора-гипнопеда, голосом. Он немедленно засыпал их нужной и ненужной информацией и непрошеными добрыми советами. Раз начав, он уже не способен был остановиться.

— ...пятьсот шестьдесят тысяч квадратных километров и разделяется на четыре обособленных участка, каждый из которых окружен высоковольтным проволочным ограждением.

Тут Бернард почему-то вспомнил вдруг, что в ванной у себя дома не завернул одеколонный краник.

— Ток в ограду поступает от Гранд-Каньонской гидростанции.

«Пока вернусь в Лондон, вытечет на колоссальную сумму.— Бернард мысленно увидел, как стрелка расходомера ползет и ползет по кругу — муравьино, неустанно.— Быстрей позвонить Гельмгольцу».

— ...пять с лишним тысяч километров ограды под напряжением в шестьдесят тысяч вольт.— Хранитель сделал драматическую паузу, и Линайна учтиво изумилась:

— Неужели!

Она понятия не имела, о чем гудит Хранитель. Как только он начал разглагольствовать, она незаметно проглотила таблетку сомы и теперь сидела, блаженно не слушая и ни о чем не думая, но неотрывным взором больших синих глаз выражая упоенное внимание.

— Прикосновение к ограде влечет моментальную смерть,— торжественно сообщил Хранитель.— Отсюда вытекает невозможность выхода из резервации.

Слово «вытекает» подстегнуло Бернарда.

— Пожалуй,— сказал он привставая,— мы уже отняли у вас довольно времени. (Черная стрелка спешила, ползла юрким насекомым, сгрызая время, пожирая деньги Бернарда.)

— Из резервации выход невозможен,— повторил Хранитель, жестом веля Бернарду сесть; и поскольку пропуск не был еще завизирован, Бернарду пришлось подчиниться.— Для тех, кто там родился,— а не забывайте, дорогая моя девушка...— прибавил он, масляно глядя на Линайну и переходя на плотоядный шепот: — Не забывайте, что в резервации дети все еще родятся, именно рожда-ют-ся, как ни отталкивающе это звучит...— Он надеялся, что непристойная тема за-

ставит Линайну покраснеть; но она лишь улыбнулась, делая вид, что слушает и вникает, и сказала: «Неужели!» Хранитель разочарованно продолжил: — Для тех, повторяю, кто там родился, вся жизнь до последнего дня должна протечь в пределах резервации.

Протечь... Сто кубиков одеколона каждую минуту. Шесть литров в час.

— Пожалуй,— опять начал Бернард,— мы уже...

Хранитель, наклонясь вперед, постучал по столу указательным пальцем.

— Вы спросите меня, какова численность жителей резервации. А я отвечу вам,— прогудел он торжествующе,— я отвечу, что мы не знаем. Оцениваем лишь предположительно.

— Неужели!

— Именно так, милая моя девушка.

Шесть помножить на двадцать четыре — нет, уже тридцать шесть часов протекло почти. Бернард побледнел, дрожал от нетерпения. Но Хранитель неумолимо продолжал гудеть:

— ...тысяч примерно шестьдесят индейцев и метисов... полнейшие дикари... наши инспектора навещают время от времени... никакой иной связи с цивилизованным миром... по-прежнему хранят свой отвратительный уклад жизни... вступают в брак — но вряд ли вам, милая девушка, знаком этот термин; живут семьями... о научном формировании психики нет и речи... чудовищные суеверия... христианство, тотемизм, поклонение предкам... говорят лишь на таких вымерших языках, как зуньи, испанский, атапасский... дикобразы, пумы и прочее свирепое зверье... заразные болезни... жрецы... ядовитые ящерицы...

— Неужели!

Наконец им все же удалось уйти. Бернард кинулся к телефону. Скорей, скорей; но чуть не целых три минуты его соединяли с Гельмгольцем.

— Словно мы уже среди дикарей,— пожаловался он Линайне.— Безобразно медленно работают!

— Прими таблетку,— посоветовала Линайна.

Он отказался, предпочитая злиться. И наконец его соединили, Гельмгольц слушает — и Бернард объяснил, что случилось, и тот пообещал незамедлительно, сейчас же слетать туда, закрыть кран, да-да, сейчас же, но сообщил кстати Бернарду, что Директор Инкубатория вчера вечером объявил...

— Как? Ищет психолога на мое место? — повторил Бернард горестным голосом.— Уже и решено? Об Исландии упомянул? Господи Форде! В Исландию...— Он положил трубку, повернулся к Линайне. Лицо его было как мел, вид — убитый.

— Что случилось? — спросила она.

— Случилось...— Он тяжело опустился на стул.— Меня отправляют в Исландию.

Часто он, бывало, раньше думал, что не худо бы перенести какое-нибудь суровое испытание, мучение, гонение — причем без сомы, опираясь лишь на собственную силу духа; ему прямо мечталось об ударе судьбы. Всего неделю назад, у Директора, он воображал, будто способен бесстрашно противостоять насилию — стоически, без слова жалобы, страдать. Угрозы Директора только окрыляли его, возносили над жизнью. Но, как теперь он понял, потому лишь окрыляли, что он не принимал их полностью всерьез; он не верил, что Директор в самом деле будет действовать. Теперь, когда угрозы зримо осуществлялись, Бернард пришел в ужас. От воображаемого стоицизма, от сочиненного бесстрашия не осталось и следа.

Он бесился на себя: какой же я дурак! Бесился на Директора: как это несправедливо — не дать даже возможности исправиться (а

он теперь не сомневался, что хотел, ей-форду, хотел исправиться). И в Исландию, в Исландию...

Линайна покачала головой.

— «Примет сому человек — время прекращает бег,— напомнила она.— Сладко человек забудет и что было, и что будет».

В конце концов она уговорила его проглотить четыре таблетки сомы. И в несколько минут прошлое с будущим исчезло; розово расцвел цвет настоящего. Позвонил портье отеля и сказал, что по распоряжению Хранителя прилетел за ними охранник из резервации и ждет с вертопланом на крыше. Они без промедления поднялись туда. Очень светлый мулат в гамма-зеленой форме поприветствовал их и ознакомил с программой сегодняшней экскурсии.

В первой половине дня — облет и обзор сверху десяти-двенадцати основных поселений-пуэбло, затем приземление и обед в долине Мальпаис. Там неплохой туристский пункт, а наверху, в пуэбло у дикарей,— летнее празднество должно быть. Закончить день там будет интереснее всего.

Они сели в вертоплан, поднялись в воздух. Через десять минут они были уже над рубежом, отделяющим цивилизацию от дикости. Пересекая горы и долы, солончаки и пески, леса и лиловые недра каньонов, через утесы, острые пики и плоские месы [1], гордо и неудержимо по прямой шла вдаль ограда — геометрический символ победной воли человека. А у ее подножия там и сям белела мозаика сухих костей, темнел еще не сгнивший труп на рыжеватой почве, отмечая место, где коснулся смертоносных проводов бык или олень, кугуар, дикобраз или койот или слетел на мертвечину гриф и сражен был током, словно небесной карой за прожорливость.

— Нету им науки,— сказал зеленый охранник-пилот, указывая на белые скелеты внизу.— Неграмотная публика,— прибавил он со смехом, будто торжествуя личную победу над убитыми током животными.

Бернард тоже засмеялся; после принятых двух граммов сомы шуточка мулата показалась забавной. А посмеявшись, тут же и уснул, и сонный пролетел над Таосом и Тесукве, над Намбе, Пикурисом и Похоакве, над Сиа и Кочити, над Лагуной, Акомой и Заколдованной Месой, над Зуньи, Сиболой и Охо-Кальенте — когда же проснулся, вертоплан стоял уже на земле, Линайна с чемоданами в руках входила в квадратное зданьице, а зеленый пилот говорил на непонятном языке с хмурым молодым индейцем.

— Прилетели,— сказал пилот вышедшему из кабины Бернарду.— Мальпаис, туристский пункт. А ближе к вечеру в пуэбло будет пляска. Он проведет вас.— Мулат кивнул на индейца.— Потеха там, думаю, будет.— Он широко ухмыльнулся.— Они все делают потешно.— И с этими словами он сел в кабину, запустил моторы.— Завтра я вернусь. Не беспокойтесь,— сказал он Линайне,— они не тронут; дикари полностью ручные. Химические бомбы отучили их кусаться.— Ухмыляясь, он включил верхние винты, нажал на акселератор и улетел.

Глава седьмая

Меса была как заштилевший корабль среди моря светло-бурой пыли — вернее, среди извилистого неширокого пролива. Между крутыми его берегами, по дну долины косо шла зеленая полоса — река с приречными полями. А на каменном корабле месы, на носу корабля, стояло поселение-пуэбло Мальпаис и казалось скальным выростом четких, прямых очертаний. Древние дома вздымались многоярусно, как ступенчатые усеченные пирамиды. У подошвы их был

[1] Плосковерхий холм-останец.

ералаш низеньких построек, путаница глиняных заборов — и затем отвесно падали обрывы на три стороны в долину. Несколько прямых столбиков дыма таяло в безветренной голубой вышине.

— Странно здесь,— сказала Линайна.— Очень странно.— («Странно» было у Линайны словом осуждающим.) — Не нравится мне. И человек этот не нравится.— Она кивнула на индейца-провожатого. Неприязнь была явно обоюдной: даже спина индейца, шедшего впереди, выражала враждебное, угрюмое презрение.— И потом,— прибавила она вполголоса,— от него дурно пахнет.

Бернард не стал отрицать этот факт. Они продолжали идти.

Неожиданно воздух весь ожил, запульсировал, словно наполнясь неустанным сердцебиением. Это сверху, из Мальпаиса, донесся барабанный бой. Они ускорили шаги, подчиняясь ритму таинственного этого сердца. Тропа привела их к подножию обрыва. Над ними возносил свои борта почти на сотню метров корабль месы.

— Ах, зачем с нами нет вертоплана,— сказала Линайна, обиженно глядя на голую кручу.— Ненавижу пешее карабканье. Стоя под горой, кажешься такою маленькой.

Прошагали еще некоторое расстояние в тени холма, обогнули скальный выступ и увидели рассекающую склон ложбину, овражную промоину. Стали подыматься по ней, как по корабельному трапу. Тропинка шла крутым зигзагом. Пульс барабанов делался иногда почти неслышен, а порой казалось, что они бьют совсем где-то рядом.

На половине подъема орел пролетел мимо них — так близко, что в лицо им дохнул холодноватый ветер крыльев. Куча костей валялась в расщелине. Все было угнетающе-странным, и от индейца пахло все сильнее. Наконец они вышли наверх, в яркий солнечный свет. Меса лежала перед ними плоской каменной палубой.

— Как будто мы на диске Черинг-Тийской башни,— обрадовалась Линайна. Но недолго пришлось ей радоваться этому успокоительному сходству. Мягкий топот ног заставил их обернуться. Темно-коричневые, обнаженные от горла до пупка и разрисованные белыми полосами («Как теннисные корты на асфальте»,— рассказывала потом Линайна), с лицами, нелюдски заляпанными алым, черным и охряным, по тропе навстречу им бежали два индейца. В их черные косы были вплетены полоски лисьего меха и красные лоскуты. Легкие, индюшиного пера, накидки развевались за плечами; окружая голову, пышнели высокие короны перьев. На бегу звенели и бряцали серебряные их браслеты, тяжелые мониста из костяных и бирюзовых бус. Они бежали молча, спокойно в своих оленьих мокасинах. Один держал метелку из перьев; у другого в каждой руке было три или четыре толстые веревки. Одна веревка косо дернулась, извилась, и Линайна вдруг увидела, что это змеи.

Бегущие близились, близились; их черные глаза смотрели на Линайну, но как бы совершенно не видя, как будто она — пустое место. Змея, дернувшись, опять обвисла. Индейцы пробежали мимо.

— Не нравится мне,— сказала Линайна.— Не нравится мне.

Но еще меньше понравилось ей то, что встретило при входе в пуэбло, где индеец их оставил, а сам пошел сказать о гостях. Грязь их встретила, кучи отбросов, пыль, собаки, мухи. Лицо Линайны сморщилось в гадливую гримасу. Она прижала к носу платочек.

— Да как они могут так жить? — воскликнула она негодуя, не веря глазам.

Бернард пожал философски плечами.

— Они ведь не со вчерашнего дня так живут,— сказал он.— За пять-шесть тысяч лет попривыкли, должно быть.

— Но чистота — залог благофордия,— не успокаивалась Линайна.

— Конечно. И без стерилизации нет цивилизации,— насмешливо процитировал Бернард заключительную фразу второго гипнопедического урока по основам гигиены.— Но эти люди никогда не слышали

о господе нашем Форде, они не цивилизованы. Так что не имеет смысла...

— Ой! — Она схватила его за руку.— Гляди.

С нижней террасы соседнего дома сходил очень медленно по лесенке почти нагой индеец — спускался с перекладины на перекладину с трясучей осторожностью глубокой старости. Лицо его было изморщинено и черно, как обсидиановая маска. Беззубый рот ввалился. По углам губ и с боков подбородка торчали редкие длинные щетинки, белесо поблескивая на темной коже. Незаплетенные волосы свисали на плечи и грудь седыми космами. Тело было сгорбленное, тощее — кожа, присохшая к костям. Мешкотно, медлительно спускался он, останавливаясь на каждой перекладине.

— Что с ним такое? — шепнула пораженная Линайна, широкоглазая от ужаса.

— Старость, вот и все,— ответил Бернард самым небрежным тоном. Он тоже был ошеломлен, но крепился и не подавал виду.

— Старость? — переспросила она.— Но и наш Директор стар, многие стары; но у них же нет ничего подобного.

— Потому что мы не даем им дряхлеть. Мы ограждаем их от болезней. Искусственно поддерживаем их внутренне-секреторный баланс на юношеском уровне. Не позволяем магниево-кальциевому показателю упасть ниже цифры, соответствующей тридцати годам. Вливаем им молодую кровь. Постоянно стимулируем у них обмен веществ. И конечно, они выглядят иначе. Отчасти потому,— прибавил он,— что они в большинстве своем умирают задолго до возраста, какого достигла эта развалина. У них молодость сохраняется почти полностью до шестидесяти лет, а затем — хруп! — и конец.

Но Линайна не слушала. Она смотрела на старика. Медленно, медленно спускался он. Ноги его коснулись наконец земли. Тело повернулось. Глубоко запавшие глаза были еще необычайно ясны. Они неторопливо поглядели на Линайну, не выразив ни удивления, ничего, словно ее здесь и не было. Сутуло, медленно старик проковылял мимо и скрылся.

— Но это ужас,— прошептала Линайна.— Это страх и ужас. Нельзя было нам сюда ехать.

Она сунула руку в карман — за сомой — и обнаружила, что по оплошности, какой с ней еще не случалось, забыла свой флакончик на туристском пункте. У Бернарда карманы тоже были пусты.

Приходилось противостоять ужасам Мальпаиса без крепительной поддержки. А ужасы наваливались на Линайну один за другим. Вон две молодые женщины кормят грудью младенцев — Линайна вспыхнула и отвернулась. Никогда в жизни не сталкивалась она с таким непристойным зрелищем. А тут еще Бернард, вместо того чтобы тактично не заметить, принялся вслух комментировать эту омерзительную сценку из быта живородящих. У него уже кончилось действие сомы, и, стыдясь слабонервности, проявленной утром в отеле, он теперь всячески старался показать, как он силен и независим духом.

— Что за чудесная, тесная близость существ,— восхитился он, намеренно порывая с приличиями.— И какую должна она порождать силу чувства! Я часто думаю: быть может, мы теряем что-то, не имея матери. И возможно, ты теряешь что-то, лишаясь материнства. Вот представь, Линайна,— ты сидишь там, кормишь свое родное дитя...

— Бернард! Как не стыдно!

В это время прошла перед ними старуха с воспалением глаз и болезнью кожи — и Линайна уж и возмущаться перестала.

— Уйдем отсюда,— сказала она просяще.— Мне противно.

Но тут вернулся провожатый и, сделав знак, повел их узкой улочкой между домами. Повернули за угол. Дохлый пес валялся на куче мусора; зобастая индианка искала в голове у маленькой девочки. Проводник остановился у приставной лестницы, махнул рукой

сперва вверх, затем вперед. Они повиновались этому молчаливому приказу — поднялись по лестнице и через проем в стене вошли в длинную узкую комнату; там было сумрачно и пахло дымом, горелым жиром, заношенной, нестираной одеждой. Сквозь дверной проем в другом конце комнаты падал на пол свет солнца и доносился бой барабанов, громкий, близкий.

Пройдя туда, они оказались на широкой террасе. Под ними, плотно окруженная уступчатыми домами, была площадь, толпился у домов народ. Пестрые одеяла, перья в черных волосах, мерцанье бирюзы, темная кожа, влажно блестящая от зноя. Линайна снова прижала к носу платок. Посреди площади виднелись из-под земли две круговые каменные кладки, накрытые плоскими кровлями,— видимо, верха двух подземных помещений; в центре каждой кровли — круглой, глиняной, утоптанной — открытый люк, и торчит из темноты оттуда деревянная лестница. Внизу там играют на флейтах, но звук их почти заглушен ровным, неумолимо упорным боем барабанов.

Барабаны Линайне понравились. Она закрыла глаза, и рокочущие барабанные раскаты заполнили ее сознание, заполонили, и вот уже остался в мире один этот густой рокот. Он успокоительно напоминал синтетическую музыку на сходках единения и празднованиях Дня Форда. «Пей-гу-ляй-гу»,— мурлыкнула Линайна. Ритм в точности такой же.

Раздался внезапный взрыв пения: сотни мужских голосов в унисон металлически-резко взяли несколько свирепых длинных нот. И — тишина, раскатистая тишина барабанов; затем пронзительный, заливчатый хор женщин дал ответ. И снова барабаны; и опять дикое, медное утвержденье мужского начала.

Странно? Да, странно. Обстановка странная, и музыка, и одежда странная, и зобы, и кожные болезни, и старики. Но в самом хоровом действе вроде ничего такого уж и странного.

— Похоже на праздник песнословия у низших каст,— сказала Линайна Бернарду.

Однако сходство с тем невинным праздником тут же стало и кончаться. Ибо неожиданно из круглых подземелий повалила целая толпа устрашающих чудищ. В безобразных масках или размалеванные до потери человеческого облика, они пустились в причудливый пляс — вприхромку, топочуще, с пением; сделали по площади круг, другой, третий, четвертый,— убыстряя пляску с каждым новым кругом; и барабаны убыстрили ритм, застучавший лихорадочно в ушах; и народ запел вместе с плясунами, громче и громче; и сперва одна из женщин испустила истошный вопль, а за ней еще, еще; затем вдруг головной плясун выскочил из круга, подбежал к деревянному сундуку, стоявшему на краю площади, откинул крышку и выхватил оттуда двух черных змей.

Громким криком отозвалась площадь, и остальные плясуны все побежали к нему, протягивая руки. Он кинул змей тем, что подбежали первыми, и опять нагнулся к сундуку. Все новых змей — черных, коричневых, крапчатых — доставал он, бросал плясунам. И танец начался снова, в ином ритме. Со змеями в руках пошли они по кругу, змеисто сами извиваясь, волнообразно изгибаясь в коленях и бедрах. Сделали круг, и еще. Затем, по знаку головного, один за другим побросали змей в центр площади; поднялся из люка старик и сыпнул на змей кукурузной мукой, а из другого подземелья вышла женщина и окропила их водой из черного кувшина. Затем старик поднял руку, и — жуткая, пугающая — мгновенно воцарилась тишина. Смолкли барабаны, жизнь словно разом оборвалась. Старик простер руки к отверстиям, устьям подземного мира. И медленно возносимые — а кем, сверху не видно,— возникли два раскрашенных изваяния; из первого люка — орел, из второго — нагой человек, при

гвожденный к кресту. Изваяния повисли, точно сами собой держась в воздухе и глядя на толпу. Старик хлопнул в ладоши. Из толпы выступил юноша лет восемнадцати в одной лишь набедренной белой повязке и встал перед стариком, сложив руки на груди, склонив голову. Старик перекрестил его. Медленно юноша пошел вокруг кучи змей, спутанно шевелящейся. Совершил один круг, начал другой, и в это время, отделясь от плясунов, рослый человек в маске койота направился к нему с ременной плетью в руке. Юноша продолжал идти, как бы не замечая человека-койота. Тот поднял плеть; долгий миг ожидания, резкое движенье, свист плети, хлесткий удар по телу. Юноша дернулся весь; но он не издал ни звука, он продолжал идти тем же неторопливым, мерным шагом. Койот хлестнул опять, опять; каждый удар толпа встречала коротким общим вздохом и глухим стоном. Юноша продолжал идти. Два, три, четыре раза обошел он круг. Кровь струилась по телу. Пятый, шестой раз обошел. Линайна вдруг закрыла лицо руками, зарыдала.

— Пусть прекратят, пусть прекратят,— взмолилась она.

Но плеть хлестала неумолимо. Седьмой круг сделал юноша. И тут пошатнулся — и, по-прежнему без звука, рухнул плашмя, лицом вниз. Наклонясь над ним, старик коснулся его спины длинным белым пером, высоко поднял это перо, обагренное,— показал людям — и трижды тряхнул им над змеями. Несколько капель упало с пера, и внезапно барабаны ожили, рассыпались тревожной дробью; раздался гулкий клич. Плясуны кинулись, похватали змей и пустились бегом. За ними побежала вся толпа — мужчины, женщины, дети. Через минуту площадь была уже пуста, только юноша недвижно лежал там, где лег. Три старухи вышли из ближнего дома, подняли его с трудом и внесли туда. Над площадью остались нести караул двое — орел и распятый; затем и они, точно насмотревшись вдоволь, неспешно канули в люки, в подземное обиталище.

Линайна по-прежнему плакала.

— Невыносимо,— всхлипывала она, и Бернард был бессилен ее утешить.— Невыносимо! Эта кровь! — Она передернулась.— О, где моя сома!

За спиной у них, в комнате, раздались шаги.

Линайна не пошевелилась, сидела, спрятав лицо в ладони, погрузясь в свое страдание. Бернард оглянулся.

На террасу вышел молодой человек в одежде индейца; но косы его были цвета соломы, глаза голубые, и бронзово-загорелая кожа была кожей белого.

— День добрый и привет вам,— сказал незнакомец на правильном, но необычном английском языке.— Вы — цивилизованные? Вы — оттуда, из Заоградного мира?

— А вы-то сами?..— изумленно начал Бернард.

Молодой человек вздохнул, покачал головой.

— Пред вами несчастливец.— И, указав на кровь в центре площади, произнес голосом, вздрагивающим от волнения.— Видите вон то проклятое пятно? [1]

— Лучше полграмма, чем ругань и драма,— машинально откликнулась Линайна, не открывая лица.

— Там бы по праву следовало быть мне,— продолжал незнакомец.— Они не захотели, чтобы жертвой был я. А я бы десять кругов сделал, двенадцать, пятнадцать. Палохтива сделал только семь. Я дал бы им вдвое больше крови. Просторы обагрянил бы морей.— Он распахнул руки в широком жесте, тоскливо уронил их опять.— Но не позволяют мне. Нелюбим я за белокожесть. От века нелю-

[1] Слова из «Макбета» *(акт V, сцена 1)*. В речи молодого человека часты шекспировские слова и фразы.

бим. Всегда.— На глазах у него выступили слезы; он отвернулся, стыдясь этих слез.

От удивления Линайна даже горевать перестала. Отняв ладони от лица, она взглянула на незнакомца.

— То есть вы хотели, чтобы плетью били вас?

Молодой человек кивнул не оборачиваясь.

— Да. Для блага пуэбло — чтоб дожди шли и тучнела кукуруза. И в угоду Пуконгу и Христу. И чтобы показать, что могу выносить боль не крикнув. Да.— Голос его зазвенел, он гордо расправил плечи, гордо, непокорно вздернул голову, повернулся.— Показать, что я мужчи...— У него перехватило дух, он так и застыл, не закрыв рта. Впервые в жизни увидел он девушку с лицом не бурым, а светлым, с золотисто-каштановой завивкой — и глядит она с дружелюбным интересом (вещь небывалая!). Линайна улыбнулась ему; такой привлекательный мальчик, подумала она, и тело по-настоящему красиво. Темный румянец залил щеки молодого человека; он опустил глаза, поднял опять, увидел все ту же улыбку и до того уже смутился, что даже отвернулся, сделал вид, будто пристально разглядывает что-то на той стороне площади.

Выручил его Бернард — своими расспросами. Кто он? Каким образом? Когда? Откуда? Не отрывая взгляда от Бернарда (ибо так тянуло молодого человека к улыбке Линайны, что он просто не смел повернуть туда голову), он стал объяснять. Он с Линдой — Линда его мать (Линайна поежилась) — они здесь чужаки. Линда прилетела из Того мира давно, еще до его рождения, вместе с отцом его. (Бернард навострил уши.) Пошла гулять одна в горах, что к северу отсюда, и сорвалась, упала и поранила голову. («Продолжайте, продолжайте»,— возбужденно сказал Бернард.) Мальпаисские охотники наткнулись на нее и принесли в пуэбло. А отца его Линда больше так и не увидела. Звали отца Томасик. (Так, так, имя Директора — Томас.) Он, должно быть, улетел себе обратно в Заоградный мир, а ее бросил — черствый, жестокий сердцем человек.

— В Мальпаисе я и родился,— закончил он.— В Мальпаисе.— И грустно покачал головой.

Хибара за пустырем на окраине пуэбло. Какое убожество, грязь!

Пыльный пустырь завален мусором. У входа в хибару два оголодалых пса роются мордами в мерзких отбросах. А внутри — затхлый, гудящий мухами сумрак.

— Линда! — позвал молодой человек.

— Иду,— отозвался из другой комнатки довольно сиплый женский голос.

Пауза ожидания. В мисках на полу — недоеденные остатки.

Дверь отворилась. Через порог шагнула белесоватая толстуха-индеанка и остановилась, пораженно выпучив глаза, раскрыв рот. Линайна с отвращением заметила, что двух передних зубов во рту нет. А те, что есть, жуткого цвета... Брр! Она гаже того старика. Жирная такая. И все эти морщины, складки дряблого лица. Обвислые щеки в лиловых пятнах прыщей. Красные жилки на носу, на белках глаз. И эта шея, эти подбородки; и одеяло накинуто на голову — рваное, грязное. А под коричневой рубахой-балахоном эти бурдюки грудей, это выпирающее брюхо, эти бедра. О, куда хуже старика, куда гаже! И вдруг существо это разразилось потоком слов, бросилось к ней с распахнутыми объятиями и — господи Форде, как противно, вот-вот стошнит — прижало к брюху, к грудям и стало целовать. Господи! Слюнявыми губами, и от тела запах скотский,— видимо, не принимает ванны никогда,— и разит изо рта ядовитой этой мерзостью, которую подливают в бутыли дельтам и эпсилонам (а Бернарду не влили, неправда), буквально разит алкоголем. Линайна поскорей высвободилась из объятий.

На нее глядело искаженное, плачущее лицо.

— Ох, милая, милая вы моя,— причитало, хлюпая, существо.— Если б вы знали, как я рада! Столько лет не видеть цивилизованного лица. Цивилизованной одежды. Я уж думала, так и не суждено мне увидать опять настоящий ацетатный шелк.— Она стала щупать рукав блузки. Ногти ее были черны от грязи.— А эти дивные вискозно-плисовые шорты! Представьте, милая, я еще храню, прячу в сундуке свою одежду, ту, в которой прилетела. Я покажу вам потом. Но конечно, ацетат стал весь как решето. А такой прелестный у меня белый патронташ наплечный — хотя, должна признаться, ваш сафьяновый зеленый еще даже прелестнее. Ах, подвел меня мой патронташ! — Слезы опять потекли по щекам.— Джон вам, верно, рассказал уже. Что мне пришлось пережить — и без единого грамма сомы. Разве что Попé принесет мескаля выпить. Попе ходил ко мне раньше. Но выпьешь, а после так плохо себя чувствуешь от мескаля, и от пейотля тоже; и притом назавтра протрезвишься — и еще ужаснее, еще стыднее делается. Ах, мне так стыдно было. Подумать только — я, бета, и ребенка родила; поставьте себя на мое место. (Линайна поежилась.) Но, клянусь, я тут не виновата; я до сих пор не знаю, как это стряслось; ведь я же все мальтузианские приемы выполняла — знаете, по счету: раз, два, три, четыре — всегда, клянусь вам, и все же забеременела; а конечно, абортариев здесь нет и в помине. Кстати, абортарий наш и теперь в Челси? (Линайна кивнула.) И, как раньше, освещен весь прожекторами по вторникам и пятницам? (Линайна снова кивнула.) Эта дивная из розового стекла башня! — Бедная Линда, закрыв глаза, экстатически закинув голову, воскресила в памяти светлое виденье абортария.— А вечерняя река! — прошептала она. Крупные слезы медленно выкатились из-под ее век.— Летишь, бывало, вечером обратно в город из Сток-Поджеса. И ждет тебя горячая ванна, вибровакуумный массаж... Но что уж об этом.— Она тяжко вздохнула, покачав головой, открыла глаза, сопнула носом раз-другой, высморкалась в пальцы и вытерла их о подол рубахи.— О, простите меня,— воскликнула она, заметив невольную гримасу отвращения на лице Линайны.— Как я могла так!.. Простите. Но что делать, если нет носовых платков? Я помню, как переживала раньше из-за всей этой нечистоты, сплошной нестерильности. Меня с гор принесли сюда с разбитой головой. Вы не можете себе представить, что они прикладывали к моей ране. Грязь, буквальнейшую грязь. Учу их: «Без стерилизации нет цивилизации». Говорю им: «Смой стрептококков и спирохет. Да здравствует ванна и туалет»,— как маленьким детям. А они, конечно, не понимают. Откуда им понять? И в конце концов я, видимо, привыкла. Да и как можно держать себя и вещи в чистоте, если нет крана с горячей водой? А поглядите на одежду здешнюю. Эта мерзкая шерсть — это вам не ацетат. Ей износу нет. А и порвется, так чини ее изволь. Но я ведь бета; я в Зале оплодотворения работала; меня не учили заплаты ставить. Я другим занималась. Притом чинить ведь вообще у нас не принято. Начинает рваться — выбрось и новое купи. «Прорехи зашивать — беднеть и горевать». Верно же? Чинить старье — антиобщественно. А тут все наоборот. Живешь как среди ненормальных. Все у них по-безумному.— Она оглянулась, увидела, что Бернард с Джоном вышли и прохаживаются по пустырю; но понизила тем не менее голос, пододвинулась близко, так что ядовито-алкогольное ее дыхание шевельнуло прядку у Линайны на щеке, и та сжалась вся.— Послушайте, к примеру,— зашептала Линда сипло,— как они тут взаимопользуются. Ведь каждый принадлежит всем остальным — ведь по-цивилизованному так? Ведь так же? — напирала она, дергая Линайну за рукав. Линайна кивнула, полуотвернувшись, делая украдкой вдох, набирая воздуху почище.— А здесь,— продолжала Линда,— каждый должен принадлежать только одному, и никому больше. Если

же ты взаимопользуешься по-цивилизованному, то считаешься порочной и антиобщественной. Тебя ненавидят, презирают. Один раз явились сюда женщины со скандалом — почему, мол, их мужчины ко мне ходят? А почему б им не ходить? И как накинутся женщины на меня скопом... Нет, невыносимо и вспоминать.— Линда, содрогнувшись, закрыла лицо руками.— Здешние женщины ужасно злобные. Безумные, безумные и жестокие. И понятия, конечно, не имеют о мальтузианских приемах, о бутылях, о раскупорке. И потому рожают беспрерывно — как собаки. Прямо омерзительно. И подумать, что я... О господи, господи Форде. Но все же Джон был мне большим утешением. Не знаю, как бы я тут без него. Хотя он и переживал страшно всякий раз, как придет мужчина... Даже когда совсем еще был малышом. Однажды (он тогда уже подрос) чуть было не убил бедного Попé — или Вайхусиву? — за то лишь, что они ко мне ходили. Сколько ему ни втолковывала, что у цивилизованных людей иначе и нельзя, но так и не втолковала. Безумие, видимо, заразительно. Джон, во всяком случае, заразился от индейцев. Он водится с ними. Несмотря на то что они всегда относились к нему по-свински, не позволяли быть наравне с остальными мальчиками. Но это в некотором смысле к лучшему, потому что облегчало мне задачу — позволяло хоть слегка формировать его. Но вы себе вообразить не можете, как это трудно. Ведь столького сама не знаешь; от меня и не требовалось знать. Допустим, спрашивает ребенок, как устроен вертоплан или кем создан мир,— ну, что будешь ему отвечать, если ты бета и работала в Зале оплодотворения? Ну, что ему ответишь?

Глава восьмая

Джон с Бернардом прохаживались взад-вперед на пустыре, среди пыли и мусора. (В отбросах рылось теперь уже четверо собак.)

— Так трудно мне представить, постигнуть,— говорил Бернард.— Мы словно с разных планет, из разных столетий. Мать, и грязь вся эта, и боги, и старость, и болезни...— Он покачал головой.— Почти непостижимо. Немыслимо понять, если вы не поможете, не объясните.

— Что́ объясню?

— Вот это.— Он указал на пуэбло.— И это.— Кивнул на хибару.— Всё. Всю вашу жизнь.

— Но что ж тут объяснять?

— Все с самого начала. С первых ваших воспоминаний.

— С первых моих...— Джон нахмурился. Долго молчал, припоминая.

Жара. Наелись лепешек, сладкой кукурузы.

— Иди сюда, малыш, приляг,— сказала Линда. Он лег возле, на большой постели.

— Спой,— попросил, и Линда запела. Спела «Да здравствует ванна и туалет» и «Баю-баю, тили-тили, скоро детке из бутыли». Голос ее удалялся, слабел...

Он вздрогнул и проснулся от громкого шума. У постели стоит человек — большущий, страшный. Говорит что-то Линде, а Линда смеется. Закрылась одеялом до подбородка, а тот стягивает. У страшилы волосы заплетены, как два черных каната, и на ручище серебряный браслет с голубыми камешками. Браслет красивый; Джону страшно; он жмется лицом к материну боку. Линда обнимает его рукой, и страх слабеет. Другими, здешними словами, которые не так понятны, Линда говорит:

— Нет, не при Джоне.

Человек смотрит на него, опять на Линду, тихо говорит несколько слов.

— Нет,— говорит Линда. Но тот наклоняется к нему, лицо громадно, грозно; черные канаты кос легли на одеяло.— Нет,— говорит опять Линда и сильней прижимает Джона к себе.— Нет, нет.

Но страшила берет его за плечо, больно берет. Он вскрикивает. И другая ручища берет, подымает. Линда не выпускает, говорит:

— Нет, нет.

Тот говорит что-то коротко, сердито и вот уже отнял Джона.

— Линда, Линда.— Джон бьет ногами, вырывается; но тот несет его за дверь, сажает на пол там среди комнаты и уходит к Линде, закрыв за собой дверь. Он встает, он бежит к двери. Поднявшись на цыпочки, дотягивается до деревянной щеколды. Двигает ее, толкает дверь; но дверь не поддается.

— Линда,— кричит он. Не отвечает Линда.

Вспоминается обширная комната, сумрачная; в ней стоят деревянные рамы с навязанными нитями, и у рам много женщин — одеяла ткут, сказала Линда. Она велела ему сидеть в углу с другими детьми, а сама пошла помогать женщинам. Он играет с мальчиками, долго. Вдруг у рам заговорили очень громко, и женщины отталкивают Линду прочь, а она плачет, идет к дверям. Он побежал за ней. Спрашивает, почему на нее рассердились.

— Я сломала там что-то,— говорит Линда. И сама рассердилась.— Откуда мне уметь их дрянные одеяла ткать,— говорит.— Дикари противные.

— А что такое дикари? — спрашивает он.

Дома у дверей ждет Попе и входит вместе с ними. Он принес большой сосуд из тыквы, полный воды не воды — вонючая такая и во рту печет, так что закашляешься. Линда выпила, и Попе выпил, и Линда смеяться стала и громко говорить; а потом с Попе ушла в другую комнату. Когда Попе отправился домой, он вошел туда. Линда лежала в постели, спала так крепко, что не добудиться было.

Попе часто приходил. Ту воду в тыкве он называл «мескаль», а Линда говорила, что можно бы называть «сома», если бы от нее не болела голова. Он терпеть не мог Попе. Он всех их не терпел — мужчин, ходивших к Линде. Как-то, наигравшись с детьми,— было, помнится, холодно, на горах лежал снег,— он днем пришел домой и услыхал сердитые голоса в другой комнате. Женские голоса, а слов не понял; но понял, что это злая ругань. Потом вдруг — грох! — опрокинули что-то; завозились, еще что-то шумно упало, и точно мула ударили хлыстом, но только звук мягче, мясистей; и крик Линды: «Не бейте, не бейте!» Он кинулся туда. Там три женщины в темных одеялах. А Линда — на постели. Одна держит ее за руки. Другая легла поперек, на ноги ей, чтоб не брыкалась. Третья бьет ее плетью. Раз ударила, второй, третий; и при каждом ударе Линда кричит. Он, плача, стал просить бьющую, дергать за кромку одеяла:

— Не надо, не надо.

Свободной рукой женщина отодвинула его. Плеть снова хлестнула, опять закричала Линда. Он схватил огромную коричневую руку женщины обеими своими и укусил что было силы. Та охнула, вырвала руку, толкнула его так, что он упал. И ударила трижды плетью. Ожгло огнем — больней всего на свете. Снова свистнула, упала плеть. Но закричала на этот раз Линда.

— Но за что они тебя, Линда? — спросил он вечером.

Красные следы от плети на спине еще болели, жгли, и он плакал. Но еще и потому плакал, что люди такие злые и несправедливые, а он малыш и драться с ними слаб. Плакала и Линда. Она хоть

и взрослая, но от троих отбиться разве может? И разве это честно — на одну втроем?

— За что они тебя, Линда?

— Не знаю. Не понимаю.— Трудно было разобрать ее слова — она лежала на животе, лицом в подушку.— Мужчины, видите ли, принадлежат им,— говорила Линда, точно не к нему обращаясь вовсе, а к кому-то внутри себя. Говорила долго, непонятно; а кончила тем, что заплакала громче прежнего.

— О, не плачь, Линда, не плачь.

Он прижался к ней. Обнял рукой за шею.

— Ай,— визгнула Линда,— не тронь. Больно же! Ай! — И как пихнет его от себя. Он стукнулся головой о стену.— Ты, идиотик! — крикнула Линда и вдруг принялась его бить. Шлеп! Шлеп!..

— Линда! Не бей, мама!

— Я тебе не мама. Не хочу быть твоей матерью.

— Но, Линд...— Она шлепнула его по щеке.

— В дикарку превратилась,— кричала она.— Рожать начала, как животные... Если б не ты, я бы к инспектору пошла, вырвалась отсюда. Но с ребенком как же можно. Я бы не вынесла позора.

Она опять замахнулась, и он заслонился рукой.

— О, не бей, Линда, не надо.

— Дикаренок! — Она отдернула его руку от лица.

— Не надо.— Он закрыл глаза, ожидая удара.

Но удара не было. Помедлив, он открыл глаза и увидел, что она смотрит на него. Улыбнулся ей робко. Она вдруг обняла его и стала целовать.

Случалось, Линда по нескольку дней не вставала с постели. Лежала и грустила. Или пила мескаль, смеялась, смеялась, потом засыпала. Иногда болела. Часто забывала умыть его, и нечего было поесть, кроме черствых лепешок. И помнит он, как Линда в первый раз нашла этих сереньких тлей у него в голове, как она заахала, запричитала.

Сладчайшею отрадой было слушать, как она рассказывает о Том, о Заоградном мире.

— И там правда можно летать когда захочешь?

— Когда захочешь.

И рассказывала ему про дивную музыку, льющуюся из ящика, про прелестные разные игры, про вкусные блюда, напитки, про свет — надавишь в стене штучку, и он вспыхивает,— и про живые картины, которые не только видишь, но и слышишь, обоняешь, осязаешь пальцами, и про ящик, создающий дивные запахи, и про голубые, зеленые, розовые, серебристые дома, высокие, как горы,— и каждый счастлив там, и никто никогда не грустит и не злится, и каждый принадлежит всем остальным, и экран включишь — станет видно и слышно, что происходит на другом конце мира. И младенцы все в прелестных, чистеньких бутылях — все такое чистое, ни вони и ни грязи,— и никогда никто не одинок, а все вместе живут и радостные все, счастливые, как на летних пляжах в Мальпаисе здесь, но гораздо счастливее, и счастье там всегда, всегда... Он слушал и заслушивался.

Порой, когда он и другие дети садились, устав от игры, кто-нибудь из стариков племени заводил на здешнем языке рассказ о великом Претворителе Мира, о долгой битве между Правой Рукой и Левой Рукой, между Хлябью и Твердью; о том, как Авонавилона задумался в ночи, и сгустились его мысли во Мглу Возрастания, а из той туманной мглы сотворил он весь мир; о Матери-Земле и Отце-Небе; об Агаюте и Марсайлеме — близнецах Войны и Удачи; об Иисусе и Пуконге; о Марии и об Этсанатлеи — женщине, вечно омо-

ложающей себя; о Лагунском Черном Камне, о великом Орле и Богоматери Акомской. Диковинные сказы, звучавшие еще чудесней оттого, что сказывали их здешними словами, не полностью понятными. Лежа в постели, он рисовал в воображении Небо и Лондон, Богоматерь Акомскую и длинные ряды младенцев в чистеньких бутылях и как Христос возносится и Линда взлетает; воображал Всемирного начальника инкубаториев и великого Авонавилону.

Много ходило к Линде мужчин. Мальчишки стали уже тыкать на него пальцами. На своем, на здешнем языке они называли Линду скверной, ругали ее непонятно, однако он знал, что слова это гнусные. Однажды запели о ней песню, и опять, и опять — не уймутся никак. Он стал кидать в них камни. А они — в него; острым камнем рассекли ему щеку. Кровь текла долго; он весь вымазался.

Линда научила его читать. Углем она рисовала на стене картинки — сидящего зверька, младенца в бутыли; а под ними писала: КОТ НЕ СПИТ. МНЕ ТУТ РАЙ. Он усваивал легко и быстро. Когда выучился читать все, что она писала на стене, Линда открыла свой деревянный сундук и достала из-под тех красных куцых штанов, которых никогда не надевала, тоненькую книжицу. Он ее и раньше не раз видел. «Будешь читать, когда подрастешь»,— говорила Линда. Ну вот и подрос, подумал он гордо.

— Вряд ли эта книга тебя очень увлечет,— сказала Линда.— Но других у меня нет.— Она вздохнула.— Видел бы ты, какие прелестные читальные машины у нас в Лондоне!

Он принялся читать. «Химическая и бактериологическая обработка зародыша. Практическое руководство для бета-лаборантов эмбрионария». Четверть часа ушло на одоление слов этого заглавия. Он швырнул книжку на пол.

— Дрянь ты, а не книга! — сказал он и заплакал.

По-прежнему мальчишки распевали свою гнусную дразнилку о Линде. Смеялись и над тем, какой он оборванный. Линда не умела чинить рваное. В Заоградном мире, говорила она ему, если что порвется, сразу же выбрасывают и надевают новое. «Оборвыш, оборвыш!» — дразнили мальчишки. «Зато я читать умею,— утешал он себя,— а они нет. Не знают даже, что значит читать». Утешаясь этим, было легче делать вид, что не слышишь насмешек. Он снова попросил у Линды ту книжку.

Чем злее дразнились мальчишки, тем усерднее читал он книгу. Скоро уже он разбирал в ней все слова. Даже самые длинные. Но что они обозначают? Он спрашивал у Линды; но даже когда она и в состоянии была ответить, то ясности особой не вносила. Обычно же ответить не могла.

— Что такое химикаты? — спрашивал он.

— А это соли магния, или спирт, которым глушат рост и отупляют дельт и эпсилонов, или углекислый кальций для укрепления костей и тому подобные вещества.

— А как делают химикаты, Линда? Где их добывают?

— Не знаю я. Они во флаконах. Когда флакон кончается, то спускают новый из Химикатохранилища. Там их и делают, наверное. Или же с фабрики получают. Не знаю. Я химией не занималась. Я работала всегда с зародышами.

И так вечно, что ни спроси. Никогда Линда не знает. Старики племени отвечают куда определеннее.

«Семена людей и всех созданий, семя солнца, и земли, и неба — все семена сгустил Авонавилона из Мглы Возрастания. Есть у мира четыре утробы; в нижнюю и поместил он семена. И постепенно взрастали они...»

Придя как-то домой (Джон прикинул позже, что было это на тринадцатом году его жизни), он увидел, что в комнате на полу лежит незнакомая книга. Толстая и очень старая на вид. Переплет обгрызли мыши; листы некоторые измяты, вылезают. Он поднял книгу, взглянул на заглавный лист: «Сочинения Уильяма Шекспира в одном томе».

Линда лежала в постели, потягивая из чашки мерзкий свой вонючий мескаль.

— Ее Попе принес,— сказала Линда сиплым, грубым, чужим голосом.— Валялась в Антилопьей киве [1], в одном из сундуков. Сотни лет уже провалялась, говорят. И не врут, наверно, потому что полистала я, а там полно вздора. Нецивилизованность жуткая. Но тебе пригодится — для тренировки в чтении.— Она допила, опустила чашку на пол, повернулась на бок, икнула раза два и заснула.

Он раскрыл книгу наугад.

> ...Похоти рабой
> Жить, прея в сальной духоте постели,
> Елозя и любясь в свиной грязи... [2]

Необычайные эти слова раздались, раскатились громово в мозгу, как барабаны летних плясок — но барабаны говорящие; как хор мужчин, поющих Песнь зерна — красиво, красиво до слез; как волшба старого Митсимы над молитвенными перьями и резными палочками, костяными и каменными фигурками — кьятла тсилу силокве силокве силокве. Кьяи силу силу, тситль,— но сильнее, чем волшба Митсимы, потому что эти слова больше значат и обращены к нему, говорят ему чудесно и наполовину лишь понятно — грозная, прекрасная новая волшба, говорящая о Линде; о Линде, что храпит в постели, и пустая чашка рядом на полу; о Линде и Попе, о них обоих.

Все горячей ненавидел он Попе. Да, можно улыбаться, улыбаться — и быть мерзавцем. Безжалостным, коварным, похотливым. Слова он понимал не до конца. Но их волшба была могуча, они звучали в памяти, и было так, словно теперь только начал он по-настоящему ненавидеть Попе — потому что не мог раньше облечь свою ненависть в слова. А теперь есть у него слова — волшебные, поющие, гремящие, как барабаны. Слова эти и странный, странный сказ, из которого слова взяты (темен ему этот сказ, но чудесен, все равно чудесен),— они обосновали ненависть, сделали ее острей, живей; самого даже Попе сделали живей.

Однажды, наигравшись, он пришел домой — дверь спальной комнатки растворена, и он увидел их, спящих вдвоем в постели, — белую Линду и рядом Попе, почти черного; Линда лежит у Попе на руке, другая темная рука на груди у нее, и одна из длинных кос индейца упала ей на горло, точно черная змея хочет задушить. На полу возле постели — тыква, принесенная Попе, и чашка. Линда храпит.

Сердце в нем замерло, исчезло, и осталась пустота. Пустота, озноб, мутит слегка, и голова кружится. Он прислонился к стене. Безжалостный, коварный, похотливый... Волшбой, поющим хором, барабанами гремят слова. Озноб ушел, ему стало вдруг жарко, щеки загорелись. Комната поплыла перед ним, темнея. Он скрежетнул зубами. «Я убью его, убью, убью». И загремело в мозгу:

> Когда он в лежку пьян, когда им ярость
> Владеет или кровосмесный пыл...[3]

Волшба — на его стороне, волшба все проясняет и дает приказ. Он шагнул обратно, за порог. «Когда он в лежку пьян...» У очага

---

[1] Подземное обрядовое помещение у индейцев пуэбло.

[2] Слова Гамлета, обращенные к королеве *(акт III, сцена 4).*

[3] «Гамлет» *(акт III, сцена 3).*

на полу — мясной нож. Поднял его и на цыпочках — опять в дверь спальной комнаты. «Когда он в лежку пьян, в лежку пьян...» Бегом к постели, ткнул ножом — ага, кровь! — снова ткнул (Попе взметнулся тяжко, просыпаясь), хотел в третий раз ударить, но почувствовал, что руку его схватили, сжали и — ох! — выворачивают. Он пойман, двинуться не может, черные медвежьи глазки Попе глядят в упор, вплотную. Он не выдержал их взгляда, опустил глаза. На левом плече у Попе — две ножевые ранки.

— Ах, кровь течет! — вскрикнула Линда.— Кровь течет! (Вида крови она не выносит.)

Попе поднял свободную руку — чтобы ударить, конечно. Джон весь напрягся в ожидании удара. Но рука взяла его за подбородок, повернула лицом к себе, и опять пришлось смотреть глаза в глаза. Долго, нескончаемо долго. И вдруг, как ни пересиливал себя, он заплакал. Попе рассмеялся.

— Ступай,— сказал он по-индейски.— Ступай, отважный Агаюта.

Он выбежал в другую комнату, пряча постыдные слезы.

— Тебе пятнадцать лет,— сказал старый Митсима индейскими словами.— Теперь можно учить тебя гончарству.

Они намесили глины, присев у реки.

— С того начинаем,— сказал Митсима, взявши в ладони ком влажной глины,— что делаем подобие луны.— Старик сплюснул ком в круглую луну; загнул края, и луна превратилась в неглубокую чашку.

Медленно и неумело повторил Джон точные, тонкие движения стариковских рук.

— Луна, чашка, а теперь змея.— Взяв другой ком глины, Митсима раскатал его в длинную колбаску, свел ее в кольцо и налепил на ободок чашки.— И еще змея. И еще. И еще.— Кольцо за кольцом наращивал Митсима бока сосуда: узкий внизу, сосуд выпукло расширялся, опять сужался к горлышку. Митсима мял, прихлопывал, оглаживал, ровнял; и вот наконец стоит перед ними мальпаисский сосуд для воды, но не черный, обычный, а кремово-белый и еще мягкий на ощупь. А рядом — его собственное изделие, кривобокая пародия на сосуд Митсимы. Сравнив их, Джон поневоле рассмеялся.

— Но следующий будет лучше,— сказал он, намешивая еще глины.

Лепить, придавать форму, ощущать, как растет уменье и сноровка в пальцах, было необычайно приятно.

— А, бе, це, витамин Д,— напевал он, работая.— Жир в тресковой печени, а треска в воде.

Пел и Митсима — песню о том, как добывают медведя. Весь день они работали, и весь тот день переполняло Джона чувство глубокого счастья.

— А зимой,— сказал старый Митсима,— научу тебя делать охотничий лук.

Долго стоял он у дома; наконец обряд внутри кончился. Дверь распахнулась, стали выходить. Первым шел Котлу, вытянув правую руку и сжав ее в кулак, точно неся в ней драгоценный камень. За ним вышла Кьякиме, тоже вытянув сжатую руку. Они шли молча, и молча следовали за ними братья, сестры, родичи и толпа стариков.

Вышли из пуэбло, прошли месу. Встали над обрывом — лицом к утреннему солнцу. Котлу раскрыл ладонь. На ладони лежала горстка кукурузной муки; он дохнул на нее, прошептал несколько слов и бросил эту щепоть белой пыли навстречу встающему солнцу. То же сделала и Кьякиме. Выступил вперед отец ее и, держа над собой оперенную молитвенную палочку, произнес длинную молитву, затем бросил и палочку навстречу солнцу.

— Кончено,— возгласил старый Митсима.— Они вступили в брак.

— Одного я не понимаю,— сказала Линда, возвращаясь в пуэбло вместе с Джоном,— зачем столько шума и возни по пустякам. В цивилизованных краях, когда парень хочет девушку, он просто... Ну куда же ты, Джон?

Но Джон бежал не останавливаясь, не желая слушать — прочь, прочь куда-нибудь, где нету никого.

Кончено. В ушах раздавался голос старого Митсимы. Кончено, кончено... Издали, молча, но страстно, отчаянно и безнадежно он любил Кьякиме. А теперь кончено. Ему было шестнадцать лет.

В полнолуние, в Антилопьей киве, тайны будут звучать, тайны будут вершиться и передаваться. Они сойдут в киву мальчиками, а подымутся оттуда мужчинами. Всем им было боязно — и в то же время нетерпение брало. И вот наступил этот день. Солнце село, показалась луна. Он шел вместе с остальными. У входа в киву стояли темной группой мужчины; уходила вниз лестница, в освещенную красную глубь. Идущие первыми стали уже спускаться. Внезапно один из мужчин шагнул вперед, взял его за руку и выдернул из рядов. Он вырвал руку, вернулся, пятясь, на свое место. Но мужчина ударил его, схватил за волосы.

— Не для тебя это, белобрысый!

— Не для сына блудливой сучки,— сказал другой. Подростки засмеялись.

— Уходи отсюда.— И видя, что он медлит, стоит неподалеку, опять крикнули мужчины: — Уходи!

Один из них нагнулся, поднял камень, швырнул.

— Уходи отсюда, уходи!

Камни посыпались градом. Окровавленный, побежал он в темноту. А из красных недр кивы доносилось пение. Уже все подростки туда спустились. Он остался совсем один.

Совсем один, за чертой пуэбло, на голой скальной равнине месы. В лунном свете скала — точно кости, побелевшие от времени. Внизу, в долине, воют на луну койоты. Ушибы от камней болят, кровь еще течет; но не от боли он рыдает, а оттого, что одинок, что выгнан вон в этот безлюдный, кладбищенский мир камня и лунного света. Он опустился на краю обрыва, спиной к луне. Глянул вниз, в черную тень месы — в черную сень смерти. Один только шаг, один прыжок... Он повернул к свету правую руку. Из рассеченной кожи на запястье сочилась еще кровь. Каждые несколько секунд падала капля, темная, почти черная в мертвенном свете. Кап, кап, кап. Завтра и снова завтра, снова завтра...

Ему открылись Время, Смерть, Бог.

— Всегда, всегда один и одинок.

Эти слова Джона щемящим эхом отозвались в сердце Бернарда. Один и одинок...

— Я тоже одинок,— вырвалось у него.— Страшно одинок.

— Неужели? — удивился Джон.— Я думал, в Том мире... Линда же говорит, что там никто и никогда не одинок.

Бернард смущенно покраснел.

— Видите ли,— пробормотал он, глядя в сторону,— я, должно быть, не совсем такой, как большинство. Если раскупориваешься не таким...

— Да, в этом все дело,— кивнул Джон.— Если ты не такой, как другие, то обречен на одиночество. Относиться к тебе будут подло. Мне ведь нет ни к чему доступа. Когда мальчиков послали провести ночь на горах — ну, чтобы увидеть там во сне тайного твоего покровителя, твое священное животное,— то меня не пустили с ними; не хотят приобщать меня к тайнам. Но я сам все равно приобщился. Пять

суток ничего не ел, а затем ночью один поднялся на те вон горы.— Он указал рукой.

Бернард улыбнулся снисходительно.

— И вам явилось что-нибудь во сне?

Джон кивнул.

— Но что́ явилось, открывать нельзя.— Он помолчал, потом продолжал негромко:— А однажды летом я сделал такое, чего другие никто не делали: простоял под жарким солнцем, спиною к скале, раскинув руки, как Иисус на кресте...

— А с какой стати?

— Хотел испытать, каково быть распятым. Висеть на солнцепеке.

— Да зачем вам это?

— Зачем?..— Джон помялся.— Я чувствовал, что должен. Раз Иисус вытерпел. И потом, я тогда худое сделал... И еще — тосковал я; вот еще почему.

— Странный способ лечить тоску,— заметил Бернард. Но, чуть подумав, решил, что все же в этом есть некоторый смысл. Чем глотать сому...

— Стоял, пока не потерял сознание,— сказал Джон.— Упал лицом в камни. Видите метину? — Он поднял со лба густые желто-русые пряди. На правом виске обнажился неровный бледный шрам.

Бернард глянул и, вздрогнув, быстренько отвел глаза. Воспитание, формирование сделали его не то чтобы жалостливым, но до крайности брезгливым. Малейший намек на болезнь или рану вызывал в нем не просто ужас, а отвращение и даже омерзение. Брр! Это как грязь, или уродство, или старость. Он поспешно сменил тему разговора.

— Вам не хотелось бы улететь с нами в Лондон? — спросил он, делая этим первый ход в хитрой военной игре, стратегию которой начал втихомолку разрабатывать, как только понял, кто является так называемым отцом этого молодого дикаря. — Вы бы не против?

Лицо Джона все озарилось.

— А вы правда возьмете с собой?

— Конечно, если, то есть, получу разрешение.

— И Линду возьмете?

— Гм...— Бернард заколебался. Взять это отвратительное существо? Нет, немыслимо. А впрочем, впрочем... Бернарда вдруг осенило, что именно ее отвратность может оказаться мощнейшим козырем в игре.— Но конечно же!— воскликнул он, чрезмерной и шумной сердечностью заглаживая свое колебание.

Джон глубоко и счастливо вздохнул.

— Подумать только — осуществится то, о чем мечтал всю жизнь. Помните, что говорит Миранда? [1]

— Кто?

Но молодой человек, видимо, не слышал переспроса.

— О чудо! — произнес он, сияя взглядом, разрумянившись.— Сколько вижу я красивых созданий! Как прекрасен род людской!— Румянец стал гуще; Джон вспомнил о Линайне — об ангеле, одетом в темно-зеленую вискозу, с лучезарно юной, гладкой кожей, напоенной питательными кремами, с дружелюбной улыбкой. Голос его дрогнул умиленно.— О дивный новый мир...— Но тут он вдруг осекся; кровь отхлынула от щек, он побледнел как смерть.— Она за вами замужем? — выговорил он.

— За мной — что?

— Замужем. Вступила с вами в брак. Это провозглашается индейскими словами и нерушимо вовек.

— Да нет, какой там брак! — Бернард невольно рассмеялся.

Рассмеялся и Джон, но по другой причине — от буйной радости.

[1] Героиня шекспировской «Бури». Далее следуют ее слова *(акт V, сцена 1)*.

— О дивный новый мир,— повторил он.— О дивный новый мир, где обитают такие люди. Немедля же в дорогу!

— У вас крайне эксцентричный способ выражаться,— сказал Бернард, озадаченно взирая на молодого человека.— Да и не лучше ли подождать с восторгами, увидеть прежде этот дивный мир?

Глава девятая

Линайна чувствовала себя вправе — после дня, наполненного странным и ужасным,— предаться абсолютнейшему сомотдыху. Как только вернулись на туристский пункт, она приняла шесть полуграммовых таблеток сомы, легла в кровать и минут через десять плыла уже в лунную вечность. Очнуться, очнуться опять во времени ей предстояло лишь через восемнадцать часов, а то и позже.

А Бернард лежал, бессонно глядя в темноту и думая. Было уже за полночь, когда он уснул. Далеко за полночь; но бессонница дала плоды — он выработал план действий.

На следующее утро, точно в десять часов, мулат в зеленой форме вышел из приземлившегося вертоплана. Бернард ждал его среди агав.

— Мисс Краун отдыхает,— сказал Бернард.— Вернется из сомотдыха часам к пяти, не раньше. Так что у нас в распоряжении семь часов.

(«Слетаю в Санта-Фе,— решил Бернард,— сделаю там все нужное и вернусь, а она еще спать будет».)

— Безопасно ей будет здесь одной? — спросил он мулата.

— Как в кабине вертоплана,— заверил тот.

Сели в машину, взлетели. В десять тридцать четыре они приземлились на крыше санта-фейского почтамта; в десять тридцать семь Бернарда соединили с Канцелярией Главноуправителя на Уайтхолле[1]; в десять тридцать девять он уже излагал свое дело четвертому личному секретарю его фордейшества; в десять сорок четыре повторял то же самое первому секретарю, а в десять сорок семь с половиной в его ушах раздался звучный бас самого Мустафы Монда.

— Я взял на себя смелость предположить,— запинаясь, докладывал Бернард,— что вы, ваше фордейшество, сочтете случай этот представляющим достаточный научный интерес...

— Да, случай, я считаю, представляет достаточный научный интерес,—отозвался бас.— Возьмите с собой в Лондон обоих индивидуумов.

— Вашему фордейшеству известно, разумеется, что мне будет необходим специальный пропуск...

— Соответствующее распоряжение,— сказал Мустафа,— уже передается в данный момент Хранителю резервации. К нему и обратитесь безотлагательно. Всего наилучшего.

Трубка замолчала. Бернард положил ее и побежал на крышу.

— Летим к Хранителю,— сказал он мулату в зеленом.

В десять пятьдесят четыре Хранитель тряс руку Бернарду, здороваясь.

— Рад вас видеть, мистер Маркс, рад вас видеть,— гудел он почтительно.— Мы только что получили специальное распоряжение...

— Знаю,— не дал ему кончить Бернард.— Я разговаривал сейчас по телефону с его фордейшеством.— Небрежно-скучающий тон Бернарда давал понять, что разговоры с Главноуправителем — вещь для Бернарда самая привычная и будничная. Он опустился в кресло.— Будьте добры совершить поскорее все формальности. Поскорей, будьте добры,— повторил он с нажимом. Он упивался своей новой ролью.

В три минуты двенадцатого все необходимые бумаги были уже у него в кармане.

[1] Улица в Лондоне, где расположены британские правительственные учреждения.

— До свиданья,— покровительственно кивнул он Хранителю, проводившему его до лифта.— До свиданья.

В отеле, расположенном неподалеку, он освежил себя ванной, вибровакуумным массажем, выбрился электролизной бритвой, прослушал утренние известия, провел полчасика у телевизора, отобедал не торопясь, со вкусом и в половине третьего полетел с мулатом обратно в Мальпаис.

— Бернард,— позвал Джон, стоя у туристского пункта.— Бернард!

Ответа не было. Джон бесшумно взбежал на крыльцо в своих оленьих мокасинах и потянул дверную ручку. Дверь заперта.

Уехали! Улетели! Такой беды с ним еще не случалось. Сама приглашала прийти, а теперь нет их. Он сел на ступеньки крыльца и заплакал.

Полчаса прошло, прежде чем он догадался заглянуть в окно. И сразу увидел там небольшой зеленый чемодан с инициалами Л. К. на крышке. Радость вспыхнула в нем пламенем. Он схватил с земли голыш. Зазвенело, падая, разбитое стекло. Мгновенье — и он уже в комнате. Раскрыл зеленый чемодан, и тут же в ноздри, в легкие хлынул запах Линайны, ее духи, ее эфирная сущность. Сердце забилось гулко; минуту он был близок к обмороку. Наклонясь к драгоценному вместилищу, он стал перебирать, вынимать, разглядывать. Застежки-молнии на вискозных шортах озадачили его сперва, а затем — когда решил загадку молний — восхитили. Дерг туда, дерг обратно, жжик-жжик, жжик-жжик; он был в восторге. Зеленые туфельки ее — ничего чудесней в жизни он не видел. Развернув комбилифчик с трусиками, он покраснел, поспешно положил на место; надушенный ацетатный носовой платок поцеловал, а шарфик повязал себе на шею. Раскрыл коробочку — и окутался облаком просыпавшейся ароматной пудры. Запорошил все пальцы себе. Он вытер их о грудь свою, о плечи, о загорелые предплечья. Как пахнет! Он закрыл глаза; он потерся щекой о запудренное плечо. Прикосновение гладкой кожи, аромат этой мускусной пыльцы — будто сама Линайна здесь.

— Линайна,— прошептал он.— Линайна!

Что-то ему послышалось, он вздрогнул, оглянулся виновато. Сунул вынутые воровским образом вещи обратно, придавил крышкой; опять прислушался и огляделся. Ни звука, ни признака жизни. Однако ведь он явственно слышал — не то вздох, не то скрип половицы. Он подкрался на цыпочках к двери, осторожно отворил — за дверью оказалась широкая лестничная площадка. А за площадкой — еще дверь, приоткрытая. Он подошел, открыл пошире, заглянул.

Там, на низкой кровати, сбросив с себя простыню, в комбинированной розовой пижаме на молниях, лежала и спала крепким сном Линайна — и была так прелестна в ореоле кудрей, так была детски-трогательна со своим серьезным личиком и розовыми пальчиками ног, так беззащитно и доверчиво разбросала руки, что на глаза Джону навернулись слезы.

С бесконечными и совершенно ненужными предосторожностями — ибо досрочно вернуть Линайну из ее сомотдыха мог разве что гулкий пистолетный выстрел — он вошел, он опустился на колени у кровати. Глядел, сложив молитвенно руки, шевеля губами. «Ее глаза»,— шептал он:

> Ее глаза, лицо, походка, голос;
> Упомянул ты руки — их касанье
> Нежней, чем юный лебединый пух,
> А перед царственной их белизною
> Любая белизна черней чернил...[1]

[1] «Троил и Крессида» *(акт I, сцена 1)*.

Муха, жужжа, закружилась над ней; взмахом руки от отогнал муху. И вспомнил:

Мухе — и той доступно сесть
На мраморное чудо рук Джульетты,
Мухе — и той дозволено похитить
Бессмертное благословенье с губ,
Что разалелись от стыда, считая
Грехом невольный этот поцелуй;
О чистая и девственная скромность! [1]

Медленно-медленно, неуверенным движением человека, желающего погладить пугливую дикую птицу, которая и клюнуть может, он протянул руку. Дрожа, она остановилась в сантиметре от сонного локтя — почти касаясь. Посметь ли? Посметь ли осквернить прикосновеньем низменной руки... Нет, нельзя. Слишком опасна птица и опаслива. Он убрал руку. Как прекрасна Линайна! Как прекрасна!

Затем он вдруг поймал себя на мысли, что стоит лишь решительно и длинно потянуть вниз эту застежку у нее на шее... Он закрыл глаза, он тряхнул головой, как встряхивается, выходя из воды, ушастый пес. Пакостная мысль! Стыд охватил его. «О чистая и девственная скромность!..»

В воздухе послышалось жужжание. Опять хочет муха похитить бессмертное благословенье? Или оса? Он поднял глаза — не увидел ни осы, ни мухи. Жужжание делалось все громче, и стало ясно, что оно идет из-за ставней, снаружи. Вертоплан! В панике Джон вскочил на ноги, метнулся вон, выпрыгнул в разбитое окно и, пробежав по тропке между высокими агавами, поспел как раз к приземленью вертоплана.

Глава десятая

На всех четырех тысячах электрических часов, во всех четырех тысячах залов и комнат Центра стрелки показывали двадцать семь минут третьего. В «нашем трудовом улье», как любил выражаться Директор, стоял рабочий шум. Все и вся трудилось, упорядоченно двигалось. Под микроскопами, яростно двигая длинными хвостиками, сперматозоиды бодливо внедрялись в яйцеклетки; и оплодотворенные яйца разрастались, делились или же, пройдя бокановскизацию, почковались, давая целые популяции близнецов. С урчанием шли эскалаторы из Зала предопределения вниз, в Эмбрионарий,— и там, в вишневом сумраке, прея на подстилках из свиной брюшины, насыщаясь кровезаменителем и гормонами, росли зародыши — или, отравленные спиртом, прозябали, превращались в щуплых эпсилонов. С тихим рокотом ползли конвейерные ленты незаметно глазу — сквозь недели, месяцы и сквозь биологические эры, повторяемые эмбрионами в своем развитии,— в Зал раскупорки, где новораскупоренные младенцы издавали первый вопль изумления и ужаса.

Гудели в подвальном этаже электрогенераторы, мчались вверх и вниз грузоподъемнички. На всех одиннадцати этажах Младопитомника было время кормления. Восемнадцать сотен снабженных ярлыками младенцев дружно тянули из восемнадцати сотен бутылок свою порцию пастеризованного млечного продукта.

Над ними в спальных залах, на десяти последующих этажах, малыши и малышки, кому полагался по возрасту послеобеденный сон, и во сне этом трудились не менее других, хотя и бессознательно — усваивали гипнопедические уроки гигиены и умения общаться, основы кастового самосознания и начала секса. А еще выше помещались игровые залы, где по случаю дождя девятьсот детишек постарше развлекались кубиками, лепкой, прятками и эротической игрой.

[1] Слова Ромео. «Ромео и Джульетта» *(акт III, сцена 3)*.

Жж-жж! — деловито, жизнерадостно жужжал улей. Весело напевали девушки над пробирками; насвистывая, занимались своим делом предназначатели; а какие славные остроты можно было слышать над пустыми бутылями в Зале раскупорки! Но у Директора, входящего с Генри Фостером в Зал оплодотворения, лицо выражало серьезность, деревянную суровость.

— В назидание всем,— говорил Директор.— И в этом зале, поскольку здесь наибольшее у нас число работников высших каст. Я велел ему явиться сюда в два тридцать.

— Работник он очень хороший,— лицемерно свеликодушничал Генри.

— Знаю. Но тем оправданнее будет суровость наказания. Повышенные умственные данные налагают и повышенную нравственную ответственность. Чем одаренней человек, тем способнее он разлагать окружающих. Лучше, чтобы пострадал один, но спасены были от порчи многие. Рассудите дело беспристрастно, мистер Фостер, и вы согласитесь, что нет преступления гнусней, чем нарушение общепринятых норм поведения. Убийство означает гибель особи — а, собственно, что для нас одна особь? — Взмахом руки Директор охватил ряды микроскопов, пробирки, инкубаторы.— Мы с величайшей легкостью можем сотворить сколько угодно новых. Нарушение же принятых норм ставит под угрозу нечто большее, чем жизнь какой-то особи,— наносит удар всему Обществу. Да, всему Обществу,—повторил он.— Но вот и сам преступник.

Бернард приближался уже к ним, шел между рядами оплодотворителей. Вид у него был бойкий, самоуверенный, но из-под этой маскировки проглядывала тревога.

— Добрый день, Директор,— произнес он до нелепости громко; заметив это сам, он тут же сбавил тон чуть не до шепота и пискнул:— Вы назначили мне встречу здесь.

— Да,— сказал Директор важно и зловеще.— Назначил встречу здесь. Вы вернулись, как я понимаю, из своего отпуска.

— Да,— сказал Бернард.

— Так-с-сс,— змеино протянул звук «с» Директор. И внезапно повысив голос:— Леди и джентльмены,— воззвал он трубно,— дамы и господа.

Вмиг прекратилось мурлыканье лаборанток над пробирками, сосредоточенное посвистывание микроскопистов. Наступило молчание, лица всех обратились к Директору.

— Дамы и господа,— повторил он еще раз.— Простите, что прерываю ваш труд. Меня к тому вынуждает тягостный долг. Под угрозу поставлены безопасность и стабильность Общества. Да, поставлены под угрозу, дамы и господа. Этот человек,— указал он обвиняюще на Бернарда,— человек, стоящий перед вами, этот альфа-плюсовик, которому так много было дано и от которого, следовательно, так много ожидалось, этот ваш коллега — но не лучше ли мне сразу же сказать, этот ваш бывший коллега — грубо обманул доверие Общества. Своими еретическими взглядами на спорт и сому, своими скандальными нарушениями норм половой жизни, своим отказом следовать учению Господа Нашего Форда и вести себя во внеслужебные часы, «как дитя в бутыли» (Директор осенил себя знаком Т), он разоблачил себя, дамы и господа, как враг Общества, как разрушитель Порядка и Стабильности, как злоумышленник против самой Цивилизации. Поэтому я намерен снять его, отстранить с позором от занимаемой должности; я намерен немедленно осуществить его перевод в третьестепенный филиал, причем как можно более удаленный от крупных населенных центров — так будет в интересах Общества. В Исландии ему представится мало возможностей сбивать людей с пути своим фордохульственным примером.

Директор сделал паузу, скрестив руки на груди, повернулся величаво к Бернарду.

— Можете ли вы привести убедительный довод, который помешал бы мне исполнить вынесенный вам приговор?

— Да, могу,— не сказал, а крикнул Бернард.

Несколько опешив, но все еще величественно:

— Так приведите этот довод,— промолвил Директор.

— Пожалуйста. Мой довод в коридоре. Сейчас приведу.— Бернард торопливо пошел к двери, распахнул ее.— Входите,— сказал он, и довод явился и предстал перед всеми.

Зал глухо ахнул, по нему прокатился ропот удивления и ужаса; взвизгнула юная лаборантка; кто-то вскочил на стул, чтобы лучше видеть, и при этом опрокинул две пробирки, полные сперматозоидов. Оплывшая, обрюзгшая — устрашающее воплощенье безобразной немолодости среди этих молодых, крепкотелых, туголицых,— Линда вошла в зал, кокетливо улыбаясь своей щербатой, линялой улыбкой и роскошно, как ей казалось, колебля на ходу свои окорока. Бернард шел рядом с ней.

— Вот он,— указал Бернард на Директора.

— Будто я уж такая беспамятная,— даже обиделась Линда и, повернувшись к Директору, воскликнула: — Ну, конечно, я узнала, Томасик, я бы тебя узнала среди тысячи мужчин. А неужели ты меня забыл? Не узнаешь? Не помнишь меня, Томасик? Твою Линдочку.— Она глядела на него, склонив голову набок, продолжая улыбаться, но на лице Директора застыло такое отвращение, что улыбка Линды делалась все неуверенней, растерянней и угасла наконец.— Не помнишь, Томасик? — повторила она дрожащим голосом. В глазах ее была тоска и боль. Дряблое, в пятнах лицо перекосилось горестной гримасой.— Томасик! — Она протянула к нему руки. Раздался чей-то смешок.

— Что означает,— начал Директор,— эта чудовищная...

— Томасик! — Она подбежала, волоча свою накидку-одеяло, бросилась Директору на шею, уткнулась лицом ему в грудь.

Зал взорвался безудержным смехом.

— ...эта чудовищная шутка? — возвысил голос Директор. Весь побагровев, он вырывался из объятий. Она льнула к нему цепко и отчаянно.

— Но я же Линда. Я же Линдочка.

Голос ее тонул в общем смехе.

— Я же родила от тебя,— прокричала она, покрывая шум. И внезапно, грозно воцарилась тишина; все смолкли, пряча глаза в замешательстве. Директор побледнел, перестал вырываться, так и замер, ухватясь за руки Линды, глядя на нее остолбенело.

— Да, родила — стала матерью.

Она бросила это, как вызов, в потрясенную тишину; затем, отстранясь от Директора, объятая стыдом, закрыла лицо, зарыдала.

— Я не виновата, Томасик. Я всегда же выполняла все приемы. Всегда-всегда... Я не знаю, как это... Если бы только знал, Томасик, как ужасно... Но все равно он был мне утешением.— И повернувшись к двери: — Джон! — позвала она.— Джон!

Джон тут же появился на пороге, остановился, осмотрелся, затем быстро, бесшумно в своих мокасинах пересек зал, опустился на колени перед Директором и звучно произнес:

— Отец мой!

Слово это (ибо ругательство «отец», менее прямо, чем «мать», связанное с мерзким и аморальным актом деторождения, звучит не столь похабно, сколь попросту навозно) — комически-грязное это словцо разрядило атмосферу напряжения, ставшего уже невыносимым. Грянул хохот-рев, оглушительный и нескончаемый. «Отец мой» — и кто же? Директор! Отец! О господи! Фо-хо-хо-хо!.. Да это

ж фантастика! Все новые, новые приступы, взрывы — лица раскисли от хохота, слезы текут. Еще шесть пробирок спермы опрокинули. Отец мой!

Бледный, вне себя от унижения, Директор огляделся затравленно вокруг дикими глазами.

Отец мой! Хохот, начавший было утихать, раскатился опять, громче прежнего. Зажав руками уши, Директор кинулся вон из зала.

Глава одиннадцатая

После скандала в Зале оплодотворения все высшекастовое лондонское общество рвалось увидеть этого восхитительного дикаря, который упал на колени перед Директором Инкубатория (вернее сказать, перед бывшим Директором, ибо бедняга тотчас ушел в отставку и больше уж не появлялся в Центре), который бухнулся на колени и обозвал Директора отцом,— юмористика почти сказочная! Линда же, напротив, не интересовала никого. Назваться матерью — это уже не юмор, а похабщина. Притом она ведь не настоящая дикарка, а из бутыли вышла, сформирована как все и подлинной эксцентричностью понятий блеснуть не может. Наконец — и это наивесомейший резон, чтобы не знаться с Линдой,— ее внешний вид. Жирная, утратившая свою молодость, со скверными зубами, с пятнистым лицом, с безобразной фигурой — при одном взгляде на нее буквально делается дурно. Так что лондонские сливки общества решительно не желали видеть Линду. Да и Линда, со своей стороны, нимало не желала их видеть. Для нее возврат в цивилизацию значил возвращение к соме — означал возможность лежать в постели и предаваться непрерывному сомотдыху без похмельной рвоты или головной боли, без того чувства, какое бывало всякий раз после пейотля — будто совершила что-то жутко антиобщественное, навек опозорившее. Сома не играет с тобой таких шуток. Она — средство идеальное, а если, проснувшись наутро, испытываешь неприятное ощущение, то неприятное не само по себе, а лишь сравнительно с радостями забытья. И поправить положение можно — можно сделать забытье непрерывным. Линда жадно требовала все более крупных и частых доз сомы. Доктор Шоу вначале возражал, потом махнул рукой. Она глотала до двадцати граммов ежесуточно.

— И это ее прикончит в месяц-два,— доверительно сообщил доктор Бернарду.— В один прекрасный день ее дыхательный центр окажется парализован. Дыхание прекратится. Наступит конец. И тем лучше. Если бы мы умели возвращать молодость, тогда бы дело другое. Но мы не умеем.

Ко всеобщему удивлению (ну и пускай себе спит Линда и никому не мешает), Джон пытался возражать:

— Ведь, закармливая этими таблетками, вы укорачиваете ей жизнь.

— В некотором смысле укорачиваем,— соглашался доктор Шоу.— Но в другом — даже удлиняем. (Джон глядел на него непонимающе.) Пусть сома укорачивает временно́е протяжение вашей жизни на столько-то лет,— продолжал врач.— Зато какие безмерные вневременные протяжения она способна вам дарить. Каждый сомотдых — это фрагмент того, что наши предки называли вечностью.

— Вечность была у нас в глазах и на устах [1],— пробормотал Джон, начиная понимать.

— Как? — не расслышал доктор Шоу.

— Ничего. Так.

— Конечно,— продолжал доктор Шоу,— нельзя позволять лю-

[1] Слова Клеопатры. «Антоний и Клеопатра» *(акт I, сцена 3)*.

дям то и дело отправляться в вечность, если они выполняют серьезную работу. Но поскольку у Линды такой работы нет...

— Все равно,— не успокаивался Джон,— по-моему, нехорошо это.

Врач пожал плечами.

— Что ж, если вы предпочитаете, чтоб она вопила и буянила, домогаясь сомы...

В конце концов Джону пришлось уступить. Линда добилась своего. И залегла окончательно в своей комнатке на тридцать восьмом этаже дома, в котором жил Бернард. Радио и телевизор включены круглые сутки, из краника чуть-чуть покапывают духи пачули, и тут же под рукой таблетки сомы — так лежала она у себя в постели и в то же время пребывала где-то далеко, бесконечно далеко, в непрерывном сомотдыхе, в ином каком-то мире, где радиомузыка претворялась в лабиринт звучных красок, в трепетно скользящий лабиринт, ведущий (о, какими прекрасно-неизбежными извивами!) к яркому средоточию полного, уверенного счастья; где танцующие телевизорные образы становились актерами в неописуемо дивном суперпоющем ощущальном фильме; где аромат каплющих духов разрастался в солнце, в миллион сексофонов, в Попе, обнимающего, любящего,— но неизмеримо сладостней, сильней и нескончаемо.

— Нет, возвращать молодость мы не умеем. Но я крайне рад этой возможности понаблюдать одряхление на человеке. Сердечное спасибо, что пригласили меня.— И доктор Шоу горячо пожал Бернарду руку.

Итак, видеть жаждали Джона. А поскольку доступ к Джону был единственно через его официального опекуна и гида, Бернарда, то к Бернарду впервые в жизни стали относиться по-человечески, даже более того — словно к очень важной особе. Теперь и речи не было про спирт, якобы подлитый в его кровезаменитель; не было насмешек над его наружностью. Генри Фостер весь излучал радушие; Бенито Гувер подарил шесть пачек секс-гормональной жевательной резинки; пришел помощник Предопределителя и чуть ли не подобострастно стал напрашиваться в гости — на какой-либо из званых вечеров, устраиваемых Бернардом. Что же до женщин, то Бернарду стоило лишь поманить их приглашением на такой вечер, и доступна делалась любая.

— Бернард пригласил меня на будущую среду — познакомит с Дикарем,— объявила торжествующе Фанни.

— Рада за тебя,— сказала Линайна.— А теперь признайся, что ты неверно судила о Бернарде. Ведь правда же, он мил?

Фанни кивнула.

— И не скрою,— сказала Фанни,— что я весьма приятно удивлена.

Начальник Укупорки, Главный предопределитель, трое заместителей помощника Главного оплодотворителя, профессор ощущального искусства из Института технологии чувств, Настоятель Вестминстерского храма песнословия, Главный бокановскизатор — бесконечен был перечень светил и знатных лиц, бывавших на приемах у Бернарда.

— А девушек я на прошлой неделе имел шесть штук,— похвалялся Бернард перед Гельмгольцем.— Одну в понедельник, двух во вторник, двух в пятницу и одну в субботу. И еще по крайней мере дюжина набивалась, да не было времени и желания...

Гельмгольц слушал молча, с таким мрачным неодобрением, что Бернард обиделся.

— Тебе завидно,— сказал Бернард.

— Нет, попросту грустновато,— ответил он. Бернард ушел рассерженный. Никогда больше, дал он себе зарок, никогда больше не заговорит он с Гельмгольцем.

Шли дни. Успех кружил Бернарду голову, как шипучий пьянящий напиток, и (подобно всякому хорошему опьяняющему средству)

полностью примирил его с порядком вещей, прежде таким несправедливым. Теперь этот мир был хорош, поскольку признал Бернардову значимость. Но, умиротворенный, довольный своим успехом, Бернард, однако, не желал отречься от привилегии критиковать порядок вещей. Ибо критика усиливала в Бернарде чувство значимости, собственной весомости. К тому же, критиковать есть что — в этом он убежден был искренне. (Столь же искренне ему хотелось и нравилось иметь успех, иметь девушек по желанию.) Перед теми, кто теперь любезничал с ним ради доступа к Дикарю, Бернард щеголял язвительным инакомыслием. Его слушали учтиво. Но за спиной у него покачивали головами и пророчили: «Этот молодой человек плохо кончит». Пророчили тем увереннее, что сами намерены были в должное время позаботиться о плохом конце. «И не выйдет он вторично сухим из воды — не вечно ему козырять дикарями»,— прибавляли они. Пока же этот козырь у Бернарда был, и с Бернардом держались любезно. И Бернард чувствовал себя монументальной личностью, колоссом — и в то же время ног под собой не чуял, был легче воздуха, парил в поднебесье.

— Он легче воздуха,— сказал Бернард, показывая вверх.

Высоко-высоко там висел привязной аэростат службы погоды и розово отсвечивал на солнце, как небесная жемчужина.

«...упомянутому Дикарю,— гласила инструкция, данная Бернарду,— надлежит наглядно показать цивилизованную жизнь во всех ее аспектах...»

Сейчас Дикарю показывали ее с высоты птичьего полета — со взлетно-посадочного диска Черинг-Тийской башни. Экскурсоводами служили начальник этого аэропорта и штатный метеоролог. Но говорил главным образом Бернард. Опьяненный своей ролью, он вел себя так, словно был по меньшей мере Главноуправителем. Он парил в поднебесье.

Оттуда, из этих небес, упала на диск «Бомбейская Зеленая ракета». Пассажиры сошли. Из восьми иллюминаторов салона выглянули восемь одетых в хаки бортпроводников — восьмерка тождественных близнецов-дравидов.

— Тысяча двести пятьдесят километров в час,— внушительно сказал начальник аэропорта.— Скорость приличная, не правда ли, мистер Дикарь?

— Да,— сказал Дикарь.— Однако Ариель способен был в сорок минут всю землю опоясать [1].

«Дикарь,— писал Бернард Мустафе Монду в своем отчете,— выказывает поразительно мало удивления или страха перед изобретениями цивилизации. Частично это объясняется, без сомнения, тем, что ему давно рассказывала о них Линда, его м...».

(Мустафа Монд нахмурился. «Неужели этот дурак думает, что шокирует меня, если напишет слово полностью?»)

«Частично же тем, что интерес его сосредоточен на фикции, которую он именует душой и упорно считает существующей реально и помимо вещественной среды; я же убеждаю его в том, что...»

Главноуправитель пропустил, не читая, Бернардовы рассуждения и хотел уже перевернуть страницу в поисках чего-либо конкретней, интересней, как вдруг наткнулся взглядом на весьма странные фразы. «...хотя должен признаться,— прочел он,— что здесь я согласен с Дикарем и тоже нахожу нашу цивилизованную безмятежность чувств слишком легко нам достающейся, слишком, как выражается Дикарь, дешевой; и, пользуясь случаем, я хотел бы привлечь внимание Вашего фордейшества к...»

[1] Такой скоростью полета обладал, точнее говоря, Пак — персонаж шекспировского «Сна в летнюю ночь» *(акт II, сцена 1)*.

Мустафа не знал, гневаться ему или смеяться. Этот нуль суется читать лекции о жизнеустройстве ему, Мустафе Монду! Такое уж ни в какие ворота не лезет. Да он с ума сошел! «Человечку необходим урок»,— решил Главноуправитель, но тут же густо рассмеялся, закинув голову. И мысль об уроке отодвинулась куда-то вдаль.

Посетили небольшой завод осветительных устройств для вертопланов, входящий в Корпорацию электрооборудования. Уже на крыше были встречены и главным технологом, и администратором по кадрам (ибо рекомендательное письмо-циркуляр Главноуправителя обладало силой магической). Спустились в производственные помещения.

— Каждый процесс,— объяснял администратор,— выполняется по возможности одной группой Бокановского.

И действительно, холодную штамповку выполняли восемьдесят три чернявых, круглоголовых и почти безносых дельтовика. Полсотни четырехшпиндельных токарно-револьверных автоматов обслуживались полусотней горбоносых рыжих гамм. Персонал литейной составляли сто семь сенегальцев-эпсилонов, с бутыли привычных к жаре. Резьбу нарезали тридцать три желто-русые, длинноголовые, узкобедрые дельтовички ростом все как одна — в метр шестьдесят девять сантиметров (с допуском плюс-минус 20 мм). В сборочном цехе два выводка гамма-плюсовиков карликового размера стояли на сборке генераторов. Ползла конвейерная лента с грузом частей; по обе стороны ее тянулись низенькие рабочие столы; и друг против друга стояли сорок семь темноволосых карликов и сорок семь светловолосых. Сорок семь носов крючком — и сорок семь курносых; сорок семь подбородков, выдающихся вперед,— и сорок семь срезанных. Проверку собранных генераторов производили восемнадцать схожих как две капли, курчавых шатенок в зеленой гамма-форме; упаковкой занимались тридцать четыре коротконогих левши из разряда дельта-минус, а погрузкой в ожидающие тут же грузовики и фургоны — шестьдесят три голубоглазых, льнянокудрых и веснушчатых эпсилон-полукретина.

«О дивный новый мир...» Память злорадно подсказала Дикарю слова Миранды: «О дивный новый мир, где обитают такие люди».

— И могу вас заверить,— подытожил администратор на выходе из завода,— с нашими рабочими почти что никаких хлопот. У нас всегда...

Но Дикарь уже убежал от своих спутников за лавровые деревца, и там его вырвало так, будто не на твердой земле он находился, а в вертоплане, попавшем в болтанку.

«Дикарь,— докладывал письменно Бернард,— отказывается принимать сому и, по-видимому, его очень удручает то, что Линда, его м..., пребывает в постоянном сомотдыхе. Стоит отметить, что, несмотря на одряхление и крайне отталкивающий вид его м..., Дикарь зачастую ее навещает и весьма привязан к ней — любопытный пример того, как ранняя обработка психики способна смягчить и даже подавить естественные побуждения (в данном случае — побуждение избежать контакта с неприятным объектом)».

В Итоне они приземлились на крыше Школы. Напротив, за прямоугольным двором, ярко белела на солнце пятидесятидвухэтажная Лаптонова Башня. Слева — Колледж, а справа — Итонский храм песнословия возносили свои веками освещенные громады из железобетона и вита-гласа [1]. В центре прямоугольника, ограниченного этими четырьмя зданиями, стояло причудливо-старинное изваяние Господа нашего Форда из хромистой стали.

[1] Стекло, пропускающее ультрафиолетовые лучи.

Вышедших из кабины Дикаря и Бернарда встретили доктор Гэфни, ректор, и мисс Кийт, директриса.

— А близнецов у вас здесь много? — тревожно спросил Дикарь, когда приступили к обходу.

— О нет,— ответил ректор.— Итон предназначен исключительно для мальчиков и девочек из высших каст. Одна яйцеклетка — один взрослый организм. Это, разумеется, затрудняет обучение. Но поскольку нашим питомцам предстоит брать на плечи ответственность, принимать решения в непредвиденных и чрезвычайных обстоятельствах, бокановскизация для них не годится.— Ректор вздохнул.

Бернарду между тем весьма пришлась по вкусу мисс Кийт.

— Если вы свободны вечером в любой понедельник, среду или пятницу, милости прошу,— говорил он ей.— Субъект, знаете ли, занятный,— прибавил он, кивнув на Дикаря.— Оригинал.

Мисс Кийт улыбнулась (и Бернард счел улыбку очаровательной), промолвила: «Благодарю вас», сказала, что с удовольствием принимает приглашение. Ректор открыл дверь в аудиторию, где шли занятия с плюс-плюс-альфами.

Послушав минут пять, Джон озадаченно повернулся к Бернарду.

— А что это такое — элементарная теория относительности? — шепотом спросил он. Бернард начал было объяснять, затем предложил пойти лучше послушать, как обучают другим предметам.

В коридоре, ведущем в географический зал для минус-бет, они услышали за одной из дверей звонкое сопрано:

— Раз, два, три, четыре,— и тут же новую, устало-раздраженную, команду: — Отставить.

— Мальтузианские приемы,— объяснила директриса.— Наши девочки, конечно, в большинстве своем неплоды. Как и я сама,— улыбнулась она Бернарду.— Но есть у нас учениц восемьсот нестерилизованных, и они нуждаются в постоянной тренировке.

В географическом зале Джон услышал, что «дикая резервация — это местность, где, вследствие неблагоприятных климатических или геологических условий, не окупились бы расходы на цивилизацию». Щелкнули ставни; свет в зале погас; и внезапно на экране, над головой у преподавателя, возникли penitentes [1], павшие ниц пред богоматерью Акомской (знакомое Джону зрелище); стеная, каялись они в грехах перед распятым Иисусом, перед Пуконгом в образе орла. А юные итонцы в зале надрывали животики от смеха. Penitentes поднялись, причитая, на ноги, сорвали с себя верхнюю одежду и узластыми бичами принялись себя хлестать. Смех в зале до того разросся, что заглушил даже стоны бичующихся, усиленные звукоаппаратурой.

— Но почему они смеются? — спросил Дикарь с недоумением и болью в голосе.

— Почему? — Ректор обернулся к нему, улыбаясь во весь рот.— Да потому что смешно до невозможности.

В кинематографической полумгле Бернард отважился на то, на что в прошлом вряд ли решился бы даже в полной темноте. Окрыленный своей новой значимостью, он обнял директрису за талию. Талия гибко ему покорилась. Он хотел уже сорвать поцелуйчик-другой или нежно щипнуть — но тут снова щелкнули, открылись ставни.

— Пожалуй, продолжим осмотр,— сказала мисс Кийт вставая.

— Вот здесь у нас,— указал ректор, пройдя немного по коридору,— гипнопедическая аппаратная.

Вдоль трех стен помещения стояли стеллажи с сотнями проигрывателей — для каждой спальной комнаты свой проигрыватель; четвертую стену всю занимали полки-ячейки с бумажными роликами, содержащими разнообразные гипнопедические уроки.

— Ролик вкладываем сюда,— сказал Бернард, перебивая ректора,— нажимаем эту кнопку...

[1] Кающиеся *(исп.)*.

— Нет, вон ту,— поправил досадливо ректор.

— Да, вон ту. Ролик разматывается, печатная запись считывается, световые импульсы преобразуются селеновыми фотоэлементами в звуковые волны и...

— И происходит обучение во сне,— закончил доктор Гэфни.

— А Шекспира они читают? — спросил Дикарь, когда, направляясь в биохимические лаборатории, они проходили мимо школьной библиотеки.

— Ну, разумеется, нет,— сказала директриса зардевшись.

— Библиотека наша,— сказал доктор Гэфни,— содержит только справочную литературу. Развлекаться наша молодежь может в ощущальных кинозалах. Мы не поощряем развлечений, связанных с уединением.

По остеклованной дороге прокатили мимо пять автобусов, заполненных мальчиками и девочками; одни пели, другие сидели в обнимку молча.

— Возвращаются из Слау, из крематория,— пояснил ректор (Бернард в это время шепотом уговаривался с директрисой о свидании сегодня же вечером.) — Смертовоспитание начинается с полутора лет. Каждый малыш дважды в неделю проводит утро в Умиральнице. Там его ожидают самые интересные игрушки и шоколадные пирожные. Ребенок приучается воспринимать умирание, смерть, как нечто само собою разумеющееся.

— Как любой другой физиологический процесс,— вставила авторитетно директриса.

Итак, с нею договорено. В восемь часов вечера, в «Савое».

На обратном пути в Лондон они сделали краткую остановку на крыше Брентфордской фабрики телеоборудования.

— Подожди, пожалуйста, минутку, я схожу позвоню,— сказал Бернард.

Ожидая, Дикарь глядел вокруг. Главная дневная смена как раз кончилась. Рабочие низших каст толпились, выстраивались в очередь у моновокзала — сотен семь или восемь гамм, дельт и эпсилонов обоего пола, то есть не более дюжины одноликих и одноростых выводков. Длинной гусеницей ползла очередь к окошку. Вместе с билетом кассир совал каждому картонную коробочку.

— Что в этих... этих малых ларчиках? — вспомнив слово из «Венецианского купца», спросил Дикарь возвратившегося Бернарда.

— Дневная порция сомы,— ответил Бернард слегка невнятно; он подкреплял энергию — жевал Гуверову секс-гормональную резинку.— Кончил смену — получай сому. Четыре полуграммовых таблетки. А по субботам — шесть.

Он взял Джона дружески под руку и направился с ним к вертоплану.

Линайна вошла в раздевальню напевая.

— У тебя такой довольный вид,— сказала Фанни.

— Да, у меня радость,— отвечала Линайна. (Жжик! — расстегнула она молнию.)— Полчаса назад позвонил Бернард. (Жжик, жжик!— сняла она шорты.) У него непредвиденная встреча. (Жжик!) Попросил сводить Дикаря вечером в ощущалку. Надо скорей лететь.— И она побежала в ванную кабинку.

«Везет же девушке»,— подумала Фанни, глядя вслед Линайне. Подумала без зависти; добродушная Фанни просто констатировала факт. Действительно, Линайне повезло. Не на одного лишь Бернарда, но в щедрой мере и на нее падали лучи славы Дикаря (самая модная, самая громкая сенсация момента!) и озаряли ее малозначительную

личность. Ведь сама руководительница Фордианского союза женской молодежи [1] попросила ее прочесть лекцию о Дикаре! Ведь Линайну пригласили на ежегодный званый обед клуба «Афродитеум»! Ведь ее уже показывали в «Ощущальных новостях»— зримо, слышимо и осязаемо явили сотням миллионов жителей планеты!

Едва ль менее лестной для Линайны была благосклонность видных лиц. Второй секретарь Главноуправителя пригласил ее на ужин-завтрак. Один из своих уик-эндов Линайна провела с верховным судьей, другой — с архипеснословом Кентерберийским. Ей то и дело звонил глава Корпорации секреторных продуктов, а с заместителем управляющего Европейским банком она слетала в Довиль [2].

— Чудесно, что и говорить. Но,— призналась Линайна подруге,— у меня какое-то такое чувство, точно я получаю все это обманом. Потому что первым делом, конечно, все они допытываются, какой из Дикаря любовник. И приходится отвечать, что не знаю.— Она поникла головой.— Конечно, почти никто не верит мне. Но это правда. И жаль, что правда,— прибавила она грустно и вздохнула.— Он же страшно красивый — верно?

— А разве ты ему не нравишься? — спросила Фанни.

— Иногда мне кажется, нравлюсь, а иногда — нет. Он избегает меня все время; стоит мне войти в комнату, как он уходит; не коснется рукой никогда; глядит в сторону. Но бывает, обернусь неожиданно и ловлю его взгляд на себе; и тогда — ну, сама знаешь, какой у мужчин взгляд, когда им нравишься.

Фанни кивнула.

— Так что не пойму я,— дернула Линайна плечом. Она недоумевала, она была сбита с толку и удручена.— Потому что, понимаешь, Фанни, он-то мне нравится.

Нравится все больше, все сильней. И вот теперь свидание, думала она, прыскаясь духами после ванны. Здесь, и здесь, и здесь чуточку... Наконец-то свидание. Она весело запела:

Крепче жми меня, мой кролик,
Целуй до истомы.
Ах, любовь острее колик
И волшебней сомы.

Запаховый орга́н исполнил восхитительно бодрящее «Травяное каприччио»— журчащие арпеджии тимьяна и лаванды, розмарина, мирта, эстрагона; ряд смелых модуляций по всей гамме пряностей, кончая амброй; и медленный возврат через сандал, камфару, кедр и свежескошенное сено (с легкими порою диссонансами — запашком ливера, слабеньким душком свиного навоза) — возврат к цветочным ароматам, с которых началось каприччио. Повеяло на прощанье тимьяном; раздались аплодисменты; свет вспыхнул ярко. В аппарате синтетической музыки завертелся ролик звукозаписи, разматываясь. Трио для экстраскрипки, супервиолончели и гипергобоя наполнило воздух своей мелодической негой. Тактов тридцать или сорок — а затем на этом инструментальном фоне запел совершенно сверхчеловеческий голос; то грудной, то головной, то чистых, как флейта, тонов, то насыщенный томящими обертонами, голос этот без усилия переходил от рекордно басовых нот к почти ультразвуковым переливчатым верхам, далеко превосходящим высочайшее «до», которое, к удивлению Моцарта, пронзительно взяла однажды Лукреция Аюгари[3] — единственный в истории музыки раз — в 1770 году, в герцогской опере города Пармы.

Глубоко уйдя в свои пневматические кресла, Линайна и Дикарь

[1] Здесь и в других местах автор иронически переиначивает названия известных буржуазных учреждений и организаций (Христианский союз женской молодежи, клуб «Атенеум» и т. д.).

[2] Приморский город во Франции.

[3] Итальянская певица (1743—1783).

обоняли и слушали. А затем пришла пора глазам и коже включиться в восприятие.

Свет погас; из мрака встали жирные огненные буквы: ТРИ НЕДЕЛИ В ВЕРТОПЛАНЕ. СУПЕРПОЮЩИЙ, СИНТЕТИКО-РЕЧЕВОЙ, ЦВЕТНОЙ СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИЙ ОЩУЩАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ С СИНХРОННЫМ ОРГАНО-ЗАПАХОВЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ.

— Возьмитесь за шишечки на подлокотниках кресла,— шепнула Линайна.— Иначе не дойдут ощущальные эффекты.

Дикарь взялся пальцами за обе шишечки.

Тем временем огнистые буквы погасли; секунд десять длилась полная темнота; затем вдруг ослепительно великолепные в своей вещественности — куда живей живого, реальней реального — возникли стереоскопические образы великана негра и златовласой юной круглоголовой бета-плюсовички. Негр и бета сжимали друг друга в объятиях.

Дикарь вздрогнул. Как зачесались губы! Он поднял руку ко рту; щекочущее ощущение пропало; опустил руку на металлическую шишечку — губы опять защекотало. А орган между тем источал волны мускуса. Из репродукторов шло замирающее суперворкованье: «Оо-оо»; и сверхафриканский густейший басище (с частотой всего тридцать два колебания в секунду) мычал в ответ воркующей золотой горлице: «Мм-мм». Опять слились стереоскопические губы — «Оо-мм! Оо-ммм!»— и снова у шести тысяч зрителей, сидящих в «Альгамбре», зазудели эротогенные зоны лица почти невыносимо приятным гальваническим зудом. «Ооо...»

Сюжет фильма был чрезвычайно прост. Через несколько минут после первых воркований и мычаний (когда любовники спели дуэт, пообнимались на знаменитой медвежьей шкуре, каждый волосок которой — совершенно прав помощник Предопределителя! — был четко и раздельно осязаем) негр попал в воздушную аварию, ударился об землю головой. Бум! Какая боль прошила лбы у зрителей! Раздался хор охов и ахов.

От сотрясения полетело кувырком все формированье-воспитанье негра. Он воспылал маниакально-ревнивой страстью к златовласой бете. Она протестовала. Он не унимался. Погони, борьба, нападение на соперника; наконец, захватывающее дух похищение. Бета унесена ввысь, вертоплáн три недели висит в небе, и три недели длится этот дико антиобщественный тет-а-тет блондинки с черным маньяком. В конце концов, после целого ряда приключений и всяческой воздушной акробатики, трем юным красавцам альфовикам удается спасти девушку. Негра отправляют в Центр переформовки взрослых, и фильм завершается счастливо и благопристойно — девушка дарит своей любовью всех троих спасителей. На минуту они прерывают это занятие, чтобы спеть синтетический квартет под мощный супероркестровый аккомпанемент, в органном аромате гардений. Затем еще раз напоследок медвежья шкура — и под звуки сексофонов экран меркнет на финальном стереоскопическом поцелуе, и на губах у зрителей гаснет электрозуд, как умирающий мотылек, что вздрагивает, вздрагивает крылышками все слабей и бессильней — и вот уж замер, замер окончательно.

Но для Линайны мотылек не оттрепетал еще. Зажегся уже свет, и они с Джоном медленно подвигались в зрительской толпе к лифтам, а призрак мотылька все щекотал ей губы, чертил на коже сладостно-тревожные ознобные дорожки. Щеки Линайны горели, глаза влажно сияли, грудь вздымалась. Она взяла Дикаря под руку, прижала его локоть к себе. Джон покосился на нее, бледный,— страдая, вожделея и стыдясь своего желания. Он недостоин, недос... Глаза их встретились на миг. Какое обещание в ее взгляде! Какие царские сокровища любви! Джон поспешно отвел глаза, высвободил руку. Он бессозна-

тельно страшился, как бы Линайна не сделалась такой, какой он уже не будет недостоин.

— По-моему, это вам вредно,— проговорил он, торопясь снять с нее и перенести на окружающее вину за всякие прошлые или будущие отступления Линайны от совершенства.

— Что вредно, Джон?

— Смотреть такие мерзкие фильмы.

— Мерзкие? — искренне удивилась Линайна.— А мне фильм показался прелестным.

— Гнусный фильм,— сказал Джон негодующе.— Позорный.

— Не понимаю вас,— покачала она головой. Почему Джон такой чудак? Почему он так упорно хочет все испортить?

В вертакси он избегал на нее смотреть. Связанный нерушимыми обетами, никогда не произнесенными, покорный законам, давно уже утратившим силу, он сидел отвернувшись и молча. Иногда — будто чья-то рука дергала тугую, готовую лопнуть струну — по телу его пробегала внезапная нервная дрожь.

Вертакси приземлилось на крыше дома, где жила Линайна. Наконец-то, ликующе подумала она, выходя из кабины. Наконец-то — хоть он и вел себя сейчас так непонятно. Остановившись под фонарем, она погляделась в свое зеркальце. Наконец-то. Да, нос чуть-чуть лоснится. Она отряхнула пуховку. Пока Джон расплачивается с таксистом, можно привести лицо в порядок. Она заботливо прошлась пуховкой, говоря себе: «Он ужасно красив. Ему-то незачем робеть, как Бернарду. А он робеет... Любой другой давно бы уже. Но теперь наконец-то». Из круглого зеркальца ей улыбнулись нос и полщеки, уместившиеся там.

— Спокойной ночи,— произнес за спиной у нее сдавленный голос. Линайна круто обернулась. Джон стоял в дверях кабины, глядя на Линайну неподвижным взглядом; должно быть, он стоял так и глядел все время, пока она пудрилась, и ждал — но чего?— колебался, раздумывал, думал — но о чем? Что за чудак, уму непостижимый...— Спокойной ночи, Линайна,— повторил он, страдальчески морща лицо в попытке улыбнуться.

— Но, Джон... Я думала, вы... То есть, разве вы не?..

Дикарь, не отвечая, закрыл дверцу, наклонился к пилоту, что-то сказал ему. Вертоплан взлетел.

Сквозь окошко в полу Дикарь увидел лицо Линайны, бледное в голубоватом свете фонарей. Рот ее открыт, она зовет его. Укороченная в ракурсе фигурка Линайны понеслась вниз; уменьшаясь, стал падать во тьму квадрат крыши.

Через пять минут Джон вошел к себе в комнату. Из ящика в столе он вынул обгрызенный мышами том и, полистав с благоговейной осторожностью мятые, захватанные страницы, стал читать «Отелло». Он помнил, что, подобно герою «Трех недель в вертоплане», Отелло — чернокожий.

Линайна отерла слезы, направилась к лифту. Спускаясь с крыши на свой двадцать восьмой этаж, она вынула флакончик с сомой. Грамма, решила она, будет мало; печаль ее не из одногранмовых. «Но если принять два грамма, то, чего доброго, проспишь, опоздаешь завтра на работу. Приму полтора»,— и она вытряхнула на ладонь три таблетки.

Глава двенадцатая

Бернарду пришлось кричать сквозь запертую дверь; Дикарь упорно не открывал.

— Но все уже собрались и ждут тебя.

— Пускай ждут на здоровье,— глухо донеслось из-за двери.

— Но, Джон, ты ведь отлично знаешь (как, однако, трудно придавать голосу убедительность, когда кричишь), что я их пригласил именно на встречу с тобой.

— Прежде надо было меня спросить, хочу ли я с ними встретиться.

— Ты ведь никогда раньше не отказывался.

— А вот теперь отказываюсь. Хватит.

— Но ты ж не подведешь друга,— льстиво проорал Бернард.— Ну сделай одолжение, Джон.

— Нет.

— Ты это серьезно?

— Да.

— Но мне что же прикажешь делать? — простонал в отчаянии Бернард.

— Убирайся к черту! — рявкнуло раздраженно за дверью.

— Но у нас сегодня сам архипеснослов Кентерберийский,— чуть не плача, крикнул Бернард.

— Аи яа таква! — Единственно лишь на языке зуньи способен был Дикарь с достаточной силой выразить свое отношение к архипеснослову.— Хани! — послал он новое ругательство и добавил со свирепой насмешкой: — Сонс эсо це-на.— И плюнул на пол, как плюнул бы Попе.

Так и пришлось сникшему Бернарду вернуться ни с чем и сообщить нетерпеливо ожидающим гостям, что Дикарь сегодня не появится. Весть эта была встречена негодованием. Мужчины гневались, поскольку впустую потратили свои любезности на замухрышку Бернарда с его дурной репутацией и еретическими взглядами. Чем выше их положение в общественной иерархии, тем сильней была их досада.

— Сыграть такую шуточку со мной! — восклицал архипеснослов.— Со мной!

Дам же бесило то, что ими под ложным предлогом попользовался жалкий субъект, хлебнувший спирта во младенчестве,— человечек с тельцем гамма-минусовика. Это просто безобразие — и они возмущались все громче и громче. Особенно язвительна была итонская директриса.

Только Линайна молчала. Она сидела в углу бледная, синие глаза ее туманились непривычной грустью, и эта грусть отгородила, обособила ее от окружающих. А шла она сюда, исполненная странным чувством буйной и тревожной радости. «Еще несколько минут,— говорила она себе, входя,— и я увижу его, заговорю с ним, скажу (она уже решилась ему открыться), что он мне нравится — больше всех, кого я знала в жизни. И тогда, быть может, он мне скажет...»

Скажет — что? Ее бросало в жар и краску.

«Почему он так непонятно вел себя после фильма? Так по-чудному. И все же я уверена, что на самом деле ему нравлюсь. Абсолютно уверена...»

И в этот-то момент вернулся Бернард со своей вестью: Дикарь не выйдет к гостям.

Линайна испытала внезапно все то, что обычно испытывают сразу после приема препарата ЗБС (заменитель бурной страсти),— чувство ужасной пустоты, теснящую дыхание тоску, тошноту. Сердце словно перестало биться.

«Возможно, оттого не хочет выйти, что не нравлюсь я ему»,— подумала она. И тотчас же возможность эта сделалась в ее сознании неопровержимым фактом: не нравится она ему. Не нравится...

— Это уж он форд знает что себе позволяет,— говорила между тем директриса заведующему крематориями и утилизацией фосфора.— И подумать, что я даже...

— Да, да,— слышался голос Фанни Краун,— насчет спирта все чистейшая правда. Знакомая моей знакомой как раз работала тогда в Эмбрионарии. Знакомая сама слышала от этой знакомой...

— Скверная шуточка, скверная,— поддакнул архипеснослову Ген-

ри Фостер.— Вам небезынтересно будет узнать, что бывший наш директор, если бы не ушел, то перевел бы его в Исландию.

Пронзаемый каждым новым словом, тугой воздушный шар Бернардова самодовольства съеживался на глазах, соча газ из тысячи проколов. Смятенный, потерянный, бледный и жалкий, Бернард метался среди гостей, бормотал бессвязные извинения, заверял, что в следующий раз Дикарь непременно будет, усаживал и упрашивал угоститься каротинным сандвичем, отведать пирога с витамином А, выпить искусственного шампанского. Гости ели — но Бернарда уже знать не хотели; пили — и либо ему грубили, либо же переговаривались о нем громко и оскорбительно, точно его не было с ними рядом.

— А теперь, друзья мои,— плотно подзакусив, промолвил архипеснослов Кентерберийский этим своим великолепным медным голосом, что вершит и правит празднованиями Дня Форда,— теперь, друзья мои, пора уже, я думаю...— Он встал с кресла, поставил бокал, стряхнул с пурпурного вискозного жилета крошки и направил стопы свои к выходу.

Бернард ринулся наперехват:

— Неужели?.. Ведь так еще рано... Я питал надежду, что Ваше...

Да, каких только надежд он не питал, после того как Линайна сообщила ему по секрету, что архипеснослов примет приглашение, если таковое будет послано. «А знаешь, он очень милый». И показала Бернарду золотую Т-образную застежечку, которую архипеснослов подарил ей в память уик-энда, проведенного Линайной в его резиденции. «Званый вечер с участием архипеснослова Кентерберийского и м-ра Дикаря»— эти триумфальные слова красовались на всех пригласительных билетах. Но именно этот-то вечер избрал Дикарь, чтобы запереться у себя и отвечать на уговоры ругательствами «Хани!» и даже «Сонс эсо це-на!» (счастье Бернарда, что он не знает языка зуньи). То, что должно было стать вершинным мигом всей жизни Бернарда, стало мигом его глубочайшего унижения.

— Я так надеялся...— лепетал он, глядя на верховного фордослужителя молящими и горестными глазами.

— Молодой мой друг,— изрек архипеснослов торжественно-сурово; все кругом смолкло.— Позвольте преподать вам совет. Добрый совет.— Он погрозил Бернарду пальцем: — Исправьтесь, пока еще не поздно.— В голосе его зазвучали гробовые ноты: — Прямыми сделайте стези ваши, молодой мой друг.— Он осенил Бернарда знаком Т и отворотился от него.— Линайна, радость моя,— произнес он, меняя тон.— Прошу со мной.

Послушно, однако без улыбки и без восторга — совершенно не сознавая, какая оказана ей честь,— Линайна пошла следом. Переждав минуту из почтения к архипеснослову, двинулись к выходу и остальные гости. Последний хлопнул, уходя, дверью. Бернард остался один.

Совершенно убитый, он опустился на стул, закрыл лицо руками и заплакал. Поплакав несколько минут, он прибегнул затем к средству действеннее слез — принял четыре таблетки сомы.

Наверху, в комнате у себя, Дикарь был занят чтением «Ромео и Джульетты».

Вертоплан доставил архипеснослова и Линайну на крышу Собора песнословия.

— Поторопитесь, молодой мой... то есть Линайна,— позвал нетерпеливо архипеснослов, стоя у дверей лифта. Линайна, замешкавшаяся на минуту, глядевшая на луну, опустила глаза и поспешила к лифту.

«Новая биологическая теория» — так называлась научная работа, которую кончил в эту минуту читать Мустафа Монд. Он посидел, глубокомысленно хмурясь, затем взял перо и поперек заглавного листа начертал: «Предлагаемая автором математическая трактовка кон-

цепции жизненазначения является новой и весьма остроумной, но еретической и по отношению к общественному порядку опасной и потенциально разрушительной. Публикации не подлежит (эту фразу он подчеркнул). Автора держать под надзором. Потребуется, возможно, перевод его на морскую биостанцию на острове св. Елены». А жаль, подумал он, ставя свою подпись. Работа сделана мастерски. Но только позволить им начать рассуждать о назначении жизни — и форд знает до чего дорассуждаются. Подобными идеями легко сбить с толку тех высшекастовиков, чьи умы менее устойчивы,— разрушить их веру в счастье как Высшее Благо и убедить в том, что жизненная цель находится где-то дальше, где-то вне нынешней сферы людской деятельности; что назначение жизни состоит не в поддержании благоденствия, а в углублении, облагораживании человеческого сознания, в обогащении человеческого знания. И вполне возможно, подумал Главноуправитель, что такова и есть цель жизни. Но в нынешних условиях это не может быть допущено. Он снова взял перо и вторично подчеркнул слова «Публикации не подлежит» — еще гуще и чернее; затем вздохнул. «Как бы интересно стало жить на свете,— подумал он,— если бы можно было отбросить заботу о счастье».

Закрыв глаза, с восторженно-сияющим лицом, Дикарь тихо декламировал в пространство:

Краса бесценная и неземная,
Все факелы собою затмевая,
Она горит у ночи на щеке,
Как бриллиант в серьге у эфиопки...[1]

Золотой Т-образный язычок блестел у Линайны на груди. Архипеснослов игриво взялся за эту застежечку, игриво дернул, потянул.

— Я, наверно...— прервала долгое свое молчание Линайна.— Я, пожалуй, приму грамма два сомы.

Бернард к этому времени уже крепко спал и улыбался своим райским снам. Улыбался, радостно улыбался. Но неумолимо, каждые тридцать секунд, минутная стрелка электрочасов над его постелью совершала прыжочек вперед, чуть слышно щелкнув. Щелк, щелк, щелк, щелк... И настало утро. Бернард вернулся в пространство и время — к своим горестям. В полном унынии отправился он на службу, в Воспитательный Центр. Недели опьянения кончились; Бернард очутился в прежней житейской оболочке; и, упавшему на землю с поднебесной высоты, ему как никогда тяжело было влачить эту постылую оболочку.

К Бернарду подавленному, протрезвевшему Дикарь неожиданно отнесся с сочувствием.

— Теперь ты снова похож на того, каким был в Мальпаисе,— сказал он, когда Бернард поведал ему о печальном финале вечера.— Помнишь наш первый разговор? На пустыре у нас. Ты теперь опять такой.

— Да потому, что я опять несчастен.

— По мне, лучше уж несчастье, чем твое фальшивое, лживое счастье прошлых недель.

— Ты б уж молчал,— горько сказал Бернард.— Ведь сам же меня подкосил. Отказался сойти к гостям и всех их превратил в моих врагов.

Бернард сознавал, что слова его несправедливы до абсурда; он признавал в душе — и даже признал вслух — правоту Дикаря, возражавшего, что грош цена приятелям, которые чуть что превращаются во врагов и гонителей. Но, сознавая и признавая все это, и дорожа поддержкой, сочувствием друга, и оставаясь искренне к нему привязанным, Бернард упрямо все же затаил на Дикаря обиду и обдумывал, как бы отквитать ему по мелочам. На архипеснослова питать обиду бесполезно; отомстить Главному укупорщику или помощнику Пред-

[1] «Ромео и Джульетта» *(акт I, сцена 5)*.

определителя у Бернарда не было возможности. Дикарь же в качестве жертвы обладал тем огромным преимуществом, что был в пределах досягаемости. Одно из главных назначений друга — подвергаться (в смягченной и символической форме) тем карам, что мы хотели бы, да не можем обрушить на врагов.

Второй жертвой-другом у Бернарда был Гельмгольц. Когда, потерпев крушение, он пришел к Гельмгольцу, чтобы возобновить дружбу, которую во дни успеха решил разорвать, то Гельмгольц встретил его радушно, без слова упрека, словно не было у них никакой ссоры. Бернард был тронут и в то же время унижен этим великодушием — этой сердечной щедростью, тем более необычайной (и оттого вдвойне унизительной), что объяснялась она отнюдь не воздействием сомы. Простил и забыл Гельмгольц трезвый и будничный, а не Гельмгольц, одурманенный таблеткой. Бернард, разумеется, был благодарен (дружба с Гельмгольцем теперь — утешение огромное) и, разумеется, досадовал (а приятно будет как-нибудь наказать друга за его великодушие и благородство).

В их первую же встречу Бернард излил перед другом свои печали и услышал слова ободрения. Лишь спустя несколько дней он узнал, к своему удивлению — и стыду тоже,— что не один теперь в беде. Гельмгольц сам оказался в конфликте с Властью.

— Из-за своего стишка,— объяснил Гельмгольц.— Я читаю третьекурсникам спецкурс по технологии чувств. Двенадцать лекций, из них седьмая — о стихах. Точнее, «О применении стихов в нравственной пропаганде и рекламе». Я всегда обильно ее иллюстрирую конкретными примерами. В этот раз пришла мне мысль попотчевать студентов стишком, только что сочиненным. Мысль сумасшедшая, конечно, но уж очень захотелось.— Гельмгольц засмеялся.— К тому же,— прибавил он более серьезным тоном,— хотелось проверить себя как специалиста: смогу ли я внушить то чувство, какое испытывал сам, когда писал. Господи Форде! — засмеялся он опять.— Какой поднялся шум! Шеф вызвал меня к себе и пригрозил немедленно уволить. Отныне я взят на заметку.

— А о чем твой стишок? — спросил Бернард.

— О ночной уединенности.

Бернард поднял брови.

— Если хочешь, прочту.—И Гельмгольц начал:

Кончено заседание,
В Сити — полночный час.
Палочки барабанные
Немы. Оркестр угас.
Сор уснул на панели.
Спешка прекращена.
Там, где толпы кишели,
Радуется тишина,
Радуется и плачет,
Шепотом или навзрыд.
Что она хочет и значит?
Голосом чьим говорит?
Вместо одной из многих
Сюзанн, Марианн, Услад
(У каждой плечи и ноги
И аппетитный зад)
Со мной разговор затевает,
Все громче свое запевает
Химера? абсурд? пустота? —
И ею ночь городская
Гуще, плотней занята,
Чем всеми теми многими,
С кем спариваемся мы.
И кажемся мы убогими
Жителями тьмы.

Я привел им это в качестве примера, а они донесли шефу.

— Что ж удивляться,— сказал Бернард.— Стишок этот идет враз-

рез со всем, что они с детства усвоили во сне. Вспомни — им по крайней мере четверть миллиона раз повторили в той или иной форме, что уединение вредно.

— Знаю. Но мне хотелось проверить действие стиха на слушателях.

— Ну вот и проверил.

В ответ Гельмгольц только рассмеялся.

— У меня такое ощущение,— сказал он,— словно брезжит передо мной что-то, о чем стоит писать. Словно начинает уже находить применение бездействовавшая во мне сила — та скрытая, особенная сила. Что-то во мне пробуждается.

«Попал в беду, а рад и светел»,— подумал Бернард.

Гельмгольц с Дикарем сдружились сразу же. Такая тесная завязалась у них дружба, что Бернарда даже кольнула в сердце ревность. За все эти недели ему не удалось так сблизиться с Дикарем, как Гельмгольцу с первого же дня. Глядя на них, слушая их разговоры, Бернард иногда жалел сердито, что свел их вместе. Этого чувства он стыдился и пытался его подавить то сомой, то усилием воли. Но волевые усилия мало помогали, а сому непрерывно ведь не будешь глотать. И гнусная зависть-ревность мучила снова и снова.

В третье свое посещенье Дикаря Гельмгольц прочел ему злополучный стишок.

— Ну, как впечатление? — спросил он кончив.

Дикарь покрутил головой.

— Вот послушай-ка лучше,— сказал он и, отомкнув ящик, вынув заветную замызганную книгу, раскрыл ее и стал читать:

Птица звучного напева,
Звонкий заревой трубач!
Вострубн, воспой, восплачь
С веток Фениксова древа...[1]

Гельмгольц слушал с растущим волнением. Уже с первых строк он встрепенулся; улыбнулся от удовольствия, услышав «Ухающая сова»; от строки «Хищнокрылые созданья» щекам вдруг стало жарко, а при словах «Скорбной музыкою смерти» он побледнел, вдоль спины дернуло не испытанным еще ознобом. Дикарь читал дальше:

Стало Самости тревожно,
Что смешались «я» и «ты»;
Разделяющей черты
След увидеть невозможно.
Разум приведен в тупик
Этим розного слияньем...

— Слиться нас господь зовет,— перебил Бернард, хохотнув ехидно.— Хоть пой эту абракадабру на сходках единения.— Он мстил обоим — Дикарю и Гельмгольцу.

В течение последующих двух-трех встреч он часто повторял свои издевочки. Месть несложная и чрезвычайно действенная — ибо и Гельмгольца и Дикаря ранило до глубины это осквернение, растаптыванье хрусталя поэзии. Наконец Гельмгольц пригрозил вышвырнуть Бернарда из комнаты, если тот перебьет Дикаря снова. Но как ни странно, а прервал в следующий раз чтение сам Гельмгольц, и еще более грубым образом.

Дикарь читал «Ромео и Джульетту» — с дрожью, с пылом страсти, ибо в Ромео видел самого себя, а в Джульетте — Линайну. Сцену их первой встречи Гельмгольц прослушал с недоуменным интересом. Сцена в саду восхитила его своей поэзией; однако чувства влюбленных вызвали улыбку. Так взвинтить себя из-за взаимопользования — смешновато как-то. Но если взвесить каждую словесную деталь, что за превосходный образец инженерии чувств!

[1] Дикарь читает стихотворение Шекспира «Феникс и голубка».

— Перед стариканом Шекспиром,— признал Гельмгольц,— лучшие наши специалисты — ничто.

Дикарь торжествующе улыбнулся и продолжил чтение. Все шло гладко до той концевой сцены третьего акта, где супруги Капулетти понуждают дочь выйти замуж за Париса. На протяжении всей сцены Гельмгольц поерзывал; когда же, прочувственно передавая мольбу Джульетты, Дикарь прочел:

Все мое горе видят небеса.
Ужели нету жалости у неба?
О не гони меня, родная мать!
Отсрочку дай на месяц, на неделю;
А если нет, то брачную постель
Стелите мне в могильном мраке склепа,
Где погребен Тибальт...[1]—

тут уж Гельмгольц безудержно расхохотался.

Отец и мать (непотребщина в квадрате!) тащат, толкают дочку к взаимопользованию с неприятным ей мужчиной! А дочь, идиотка этакая, утаивает, что взаимопользуется с другим, кого (в данный момент, во всяком случае) предпочитает! Дурацки непристойная ситуация эта в высшей степени комична. До сих пор Гельмгольцу еще удавалось героическим усилием подавлять разбиравший его смех; но «родная мать» (страдальчески, трепетно произнес это Дикарь) и упоминание о мертвом Тибальте, лежащем во мраке склепа — очевидно, без кремации, так что весь фосфор пропадает зря,— мать с Тибальтом доконали Гельмгольца. Он хохотал и хохотал, уже и слезы текли по лицу, и все не мог остановиться; а Дикарь глядел на него поверх страницы, бледнея оскорбленно, и наконец с возмущением захлопнул книгу, встал и запер ее в стол — спрятал бисер от свиней.

— И однако,— сказал Гельмгольц, отдышавшись, извинясь и несколько смягчив Дикаря,— я вполне сознаю, что подобные нелепые, безумные коллизии необходимы драматургу; ни о чем другом нельзя написать по-настоящему захватывающе. Ведь почему этот старикан был таким замечательным технологом чувств? Потому что писал о множестве вещей мучительных, бредовых, которые волновали его. А так и надо — быть до боли взволнованным, задетым за живое; иначе не изобретешь действительно хороших, всепроникающих фраз. Но «отец»! Но «мать»! — Он покачал головой.— Уж тут, извини, сдержать смех немыслимо. Да и кого из нас взволнует то, попользуется парень девушкой или нет? (Дикаря покоробило, но Гельмгольц, потупившийся в раздумье, ничего не заметил.) Нет,— подытожил он со вздохом,— сейчас такое не годится. Требуется иной род безумия и насилия. Но какой именно? Что именно? Где его искать? — Он помолчал; затем, мотнув головой: — Не знаю,— сказал наконец.— Не знаю.

Глава тринадцатая

В красном сумраке Эмбрионария замаячил Генри Фостер.

— В ощущалку вечером махнем?

Линайна молча покачала головой.

— А с кем ты сегодня? — Ему интересно было знать, кто из его знакомых с кем взаимопользуется.— С Бенито?

Она опять качнула головой.

Генри заметил усталость в этих багряных глазах, бледность под ало-волчаночной глазурью, грусть в уголках неулыбающегося малинового рта.

— Нездоровится тебе, что ли? — спросил он слегка обеспокоенно: а вдруг у нее одна из немногих еще оставшихся заразных болезней?

[1] «Ромео и Джульетта» *(акт III, сцена 5).*

Но снова Линайна покачала головой.

— Все-таки зайди к врачу,— сказал Генри.— «Прихворну хотя бы чуть, сразу к доктору лечу»,— бодро процитировал он гипнопедическую поговорку, для вящей убедительности хлопнув Линайну по плечу.— Возможно, тебе требуется псевдобеременность. Или усиленная доза ЗБС. Иногда, знаешь, обычной бывает недоста...

— Ох, замолчи ты ради Форда,— вырвалось у Линайны. И она повернулась к бутылям на конвейерной ленте, от которых отвлек ее Генри.

Вот именно, ЗБС ей нужен, заменитель бурной страсти! Она рассмеялась бы Генри в лицо, да только боялась расплакаться. Как будто мало у нее своей БС! С тяжелым вздохом набрала она в шприц раствора.

— Джон,— шепнула она тоскующе,— Джон...

«Господи Форде,— спохватилась она.— Сделала я уже этому зародышу укол или не сделала? Совершенно не помню. Еще вторично впрысну, чего доброго». Решив не рисковать этим, она занялась следующей бутылью.

Через двадцать два года восемь месяцев и четыре дня молодой подающий надежды альфа-минусовик, управленческий работник в Мванза-Мванза, умрет от сонной болезни — это будет первый случай за полстолетия с лишним. Вздыхая, Линайна продолжала действовать иглой.

— Но это абсурд — так себя изводить,— возмущалась Фанни в раздевальне час спустя.— Просто абсурд,— повторила она.— И притом из-за чего? Из-за мужчины — одного какого-то мужчины.

— Но я именно его хочу.

— Как будто не существуют на свете миллионы других.

— Но их я не хочу.

— А ты прежде попробуй, потом говори.

— Я пробовала.

— Ну скольких ты перепробовала? — Фанни пожала насмешливо плечиком.— Одного, двух?

— Несколько десятков. Но эффекта никакого.

— Пробуй, не покладая рук,— назидательно сказала Фанни. Но было видно, что в ней уже поколебалась вера в этот рецепт.— Без усердия ничего нельзя достичь.

— Усердие усердием, но я...

— Выбрось его из мыслей.

— Не могу.

— А ты сому принимай.

— Принимаю.

— Ну и продолжай принимать.

— Но в промежутках он не перестает мне нравиться. И не перестанет никогда.

— Что ж, если так,— сказала Фанни решительно,— тогда просто-напросто пойди и возьми его. Все равно, хочет он или не хочет.

— Но если бы ты знала, какой он ужасающий чудак!

— Тем более необходима с ним твердость.

— Легко тебе говорить.

— Знать ничего не знай. Действуй.— Голос у Фанни звучал теперь фанфарно, словно у лекторши из ФСЖМ [1], проводящей вечернюю беседу с двенадцатилетними бета-минусовичками.— Да, действуй, и безотлагательно. Сейчас.

— Боязно мне,— сказала Линайна.

— Прими сперва таблетку сомы — и все дела. Ну, я пошла мыться.— Подхватив мохнатую простыню, Фанни зашагала к кабинкам.

---

[1] Фордианский союз женской молодежи.

В дверь позвонили, и Дикарь вскочил и бросился открывать.— он решил наконец сказать Гельмгольцу, что любит Линайну, и теперь ему уж не терпелось.

— Я предчувствовал, что ты придешь,— воскликнул он, распахивая дверь.

На пороге — в белом, ацетатного шелка, матросском костюме и в круглой белой шапочке, кокетливо сдвинутой на левое ухо,— стояла Линайна.

Дикарь так и ахнул, точно его ударили с размаха.

Полграмма сомы оказалось Линайне достаточно, чтобы позабыть колебанья и страхи.

— Здравствуй, Джон,— сказала она с улыбкой и прошла в комнату. Машинально закрыл он дверь и пошел следом. Линайна села. Наступило длинное молчание.

— Ты вроде бы не рад мне, Джон,— сказала наконец Линайна.

— Не рад? — В глазах Джона выразился упрек; он вдруг упал перед ней на колени, благоговейно поцеловал ей руку.— Не рад? О, если бы вы только знали,— прошептал он и, набравшись духу, взглянул ей в лицо.— О восхитительнейшая Линайна, достойная самого дорогого, что в мире есть. (Она улыбнулась, обдав его нежностью.) О, вы так совершенны (приоткрыв губы, она стала наклоняться к нему), так совершенны и так несравненны (ближе, ближе); чтобы создать вас, у земных созданий взято все лучшее.— (Еще ближе...) Дикарь внезапно поднялся с колен.— Вот почему,— сказал он, отворачивая лицо,— я хотел сперва совершить что-нибудь... Показать то есть, что достоин вас. То есть, я всегда останусь недостоин. Но хоть показать, что не совсем уж... Свершить что-нибудь.

— А зачем это необходимо...— начала и не кончила Линайна. В голосе ее прозвучала раздраженная нотка. Когда наклоняешься, тянешься губами ближе, ближе, и вдруг дуралей-партнер вскакивает и ты как бы проваливаешься в пустоту, то поневоле возьмет досада, хотя в крови твоей и циркулирует полграмма сомы.

— В Мальпаисе,— путано бормотал Дикарь,— надо принести шкуру горного льва, кугуара. Когда сватаешься, то есть. Или волчью.

— В Англии нет львов,— сказала Линайна почти резко.

— Да если бы и были,— неожиданно проговорил Дикарь с брезгливым возмущением,— то их бы с вертопланов, наверно, стреляли, газом бы травили. Не так бы я сражался со львом, Линайна.— Расправив плечи, расхрабрившись, он повернулся к Линайне — и увидел на лице у нее досаду и непонимание.— Я что угодно совершу,— продолжал он в замешательстве, все больше путаясь.— Только прикажите. Среди забав бывают и такие, где нужен тяжкий труд. Но оттого они лишь слаще. Вот и я бы. Прикажи вы только, я полы бы мел.

— Но на это существуют пылесосы,— сказала недоуменно Линайна.— Мести полы нет необходимости.

— Необходимости-то нет. Но низменная служба бывает благородно исполнима. Вот и я хотел бы исполнить благородно.

— Но раз у нас есть пылесосы...

— Не в том же дело.

— И есть эпсилон-полукретины, чтобы пылесосить,— продолжала Линайна,— то зачем это тебе, ну зачем?

— Зачем? Но для вас, Линайна. Чтобы показать вам, что я...

— И какое отношение имеют пылесосы ко львам?

— Показать, как сильно...

— Или львы к нашей встрече?..— Она раздражалась все больше.

— ...как вы мне дороги, Линайна,— выговорил он с мукой в голосе.

Волна радости затопила Линайну — волна румянца залила ей щеки.

— Ты признаешься мне в любви, Джон?

— Но мне еще не полагалось признаваться,— вскричал Джон,

чуть ли не ломая себе руки.— Прежде следовало... Слушайте, Линайна, в Мальпаисе влюбленные вступают в брак.

— Во что вступают? — Линайна опять уже начинала сердиться. Что это он мелет?

— Навсегда. Дают клятву жить вместе навек.

— Что за бредовая мысль! — Линайна не шутя была шокирована.

— Пускай увянет внешняя краса, но обновлять в уме любимый облик быстрей, чем он ветшает [1].

— Что такое?

— И Шекспир ведь учит: «Не развяжи девичьего узла до совершения святых обрядов во всей торжественной их полноте...» [2]

— Ради Форда, Джон, говори по-человечески. Я не понимаю ни слова. Сперва пылесосы, теперь узлы. Ты с ума меня хочешь свести.— Она рывком встала и — словно опасаясь, что и сам Джон ускользнет от нее, как ускользает смысл его слов,— схватила Джона за руку.— Отвечай мне прямо: нравлюсь я тебе или не нравлюсь?

Пауза; чуть слышно он произнес:

— Я люблю вас сильней всего на свете.

— Тогда почему же молчал, не говорил,— воскликнула она, и так выведена была Линайна из себя, что острые ноготки ее вонзились Джону в кожу.— Городишь чепуху об узлах и пылесосах и львах. Лишаешь меня радости все эти недели.

Она выпустила его руку, отбросила ее сердито от себя.

— Если бы ты мне так не нравился,— проговорила она,— я бы страшно на тебя разозлилась.

И вдруг обвила ему шею, прижалась нежными губами к губам. Настолько сладостен, горяч, электризующ был этот поцелуй, что Джону не могли не вспомниться стереоскопически зримые и осязаемые объятия в «Трех неделях на вертоплане». Воркование блондинки и мычанье негра. Ужас, мерзость... он попытался высвободиться, но Линайна обняла еще тесней.

— Почему ты молчал? — прошептала она, откинув голову и взглядывая. В глазах ее был ласковый укор.

«Ни злобный гений, пламенящий кровь, ни злачный луг, ни темная пещера,— загремел голос поэзии и совести,— ничто не соблазнит меня на блуд и не расплавит моей чести в похоть»[3]. Ни за что, ни за что, решил Джон мысленно.

— Глупенький,— шептала Линайна.— Я так тебя хотела. А раз и ты хотел меня, то почему же?..

— Но, Линайна,— начал он; она тут же разомкнула руки, отшагнула от него, и он подумал на минуту, что Линайна поняла его без слов. Но она расстегнула белый лакированный пояс с кармашками, аккуратно повесила на спинку стула.

— Линайна,— повторил он, предчувствуя недоброе.

Она подняла руку к горлу, дернула молнию, распахнув сверху донизу свою белую матроску; тут уж предчувствие сгустилось в непреложность.

— Линайна, что вы делаете!

Жжик, жжик! — прозвучало в ответ. Она сбросила брючки клеш и осталась в перламутрово-розовом комби. На груди блестела золотая Т-образная застежка, подарок архипеснослова.

«Ибо, эти соски, что из решетчатых окошек разят глаза мужчин...» [4] Вдвойне опасной, вдвойне обольстительной становилась она в ореоле певучих, гремучих, волшебных слов. Нежна, мягка, но как разяща! Вонзается в мозг, пробивает, буравит решимость. «Огонь в кро-

---

[1] «Троил и Крессида» *(акт III, сцена 2).*

[2] «Буря» *(акт IV, сцена 1).*

[3] Там же.

[4] «Тимон Афинский», *(акт IV, сцена 3).*

ви сжирает, как солому, крепчайшие обеты. Будь воздержней, не то...» [1]

Жжик! Округлая розовость комби распалась пополам, как яблоко, разрезанное надвое. Сбрасывающее движенье рук, затем ног — правой, левой,— и комби легло безжизненно и смято на пол. В носочках, туфельках и в белой круглой шапочке набекрень Линайна пошла к Джону.

— Милый! Милый мой! Почему же ты раньше молчал! — Она распахнула руки.

Но вместо того чтобы ответить «Милая!» и принять ее в объятия, Дикарь в ужасе попятился, замахав на нее, точно отгоняя опасного и напирающего зверя. Четыре попятных шага — и он уперся в стену.

— Любимый! — сказала Линайна и, положив Джону руки на плечи, прижалась к нему.— Обними же меня,— приказала она.— Крепче жми меня, мой кролик.— У нее в распоряжении тоже была поэзия, слова, которые поют, колдуют, бьют в барабаны.— Целуй,— она закрыла глаза, обратила голос в дремотный шепот,— целуй до истомы. Ах, любовь острее...

Дикарь схватил ее за руки, оторвал от своих плеч, грубо отстранил, не разжимая хватки.

— Ай, мне больно, мне... ой! — Она вдруг замолчала. Страх заставил забыть о боли — открыв глаза, она увидела его лицо; нет, чье-то чужое, бледное, свирепое лицо, перекошенное, дергающееся в необъяснимом, сумасшедшем бешенстве. Оторопело она прошептала: — Но что с тобой, Джон?

Он не отвечал, упирая в нее свой исступленный взгляд. Руки, сжимающие ей запястья, дрожали. Он дышал тяжело и неровно. Слабый, чуть различимый, но жуткий, послышался скрежет его зубов.

— Да что с тобой? — вскричала она.

И, словно очнувшись от этого вскрика, он схватил ее за плечи и затряс:

— Блудница! Шлюха! Наглая блудница!

— Ой, не на-а-адо! — Джон тряс ее, и голос прерывался блеюще.

— Шлюха!

— Прошу-у те-бя-а-а.

— Шлюха мерзкая!

— Лучше полгра-а-амма, чем...

Дикарь с такой силой оттолкнул ее, что она не удержалась на ногах, упала.

— Беги,— крикнул он, грозно высясь над нею.— Прочь с глаз моих, не то убью.— Он сжал кулаки.

Линайна заслонилась рукой:

— Умоляю тебя, Джон...

— Беги. Скорее!

Загораживаясь рукой, устрашенно следя за каждым его движением, она вскочила на ноги и — пригибаясь, прикрывая голову — бросилась в ванную.

Дикарь дал ей, убегающей, шлепок, сильный и звонкий, как выстрел.

— Ай! — сделала скачок Линайна.

Запершись в ванной от безумца, отдышавшись, она повернулась к зеркалу спиной, взглянула через левое плечо. На жемчужной коже отчетливо алел отпечаток пятерни. Она осторожно потерла алый след.

А за стенкой Дикарь мерял шагами комнату под стучащие в ушах барабаны, в такт колдовским словам. «Пичугой малой, золоченой мушкой — и теми откровенно правит похоть,— сумасводяще гремели слова.— Разнузданней хоря во время течки и кобылиц раскормленных ярей. Вот что такое женщины-кентавры, и богова лишь

[1] «Буря», там же.

верхняя их часть, а ниже пояса — все дьяволово. Там ад и мрак, там серная геенна смердит, и жжет, и губит. Тьфу, тьфу, тьфу! Дай-ка, друг аптекарь, унцию цибета — очистить воображение» [1].

— Джон! — донесся робеюще-вкрадчивый голосок из ванной.— Джон!

«О сорная трава, как ты прекрасна, и ароматна так, что млеет сердце. На то ль предназначали эту книгу, чтобы великолепные листы носили на себе клеймо «блудница»? Смрад затыкает ноздри небесам...» [2]

Но в ноздрях у Джона еще благоухали духи Линайны, белела пудра на его куртке, там, где касалось ее бархатистое тело. «Блудница наглая, блудница наглая,— неумолимо стучало в сознании.— Блудница...»

— Джон, мне бы одежду мою.

Он поднял с пола брючки клеш, комби, матроску.

— Открой! — сказал он, толкая ногой дверь.

— Нет уж,— испуганно и строптиво ответил голосок.

— А как же передать?

— В отдушину над дверью.

Он протолкнул туда одежки — и снова зашагал смятенно взад-вперед по комнате. «Блудница наглая, блудница наглая. Как зудит в них жирнозадый бес любострастия...» [3]

— Джон.

Он не ответил. «Жирнозадый бес».

— Джон.

— Что нужно? — угрюмо спросил он.

— Мне бы еще мой мальтузианский пояс.

Сидя в ванной, Линайна слушала, как он вышагивает за стеной. Сколько еще будет длиться это шаганье? Вот так и ждать, пока ему заблагорассудится уйти? Или, повременив, дав его безумию утихнуть, решиться на бросок из ванной к выходу?

Эти ее тревожные раздумья прервал телефонный звонок, раздавшийся в комнате. Шаги прекратились. Голос Джона повел диалог с тишиной:

— Алло.

. . . . . .

— Да.

. . . . . .

— Да, если не присвоил сам себя.

. . . . . .

— Говорю же вам — да. Мистер Дикарь вас слушает.

. . . . . .

— Что? Кто заболел? Конечно, интересует.

. . . . . .

— Больна серьезно? В тяжелом? Сейчас же буду у нее...

. . . . . .

— Не дома у себя? А где же она теперь?

. . . . . .

— О боже! Дайте адрес!

. . . . . .

— Парк-лейн, дом три? Три? Спасибо.

Стукнула трубка. Торопливые шаги. Хлопнула дверь. Тишина. В самом деле ушел?

С бесконечными предосторожностями приоткрыла она дверь на полсантиметра; глянула в щелочку — там пусто; осмелев, открыла дверь пошире и выставила голову; вышла наконец на цыпочках из ванной; с колотящимся сердцем постояла несколько секунд, прислу-

---

[1] «Король Лир» *(акт IV, сцена 6).*

[2] «Отелло» *(акт IV, сцена 2).*

[3] «Троил и Крессида» *(акт V, сцена 2).*

шиваясь; бросилась к наружной двери, открыла, выскользнула, затворила, кинулась бегом. Только в лифте, уносящем ее вниз, почувствовала она себя в безопасности.

Глава четырнадцатая

Умиральница на Парк-лейн представляла собой дом-башню, облицованный лимонного цвета плиткой. Когда Дикарь выходил из вертакси, с крыши взлетела вереница ярко раскрашенных воздушных катафалков и понеслась над парком на запад, к Слаускому крематорию. Восседающая у входа в лифт вахтерша дала ему нужные сведения, и он спустился на восемнадцатый этаж, где лежала Линда в палате 81 (одной из палат скоротечного угасания, как пояснила вахтерша).

В большой этой палате, яркой от солнца и от желтой краски, стояло двадцать кроватей, все занятые. Линда умирала отнюдь не в одиночестве и со всеми современными удобствами. В воздухе не умолкая звучали веселые синтетические мелодии. У каждой скоротечницы в ногах постели помещался телевизор, непрерывно, с утра до ночи, включенный. Каждые четверть часа аромат, преобладавший в запаховой гамме, автоматически сменялся новым.

— Мы стремимся,— любезно стала объяснять медсестра, которая встретила Дикаря на пороге палаты,— мы стремимся создать здесь вполне приятную атмосферу — нечто среднее, так сказать, между первоклассным отелем и ощущальным кинодворцом.

— Где она? — перебил Дикарь не слушая.

— Вы, я вижу, торопитесь,— обиженно заметила сестра.

— Неужели нет надежды? — спросил он.

— Вы хотите сказать — надежды на выздоровление? (Он кивнул.) Разумеется, нет ни малейшей. Когда уж направляют к нам, то...— На бледном лице Дикаря выразилось такое горе, что она остановилась, изумленная.— Но что с вами? — спросила сестра. Она не привыкла к подобным эмоциям у посетителей. (Да и посетителей такого рода бывало здесь немного; да и зачем бы им сюда являться?) Вам что, нездоровится?

Он мотнул головой.

— Она моя мать,— произнес он чуть слышно.

Сестра вздрогнула, глянула на него с ужасом и тут же потупилась. Лицо ее и шея запылали.

— Проведите меня к ней,— попросил Дикарь, усиливаясь говорить спокойно.

Вся еще красная от стыда, она пошла с ним вдоль длинного ряда кроватей. К Дикарю поворачивались лица — свежие, без морщин (умирание шло так быстро, что не успевало коснуться щек — гасило лишь мозг и сердце). Дикаря провожали тупые, безразличные глаза впавших в младенчество людей. Его от этих взглядов пробирала дрожь.

Кровать Линды была крайняя в ряду, стояла у стены. Лежа высоко на подушках, Линда смотрела полуфинал южноамериканского чемпионата по теннису на римановых поверхностях. Фигурки игроков беззвучно метались по освещенному квадрату телеэкрана, как рыбы за стеклом аквариума — немые, но мятущиеся обитатели другого мира.

Линда глядела с зыбкой, бессмысленной улыбкой. На ее тусклом, оплывшем лице было выражение идиотического счастья. Веки то и дело смыкались, она слегка задремывала. Затем, чуть вздрогнув, просыпалась — опять в глазах ее мелькали, рыбками носились теннисные чемпионы; в ушах пело «Крепче жми меня, мой кролик», исполняемое электронным синтезатором «Супер-Вокс-Вурлицериана»; из вентиля-

тора над головой шел теплый аромат вербены — и все эти образы, звуки и запахи, радужно преображенные сомой, сплетались в один чудный сон, и Линда снова улыбалась своей щербатой, блеклой, младенчески-счастливой улыбкой.

— Я вас покину,— сказала сестра.— Сейчас придет моя группа детей. И надо следить за пациенткой № 3.— Она кивнула на кровать ближе к дверям.— С минуты на минуту может кончиться. А вы садитесь, будьте как дома.— И ушла бодрой походкой.

Дикарь сел у постели.

— Линда,— прошептал он, взяв ее за руку.

Она повернулась на звук своего имени. Мутный взгляд ее просветлел узнающе. Она улыбнулась, пошевелила губами; затем вдруг уронила голову на грудь. Уснула. Он вглядывался, проницая взором усталую дряблую оболочку — видя мысленно молодое, светлое лицо, склонявшееся над его детством; закрыв глаза, вспоминал ее голос, ее движения, всю их жизнь в Мальпаисе. «Баю-баю, тили-тили, скоро детке из бутыли...» Как она красиво ему пела! Как волшебно-странны и таинственны были они, детские эти стишки!

А, бе, це, витамин Д —
Жир в тресковой печени, а треска в воде.

В памяти оживал поющий голос Линды, и к глазам подступали горячие слезы. А уроки чтения: «Кот не спит. Мне тут рай»; а «Практическое руководство для бета-лаборантов Эмбрионария». А ее рассказы в долгие вечера у очага или, в летнюю пору, на кровле домишка — о Заоградном мире, о дивном, прекрасном Том мире, память о котором, словно память о небесном рае добра и красоты, до сих пор жива в нем невредимо, не оскверненная и встречей с реальным Лондоном, с этими реальными цивилизованными людьми.

За спиной у него внезапно раздались звонкие голоса, и он открыл глаза, поспешно смахнул слезы, оглянулся. В палату лился, казалось, нескончаемый поток, состоящий из восьмилетних близнецов мужского пола. Близнец за близнецом, близнец за близнецом, близнец за близнецом — как в кошмарном сне. Их личики (вернее, бесконечно повторяющееся лицо, одно на всех) таращились белесыми выпуклыми глазками, ноздрястые носишки были как у курносых мопсов. На всех форма цвета хаки. Рты у всех раскрыты. Перекрикиваясь, тараторя, ворвались они в палату — и закишели повсюду. Они копошились в проходах, карабкались через кровати, пролезали под кроватями, засматривали в телевизоры, строили рожи пациенткам.

Линда их удивила и встревожила. Кучка их собралась у ее постели, пялясь с испуганным и тупым любопытством зверят, столкнувшихся нос к носу с неведомым.

— Глянь-ка, глянь! — переговаривались они тихо.— Что с ней такое? Почему она жирнющая такая?

Им не приходилось видеть ничего подобного — у всех и всегда ведь лицо молодое, кожа тугая, тело стройное, спина прямая. У всех лежащих здесь шестидесятилетних скоротечниц внешность девочек. Сравнительно с ними Линда в свои сорок четыре года — обрюзглое дряхлое чудище.

— Какая страховидная,— шептались дети.— Ты на ее зубы глянь!

Неожиданно из-под кровати, между стулом Джона и стеной, вынырнул курносый карапуз и уставился на спящее лицо Линды.

— Ну и...— начал он, но завизжал не кончив. Ибо Дикарь поднял его за шиворот, пронес над стулом и отогнал подзатыльником.

На визг прибежала старшая медсестра.

— Как вы смеете трогать ребенка! — накинулась она на Дикаря.— Я не позволю вам бить детей.

— А вы зачем пускаете их к кровати? — Голос Дикаря дрожал

от возмущения.— И вообще зачем тут эти чертенята? Это просто безобразие!

— Как безобразие? Вы что? Им же здесь прививают смертонавыки. Имейте в виду,— сказала она зло,— если вы и дальше будете мешать их смертовоспитанию, я пошлю за санитарами и вас выставят отсюда.

Дикарь встал и шагнул к старшей сестре. Надвигался он и глядел так грозно, что та отшатнулась в испуге. С превеликим усилием он сдержал себя, молча повернулся, сел опять у постели.

Несколько ободрясь, но еще нервозно, неуверенно сестра сказала:

— Я вас предупредила. Так что имейте в виду.

Но все же она увела чересчур любознательных близнецов в дальний конец палаты — там другая медсестра организовала уже круговую сидячую игру в «поймай молнию».

— Беги, милая, подкрепись чашечкой кофеинораствора,— велела ей старшая сестра. Велела — и от этого вернулись к старшей уверенность и бодрый настрой.— Ну-ка, детки! — повела она игру.

А Линда, пошевелившись неспокойно, открыла глаза, огляделась зыбким взглядом — и опять забылась сном. Сидя рядом, Дикарь старался снова умилить душу воспоминаниями. «А, бе, це, витамин Д»,— повторял он про себя, точно магическое заклинание. Но волшба не помогала. Милые воспоминания отказывались оживать; воскресало в памяти лишь ненавистное, мерзкое, горестное. Попе с пораненным и кровоточащим плечом; Линда в безобразно-пьяном сне, и мухи жужжат над мескалем, расплесканным на полу у постели; мальчишки, орущие ей вслед позорные слова... Ох, нет, нет! Он зажмурился, замотал головой, гоня от себя эти образы. «А, бе, це, витамин Д...» Он силился представить, как, посадив на колени к себе, обняв, она поет ему, баюкает, укачивает: «А, бе, це, витамин Д, витамин Д, витамин Д...»

Волна суперэлектронной музыки поднялась к томящему крещендо; и в системе запахоснабжения вербена разом сменилась густой струею пачулей. Линда заворочалась, проснулась, уставилась непонимающе на полуфиналистов в телевизоре, затем, подняв голову, вдохнула обновленный аромат и — улыбнулась ребячески-блаженно.

— Попе! — пробормотала она и закрыла глаза.— О, как мне хорошо, как...— Со вздохом она опустилась на подушку.

— Но, Линда! — произнес Джон.— Неужели ты не узнаешь меня? — Так мучительно он гонит от себя былую мерзость; почему же у Линды опять Попе на уме и на языке? Чуть не до боли сжал Дикарь ее вялую руку, как бы желая силой пробудить Линду от этих постыдных утех, от низменных и ненавистных образов прошлого — вернуть Линду в настоящее, в действительность; в страшную действительность, в ужасную — но возвышенную, значимую, донельзя важную именно из-за неотвратимости и близости того, что наполняет эту действительность ужасом.— Неужели не узнаешь меня, Линда?

Он ощутил слабое ответное пожатие руки. Глаза его наполнились слезами. Он наклонился, поцеловал Линду.

Губы ее шевельнулись.

— Попе! — прошептала она, и точно ведром помоев окатили Джона.

Гнев вскипел в нем. Яростное горе, которому вот уже дважды помешали излиться слезами, обратилось в горестную ярость.

— Но я же Джон! Я Джон! — И в страдании, в неистовстве своем он схватил ее за плечо и потряс.

Веки Линды дрогнули и раскрылись; она увидела его, узнала — «Джон!» — но перенесла это лицо, эти реальные, больно трясущие руки в воображаемый, внутренний свой мир дивно претворенной супермузыки и пачулей, расцвеченных воспоминаний, причудливо сме-

щенных восприятий. Это Джон, ее сын, но ей вообразилось, что он вторгся в райский Мальпаис, где она наслаждалась сомотдыхом с Попе. Джон сердится, потому что она любит Попе; Джон трясет ее, потому что Попе с ней рядом в постели — и разве в этом что-то нехорошее, разве не все цивилизованные люди так любятся?

— Каждый принадлежит вс...

Голос ее вдруг перешел в еле слышное, задыхающееся хрипенье; рот раскрылся, отчаянно хватая воздух,— но легкие словно разучились дышать. Она тужилась крикнуть — и не могла издать ни звука; лишь выпученные глаза вопили о лютой муке. Она подняла руки к горлу, скрюченными пальцами ловя воздух — воздух, который не могла уже поймать, которым кончила уже дышать.

Дикарь вскочил, нагнулся ближе.

— Что с тобой, Линда? Что с тобой? — В голосе его была мольба; он словно хотел, чтобы его разуверили, успокоили.

Во взгляде Линды он прочел невыразимый ужас — и, как показалось ему, упрек. Она приподнялась, упала опять в подушки. Лицо все искажено, губы — синие.

Дикарь кинулся за помощью.

— Скорей, скорей! — кричал он.— Скорее же!

Стоявшая в центре игрового круга старшая сестра обернулась к Дикарю. На лице ее мелькнуло удивление и тут же уступило место осуждению.

— Не кричите! Подумайте о детях,— сказала она хмурясь.— Вы можете расстроить... Да что это вы делаете? (Он ворвался в круг.) Осторожней! (Задетый им ребенок запищал.)

— Скорее, скорее! — Дикарь схватил ее за рукав, потащил за собой.— Скорей! Произошло несчастье. Я убил ее.

К тому времени, как он вернулся к материной постели, Линда была уже мертва.

Дикарь застыл в оцепенелом молчании, затем упал у изголовья на колени и, закрыв лицо руками, разрыдался.

В нерешимости сестра стояла, глядя то на коленопреклоненного (постыднейшая невоспитанность!), то на близнецов (бедняжки дети!), которые, прекратив игру, пялились с того конца палаты — таращились и глазами и ноздрями на скандальное зрелище. Заговорить ей с ним? Попытаться его урезонить? Чтобы он вспомнил, где находится, осознал, какой роковой вред наносит бедным малюткам, как расстраивает все их здоровые смертонавыки этим своим отвратительным взрывом эмоций... Как будто смерть — что-то ужасное, как будто из-за какой-то одной человеческой особи нужно рыдать! У детей могут возникнуть самые пагубные представления о смерти, могут укорениться совершенно неверные, крайне антиобщественные рефлексы и реакции.

Подойдя вплотную к Дикарю, она тронула его за плечо.

— Нельзя ли вести себя прилично? — негромко, но сердито сказала она. Но тут, оглянувшись, увидела, что игровой круг распадается, что полдесятка близнецов уже поднялось на ноги и направляется к Дикарю. Еще минута, и... Нет, этим рисковать нельзя: смертовоспитание всей группы может быть отброшено назад на шесть-семь месяцев. Она поспешила к своим питомцам, оказавшимся под такой угрозой.

— А кому дать шоколадное пирожное? — спросила она громко и задорно.

— Мне! — хором заорала вся группа Бокановского. И тут же кровать № 20 была позабыта.

«О боже, боже, боже...» — твердил мысленно Дикарь. В сумятице горя и раскаяния, наполнявшей его мозг, одно лишь четкое осталось это слово.

— Боже! — прошептал он.— Боже...

— Что это он бормочет? — звонко раздался рядом голосок среди трелей супермузыки.

Сильно вздрогнув, Дикарь отнял руки от лица, обернулся. Пятеро одетых в хаки близнецов — в правой руке у всех недоеденное пирожное, и одинаковые лица по-разному измазаны шоколадным кремом — стояли рядком и таращились на него, как мопсы.

Он повернулся к ним — они дружно и весело оскалили зубки. Один ткнул на Линду огрызком пирожного.

— Умерла уже? — спросил он.

Дикарь молча поглядел на них. Молча встал, молча и медленно пошел к дверям.

— Умерла уже? — повторил любознательный близнец, семеня у Дикаря под локтем.

Дикарь покосился на него и по-прежнему молча оттолкнул прочь. Близнец упал на пол и моментально заревел. Дикарь даже не оглянулся.

Глава пятнадцатая

Низший обслуживающий персонал Парк-лейнской умиральницы состоял из двух групп Бокановского, а именно из восьмидесяти четырех светло-рыжих дельтовичек и семидесяти восьми чернявых длинноголовых дельтовиков. В шесть часов, когда заканчивался их рабочий день, обе эти близнецовые группы собирались в вестибюле умиральницы, и помощник подказначея выдавал им дневную порцию сомы.

Выйдя из лифта, Дикарь очутился в их гуще. Но мыслями его по-прежнему владели смерть, скорбь, раскаяние; рассеянно и машинально он стал проталкиваться сквозь толпу.

— Чего толкается? Куда он прется?

Из множества ртов (с двух уровней — повыше и пониже) звучали всего лишь два голоса — тоненький и грубый. Бесконечно повторяясь, точно в коридоре зеркал, два лица — гладкощекий, веснушчатый лунный лик в оранжевом облачке волос и узкая, клювастая, со вчера небритая физиономия — сердито поворачивались к нему со всех сторон. Ворчанье, писк, острые локти дельт, толкающие под ребра, заставили его очнуться. Он огляделся и с тошнотным чувством ужаса и отвращения увидел, что снова его окружает неотвязный бред, круглосуточный кошмар роящейся, неразличимой одинаковости. Близнецы, близнецы... Червячками кишели они в палате Линды, оскверняя таинство ее смерти. И здесь опять кишат, но уже взрослыми червями — ползают по его горю и страданию. Он остановился, испуганными глазами окинул эту одетую в хаки толпу, над которой возвышался на целую голову. «Сколько вижу я красивых созданий! — всплыли в памяти, дразня и насмехаясь, поющие слова.— Как прекрасен род людской! О дивный новый мир...» [1]

— Начинаем раздачу сомы! — объявил громкий голос.— Прошу в порядке очереди. Без задержек.

В боковую дверь уже внесли столик и стул. Объявивший о раздаче бойкий молодой альфовик принес с собой черный железный сейфик. Толпа встретила раздатчика негромким и довольным гулом. О Дикаре уже забыли. Внимание сосредоточилось на черном ящике, поставленном на стол. Альфовик отпер его. Поднял крышку.

— О-о! — выдохнули разом все сто шестьдесят две дельты, точно перед ними вспыхнул фейерверк.

Раздатчик вынул горсть коробочек.

— Ну-ка,— сказал он повелительно,— прошу подходить. По одному, без толкотни.

По одному и без толкотни близнецы стали подходить. Двое чернявых, рыжая, еще чернявый, за ним три рыжие, за ними...

Дикарь все глядел. «О дивный мир! О дивный новый мир...» Поющие слова зазвучали уже по-иному. Уже не насмешкой над ним, горюющим и кающимся, не злорадной и наглой издевкой. Не дьяволь-

[1] Слова Миранды в «Буре» *(акт V, сцена 1).*

ским смехом, усугубляющим гнусное убожество, тошное уродство кошмара. Теперь они вдруг зазвучали трубным призывом к обновлению, к борьбе. «О дивный новый мир!» Миранда возвещает, что мир красоты возможен, что даже этот кошмар можно преобразить в нечто прекрасное и высокое. «О дивный новый мир!» Это призыв, приказ.

— Кончайте толкотню! — гаркнул альфовик. Захлопнул крышку ящика.— Я прекращу раздачу, если не восстановится порядок.

Дельты поворчали, потолкались и успокоились. Угроза подействовала. Остаться без сомы — какой ужас!

— Вот так-то,— сказал альфовик и опять открыл ящик.

Линда жила и умерла рабыней; остальные должны жить свободными, мир нужно сделать прекрасным. В этом его долг, его покаяние. И внезапно Дикаря озарило, что именно надо сделать,— точно ставни распахнулись, занавес отдернулся.

— Следующий,— сказал раздатчик.

Очередная дельтовичка подошла к столу.

— Остановитесь! — воскликнул Дикарь громогласно.— Остановитесь!

Он протиснулся к столу; дельты глядели на него удивленно.

— Господи Форде! — пробормотал раздатчик.— Это Дикарь.— Раздатчику стало страшновато.

— Внемлите мне, прошу вас,— произнес горячо Дикарь.— Приклоните слух...— Ему никогда прежде не случалось говорить публично, и очень трудно было с непривычки найти нужные слова.— Не троньте эту мерзость. Это яд, это отрава.

— Послушайте, мистер Дикарь,— сказал раздатчик, улыбаясь льстиво и успокоительно.— Вы мне позволите...

— Отрава и для тела, и для души.

— Да, но позвольте мне, пожалуйста, продолжить мою работу. Будьте умницей.— Осторожным, мягким движением человека, имеющего дело с заведомо злобным зверем, он погладил Дикаря по руке.— Позвольте мне только...

— Ни за что! — крикнул Дикарь.

— Но поймите, дружище...

— Не раздавайте, а выкиньте вон всю эту мерзкую отраву.

Слова «выкиньте вон» пробили толщу непонимания, дошли до мозга дельт. Толпа сердито загудела.

— Я пришел дать вам свободу,— воскликнул Дикарь, поворачиваясь опять к дельтам.— Я пришел...

Дальше раздатчик уж не слушал; выскользнув из вестибюля в боковую комнату, он спешно залистал там телефонную книгу.

— Итак, дома его нет. И у меня его нет, и у тебя нет,— недоумевал Бернард.— И в «Афродитеуме», и в Центре, и в институте его нет. Куда ж он мог деваться?

Гельмгольц пожал плечами. Они ожидали, придя с работы, застать Дикаря в одном из обычных мест встречи, но тот как в воду канул. Досадно — они ведь собрались слетать сейчас в Биарриц на четырехместном спортолете Гельмгольца. Так и к обеду можно опоздать.

— Подождем еще пять минут,— сказал Гельмгольц.— И если не явится, то...

Зазвонил телефон. Гельмгольц взял трубку.

— Алло. Я вас слушаю.— Длинная пауза и затем: — Форд побери! — выругался Гельмгольц.— Буду сейчас же.

— Что там такое? — спросил Бернард.

— Это знакомый — из Парк-лейнской умиральницы. Там у них Дикарь буйствует. Видимо, помешался. Времени терять нельзя. Летишь со мной?

И они побежали к лифту.

— Неужели вам любо быть рабами? — услышали они голос Дикаря, войдя в вестибюль умиральницы. Дикарь раскраснелся, глаза горели страстью и негодованием.— Любо быть младенцами? Вы — сосунки, могущие лишь вякать и мараться,— бросил он дельтам в лицо, выведенный из себя животной тупостью тех, кого пришел освободить. Но оскорбления отскакивали от толстого панциря; в непонимающих взглядах была лишь тупая и хмурая неприязнь.

— Да, сосунки! — еще громче крикнул он. Скорбь и раскаяние, сострадание и долг — теперь все было позабыто, все поглотила густая волна ненависти к этим недочеловекам.— Неужели не хотите быть свободными, быть людьми? Или вы даже не понимаете, что такое свобода и что значит быть людьми? — Гнев придал ему красноречия; слова лились легко.— Не понимаете? — повторил он и опять не получил ответа.— Что ж, хорошо,— произнес он сурово.— Я научу вас; освобожу вас наперекор вам самим.— И, растворив толчком окно, выходящее во внутренний двор, он стал горстями швырять туда коробочки с таблетками сомы.

При виде такого святотатства одетая в хаки толпа окаменела от изумления и ужаса.

— Он сошел с ума,— прошептал Бернард, широко раскрыв глаза.— Они убьют его. Они...

Толпа взревела, грозно качнулась, двинулась на Дикаря.

— Спаси его Форд,— сказал Бернард отворачиваясь.

— На Форда надейся, а сам не плошай! — И со смехом (да! с ликующим смехом) Гельмгольц кинулся на подмогу сквозь толпу.

— Свобода, свобода! — восклицал Дикарь, правой рукой вышвыривая сому, а левой, сжатой в кулак, нанося удары по лицам, не отличимым одно от другого.— Свобода! (И внезапно рядом с ним оказался Гельмгольц.) Молодчина Гельмгольц! (И тоже стал отбивать атакующих.) Теперь вы люди наконец! (И тоже стал швырять горстями отраву в распахнутое окно.) Да, люди, люди! — И вот уже выкинута вся сома. Дикарь схватил ящик, показал дельтам черную его пустоту.— Вы свободны!

С ревом, с удвоенной яростью толпа хлынула опять на обидчиков.

— Они пропали,— вырвалось у Бернарда, в замешательстве стоявшего в стороне от схватки. И, охваченный внезапным порывом, он бросился было на помощь друзьям; остановился, колеблясь, устыженно шагнул вперед, снова замялся и так стоял в муке стыда и боязни — без него ведь их убьют, а если присоединится, самого его убить могут,— но тут (благодаренье Форду!) в вестибюль вбежали полицейские в очкастых свинорылых противогазных масках.

Бернард метнулся им навстречу. Замахал руками — теперь и он участвовал, делал что-то! Закричал:

— Спасите! Спасите! — все громче и громче, точно этим криком и сам спасал.— Спасите! Спасите!

Оттолкнув его, чтоб не мешал, полицейские принялись за дело. Трое, действуя заплечными распылителями, заполнили весь воздух клубами парообразной сомы. Двое завозились у переносного устройства синтетической музыки. Еще четверо — с водяными пистолетами в руках, заряженными мощным анестезирующим средством,— врезались в толпу и методически стали валить с ног самых ярых бойцов одного за другим.

— Быстрей, быстрей! — вопил Бернард.— Быстрей, а то их убьют. Упи...— Раздраженный его криками, один из полицейских пальнул в него из водяного пистолета. Секунду-две Бернард покачался на ногах, ставших ватными, желеобразными, жидкими, как вода, и мешком свалился на пол.

Из музыкального устройства раздался Голос. Голос Разума, Голос Добросердия. Зазвучал синтетический «Призыв к порядку» № 2 (средней интенсивности).

— Друзья мои, друзья мои! — воззвал Голос из самой глубины своего несуществующего сердца с таким бесконечно ласковым укором, что даже глаза полицейских за стеклами масок на миг замутились слезами.— Зачем вся эта сумятица? Зачем? Соединимся в счастье и добре. В счастье и добре,— повторил Голос.— В мире и покое.— Голос дрогнул, сникая до шепота, истаивая.— О, как хочу я, чтоб вы были счастливы,— зазвучал он опять с тоскующей сердечностью.— Как хочу я, чтоб вы были добры! Прошу вас, прошу вас, отдайтесь добру и...

В две минуты Голос при содействии паров сомы сделал свое дело. Дельты целовались в слезах и обнимались по пять-шесть близнецов сразу. Даже Гельмгольц и Дикарь чуть не плакали. Из хозяйственной части принесли упаковки сомы; спешно организовали новую раздачу, и под задушевные, сочно-баритональные напутствия Голоса дельты разошлись восвояси, растроганно рыдая.

— До свидания, милые-милые мои, храни вас Форд! До свидания, милые-милые мои, храни вас Форд! До свидания, милые-милые...

Когда ушли последние дельты, полицейский выключил устройство. Ангельский Голос умолк.

— Пойдете по-хорошему? — спросил сержант.— Или придется вас анестезировать? — Он с угрозой мотнул своим водяным пистолетом.

— Пойдем по-хорошему,— ответил Дикарь, утирая кровь с рассеченной губы, с исцарапанной шеи, с укушенной левой руки. Прижимая к разбитому носу платок, Гельмгольц кивнул подтверждающе.

Очнувшись, почувствовав под собой ноги, Бернард понезаметней направился в этот момент к выходу.

— Эй, вы там! — окликнул его сержант, и свинорылый полисмен пустился следом, положил руку Бернарду на плечо.

Бернард обернулся с невинно-обиженным видом. Что вы! У него и в мыслях не было убегать.

— Хотя для чего я вам нужен,— сказал он сержанту,— понятия не имею.

— Вы ведь приятель задержанных?

— Видите ли...— начал Бернард и замялся. Нет, отрицать невозможно.— А что в этом такого? — спросил он.

— Пройдемте,— сказал сержант и повел их к ожидающей у входа полицейской машине.

Глава шестнадцатая

Всех троих пригласили войти в кабинет Главноуправителя.

— Его фордейшество спустится через минуту.— И дворецкий в гамма-ливрее удалился.

— Нас будто не на суд привели, а на кофеинопитие,— сказал со смехом Гельмгольц, погружаясь в самое роскошное из пневматических кресел.— Не вешай носа, Бернард,— прибавил он, взглянув на друга, зеленовато-бледного от тревоги. Но Бернард не поднял головы; не отвечая, даже не глядя на Гельмгольца, он присел на самом жестком стуле — в смутной надежде как-то отвратить этим гнев Власти.

А Дикарь неприкаянно бродил вдоль стен кабинета, скользя рассеянным взглядом по корешкам книг на полках, по нумерованным ячейкам с роликами звукозаписи и бобинами для читальных машин. На столе под окном лежал массивный том, переплетенный в мягкую черную искусственную кожу, на которой были вытиснены большие золотые знаки Т. Дикарь взял том в руки, раскрыл. «Моя жизнь и работа», писание Господа нашего Форда. Издано в Детройте Обществом фордианских знаний. Полистав страницы, прочтя тут фразу, там абзац, он сделал вывод, что книга неинтересная,— и в это время от-

ворилась дверь, и энергичным шагом вошел Постоянный Главноуправитель Западной Европы.

Пожав руки всем троим, Мустафа Монд обратился к Дикарю:

— Итак, вам не очень-то нравится цивилизация, мистер Дикарь.

Дикарь взглянул на Главноуправителя. Он приготовился лгать, шуметь, молчать угрюмо; но лицо Монда светилось беззлобным умом, и ободренный Дикарь решил говорить правду напрямик.

— Да, не нравится.

Бернард вздрогнул, на лице его выразился страх. Что подумает Главноуправитель? Числиться в друзьях человека, который говорит, что ему не нравится цивилизация, говорит открыто, и кому? Самому Главноуправителю! Это ужасно.

— Ну что ты, Джон...— начал Бернард. Взгляд Мустафы заставил его съежиться и замолчать.

— Конечно,— продолжал Дикарь,— есть у вас хорошее. Например, музыка, которой полон воздух...

— «Порой тысячеструнное бренчанье кругом, и голоса порой звучат»! [1]

Дикарь вспыхнул от удовольствия:

— Значит, и вы его читали? Я уж думал, тут, в Англии, никто Шекспира не знает.

— Почти никто. Я один из очень немногих, с ним знакомых. Шекспир, видите ли, запрещен. Но поскольку законы устанавливаю я, то я могу и нарушать их. Причем безнаказанно,— прибавил он, поворачиваясь к Бернарду.— Чего, увы, о вас не скажешь.

Бернард еще безнадежней и унылей поник головой.

— А почему запрещен? — спросил Дикарь. Он так обрадовался человеку, читавшему Шекспира, что на время забыл обо всем прочем.

Главноуправитель пожал плечами.

— Потому что он — старье; вот главная причина. Старье нам не нужно.

— Но старое ведь бывает прекрасно.

— Тем более. Красота притягательна, и мы не хотим, чтобы людей притягивало старье. Надо, чтобы им нравилось новое.

— Но ваше новое так глупо, так противно. Эти фильмы, где все только летают вертопланы и ощущаешь, как целуются.— Он сморщился брезгливо.— Мартышки и козлы! — Лишь словами Отелло мог он с достаточной силой выразить свое презрение и отвращение.

— А ведь звери это славные, нехищные,— как бы в скобках, вполголоса заметил Главноуправитель.

— Почему вы не покажете людям «Отелло» вместо этой гадости?

— Я уже сказал — старья мы не даем им. К тому же они бы не поняли «Отелло».

Да, это верно. Дикарь вспомнил, как насмешила Гельмгольца Джульетта.

— Что ж,— сказал он после паузы,— тогда дайте им что-нибудь новое в духе «Отелло», понятное для них.

— Вот именно такое нам хотелось бы писать,— вступил наконец Гельмгольц в разговор.

— И такого вам написать не дано,— возразил Монд.— Поскольку если оно и впрямь будет в духе «Отелло», то никто его не поймет, в какие новые одежды ни рядите. А если будет ново, то уж никак не сможет быть в духе «Отелло».

— Но почему не сможет?

— Да, почему? — подхватил Гельмгольц. Он тоже отвлекся на время от неприятной действительности. Не забыл о ней лишь Бернард, совсем позеленевший от злых предчувствий; но на него не обращали внимания.— Почему?

[1] «Буря» *(акт III, сцена 2)*.

— Потому что мир наш — уже не мир «Отелло». Как для «фордов» необходима сталь, так для трагедий необходима социальная нестабильность. Теперь же мир стабилен, устойчив. Люди счастливы; они получают все то, чего хотят, и не способны хотеть того, чего получить не могут. Они живут в достатке, в безопасности; не знают болезней; не боятся смерти; блаженно не ведают страсти и старости; им не отравляют жизнь отцы с матерями; нет у них ни жен, ни детей, ни любовей — и, стало быть, нет треволнений; они так сформованы, что практически не могут выйти из рамок положенного. Если же и случаются сбои, то к нашим услугам сома. А вы ее выкидываете в окошко, мистер Дикарь, во имя свободы. Свободы! — Мустафа рассмеялся.— Вы думали, дельты понимают, что такое свобода! А теперь надеетесь, что они поймут «Отелло»! Милый вы мой мальчик!

Дикарь замолчал. Затем сказал упрямо:

— Все равно «Отелло» — хорошая вещь, «Отелло» лучше ощущальных фильмов.

— Разумеется, лучше,— согласился Главноуправитель.— Но эту цену нам приходится платить за стабильность. Пришлось выбирать между счастьем и тем, что называли когда-то высоким искусством. Мы пожертвовали высоким искусством. Взамен него у нас ощущалка и запаховый орган.

— Но в них нет и тени смысла.

— Зато в них масса приятных ощущений для публики.

— Но ведь это... «это бредовой рассказ кретина» [1].

— Вы обижаете вашего друга, мистера Уотсона,— засмеявшись, сказал Мустафа.— Одного из самых выдающихся специалистов по инженерии чувств...

— Однако он прав,— сказал Гельмгольц хмуро.— Действительно, кретинизм. Пишем, а сказать-то нечего...

— Согласен, нечего. Но это требует колоссальной изобретательности. Вы делаете вещь из минимальнейшего количества стали — создаете художественные произведения почти что из одних голых ощущений.

Дикарь покачал головой:

— Мне все это кажется просто гадким.

— Ну разумеется. В натуральном виде счастье всегда выглядит убого рядом с цветистыми прикрасами несчастья. И разумеется, стабильность куда менее колоритна, чем нестабильность. А удовлетворенность совершенно лишена романтики сражений со злым роком, нет здесь красочной борьбы с соблазном, нет ореола гибельных сомнений и страстей. Счастье лишено грандиозных эффектов.

— Пусть так,— сказал Дикарь помолчав.— Но неужели нельзя без этого ужаса — без близнецов? — Он провел рукой по глазам, как бы желая стереть из памяти эти ряды одинаковых карликов у сборочного конвейера, эти близнецовые толпы, растянувшиеся очередью у входа в Брентфордский моновокзал, эти человечьи личинки, кишащие у смертного одра Линды, эту атакующую его одноликую орду. Он взглянул на свою забинтованную руку и поежился.— Жуть какая!

— Зато польза какая! Вам, я вижу, не по вкусу наши группы Бокановского; но, уверяю вас, они — фундамент, на котором строится все остальное. Они — стабилизирующий гироскоп, который позволяет ракетоплану государства стремить свой полет, не сбиваясь с курса.— Главноуправительский бас волнительно вибрировал; жесты рук изображали ширь пространства и неудержимый лет ракетоплана; ораторское мастерство Мустафы Монда достигало почти уровня синтетических стандартов.

---

[1] Из «Макбета» *(акт V, сцена 5)*:

Жизнь — это бредовой
Рассказ кретина; ярости и шуму
Хоть отбавляй, а смысла не ищи.

— А разве нельзя обойтись вовсе без них? — упорствовал Дикарь.— Ведь вы можете получать что угодно в ваших бутылях. Раз уж на то пошло, почему бы не выращивать всех плюс-плюс-альфами?

— Ну нет, нам еще жить не надоело,— отвечал Монд со смехом.— Наш девиз — счастье и стабильность. Общество же, целиком состоящее из альф, обязательно будет нестабильно и несчастливо. Вообразите вы себе завод, укомплектованный альфами, то есть индивидуумами разными и розными, обладающими хорошей наследственностью и по формовке своей способными — в определенных пределах — к свободному выбору и ответственным решениям. Вы только вообразите.

Дикарь попробовал вообразить, но без особого успеха.

— Это же абсурд. Человек, сформованный, воспитанный как альфа, сойдет с ума, если его поставить на работу эпсилон-полукретина, сойдет с ума или примется крушить и рушить все вокруг. Альфы могут быть вполне добротными членами общества, но при том лишь условии, что будут выполнять работу альф. Только от эпсилона можно требовать жертв, связанных с работой эпсилона,— по той простой причине, что для него это не жертвы, а линия наименьшего сопротивления, привычная жизненная колея, по которой он движется. По которой двигаться обречен всем своим формированием и воспитанием. Даже после раскупорки он продолжает жить в бутыли — в невидимой бутыли рефлексов, привитых эмбриону и ребенку. Конечно, и каждый из нас,— продолжал задумчиво Главноуправитель,— проводит жизнь свою в бутыли. Но если нам выпало быть альфами, то бутыли наши огромного размера, сравнительно с бутылями низших каст. В бутылях поменьше объемом мы страдали бы мучительно. Нельзя разливать альфа-винозаменитель в эпсилон-мехи. Это ясно уже теоретически. Да и практикой доказано. Кипрский эксперимент дал убедительные результаты.

— А что это был за эксперимент? — спросил Дикарь.

— Можете назвать его экспериментом по винорозливу,— улыбнулся Мустафа Монд.— Начат он был в 473 году эры Форда. По распоряжению Главноуправителей Мира остров Кипр был очищен от всех его тогдашних обитателей и заново заселен специально выращенной партией альф численностью в двадцать две тысячи. Им дана была вся необходимая сельскохозяйственная и промышленная техника и предоставлено самим вершить свои дела. Результат в точности совпал с теоретическими предсказаниями. Землю не обрабатывали как положено; на всех заводах бастовали; законы в грош не ставили, приказам не повиновались; все альфы, назначенные на определенный срок выполнять черные работы, интриговали и ловчили как могли, чтобы перевестись на должность почище, а все, кто сидел на чистой работе, вели встречные интриги, чтобы любым способом удержать ее за собой. Не прошло и шести лет, как разгорелась самая настоящая гражданская война. Когда из двадцати двух тысяч девятнадцать оказались перебиты, уцелевшие альфы обратились к Главноуправителям с единодушной просьбой снова взять в свои руки правление. Просьба была удовлетворена. Так пришел конец единственному в мировой истории обществу альф.

Дикарь тяжко вздохнул.

— Оптимальный состав народонаселения,— говорил далее Мустафа,— смоделирован нами с айсберга, у которого восемь девятых массы под водой, одна девятая над водой.

— А счастливы ли те, что под водой?

— Счастливее тех, что над водой. Счастливее, к примеру, ваших друзей,— кивнул Монд на Гельмгольца и Бернарда.

— Несмотря на свой отвратный труд?

— Отвратный? Им он вовсе не кажется таковым. Напротив, он приятен им. Он не тяжел, детски прост. Не перегружает ни головы,

ни мышц. Семь с половиной часов умеренного, неизнурительного труда, а затем сома в таблетках, игры, беззапретное совокупление и ощущалки. Чего еще желать им? — вопросил Мустафа.— Ну правда, они могли бы желать сокращения рабочих часов. И разумеется, можно бы и сократить. В техническом аспекте проще простого было бы свести рабочий день для низших каст к трем-четырем часам. Но от этого стали бы они хоть сколько-нибудь счастливей? Отнюдь нет. Эксперимент с рабочими часами был проведен еще полтора с лишним века назад. Во всей Ирландии ввели четырехчасовой рабочий день. И что ж это дало в итоге? Непорядки и сильно возросшее потребление сомы — и больше ничего. Три с половиной лишних часа досуга не только не стали источником счастья, но даже пришлось людям глушить эту праздность сомой. Наше Бюро изобретений забито предложениями по экономии труда. Тысячами предложений! — Монд широко взмахнул рукой.— Почему же мы не проводим их в жизнь? Да для блага самих же рабочих; было бы попросту жестоко обрушивать на них добавочный досуг. То же и в сельском хозяйстве. Вообще можно было бы индустриально синтезировать все пищевые продукты до последнего кусочка, пожелай мы только. Но мы не желаем. Мы предпочитаем держать треть населения занятой в сельском хозяйстве. Ради их же блага — именно потому, что сельскохозяйственный процесс получения продуктов берет больше времени, чем индустриальный. Кроме того, нам надо заботиться о стабильности. Мы не хотим перемен. Всякая перемена — угроза для стабильности. И это вторая причина, по которой мы так скупо вводим в жизнь новые изобретения. Всякое чисто научное открытие является потенциально разрушительным; даже и науку приходится иногда рассматривать как возможного врага. Да, и науку тоже.

Науку?.. Дикарь сдвинул брови. Слово это он знает. Но не знает его точного значения. Старики-индейцы о науке не упоминали, Шекспир о ней молчит, а из рассказов Линды возникало лишь самое смутное понятие: наука позволяет строить вертопланы, наука поднимает на смех индейские пляски, наука оберегает от морщин и сохраняет зубы. Напрягая мозг, Дикарь старался вникнуть в слова Главноуправителя.

— Да,— продолжал Мустафа Монд.— И это также входит в плату за стабильность. Не одно лишь искусство несовместимо со счастьем, но и наука. Опасная вещь наука; приходится держать ее на крепкой цепи и в наморднике.

— Как так? — удивился Гельмгольц.— Но ведь мы же вечно трубим: «Наука превыше всего». Это же избитая гипнопедическая истина.

— Внедряемая трижды в неделю, с тринадцати до семнадцати лет,— вставил Бернард.

— А вспомнить всю нашу институтскую пропаганду науки...

— Да, но какой науки? — возразил Мустафа насмешливо.— Вас не готовили в естествоиспытатели, и судить вы не можете. А я был неплохим физиком в свое время. Слишком даже неплохим; я сумел осознать, что вся наша наука — нечто вроде поваренной книги, причем правоверную теорию варки никому не позволено брать под сомнение, и к перечню кулинарных рецептов нельзя ничего добавлять иначе как по особому разрешению главного повара. Теперь я сам — главный повар. Но когда-то я был пытливым поваренком. Пытался варить по-своему. По неправоверному, недозволенному рецепту. Иначе говоря, попытался заниматься подлинной наукой.— Он замолчал.

— И чем же кончилось? — не удержался Гельмгольц от вопроса.

— Чуть ли не тем же, чем кончается у вас, молодые люди,— со вздохом ответил Главноуправитель.— Меня чуть было не сослали на остров.

Слова эти побудили Бернарда к действиям бурным и малопристойным.

— Меня сошлют на остров? — Он вскочил и подбежал к Главноуправителю, отчаянно жестикулируя.— Но за что же? Я ничего не сделал. Это все они. Клянусь, это они.— Он обвиняюще указал на Гельмгольца и Дикаря.— О, прошу вас, не отправляйте меня в Исландию. Я обещаю, что исправлюсь. Дайте мне только возможность. Прошу вас, дайте мне исправиться.— Из глаз его потекли слезы.— Ей-форду, это их вина,— зарыдал он.— О, только не в Исландию. О, пожалуйста, ваше фордейшество, пожалуйста...— И в припадке малодушия он бросился перед Мондом на колени. Тот пробовал поднять его, но Бернард продолжал валяться в ногах; молящие слова лились потоком. В конце концов Главноуправителю пришлось нажатием кнопки вызвать четвертого своего секретаря.

— Позовите трех служителей,— приказал Мустафа,— отведите его в спальную комнату. Дайте ему вдосталь подышать парами сомы, уложите в постель, и пусть проспится.

Четвертый секретарь вышел и вернулся с тремя близнецами-лакеями в зеленых ливреях. Кричащего, рыдающего Бернарда унесли.

— Можно подумать, его убивают,— сказал Главноуправитель, когда дверь за Бернардом закрылась.— Имей он хоть крупицу смысла, он бы понял, что наказание его является по существу наградой. Его ссылают на остров. То есть посылают туда, где он окажется в среде самых интересных мужчин и женщин на свете. Это все те, в ком почему-либо развилось самосознание до такой степени, что они стали непригодны к жизни в нашем обществе. Все те, кого не удовлетворяет правоверность, у кого есть свои, самостоятельные взгляды. Словом, все те, кто собой что-то представляет. Я почти завидую вам, мистер Уотсон.

Гельмгольц Уотсон рассмеялся.

— Тогда почему же вы сами не на острове? — спросил он.

— Потому что все-таки предпочел другое,— ответил Главноуправитель.— Мне предложили выбор — либо ссылка на остров, где я смог бы продолжать свои занятия чистой наукой, либо же служба при Совете Главноуправителей с перспективой занять впоследствии пост Главноуправителя. Я выбрал второе и простился с наукой. Временами я жалею об этом,— продолжал он помолчав.— Счастье — хозяин суровый. Служить счастью, особенно счастью других, гораздо труднее, чем служить истине,— если ты не сформован так, чтобы служить слепо.— Он вздохнул, опять помолчал, затем заговорил уже бодрее: — Но долг есть долг. Он важней, чем собственные склонности. Меня влечет истина. Я люблю науку. Но истина грозна; наука опасна для общества. Столь же опасна, сколь была благотворна. Наука дала нам самое устойчивое равновесие во всей истории человечества. Китай по сравнению с нами был безнадежно неустойчив; даже первобытные матриархии были не стабильней нас. И это, повторяю, благодаря науке. Но мы не можем позволить, чтобы наука погубила свое же благое дело. Вот почему мы так строго ограничиваем размах научных исследований — вот почему я чуть не оказался на острове. Мы даем науке заниматься лишь самыми насущными, сиюминутными проблемами. Всем другим изысканиям неукоснительнейше ставятся препоны. А занятно бывает читать,— продолжал Мустафа после короткой паузы,— что́ писали во времена господа нашего Форда о научном прогрессе. Тогда, видимо, воображали, что науке можно позволить развиваться бесконечно и невзирая ни на что. Знание считалось верховным благом, истина — высшей ценностью; все остальное — второстепенным, подчиненным. Правда, и в те времена взгляды начинали уже меняться. Сам Господь наш Форд сделал многое, чтобы перенести упор с истины и красоты на счастье и удобство. Такого сдвига требовали интересы массового производства. Всеобщее счастье способно безостановочно двигать машины; истина же и красота — не способны. Так что, ра-

зумеется, когда властью завладевали массы, верховной ценностью становилось всегда счастье, а не истина с красотой. Но несмотря на все это, научные исследования по-прежнему еще не ограничивались. Об истине и красоте продолжали толковать так, точно они оставались высшим благом. Это длилось вплоть до Девятилетней войны. Война-то заставила запеть по-другому. Какой смысл в истине, красоте или познании, когда кругом лопаются сибиреязвенные бомбы? После той войны и была впервые взята под контроль наука. Люди тогда готовы были даже свою жажду удовольствий обуздать. Все отдавали за тихую жизнь. С тех пор мы науку держим в шорах. Конечно, истина от этого страдает. Но счастье процветает. А даром ничто не дается. За счастье приходится платить. Вот вы и платите, мистер Уотсон, потому что слишком заинтересовались красотой. Я же слишком увлекся истиной и тоже поплатился.

— Но вы ведь не отправились на остров,— произнес молчаливо слушавший Дикарь.

Главноуправитель улыбнулся.

— В том и заключалась моя плата. В том, что я остался служить счастью. И не своему, а счастью других. Хорошо еще,— прибавил он после паузы,— что в мире столько островов. Не знаю, как бы мы обходились без них. Пришлось бы, вероятно, всех еретиков отправлять в умертвительную камеру. Кстати, мистер Уотсон, подойдет ли вам тропический климат? Например, Маркизские острова или Самоа? Или же дать вам атмосферу пожестче?

— Дайте мне климат крутой и скверный,— ответил Гельмгольц, вставая с кресла.— Я думаю, в суровом климате лучше будет писаться. Когда кругом ветра и штормы...

Монд одобрительно кивнул.

— Ваш подход мне нравится, мистер Уотсон. Весьма и весьма нравится — в такой же мере, в какой по долгу службы я обязан вас порицать.— Он снова улыбнулся.— Фолклендские острова вас устроят?

— Да, устроят, пожалуй,— ответил Гельмгольц.— А теперь, если позволите, я пойду к бедняге Бернарду, погляжу, как он там.

Глава семнадцатая

— Искусством пожертвовали, наукой — немалую вы цену заплатили за ваше счастье,— сказал Дикарь, когда они с Главноуправителем остались одни.— А может, еще чем пожертвовали?

— Ну, разумеется, религией,— ответил Мустафа.— Было некое понятие, именуемое Богом,— до Девятилетней войны. Но это понятие, я думаю, вам очень знакомо.

— Да...— начал Дикарь и замялся. Ему хотелось бы сказать про одиночество, про ночь, про плато месы в бледном лунном свете, про обрыв и прыжок в черную тень, про смерть. Хотелось, но слов не было. Даже у Шекспира слов таких нет.

Главноуправитель тем временем отошел в глубину кабинета, отпер большой сейф, встроенный в стену между стеллажами. Тяжелая дверца открылась.

— Тема эта всегда занимала меня чрезвычайно,— сказал Главноуправитель, роясь в темной внутренности сейфа. Вынул оттуда толстый черный том.— Ну вот, скажем, книга, которой вы не читали.

Дикарь взял протянутый том.

— «Библия, или Книги священного писания Ветхого и Нового завета»,— прочел он на титульном листе.

— И этой не читали.— Монд протянул потрепанную, без переплета книжицу.

— «Подражание Христу».

— И этой,— вынул Монд третью книгу.

— Уильям Джемс [1]. «Многообразие религиозного опыта».

— У меня еще много таких,— продолжал Мустафа Монд, снова садясь.— Целая коллекция порнографических старинных книг. В сейфе Бог, а на полках Форд,— указал он с усмешкой на стеллажи с книгами, роликами, бобинами.

— Но если вы о Боге знаете, то почему же не говорите им? — горячо сказал Дикарь.— Почему не даете им этих книг?

— По той самой причине, по которой не даем «Отелло»,— книги эти старые; они — о Боге, каким он представлялся столетия назад. Не о Боге нынешнем.

— Но ведь Бог не меняется.

— Зато люди меняются.

— А какая от этого разница?

— Громаднейшая,— сказал Мустафа Монд. Он встал, подошел опять к сейфу.— Жил когда-то человек — кардинал Ньюмен[2]. Кардинал,— пояснил Монд в скобках,— это нечто вроде теперешнего архипеснослова.

— «Я, Пандульф, прекрасного Милана кардинал» [3]. Шекспир о кардиналах упоминает.

— Да, конечно. Так, значит, жил когда-то кардинал Ньюмен. Ага, вот и книга его.— Монд извлек ее из сейфа.— А кстати, выну и другую. Написанную человеком по имени Мен де Биран [4]. Он был философ. Что такое философ, знаете?

— Мудрец, которому и не снилось, сколько всякого есть в небесах и на земле,— без промедления ответил Дикарь [5].

— Именно. Через минуту я вам прочту отрывок из того, что ему, однако, снилось. Но прежде послушаем старого архипеснослова.— И, раскрыв книгу на листе, заложенном бумажкой, он стал читать: — «Мы не принадлежим себе, равно как не принадлежит нам то, что мы имеем. Мы себя не сотворили, мы главенствовать над собою не можем. Мы не хозяева себе. Бог нам хозяин. И разве такой взгляд на вещи не составляет счастье наше? Разве есть хоть кроха счастья или успокоения в том, чтобы полагать, будто мы принадлежим себе? Полагать так могут люди молодые и благополучные. Они могут думать, что очень это ценно и важно: делать все, как им кажется, по-своему — ни от кого не зависеть,— быть свободными от всякой мысли о незримо сущем, от вечной и докучной подчиненности, вечной молитвы, от вечного соотнесения своих поступков с чьей-то волей. Но с возрастом и они в свой черед обнаружат, что независимость не для человека, что она для людей неестественна и годится разве лишь ненадолго, а всю жизнь с нею не прожить...» — Мустафа Монд замолчал, положил томик и стал листать страницы второй книги.— Ну вот, например, из Бирана,— сказал он и снова забасил: — «Человек стареет; он ощущает в себе то всепроникающее чувство слабости, вялости, недомогания, которое приходит с годами; и, ощутив это, воображает, что всего-навсего прихворнул; он усыпляет свои страхи тем, что, дескать, его бедственное состояние вызвано какой-то частной причиной, и надеется причину устранить, от хвори исцелиться. Тщетные надежды! Хворь эта — старость; и грозный она недуг. Говорят, будто обращаться к религии в пожилом возрасте заставляет людей страх перед смертью и тем, что будет после смерти. Но мой собственный опыт убеждает меня в том, что религиозность склонна с годами развиваться

---

[1] Уильям Джемс (1842—1910) — американский философ-идеалист, психолог, один из основателей прагматизма.

[2] Джон Генри Ньюмен (1801 — 1890) — английский теолог.

[3] «Король Иоанн» *(акт III, сцена 1)*.

[4] Мен де Бира́н (1766 — 1824) — французский философ.

[5] Дикарь помнит слова Гамлета:
Немало есть такого в небесах
И на земле, что и не снилось вашей,
Горацио, философии.

в человеке совершенно помимо всяких таких страхов и фантазий; ибо, по мере того как страсти утихают, а воображение и чувства реже возбуждаются и становятся менее возбудимы, разум наш начинает работать спокойней, меньше мутят его образы, желания, забавы, которыми он был ранее занят; и тут-то является Бог, как из-за облака; душа наша воспринимает, видит, обращается к источнику всякого света, обращается естественно и неизбежно; ибо теперь, когда все, дававшее чувственному миру жизнь и прелесть, уже стало от нас утекать, когда чувственное бытие более не укрепляется впечатлениями изнутри или извне,— теперь мы испытываем потребность опереться на нечто прочное, неколебимое и безобманное — на реальность, на правду бессмертную и абсолютную. Да, мы неизбежно обращаемся к Богу; ибо это религиозное чувство по природе своей так чисто, так сладостно душе, его испытывающей, что оно возмещает нам все наши утраты».— Мустафа Монд закрыл книгу, откинулся в кресле.— Среди множества прочих вещей, сокрытых в небесах и на земле, этим философам не снилось и все теперешнее (он сделал рукой охватывающий жест) — мы, современный мир. «От Бога можно не зависеть, лишь пока ты молод и благополучен; всю жизнь ты независимым не проживешь». А у нас теперь молодости и благополучия хватает на всю жизнь. Что же отсюда следует? Да то, что мы можем не зависеть от Бога. «Религиозное чувство возместит нам все наши утраты». Но мы ничего не утрачиваем, и возмещать нечего; религиозность становится излишней. И для чего нам искать замену юношеским страстям, если страсти эти в нас не иссякают никогда? Замену молодым забавам, когда мы до последнего дня жизни резвимся и дурачимся по-прежнему? Зачем нам отдохновение, когда наш ум и тело всю жизнь находят радость в действии? Зачем успокоение, когда у нас есть сома? Зачем неколебимая опора, когда есть прочный общественный порядок?

— Так, по-вашему, Бога нет?

— Вполне возможно и обратное.

— Тогда почему?..

Мустафа не дал ему кончить вопроса.

— Но проявляет он себя по-разному в разные эпохи. До эры Форда он проявлял себя, как описано в этих книгах. Теперь же...

— Да, теперь-то как? — спросил нетерпеливо Дикарь.

— Теперь проявляет себя своим отсутствием; его как бы и нет вовсе.

— Сами виноваты.

— Скажите лучше, виновата цивилизация. Бог несовместим с машинами, научной медициной и всеобщим счастьем. Приходится выбирать. Наша цивилизация выбрала машины, медицину, счастье. Вот почему я прячу эти книжки в сейфе. Они непристойны. Они вызвали бы возмущение у чита...

— Но разве не естественно чувствовать, что Бог есть? — не вытерпел Дикарь.

— С таким же правом можете спросить: «Разве не естественно застегивать брюки молнией»? — сказал Главноуправитель саркастически.— Вы напоминаете мне одного из этих пресловутых мудрецов — напоминаете Брэдли [1]. Он определял философию как отыскивание сомнительных причин в обоснованье того, во что веришь инстинктивно. Как будто можно верить инстинктивно! Веришь потому, что тебя так сформировали, воспитали. Обоснование сомнительными причинами того, во что веришь по другим сомнительным причинам,— вот как надо определить философию. Люди верят в Бога потому, что их так воспитали.

— А все равно,— не унимался Дикарь,— в Бога верить естественно, когда ты одинок — совсем один в ночи — и думаешь о смерти...

---

[1] Фрэнсис Герберт Брэдли (1846—1924) — английский философ-идеалист.

— Но у нас одиночества нет,— сказал Мустафа.— Мы внедряем в людей нелюбовь к уединению и так строим их жизнь, что оно почти невозможно.

Дикарь хмуро кивнул. В Мальпаисе он страдал от того, что был исключен из общинной жизни, а теперь, в цивилизованном Лондоне, от того, что нельзя никуда уйти от этой общественной жизни, нельзя побыть в тихом уединении.

— Помните в «Короле Лире»? — произнес он подумав.— «Боги справедливы, и обращаются в орудья кары пороки, услаждающие нас; тебя зачал он в темном закоулке — и был покаран темной слепотой». И Эдмунд в ответ говорит — а Эдмунд ранен, умирает: «Да, это правда. Колесо судьбы свершило полный круг, и я сражен»[1]. Что вы на это скажете? Есть, стало быть, Бог, который управляет всем, наказывает, награждает?

— Есть ли? — в свою очередь спросил Монд.— Ведь можете услаждаться с девушкой-неплодой сколько вам угодно, не рискуя тем, что любовница вашего сына впоследствии вырвет у вас глаза. «Колесо судьбы свершило полный круг, и я сражен». Но сражен ли современный Эдмунд? Он сидит себе в пневматическом кресле, в обнимку с девушкой, жует секс-гормональную резинку и смотрит ощущальный фильм. Боги справедливы. Не спорю. Но божий свод законов диктуется в конечном счете людьми, организующими общество; Провидение действует с подсказки человека.

— Вы уверены? — возразил Дикарь.— Вы так уж уверены, что ваш Эдмунд в пневматическом кресле не понес кару столь же тяжкую, как Эдмунд, смертельно раненный, истекающий кровью? Боги справедливы. Разве не обратили они пороки, услаждающие современного Эдмунда, в орудия его унижения?

— Унижения? Соотносительно с чем? Как счастливый, работящий, товаропотребляющий гражданин, Эдмунд стоит высочайше. Конечно, если взять иной, отличный от нашего, критерий оценки, то не исключено, что можно будет говорить об унижении. Но надо ведь держаться одного набора правил. Нельзя играть в электромагнитный гольф по правилам эскалаторного хэндбола.

— «Но ценность независима от воли,— процитировал Дикарь из «Троила и Крессиды».— Достойное само уж по себе достойно, не только по оценке чьей-нибудь» [2].

— Ну, ну, ну,— сказал Мустафа.— Утверждение весьма спорное, не так ли?

— Если бы вы допустили к себе мысль о Боге, то не унижались бы до услаждения пороками. Был бы тогда у вас резон, чтобы стойко переносить страдания, совершать мужественные поступки. Я видел это у индейцев.

— Не сомневаюсь,— сказал Мустафа Монд.— Но мы-то не индейцы. Цивилизованному человеку нет нужды переносить страдания. А что до совершения мужественных поступков, то сохрани Форд от подобных помыслов. Если люди начнут действовать на свой риск, весь общественный порядок полетит в тартарары.

— Ну, а самоотречение, самопожертвование? Будь у вас Бог, был бы тогда резон для самоотречения.

— Но индустриальная цивилизация возможна лишь тогда, когда люди не отрекаются от своих желаний, а, напротив, потворствуют им в самой высшей степени, какую только допускают гигиена и экономика. В самой высшей, иначе остановятся машины.

— Был бы тогда резон для целомудрия! — проговорил Дикарь, слегка покраснев.

— Но целомудрие рождает страсть, рождает неврастению. А страсть с неврастенией порождают нестабильность. А нестабильность

[1] «Король Лир» *(акт, V, сцена 3).*

[2] «Троил и Крессида» *(акт II, сцена 2).*

означает конец цивилизации. Прочная цивилизация немыслима без множества услаждающих пороков.

— Но в Боге заключается резон для всего благородного, высокого, героического. Будь у вас...

— Милый мой юноша,— сказал Мустафа Монд.— Цивилизация абсолютно не нуждается в благородстве или героизме. Благородство, героизм — это симптомы политической неумелости. В правильно, как у нас, организованном обществе никому не доводится проявлять эти качества. Для их проявления нужна обстановка полнейшей нестабильности. Там, где войны, где конфликт между долгом и верностью, где противление соблазнам, где защита тех, кого любишь, или борьба за них — там, очевидно, есть некий смысл в благородстве и героизме. Но теперь нет войн. Мы неусыпнейше предотвращаем всякую чрезмерную любовь. Конфликтов долга не возникает; люди так сформованы, что попросту не могут иначе поступать, чем от них требуется. И то, что от них требуется, в общем и целом так приятно, стольким естественным импульсам дается теперь простор, что по сути не приходится противиться соблазнам. А если все же приключится в кои веки неприятность, так ведь у вас всегда есть сома, чтобы отдохнуть от реальности. И та же сома остудит ваш гнев, примирит с врагами, даст вам терпение и кротость. В прошлом, чтобы достичь этого, вам требовались огромные усилия, годы суровой нравственной выучки. Теперь же вы глотаете две-три таблетки — и готово дело. Ныне каждый может быть добродетелен. По меньшей мере половину вашей нравственности вы можете носить с собою во флакончике. Христианство без слез — вот что такое сома.

— Но слезы ведь необходимы. Вспомните, что сказал Отелло: «Если каждый шторм кончается такой небесной тишью, пусть сатанеют ветры, будя смерть» [1]. Старик-индеец нам сказывал о Девушке из Мацаки. Парень, захотевший на ней жениться, должен был взять мотыгу и проработать утро в ее огороде. Работа вроде бы легкая; но там летали мухи и комары; не простые, а волшебные. Женихи не могли снести их укусов и жал. Но один стерпел — и в награду получил ту девушку.

— Прелестно!— сказал Главноуправитель.— Но в цивилизованных странах девушек можно получать и не мотыжа огороды; и нет у нас жалящих комаров и мух. Мы всех их устранили столетия тому назад.

— Вот, вот, устранили,— кивнул насупленно Дикарь.— Это в вашем духе. Все неприятное вы устраняете — вместо того чтобы научиться стойко его переносить. «Благородней ли терпеть судьбы свирепой стрелы и каменья или, схватив оружие, сразиться с безбрежным морем бедствий...»[2] А вы и не терпите, и не сражаетесь. Вы просто устраняете стрелы и каменья. Слишком это легкий выход.

Он замолчал — вспомнил о матери. О том, как в комнате на тридцать восьмом этаже Линда дремотно плыла в море поющих огней и ароматных ласк — уплывала из времени и пространства, из тюрьмы своего прошлого, своих привычек, своего одрябшего, дряхлеющего тела. Да и ее милый Томасик, бывший Директор Инкубатория и Воспитательного Центра, до сих пор ведь на сомотдыхе — заглушил сомой унижение и боль и пребывает в мире, где не слышно ни тех ужасных слов, ни издевательского хохота, где нет перед ним мерзкого лица, липнущих к шее дряблых влажных рук. Директор отдыхает в прекрасном мире...

— Вам бы именно слезами сдобрить вашу жизнь,— продолжал Дикарь.— А то здесь слишком дешево все стоит.

(«Двенадцать с половиной миллионов долларов,— возразил Генри Фостер, услышав ранее от Дикаря этот упрёк.— Двенадцать с поло-

---

[1] «Отелло» *(акт, II, сцена 1).*
[2] «Гамлет» *(акт IV, сцена 4).*

виной миллиончиков, и ни долларом меньше. Вот сколько стоит новый наш Воспитательный Центр».)

— «Смертного и хрупкого себя подставить гибели, грозе, судьбине за лоскуток земли» [1]. Разве не заманчиво? — спросил Дикарь, подняв глаза на Мустафу.— Если даже оставить Бога в стороне — хотя, конечно, за Бога подставлять себя грозе был бы особый резон. Разве нет смысла и радости в жизненных грозах?

— Смысл есть, и немалый,— ответил Главноуправитель.— Время от времени необходимо стимулировать у людей работу надпочечников.

— Работу чего? — переспросил непонимающе Дикарь.

— Надпочечных желез. В этом одно из условий крепкого здоровья и мужчин и женщин. Потому мы и ввели обязательный прием ЗБС.

— Зебеэс?

— Заменителя бурной страсти. Регулярно, раз в месяц. Насыщаем организм адреналином. Даем людям полный физиологический эквивалент страха и ярости — ярости Отелло, убивающего Дездемону, и страха убиваемой Дездемоны. Даем весь тонизирующий эффект этого убийства — без всяких сопутствующих неудобств.

— Но мне любы неудобства.

— А нам — нет,— сказал Главноуправитель.— Мы предпочитаем жизнь с удобствами.

— Не хочу я удобств. Я хочу Бога, поэзию, настоящую опасность, хочу свободу, и добро, и грех.

— Иначе говоря, вы требуете права быть несчастным,— сказал Мустафа.

— Пусть так,— с вызовом ответил Дикарь.— Да, я требую.

— Прибавьте уж к этому — право на старость, уродство, бессилие; право на сифилис и рак; право на недоедание; право на вшивость и тиф; право жить в вечном страхе перед завтрашним днем; право мучиться всевозможными лютыми болями.

Длинная пауза.

— Да, это всё мои права, и я их требую.

— Что ж, пожалуйста, осуществляйте эти ваши права,— сказал Мустафа Монд, пожимая плечами.

Глава восемнадцатая

Дверь незаперта, приоткрыта; они вошли.

— Джон!

Из ванной донесся неприятный характерный звук.

— Тебе что, нехорошо? — громко спросил Гельмгольц.

Ответа не последовало. Звук повторился, затем снова; наступила тишина. Щелкнуло, дверь ванной отворилась, и вышел Дикарь, очень бледный.

— У тебя, Джон, вид совсем больной! — сказал Гельмгольц участливо.

— Съел чего-нибудь неподходящего? — спросил Бернард.

Дикарь кивнул:

— Я вкусил цивилизации.

— ???

— И отравился ею; душу загрязнил. И еще,— прибавил он, понизив голос,— я вкусил своей собственной скверны.

— Да, но что ты съел конкретно?.. Тебя ведь сейчас...

— А сейчас я очистился,— сказал Дикарь.— Я выпил теплой воды с горчицей.

[1] «Гамлет» *(акт IV, сцена 4).*

Друзья поглядели на него удивленно.

— То есть ты намеренно вызвал рвоту? — спросил Бернард.

— Так индейцы всегда очищаются.— Джон сел, вздохнул, провел рукой по лбу.— Передохну. Устал.

— Немудрено,— сказал Гельмгольц.

Сели и они с Бернардом.

— А мы пришли проститься,— сказал Гельмгольц.— Завтра утром улетаем.

— Да, завтра улетаем,— сказал Бернард; Дикарь еще не видел у него такого выражения — решительного, успокоенного.— И кстати, Джон,— продолжал Бернард, подавшись к Дикарю и рукой коснувшись его колена,— прости меня, пожалуйста, за все вчерашнее.— Он покраснел.— Мне так стыдно,— голос его задрожал,— так...

Дикарь не дал ему договорить, взял руку его, ласково пожал.

— Гельмгольц — молодчина. Ободрил меня,— произнес Бернард.— Без него я бы...

— Да ну уж,— сказал Гельмгольц.

Помолчали. Грустно было расставаться, потому что они привязались друг к другу,— но и хорошо было всем троим чувствовать свою сердечную приязнь и грусть.

— Я утром был у Главноуправителя,— нарушил наконец молчание Дикарь.

— Зачем?

— Просился к вам на острова.

— И разрешил он? — живо спросил Гельмгольц.

Джон покачал головой:

— Нет, не разрешил.

— А почему?

— Сказал, что хочет продолжить эксперимент. Но будь я проклят,— взорвался бешено Дикарь,— будь я проклят, если дам экспериментировать над собой и дальше. Хоть проси меня все Главноуправители мира. Завтра я тоже уберусь отсюда.

— А куда? — спросили Гельмгольц с Бернардом.

Дикарь пожал плечами:

— Мне все равно куда. Куда-нибудь, где смогу быть один.

От Гилфорда авиатрасса Лондон — Портсмут идет вдоль Уэйской долины к Годалмингу, а оттуда над Милфордом и Уитли к Хейзлмиру — и дальше, через Питерсфилд, на Портсмут. Почти параллельно этой воздушной линии легла трасса возвратная — через Уорплесдон, Тонгем, Паттенем, Элстед и Грейшот. Между Хогсбэкской грядой и Хайндхедом были места, где эти трассы раньше проходили всего в шести-семи километрах друг от друга. Близость, опасная для беззаботных летунов — в особенности ночью или когда принял полграмма лишних. Случались аварии. Даже катастрофы. Решено было отодвинуть трассу Портсмут — Лондон на несколько километров к западу. И вехами старой трассы между Грейшотом и Тонгемом остались четыре покинутых авиамаяка. Небо над ними тихо и пустынно. Зато над Селборном, Борденом и Фарнемом теперь не умолкает гул и рокот вертопланов.

Дикарь избрал своим прибежищем старый авиамаяк, стоящий на гребне песчаного холма между Паттенемом и Элстедом. Маяк построен из железобетона и отлично сохранился; слишком даже здесь уютно будет, подумал Дикарь, оглядев помещение, слишком по-цивилизованному. Он успокоил свою совесть, решив тем строже держать себя в струне и очищение совершать тем полнее и тщательнее. Первую ночь здесь он провел без сна всю напролет. Простоял на коленях, молясь то Небесам (у которых некогда молил прощенья преступный Клавдий), то Авонавилоне по-зунийски, то Иисусу и Пуконгу, то своему заветному хранителю — орлу. Временами Джон рас-

кидывал руки, точно распятый, и подолгу держал их так, и боль постепенно разрасталась в жгучую муку; не опуская дрожащих рук, он повторял сквозь стиснутые зубы (а пот ручьями тек по лицу): «О, прости меня! О, сделай меня чистым! О, помоги мне стать хорошим!» — повторял снова и снова, почти уже теряя сознание от боли.

Когда наступило утро, он почувствовал, что имеет теперь право жить на маяке; да, имеет — даром что в окнах почти все стекла уцелели, даром что вид с верхней площадки открывается великолепный. Потому Дикарь и выбрал этот маяк, и потому чуть было сразу же и не ушел отсюда. Вид сверху так чудесен — глазам как бы предстает воплощенье божества. Но кто Дикарь такой, чтоб нежить глаз беспрерывным зрелищем красоты? Кто он такой, чтобы жить в зримом присутствии Бога? Ему бы, по его заслугам, обитать в свином хлеву, в слепой норе... Тело Дикаря одеревенело, плечи ныли после долгой ночной муки, но этим-то и был он внутренне ободрен,— и, поднявшись на верх своей башни, он окинул взглядом яркий рассветный мир, в котором обрел право жить. На северном горизонте тянулась Хогсбэкская меловая гряда, за ее восточной оконечностью вставали семь узких небоскребов, составляющих Гилфорд. При виде их Дикарь поморщился; но он вскоре с ними примирится — ибо по ночам они сверкают огнями, как веселые и симметричные созвездия, или же, в сплошной прожекторной подсветке, высятся наподобие светозарных перстов, указующих вверх, в непроницаемые тайны неба (хоть жеста этого никто в Англии теперь не понимает, кроме Дикаря).

В долине, отделяющей Хогсбэкскую гряду от холма с маяком, виден Паттенем — скромный девятиэтажный поселочек с силосными башнями, птицефермой и фабричкой, производящей витамин Д. А на юг от маяка пологие вересковые склоны спускаются к прудам.

За цепочкою прудов, над лесом встает четырнадцатиэтажной башней Элстед. Подернутые смутной английской дымкой, Хайндхед и Селборн манят глаз в голубую романтическую даль. Но не только да́ли манят; приманчива и близь. Леса, открытые пространства, поросшие вереском и желтым от цветов утесником, группы сосен, поблескивающие пруды с прибрежными березами, с кувшинками и зарослями камыша — все это красиво и поражает глаз, привыкший к бесплодию американской пустыни. А уединенность какая! Целыми днями не увидишь человеческой фигурки. От маяка всего лишь четверть часа лететь до Черинг-Тийской лондонской башни; но даже и холмы Мальпаиса не пустыннее этих суррейских вересковых пустошей. Толпы, ежедневно вылетающие из Лондона, летят играть в электромагнитный гольф или в теннис. В Паттенеме игровых полей нет; ближайшие римановы поверхности находятся в Гилфорде. А здесь — только цветы да пейзажи. Так что лететь сюда незачем. Первые дни Дикарь прожил, никем не тревожимый.

Бо́льшую часть денег, что по прибытии в Англию Джон получил на личные расходы, он потратил теперь, покидая Лондон. Купил четыре одеяла из вискозной шерсти, нужный инструмент, гвоздей, веревок и бечевок, клею, спичек (с намереньем, однако, смастерить потом дрель для добывания огня), купил простейшую кухонную утварь, пакетов двадцать семян и десять килограммов пшеничной муки. «Нет, не нужен мне мучной суррогат из синтетического крахмала и пакли,— твердо заявил он продавцу.— Пусть суррогат питательней, не надо». Но полигормональное печенье и витаминизированную эрзац-говядину ему все-таки всучили. Глядя теперь на эти банки, он горько жалел, что поддался уговорам. Тьфу, цивилизованная гадость! «С голоду помру, а не притронусь. Я им покажу!» — давал он мысленно свирепый зарок. И себе покажет тоже, слабаку!

Он пересчитал деньги. Осталось мало, но все же хватит, наверно, чтобы перебиться до весны. А там огород даст ему независимость

от внешнего мира. И можно пока что охотиться. Тут кругом водятся кролики, и на прудах есть дикая птица. Он принялся, не мешкая, делать лук и стрелы.

Поблизости от маяка росли ясени, а для стрел была целая заросль молодого, прямого орешника. Он начал с того, что срубил ясенек, снял со ствола, свободного от сучьев, кору и стал осторожно и тонко, как учил старый Митсима, обстругивать — и выстругал шестифутовое, в собственный рост, древко с довольно толстой средней частью и суженными, гибкими, упругими концами. Работалось сладко и радостно. После всех этих бездельных недель в Лондоне, где только кнопки нажимай да выключателями щелкай, он изголодался по труду, требующему сноровки и терпения.

Он почти уже кончил строгать, как вдруг поймал себя на том, что напевает — поет! Он виновато покраснел, точно разоблачил себя внезапно, застиг на месте преступления. Ведь не петь и веселиться он сюда приехал, а спасаться от цивилизованной скверны, заразы, чтобы стать здесь чистым и хорошим, чтобы покаянным трудом загладить свою вину. Смятенно он спохватился, что, углубясь в работу, забыл то, о чем клялся постоянно помнить,— бедную Линду забыл, и свою убийственную к ней жестокость, и этих мерзких близнецов, кишевших, точно вши, у ее одра — оскорбительно, кощунственно кишевших. Он поклялся помнить и неустанно заглаживать вину. А теперь вот сидит, строгает весело и поет, да-да, поет...

Он пошел, открыл пачку горчицы, поставил чайник на огонь.

Получасом позже проезжали мимо, направляясь в Элстед, трое паттенемских сельхозрабочих-близнецов, минус-дельтовиков, и на холме увидели такое зрелище: стоит у маяка парень, обнажен до пояса и хлещет себя веревочным бичом. Спина у парня вся в багровых поперечных полосах, и струйками сочится кровь. Остановив свой грузовик на обочине, они стали глядеть издали с разинутыми ртами и считать удары. Один, два, три... После восьмого удара парень прервал бичевание, отбежал к опушке, и там его стошнило. Затем он схватил бич и захлестал себя снова. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать...

— Форд! — прошептал водитель. Братья его были ошарашены не меньше.

— Фордики-моталки! — вырвалось у них.

Через три дня, как стервятники на падаль, налетели репортеры.

Древко было уже закалено, высушено над слабым, из сырых веток, огнем — лук был готов. Дикарь занялся стрелами. Он огладил ножом и высушил тридцать ореховых прутьев, снабдил их острыми гвоздями-наконечниками, а на другом конце каждой стрелы аккуратно сделал выемку для тетивы. Совершив ночной набег на паттенемскую птицеферму, он запасся перьями в количестве, достаточном для целого арсенала арбалетов и луков. За опереньем стрел и застал Дикаря репортер, прилетевший первым. Он подошел сзади бесшумно на своих пневматических подошвах.

— Здравствуйте, мистер Дикарь,— произнес он.— Я из «Ежечасных радиовестей».

Дикарь вскинулся, как от змеиного укуса, вскочил, рассыпая стрелы, перья, опрокинув клей, уронив кисть для клея.

— Прошу извинить,— искренне и сокрушенно сказал репортер.— Я вовсе не хотел...— Он коснулся своей шляпы — алюминиевого цилиндра, в котором был смонтирован приемопередатчик.— Простите, что не снимаю шляпы. Слегка тяжеловата. Как я уже сказал, я представляю «Ежечасные...»

— Что надо? — спросил Дикарь, грозно хмурясь. Репортер ответил самой своей обворожительной улыбкой.

— Ну разумеется, наши читатели с огромным интересом...— Он

склонил голову на бочок, улыбка его сделалась почти кокетливой.— Всего лишь несколько слов, мистер Дикарь.

Последовал ряд быстрых ритуальных жестов: мигом размотаны два проводка от поясной портативной батареи и воткнуты сразу с обоих боков алюминиевой шляпы-цилиндра; нажата пружинка на тулье цилиндра — и тараканьими усами выросли антенны; нажата другая, спереди на полях,— и, как чертик из коробочки, выскочил микрофон, закачался у репортера перед носом; опущены радионаушники; нажат включатель слева на тулье — и в цилиндре раздалось слабое осиное жужжание; повернута ручка справа — и к жужжанию присоединились легочные хрипы, писк, икота, присвист.

— Алло,— сказал репортер в микрофон,— алло, алло...— В цилиндре вдруг раздался звон.— Это ты, Эдзел? Говорит Примо Меллон. Да, дело в шляпе. Сейчас мистер Дикарь возьмет микрофон, скажет несколько слов. Пожалуйста, мистер Дикарь.— Он взглянул на Дикаря, подарил его еще одной своей победительной улыбкой.— Объясните в двух словах нашим читателям, зачем вы поселились здесь. Почему так внезапно покинули Лондон. (Не уходи с приема, Эдзел!) И конечно же, зачем бичуетесь. (Дикарь вздрогнул: откуда им про бич известно?) Все мы безумно жаждем знать разгадку бича. А потом — что-нибудь о цивилизации. «Мое мнение о цивилизованной девушке»,— в этом духе. Пять-шесть слов всего, не больше...

Дикарь исполнил просьбу с огорошивающей пунктуальностью. Пять слов он произнес, и не больше — те самые пять индейских слов, которые услышал от него Бернард в ответ на просьбу выйти к важному гостю — архипеснослову Кентерберийскому.

— Хани! Сонс эсо це-на! — И, схватив репортера за плечи, повернул его задом к себе (зад оказался заманчиво выпуклым), примерился и дал пинка со всей силой и точностью чемпиона-футболиста.

Восемь минут спустя на улицах Лондона уже продавали новейший выпуск «Ежечасных радиовестей». Через первую полосу было пущено жирно: «Загадочный ДИКАРЬ ФУТБОЛИТ нашего корреспондента. СНОГСШИБАТЕЛЬНАЯ НОВОСТЬ».

«Что верно, то верно — сногсшибательная»,— подумал репортер, когда по возвращении в Лондон прочел заголовок. Осторожненько, морщась от боли, он сел обедать.

Не устрашенные этим предостерегающим ударом по копчику коллеги, еще четверо репортеров — из нью-йоркской «Таймс», франкфуртского «Четырехмерного континуума», бостонской «Фордианской науки», а также из «Дельта миррор»— явились в этот день на маяк, и Дикарь встречал их со все возрастающей свирепостью.

— Закоснелый глупец! — с безопасного расстояния кричал ему корреспондент «Фордианской науки», потирая свои ягодицы.— Прими сому!

— Убирайся! — Дикарь погрозил кулаком.

Ученый репортер отошел еще дальше и снова закричал:

— Прими два грамма, и зло обратится в нереальность.

— Кохатва ияттокяй! — послал ему в ответ Дикарь зловеще и язвительно.

— Боль — всего лишь обман чувств.

— Ах, всего лишь? — И Дикарь, схватив палку, шагнул к репортеру. Тот шарахнулся к своему вертоплану.

После этого Дикарь был на время оставлен в покое. Прилетали, правда, вертопланы, кружили любознательно над башней. Дикарь послал стрелу в самый ближний и назойливый. Стрела пробила алюминиевый пол кабины; раздался вопль, и машина газанула ввысь со всей прытью, на какую была способна. С тех пор вертопланы держались на почтительной дистанции от маяка. Не обращая внимания на их зудливый рокот — сравнивая себя мысленно со стойким индейским женихом, не поддающимся кровожадному гнусу,— Дикарь вска-

пывал свой огород. Позудев над головой и, видимо, соскучась, вертопланное комарье улетало; небеса на целые часы пустели, затихали — только жаворонок пел.

Было безветренно и душно, пахло грозой. Все утро он копал и теперь прилег отдохнуть на полу. И внезапно им овладел образ Линайны — реальной, в туфельках, нагой, осязаемой, благоуханной. «Милый! Обними же меня!» — зазвучало в ушах. Блудница наглая! Ох, но обвившиеся руки, приподнявшиеся груди, приникшие губы! Вечность была у нас в глазах и на устах. Линайна... Нет, нет, нет! Он вскочил на ноги и, как был, полуголый, выбежал во двор. На краю пустоши кучно росли сизые можжевеловые кусты. Он грудью кинулся на можжевельник, хватая в объятия не бархатное желанное тело, а охапку жестких игл. Тысяча острых уколов его обожгла. Он попытался вернуться мыслью к бедной Линде, задыхающейся немо, к скрюченным ее пальцам, к диким от ужаса глазам Линды. Линды, о которой он поклялся помнить. Но по-прежнему владел им образ Линайны — которую он поклялся забыть. Даже колющие, жалящие иголки можжевельника не могли погасить этот образ, живой, неотступный. «Милый, милый... А раз и ты хотел меня, то почему же...»

Бич висел на гвозде за дверью — на случай нового вторжения репортеров. Вне себя Дикарь бросился к бичу, схватил, взмахнул. Узластая веревка впилась в тело.

— Шлюха! Шлюха! — восклицал он при каждом ударе, точно под бичом была Линайна (и как он яростно и сам того не сознавая желал, чтобы она явилась!), белая, горячая, душистая, бесстыжая.— Распутница! — И взывал в отчаянии: — О Линда, прости меня! Прости меня, Боже! Я скверный. Я мерзкий. Я... Нет же, нет, шлюха ты, шлюха!

Из своего укрытия, хитро устроенного в лесу, метрах в трехстах от маяка, Дарвин Бонапарт — самый искусный из репортеров-кинохотников за крупной дичью — видел все происходящее. Его уменье и терпенье были наконец-то вознаграждены. Три дня просидел он внутри своего скрадка, имеющего вид высокого дубового пня, три ночи проползал на животе среди утесника и вереска, пряча микрофоны в кусточках, присыпая провода серым мелким песком. Трое суток жесточайших неудобств. Зато теперь настал звездный миг — миг самой крупной удачи (успел подумать Дарвин Бонапарт, приводя в действие аппаратуру), самой крупной с тех пор, как удалось снять тот знаменитый стереовоющий фильм о свадьбе горилл. «Прелестно! — мысленно воскликнул Бонапарт, когда Дикарь начал свой поразительный спектакль.— Прелестно!» Он тщательно навел телескопические камеры, прильнул к визиру, следуя за движениями Дикаря; надел насадку, чтобы крупным планом снять перекошенное бешено лицо (превосходно!); на полминуты включил ускоренную съемку (замедленность движений даст изумительный комический эффект!); послушал удары, стоны, дикие бредовые слова, записываемые на звуковую дорожку, попробовал слегка их усилить (да, так будет, безусловно, лучше); восхитился контрастом, услыхав и записав в промежутке затишья звонкое пение жаворонка; подумал — вот если бы Дикарь повернулся, дал заснять крупным планом кровь на спине,— и почти тотчас (везет же сегодня!) Дикарь услужливо повернулся как надо и подарил великолепный кадр.

«Грандиозно! — поздравил себя Дарвин, кончив съемку.— Просто грандиозно!» Он вытер потное лицо. Присоединят на студии ощущальные эффекты, и замечательный получится фильм. Почти не хуже «Любовной жизни кашалота», а этим что-нибудь да сказано!

Через двенадцать дней «Неистовый Дикарь» был выпущен Ощущальной корпорацией на экраны всех перворазрядных кинодворцов Западной Европы — смотрите, слушайте, ощущайте!

Фильм подействовал незамедлительно и мощно. На следующий же день после премьеры, под вечер, уединение Джона было нарушено целой ордой вертопланов.

Джон копал гряды — и в то же время вскапывал усердно свой духовный огород, ворошил, ворочал мысли. Смерть — и он вонзил лопату в землю. «И каждый день прошедший освещал глупцам дорогу в смерть и прах могилы» [1]! Вон и в небе дальний гром рокочет подтверждающе. Джон вывернул лопатой ком земли. Почему Линда умерла? Почему ей дали постепенно превратиться в животное, а затем... Он поежился. В целуемую солнцем падаль. Яростно нажав ступней, он вогнал лопату в плотную почву. «Мы для богов, что мухи для мальчишек; себе в забаву давят нас они» [2]. И рокот в небе — подтверждением этих слов, которые правдивей самой правды. Однако тот же Глостер назвал богов вечно-благими. И притом, «сон лучший отдых твой, ты то и дело впадаешь в сон — и все же трусишь смерти, которая не более чем сон» [3]. Не более. Уснуть. И видеть сны, быть может. Лезвие уперлось в камень; нагнувшись, он отбросил камень прочь. Ибо в том смертном сне какие сны приснятся?..

Рокот над головой обратился в рев; и Джона вдруг покрыла тень, заслонившая солнце. Он поднял глаза, пробуждаясь от мыслей, отрываясь от копки; взглянул недоуменно, все еще блуждая разумом и памятью в мире слов, что правдивей правды,— среди необъятностей божества и смерти; взглянул — и увидел близко над собой нависшие густо вертопланы. Саранчовой тучей они надвигались, висели, опускались повсюду на вереск. Из брюха каждого севшего саранчука выходила парочка — мужчина в белой вискозной фланели и женщина в «пижамке» из ацетатной чесучи (по случаю жары) или в плисовых шортах и майке. Через несколько минут уже десятки зрителей стояли, образовав у маяка широкий полукруг, глазея, смеясь, щелкая камерами, кидая Джону — точно обезьяне — орехи, жвачку, полигормональные пряники. И с каждой минутой, благодаря авиасаранче, летящей беспрерывно из-за Хогсбэкской гряды, число их росло. Они множились, будто в страшном сне,— десятки становились сотнями.

Дикарь отступил к маяку и, как окруженный собаками зверь, прижался спиной к стене, в немом ужасе переводя взгляд с лица на лицо, словно лишаясь рассудка.

Метко брошенная пачка секс-гормональной резинки ударила Дикаря в щеку. Внезапная боль вывела его из оцепенения — он очнулся; гнев охватил его.

— Уходите! — крикнул он.

Обезьяна заговорила! Раздались аплодисменты, смех.

— Молодец Дикарь! Ура! Ура!

И сквозь разноголосицу донеслось:

— Бичеванье покажи нам, бичеванье!

Показать? Он сдернул бич с гвоздя и потряс им, грозя своим мучителям.

Жест этот был встречен насмешливо-одобрительным возгласом толпы.

Дикарь угрожающе двинулся вперед. Вскрикнула испуганно женщина. Кольцо зрителей дрогнуло, качнулось перед Дикарем — и опять застыло. Ощущенье своей подавляющей численности и силы придало этим зевакам храбрости, которой Дикарь от них не ожидал. Не зная, что делать, он остановился, огляделся.

— Почему вы мне покоя не даете? — В гневном этом вопросе прозвучала почти жалобная нотка.

---

[1] «Макбет» *(акт V, сцена 5).*
[2] «Король Лир» *(акт IV, сцена 1).*
[3] «Мера за меру» *(акт III, сцена 1).*

— На́, вот миндаль с солями магния! — сказал стоящий прямо перед Дикарем мужчина, протягивая пакетик.— Ей-форду, очень вкусный,— прибавил он с неуверенной, умиротворительной улыбкой.— А соли магния сохраняют молодость.

Дикарь не взял пакетика.

— Что вы от меня хотите? — спросил он, обводя взглядом ухмыляющиеся лица.— Что вы от меня хотите?

— Бича хотим,— ответила нестройно сотня голосов.— Бичеванье покажи нам. Хотим бичеванья.

— Хо-тим би-ча,— дружно начала группа поодаль, неторопливо и твердо скандируя.— Хо-тим би-ча.

Другие тут же подхватили как попугаи, раскатывая фразу все громче, и вскоре уже все кольцо ее твердило:

— Хо-тим би-ча.

Кричали все как один; и, опьяненные криком, шумом, чувством ритмического единения, они могли, казалось, скандировать так бесконечно. Но на двадцать примерно пятом повторении случилась заминка. Из-за Хогсбэкской гряды прилетел очередной вертоплан и, повисев над толпой, приземлился в нескольких метрах от Дикаря — между зрителями и маяком. Рев воздушных винтов на минуту заглушил скандирование; но, когда моторы стихли, снова зазвучало: «Хо-тим би-ча, хо-тим би-ча»,— с той же громкостью, настойчивостью и монотонностью.

Дверца вертоплана открылась, и вышел белокурый и румяный молодой человек, а за ним — девушка в зеленых шортах, белой блузке и жокейском картузике.

При виде ее Дикарь вздрогнул, подался назад, побледнел.

Девушка стояла, улыбаясь ему — улыбаясь робко, умоляюще, почти униженно. Вот губы ее задвигались, она что-то говорит; но слов не слышно за скандирующим хором.

— Хо-тим би-ча! Хо-тим би-ча!

Девушка прижала обе руки к груди, слева, и на кукольно красивом, нежно-персиковом ее лице выразилась горестная тоска, странно не вяжущаяся с этим личиком. Синие глаза ее словно бы стали больше, ярче; и внезапно две слезы скатились по щекам. Она опять проговорила что-то; затем быстро и пылко протянула руки к Дикарю, шагнула.

— Хо-тим би-ча! Хо-тим би...

И неожиданно зрители получили желаемое.

— Распутница! — Дикарь кинулся к ней, точно полоумный.— Хорек блудливый! — И точно полоумный, ударил ее бичом.

Перепуганная, она бросилась было бежать, споткнулась, упала в вереск.

— Генри, Генри! — закричала она. Но ее румяный спутник пулей метнулся за вертоплан — подальше от опасности.

Кольцо зрителей смялось, с радостным кличем бросились они все разом к магнетическому центру притяжения. Боль ужасает людей — и притягивает.

— Жги, похоть, жги! — Дикарь исступленно хлестнул бичом.

Алчно сгрудились зеваки вокруг, толкаясь и толчась, как свиньи у корыта.

— Умертвить эту плоть! — Дикарь скрипнул зубами, ожег бичом собственные плечи.— Убить, убить!

Властно притянутые жутью зрелища, приученные к стадности, толкаемые жаждой единения, неискоренимо в них внедренной, зрители невольно заразились неистовством движений Дикаря и стали ударять друг друга — в подражание ему.

— Бей, бей, бей...— кричал Дикарь, хлеща то свою мятежную плоть, то корчащееся в траве гладкотелое воплощенье распутства.

Тут кто-то затянул:

— Бей-гу-ляй-гу...

И вмиг все подхватили — запели и заплясали.

— Бей-гу-ляй-гу,— пошли они хороводом, хлопая друг друга в такт,— ве-се-лись...

Было за полночь, когда улетел последний вертоплан. Изнуренный затянувшейся оргией чувственности, одурманенный сомой, Дикарь лежал среди вереска, спал. Проснулся — солнце уже высоко. Полежал, щурясь, моргая по-совиному, не понимая; затем внезапно вспомнил — все.

— О боже, боже мой! — Он закрыл лицо руками.

Под вечер из-за гряды показались вертопланы, летящие темной тучей десятикилометровой длины. (Во всех газетах была описана вчерашняя оргия единения.)

— Дикарь! — позвали лондонец и лондонка, приземлившиеся первыми.— Мистер Дикарь!

Ответа нет.

Дверь маяка приоткрыта. Они толкнули ее, вошли в сумрак башни. В глубине комнаты — сводчатый выход на лестницу, ведущую в верхние этажи. Высоко там, за аркой, виднеются две покачивающиеся ступни.

— Мистер Дикарь!

Медленно-медленно, подобно двум неторопливым стрелкам компаса, ступни поворачиваются вправо — с севера на северо-восток, восток, юго-восток, юг; остановились, повисели и так же неспешно начали обратный поворот. Юг, юго-восток, восток...

Непрошеный мир

Невозможно отделаться от впечатления, что какая-то сила сама свела эти книги, чтобы они пришли к нашему читателю вместе: «О дивный новый мир» (1932) Хаксли и замятинские «Мы» (1920). Потому что это единственный способ их правильно понять. Одна — наша, другая — «с той стороны», повествующие об одном, — казалось, далеком, теперь грозно приближающемся. То есть о тех самых общечеловеческих проблемах, которые, как выяснилось, нас более не ждут.

И конечно, не об атомной бомбе, о которой Фолкнер сказал, что если бы она упала на нас этой ночью, то ничего не смогла бы совершить, так как сама лишила бы нас главного, что составляет ее власть: страха, ужаса перед ней. Избавление от нее — дело конкретной политики.

Проблема художников глубже, и неизмеримо. Невидимая смерть, наступающая изнутри,— от перестроения жизни по техническому образцу,— отсечение ее от скрытых источников, объявленных вымыслом, и помещение в быстро растущую функциональную клеть-скорлупу. То есть результат как бы естественного и необходимого развития цивилизации.

Нет ничего тяжелее этой проблемы, вследствие чего не приходится удивляться и тяжелой судьбе этих книг. Их принимали совсем за другое. На Западе — стараясь списать, пользуясь нашим небрежением, на «тоталитарный социализм»; у нас — с традиционной нашей угловатостью и нежеланием разбираться в «оттенках» — с порога отвергая или, за ничего не определяющими исключениями, не замечая вовсе. Чтобы заняться любой проблемой, ее нужно сначала признать. И только когда прояснилось, что оба писателя задолго до идеологов рассказали о так называемой «конвергенции» (на которую тайно или явно рассчитывали многие), то есть о смешении социальных систем в один технократический котел, и весьма картинно описали ее плоды, стала вырастать из-под политиканствующей пены действительно общая проблема. Возник интерес к тому, насколько каждый строй на деле ответственен за ее появление и что способен к ее решению предложить. Правда, это уводило уже далеко за пределы литературы.

«О дивный новый мир» стал высшей точкой и перевалом в жизни Олдоса Хаксли. Все, написанное им до того, шло ступенями вверх: веселые романы, сохраняющие значение и сейчас,— «Желтый Кром», «Шутовской хоровод», «Контрапункт». Дальше начались глубоко нисходящие тени: «Слепец в Газе», «Вечная философия», «Обезьяна и сущность», завершившиеся печальным концом в Калифорнии, когда неизлечимо больной и ослепший писатель принял наиболее сильный из известных нар-

котиков ЛСД. Безусловно высшим достижением Е. И. Замятина (1884—1937) остался роман «Мы».

Хаксли знал Замятина и взял у него свои главные темы. Начиная с того, чем кончается замятинский роман: «Если бы у меня была мать — как у древних людей — именно — мать». Но он ничего не повторил и не списал, а воссоздал этот мир из реальностей своего «полушария». Поэтому обе книги замечательно дополняют друг друга. Иногда кажется, что Хаксли острее и резче, например, в расследовании механизмов «нового» искусства: так исключительным прозрением стал его «суперпоющий, синтетико-речевой, цветной стереоскопический ощущальный фильм с синхронным органо-запаховым сопровождением» о любви негра и блондинки или угаданное им сведение культуры к «эмоциональной инженерии», сразу разъясняющее как «инженеров человеческих душ», так и «прорабов духа». Иной раз глубже и вернее выглядит Замятин, например, в предсказаниях космической эпохи и даже в описаниях заатмосферного пространства, которое до 60-х годов нашего века никто из людей не мог наблюдать: «нестерпимо яркая, черная звездная солнечная ночь»...

Иногда, соревнуясь, они достигают такой убедительности, что невозможно уже сказать, кто из них точнее,— скажем, в картинах будущей любви,— Хаксли ли с его Линайной, которая, шурша молниями, втолковывает ее оторопевшему ученику Шекспира, или Замятин с историческим «Les sexualis»: «Всякий из нумеров имеет право как сексуальный продукт — на любой нумер». Лишнее свидетельство, что их нужно читать вместе.

Когда поднялась эта классика XX века, вспомнили, что она готовилась давно. В Англии, первой вступившей в промышленную эру, была гениальная Мэри Уолстонкрафт Шелли с ее видением искусственного человека («Франкенштейн», 1818) [1]. Облик этого создания был явно пророческим: «Он приблизился; его лицо выражало горькую муку и вместе с тем злобное презрение». Замечательно, что он потребовал от своего ученого творца: «Мне нужно существо другого пола, но такое же отвратительное, как я». После Хаксли ярче и понятнее стал Сэмюэл Батлер, предсказавший порабощение человека им же созданными машинами («Егдин», 1872), заново открылся Герберт Уэллс, описавший войну интеллекта с осточертевшими ему жизнью и моралью («Человек-невидимка», 1897, и «Борьба миров», 1898).

Были предтечи и у Замятина. Отец русских «любомудров» В. Ф. Одоевский в середине XIX века в «Городе без имени» и «4338 годе» также предрекал «часы запахов: час кактуса, час фиалки», «машины для романов и отечественной драмы» и т. п. Его ужасало грядущее царство пользы: «...полное презрение к достоинству человека, боготворение злата, угождение самым грубым требованиям плоти стали делом явным, позволенным, необходимым. Религия сделалась предметом совершенно посторонним; нравственность заключалась в подведении исправных итогов; умственные занятия — изыскание средств обманывать без потери кредита; поэзия — баланс приходно-расходной книги, музыка — однообразная стукотня машин; живопись — черчение моделей».

Г. П. Данилевский, автор «Сожженной Москвы», рассказал в «Жизни через сто лет» (1864) о впечатлениях молодого человека, чудом занесенного в Париж наших дней. Его поражают улицы, которые «горели яркими, как дневной свет, электрическими солнцами», некие «трубочки», под названием «телефон», которые позволяют, не покидая ресторана, «следить за парижской или даже более отдаленной сценой», газеты с «расписанием подземных поездов железных дорог между Англией и Францией»,— и вместе с ними прежде всего — духовное убожество. На месте семьи он застает узаконенные «краткосрочные браки»; «мелодия исчезла — ее больше нет и следа! Ни песни, ни былого задушевного чудного французского романа»; былые проповеди сменили воскресные фельетоны. «Правосудие благодаря технике сильно упростилось» — «тогдашние ученые стали делать остроумные опыты и изобрели особую жидкость, из которой добыли газ, названный спирто-хлороформом, или алколо-хлоралом. Напуская этот газ в особую комнату, прокуроры силой вводили подозреваемых и подсудимых, и последние, надышавшись предательским испарением, теряли главное из чувств — силу воли, после чего прямо диктовали стенографам все ... что у них было в сокровенных помышлениях». Расставаясь с этим «новым миром», молодой человек в ярости кричит: «Вы презираете все, что не ведет к низменной практической пользе! Вы пренебрегаете идеями великого философского цикла и дали развитие одному — практическим, техническим, не идущим далее земли наукам и ремеслам. Вы отдали луч солнца за кусок удобрения» и т. д.

Еще более впечатляющим оказалось описание будущего в повести Николая Федорова (предположительно псевдоним) «Вечер в 2217 году», опубликованной в 1906 году. Отрывки из этих старых русских утопий наконец стали печататься в наших изданиях.

Вероятно, мы переживаем сейчас некоторый период сравнения — того, что происходит, с тем, что видели в нас заранее сильные умы. В современных поисках это немалое подспорье. Ведь пророчества эти и делались в расчете на то, что их удастся избежать. Дороги нелегки; и потому можно надеяться, что еще не раз и не два многие, забредя в какую-нибудь темную пещеру, вдруг услышат — как если бы им сказал это пушкинский Финн: «Добро пожаловать, мой сын! Я наконец дождался дня, давно предвиденного мною».

П. ПАЛИЕВСКИЙ

[1] См. Мэри Шелли, Франкенштейн, или Современный Прометей. М., 1965.

ХУСТО ХОРХЕ ПАДРОН

Лирика

Перевод с испанского и вступление Н. ВАНХАНЕН

Предлагаемая подборка — первое знакомство советского читателя с испанским поэтом Хусто Хорхе Падроном, принадлежащим к послевоенному поколению литераторов. Он родился на Канарских островах, в Лас-Пальмас, учился в Барселоне, Париже, Стокгольме и Осло. В литературу Х. Х. Падрон пришел в начале семидесятых годов. По складу таланта это тонкий лирик. Сдержанная интонация его стихов, их выверенная гармония восходят к традиции испанских классиков начала века. Критика часто сравнивает его с крупным испанским поэтом нашего столетия Луисом Сернудой.

Стихи Х. Х. Падрона лишены внешних «шумовых» эффектов, оставляют ощущение естественности, ясности, строгости формы, хотя поэт использует самые широкие возможности современного стиха. Ему близко творческое кредо мексиканского поэта Октавио Паса: «Сущность поэтического — ощущение остановленного мгновения». Многие стихи Х. Х. Падрона представляют собой как бы импрессионистические зарисовки, передающие мимолетные впечатления, однако вдумчивому читателю очевидно, что поэт по преимуществу обращается к вечным темам — любви, творчества, времени, смерти. Часто его стихи — воспоминания, чей приглушенный свет озаряет образы, окутанные в дымчато-серые, пастельные тона: это «свет сумерек», свет раздумья, ограниченная цветовая гамма зимнего дня, «темная патина памяти». Недаром одной из своих книг автор предпослал эпиграф из Марселя Пруста: «Только память собирает жизнь воедино». Неяркие цвета передают прозрачность времени, хранящего в себе знакомый, слегка видоизмененный, словно преломленный в воде мир — и «вещный», и бесплотный. В нем есть море, камни и птицы, но конкретные образы одновременно выступают и как некое обобщение, символ. В стихах Х. Х. Падрона нет запаха трав или водорослей, а есть «запах детства», «слепой запах», а «первый свет, ворвавшийся в сознанье, был жгучим миром запахов» Мальчик, наблюдающий, как тонет в море брошенный им блестящий камешек,— воплощение грустного опыта жизни, где «только шаг от счастья до печали». В стихах, посвященных теме творчества,— и знакомый многим писателям страх перед чистым листом бумаги, и преодоление этого страха, постепенное превращение творца в волшебника, мага, преображающего мир («Бездна белого листа», «Трюки фокусника»). Х. Х. Падрон обращается и к традиционной для испанской поэзии теме смерти, звучащей у него таинственно и просветленно: в стихотворении «Тайны родников» под пение небесных струй человеку напоследок является прекрасный мифический зверь — единорог, символ чистоты, невинности и света.

Х. Х. Падрон — один из тех, кто осознает всю важность взаимного обогащения литератур. Стремление расширить культурный горизонт привело его к просветительской деятельности: он основатель и издатель крупного мадридского журнала «Экиваленсиас», популяризирующего зарубежную, в том числе советскую, поэзию. Весной этого года выходит номер журнала, целиком посвященный советским поэтам. Сторонник мира и разоружения, поэт в феврале 1987 года принял участие в московском форуме «За безъядерный мир, за выживание человечества».

Несмотря на сравнительно недавнее вступление в литературу, Х. Х. Падрон не остался незамеченным зарубежной критикой, о его творчестве одобрительно отзывались такие крупные представители испаноязычной культуры, как В. Алейсандре и Х. Л. Борхес. Стихи Х. Х. Падрона переведены более чем на двадцать языков мира.

© J. J. Padrón, 1980, 1984
© Espasa-Calpe, Madrid, 1984

В гостях у моря

На поржавелых с прозеленью скалах
я постоянно ожидаю чуда.
Вода приходит, и вода уходит,
из пены воздвигаются соборы;
алмазные громады,
ударяясь с разбегу о базальтовые глыбы,
дробятся на мельчайшие осколки,
на зябкий снегопад садов миндальных.
Еще кипят эмалевые брызги
в зеркальной глубине лучистых радуг
и обдают меня внезапным ливнем,
когда опять летят морские кони
разбиться о скалу. Все ближе, ближе.
Хрустальный пар безумных погоняет
и на меня во всем своем крылатом
величье мчит и молвит мне, сияя:
— Я тоже ждал тебя все эти годы.
Мы обо всем поговорим подробно.
Но прежде наглядись-ка снов в избытке
и долгий день свой проживи с людьми...

Ожиданье

Ждать ее в гостинице, жадно
слушая, как лязгнули двери
лифта и шаги прошумели.

Ждать, как счастья ждут,
и молиться,
если скрипнет вдруг половица.

Бессловесно ждать, бездыханно
у свечи, мигающей странно.

Не роптать и ждать сколько надо
на краю кромешного ада,
где у смерти с жизнью
свиданье.

В смерти не прервать ожиданья.

Мальчик и камень

В разгар полудня беззаботный мальчик
одной игрою занят неизменно:

он плоский камень в гальке выбирает
и целится, смеясь,
в барашек пены.

И камень чертит белую кривую
и бликами усеивает воду,
как солнце, упорхнувшее с ладони.

Скользит, срезая толщу солевую
там, где она светлее и бездонней.

Взмывает чайка в медленном полете,
и реет вслед гудку и пароходу,

и тает, уносясь в морские дали;
глядишь — и замер парохода ропот,
и камень потонул в водовороте,

и мальчику подсказывает опыт,
что только шаг от счастья до печали.

Тайны родников

Алену Боске

...уж раз нам суждено, не зная, ведать
о медленном мученье, о прибое,
плутающем впотьмах среди тумана
в изивах грота, где темно и странно
расширены зрачки и слишком гулко
слеза звенит о край небытия,—
пускай бы в светлой роще,
где навеки
усталая любовь смежает веки,
и, словно лани, ранние светила
внимают ветру остротой чутья,
мы услыхали царственную поступь,
непостижимый шаг единорога —
по стеблям звезд лежит его дорога,
а родники поют по сторонам;
невнятны их таинственные речи,
и чист невинный голос, что при встрече
слова забвенья
растолкует нам.

Ласточка зари

Вдруг — утренняя ласточка.

Протяжный взлет смычка
в прозрачном, свежем, сонном,
сквозном. И волны бури
ударились со звоном
о золото витка —
о птичью лестницу лазури.

И, посланные свыше
на землю в ранний час,
упали капли света, и звон коснулся слуха.
И в раненом затишье
из мрака солнце спас
комочек радости и пуха.

Дитя, завороженное зимой

Деревья стыли
в инее нефрита.

На льдистых искрах
узеньких сосулек
дрожала сетка
беспокойных веток.

Серебряно играл в шкатулке ветер.

А тишь была,
какая только снится.

И детская рука на мутных стеклах,
на запотевших окнах рисовала
отвесный шорох
тополиных веток
и пряничное деревце безмолвья.

И ворожила в сердце, как когда-то,
тень детства, одиночества, заката.

Бездна белого листа

Памяти Стефана Малларме

Чистый лист и я, а между нами —
только чайка головокруженья,

только гул далекий временами;
это бьет грядущее волнами
о безмолвье в жажде приближенья.

Жадно вопрошаю глубину,
но она влечет меня ко дну.

Вечности и жизни примиренье.

Море набегает белой тенью
и слова выносит на волне —
на съеденье мертвой белизне.

Трюки фокусника

Ольге Ороско

Пока колдую над строкой,
поет мой стриж, мой страх
то миг, то час, то день-деньской
а в каменных пластах
лежат, как залежи, слова
который год подряд.
Они очнутся, прогремят,
и громовой раскат
до гладкой горной немоты
дойдет наверняка,
и в этот миг, увидишь ты,
поднимется рука
и явит бледную ладонь,
а на ладони сад,
в саду — невидимый огонь.
И белый снегопад
над рощей розой опадет,
на множества дробясь,
как эха дальний перелет,
и обнажится связь
вещей, где каждый звук и взмах
подвластны только лишь
руке, которой пишет страх,
в которой свищет стриж.

Свет сумерек

Здесь в старом кресле
бремя тишины
отмежевало все дневные звуки,
все жаркие слова унесены
холодным ветром сумрачной разлуки.
И давние приходят голоса
на память мне,
и канувшее снова
из зеркала всплывает голубого,
и дальний дом
опять меня зовет.

И все же — то ли время
застит взор,
то ль просто память коротка у тела
на прошлое, но знаю: с давних пор
я здесь один,
чтоб думать о тебе,
а все, что было, все, что отлетело,
свет сумерек сливает с тишиной,
где только одиночество со мной.

Надежда

Верил в жизни стольким разным бредням,
слову одному — сильнее прочих.

Все ушло.

Но есть в запасе чудо
слов, никем не сказанных покуда.

Грустно заблужденью быть последним!

Первая звезда

На обреченном свете предвечерья
лазурная стрела последней птицы
уносит ввысь сияющие перья,
чтоб в первую звезду преобразиться.
Она поет, как будто капли точит,—
лучистый ливень в бурной круговерти —
и если не отменит,
то отсрочит
веленья скорби, времени и смерти.

Одиночество в песках

Чайка опускается и стынет,
повисая в воздухе стеклянном,
как слезинка в поисках лица.

Сыплет вечер звездами пустыни.
Море о покое бездыханном
шепчет — не расслышать ни словца.

Кротко чахнут жалкие деревья,
съеденные солью и лучами.

Это одиночество в песках. Свежесть ночи,
тени за плечами.

И один холодными ночами
яркий свет разлуки без конца.

Возвращение

И первый свет, ворвавшийся в сознанье,
был жгучим миром запахов.

Я помню, как убегал
от темноты и страха,
хватаясь за тряпичную лошадку,
за белоснежный мячик
из резины,
за фолианты дедовского шкафа,
раскрытые тайком под одеялом,
дарящие впотьмах
пыльцу предчувствий.

Потом настало море.
И в огромном объятье синем
вмиг затрепетало
бесстрашное, бестрепетное
детство.
Потом я в классе
по зеленой карте водил рукою. Сумрачные доски
и парты незаметно уносили
в расплывчатую рощу сновидений.

Чернильница глядела не мигая
чернильным глазом, чуть приподнимая свой медный
котелок
приветным жестом,
карандаши раскрашивали радость.

А как опишешь праздник перемены:
взмывает ввысь упругая планета
мяча и оставляет на ладони
и гулкость барабана, и арбуза,
и острый дух дубленной ветром кожи.

И наконец, та ночь, что не похожа
на прочие, и шорох под сосною,
и вздохи
одуряющего ветра.
На чуткую листву мы опустились,
на ели слышный колкий шелест хвои —
так в первый раз любви любовь коснулась.
И сладкий хмель,
и яростная вспышка
сознания. С тех пор навек со мной
тот невозвратный запах смоляной —
священное крещение землей.
Потом колеса жизни завертелись,
удваивая скорость, и касанья,
и запахи, и клятвы, и туманы,
и рельсы, и прощанья, и молчанья —
все жаждало внимания, и мало-
помалу жизнь на части разнимало.

И вот, с трудом преодолев усталость,
я возвратился, и начать сначала
осталось.
В тишине пустого дома
теснящиеся книги всех времен
ко мне доносят из-за окоема
бесчисленность пейзажей и имен,
леса и лица
мне напоминая,
и мир былой, и жизнь совсем иная
душистой дымкой веют со страниц.

Застывшая равнина

Дни мчатся без возврата
и гаснут друг за другом,
и ты, моя утрата,
всего лишь тень за кругом
свечения и блеска,
от прочих в стороне.
А холод занавеску
вздувает на окне.
Ни отзвука, ни слова —
все серо и пустынно.
И за спиною снова застывшая равнина
родного прожитого, умёршего былого.

■

МИОДРАГ БУЛАТОВИЧ

Самая большая тайна на свете

РАССКАЗ

Перевод с сербскохорватского ТАТЬЯНЫ ВИРТЫ

Миодраг Булатович несомненно представляет собой одну из заметных фигур в литературе современной Югославии. Начав печататься в пятидесятые годы, М. Булатович уверенно входит в когорту молодого поколения писателей, внесших в литературный послевоенный процесс дерзание поиска, новаторство формы, беспокойство мысли. Первый же сборник его рассказов «Черти явились» (1956) становится событием культурной жизни, единодушно расценивается критикой как появление яркого, смелого и необычного дарования. Усложненная образность, неожиданность ассоциаций, метафоричность прозы М. Булатовича вызывает острые споры и дискуссии. Считая себя духовным наследником Гоголя, Достоевского, развивая традиции Иво Андрича, М. Булатович продолжает исследование внутреннего мира человека, проникая в темные и светлые стороны его натуры, пытаясь разглядеть и понять побудительные причины тех или иных поступков. В его прозаических полотнах, как в картинах живописцев, явственно различаются теневые и осветленные пространства, проступают образы добра и зла, порой гипертрофированно преувеличенные, гротесково искаженные, словно бы автор рассматривает окружающее сквозь какую-то особую линзу.

В высказываниях о литературе М. Булатович постоянно возвращается к мысли о том, что ненависть не способна создать великое произведение, и своим нравственным кредо провозглашает любовь и сострадание. Именно этими чувствами пронизана новелла «Самая большая тайна на свете», которую мы предлагаем читателям. Несмотря на сгущающиеся тучи голодного, опаленного пожарами военного года, жажда любви и надежда не покидают маленького мальчика, сироту, соорудившего из огородного пугала отца — взамен того, настоящего, сраженного пулей.

В СССР М. Булатович публикуется впервые.

Все теперь не так, как было раньше.

Темное небо вздулось водянистым пузырем.

И просто удивительно, как быстро собрался дождь. Сеющей изморосью окроплял он землю. Но мало было такого дождя, чтобы потушить огонь, полыхавший вокруг беснующимся ураганом. Такого мелкого и редкого дождя.

Но все же и этот дождь был настоящим спасением, он капал, охлаждая раскаленные камни у оград и воспаленные человеческие головы, которым недоставало ума, чтобы найти выход из пламени, всеобщим пожаром охватившего и землю и небо. Туча влажной стеной придвинулась к решеткам.

Люди просовывали руки между прутьями, желая убедиться в том, что наконец он пошел, долгожданный дождь.

Костлявые руки и оголенные коробки черепов белели в окнах. Все было серо, как после потопа, как после сна.

Солнце выплеснулось и разлилось по облакам, и они засверкали краями, подобно раскаленному металлу, показываясь из-за гор. На всем лежал налет пепла. Если бы не дождь, который все грозил разразиться, может быть, не настал бы и этот новый день. Паутина оплела все вокруг.

И детей напугала черная туча, они боялись, что хлынет настоящий ливень, болезненные дети, которые вечно томились какими-то несбыточными грезами и швыряли камешки и огрызки яблок в жестяную кровлю темного дома с решетками.

Отрог горы, ощетинившийся леском за ближайшей оградой,— голубиное крыло, сизое от приближавшегося ливня.

Вооруженные люди, их было трое, шли вдоль ограды и воровато озирались по сторонам. Словно выплыли из паводка, затопившего местность. Перед ними вставала темная громада здания с подслеповатыми мрачными глазницами окон и горизонтально вытянутыми из них руками людей, прильнувших к решеткам. Хмурое небо нависало над крышей, небо клубилось облаками, опускаясь все ниже, но это не могло потушить бушующий вокруг пожар. С деревьев слетали листья, подобно мотылькам. Вооруженные люди увидели стайку детей на пригорке и поразились, что дети такие худые, хилые, со сморщенными старческими лицами и рахитичные. Не переставая удивляться, они то и дело толкали друг друга локтями. Те трое, что шли вдоль ограды.

Что делает маленький мальчик?

Те трое, что пришли сюда с винтовками из городка, не задавались подобным вопросом. Об этом спрашивали друг друга люди в окнах, глядя, как сгущались облака, обещая сильный дождь. Они не сводили с мальчика глаз, те люди, что сгрудились у окон за решетками.

Этот маленький мальчик не выходил из головы у заключенных. О нем постоянно думали и те, кто остался лежать, забившись в свои норы, темные норы мрачного дома, все эти увечные, хромые, слепые и полуживые, обросшие, бородатые, вечные пленники тюрьмы.

Они спрашивали о мальчике у других. Помимо всего прочего, они не могли все одновременно быть у окна на свету. Хотя порой этот свет и избыточен. Потому что невозможно прожить без своего угла в норе, без своего собственного света, совершенно отличного от того, что цедится сквозь решетки, без своего места, жесткого, согретого неподвижным и долгим лежанием и воспоминаниями.

Вот потому-то они и спрашивали о мальчике у других, у тех, кто находился поблизости от окон, и нетерпеливо теребили с ответом прильнувших лбами к железным рамам оконных проемов.

Они обычно не вдавались в подробности, просто хотели знать, где мальчик, что с ним и что он делает в тот момент, когда они о нем вспоминали.

Это забота и любовь, на которую не способны те, что внизу, на свободе: они не умеют так любить и сочувствовать кому бы то ни было, потому что они слишком свободны и потому что слишком много света вокруг них, а сами они настолько тусклы и бесцветны, что гаснут вблизи любого огня.

Застывшие у окон люди молча и напряженно вглядывались в появившихся здесь незнакомцев, пытаясь разгадать, кто они такие и откуда взялись. Но что они могли знать, кроме того, что сами они с незапамятных времен томились в застенках и что мимо их мрачного дома часто проходили разные войска, теряясь в горах и лесах, откуда доносилась стрельба и где раскладывались большие костры. Еще они знали, что с гор что ни день из нищих черногорских сел спускались стайки беспризорных детей и сирот и что они, босые, ободранные и голодные, побирались, выпрашивая кусок хлеба у солдат. Им видно сверху и то, как к полевым кухням прорывались несчастные беременные женщины со вздутыми животами и протягивали руки, вымаливая что-нибудь поесть.

Маленького мальчика узники мрачного дома знали хорошо, и мать его они знали, и постоянно беспокоились о нем:

Что делает наш мальчик?

Мальчик мочился на ограду, как маленькая собачонка. Он был хромой и ковылял неловко на костыле, ведя на веревке козленка. Люди с винтовками остановились у ограды и так же, как серые тени в окнах, смотрели, как мальчик ласкает своего козленка, любовно и нежно гладит его, проводя рукой по шерстке от холки по спине до самого хвоста.

Темная громада дома с решетками теперь казалась вооруженным людям еще мрачнее, глуше и суровей.

А тем, кто был в окнах, подумалось: не в последний ли раз, глядя на эти потемневшие пределы, видят они маленького мальчика с козленком в туманной дымке, принесенной стремительно надвигавшимся из-за горы дождем.

Люди с винтовками были измучены, затравлены страхом до потери сознания и голодны и жаждали передохнуть в каком-нибудь укромном углу, защищенном от дождя и пожара.

Однако, по всей видимости, такого места поблизости не было, и они понапрасну болтались по закоулкам, перекликаясь поминутно,— было совершенно очевидно, и тем более узникам тюрьмы, прильнувшим к окнам, что спасения нет, нет выхода, и бегством не спасешься, потому что земля со всех сторон охвачена пожаром.

Терзаемая беспокойством и страхом, вооруженная тройка незнакомцев, очевидно, желала одного: как можно скорее убраться с трухлявой, прогнившей сцены смехотворного убогого городка с единственной мечетью и церковью. Да и что им еще оставалось, кроме как бежать скорее отсюда, унося от расплаты свои буйные головы.

Мальчик с козленком был совершенно спокоен. Казалось, он не замечал ни этого пожара, ни дождя: возможно, он воспринимал бы все иначе, не будь у него хорошенького козленка. Вот если бы у каждого ребенка было по такому козлику!

Размашистые шаги вооруженной тройки приближались вместе с голосами и шумом хлынувшего вдалеке дождя, который в клубах дыма обрушился на край земли.

Мальчик грыз яблоко-скороспелку. Стайка детей топталась на пригорке. Мальчик не слышал, что дети разговаривали именно о нем:

Почему он не водится с нами?

А бог его знает.

И плачет без конца?

Еще бы ему не плакать, когда у него нет ни отца, ни матери.

У меня тоже нет отца, значит, я тоже сирота?

Сирота, но не круглая, как он.

А у меня есть и мать и отец, но мне хочется быть сиротой, как этот мальчик!

Интересно, знает ли козленок, почему он плачет?

Откуда это знать козленку? Козлята вообще ничего не знают.

Я скажу своей матери, что я тоже хочу быть круглой сиротой, чтобы меня все жалели и баловали.

А я скажу отцу, чтобы он купил мне такого козленка.

Да хватит вам твердить об этом козленке.

Разве вы не видите, что сейчас пойдет дождь.

Камушки и яблоки-скороспелки барабанили по крыше; они пролетали мимо окон, начиненных черепными коробками и локтями.

Тут только дети на пригорке заметили людей с винтовками.

В эту минуту один из них, средний, со шрамом поперек щеки, сказал отдуваясь:

— Ну, вот мы и в селе. Непонятно только, зачем мы сюда притащились.

— Еще как понятно,— сказал первый.

— Опять совершим что-нибудь гнусное,— сказал средний.

— С чего это ты взял? — спросил первый.

— Чего же от нас еще ждать? Я слышал, тут живет сплошная беднота.

— Поторопитесь,— оборвал их третий.— Нечего зря тянуть время, и заткнись, не занудствуй.

— Но сегодняшнего нашего геройства я заранее стыжусь,— проговорил средний.

— И тем не менее ты будешь жрать козленка вместе с нами,— заметил третий.

— И будешь рад, что наелся до отвала. И вообще поразишься, как это ты мог думать о чем-то гнусном. Брюхо — это, брат ты мой, самое главное в жизни. На сытый желудок вообще все выглядит совсем иначе. А голос совести забывается мгновенно, браток.

Мальчик мочился на забор, как маленькая собачонка. Он смотрел на них. Но ничего не думал при этом. У двоих он видел приклады винтовок, у третьего вещмешок за спиной. Сапоги у них были грязные, одежда обтрепанная и измятая. Мальчик отбросил в сторону огрызок яблока и вытащил из-за пазухи другое. Когда вооруженные люди перескочили через ограду, он внимательнее пригляделся к ним и ничего не подумал.

Лица у них были небритые, щетинистые, бледные.

Вооруженные люди переглянулись между собой.

— Нельзя это, братцы,— сказал средний.— Давайте лучше уберемся отсюда подобру-поздорову. Подальше от греха.

— Сначала наедимся досыта,— сказал третий,— а потом предадимся на просторе размышлениям о позоре и бедности. И будем сгорать от стыда и раскаяния.

— Давайте быстрее, любой шорох меня приводит в дрожь,— сказал первый.

Мальчик повел козленка вдоль ограды. Люди направились к нему.

Головы, прильнувшие к решеткам, застыли без движения.

Небо — хмурый лоб, сереющий в оконном проеме.

Мальчик смотрел вверх. Дети тоже.

Там он видел лысую макушку старика.

У него был отчего-то невероятно встревоженный вид. Его жесты выражали странное беспокойство и озабоченность.

Дети на пригорке слышали всплески глухих голосов, восклицаний и окликов: там, наверху, шел какой-то жаркий спор, люди там махали руками, угрожая кому-то, и все время указывали на мальчика с козленком.

Видимо, они в основном сходились во мнении — это можно было понять по их кивкам и мимике,— в чем-то самом важном и решающем.

Бесконечные споры, споры, длящиеся годами, иной раз люди вели их без слов, но не уступали друг другу.

Дети смотрели вверх, швыряя огрызки яблок в колючие заросли. И слышали невнятный шелест, как будто бы ветер доносил им сверху:

Что делает наш мальчик?
Гладит козленка.
А кто эти люди с винтовками?
Не знаем.
Возможно, это знают обитатели тех нор из подземелья?
Не знают, мы уже спрашивали.
А есть здесь кто-нибудь такой, кто не знает этого мальчика?
Таких нет. Все его знают давно.

Мальчик остановился с козленком у куста. Он поглядывал на людей с оружием, которые пугливо озирались вокруг. Он понимал, что они солдаты какой-то армии, коль скоро у них винтовки и вещмешки за спиной, но не знал какой: на шапках у них не было никакого опоз-

навательного знака. Поэтому мальчик не мог решить, кто они, красные или какие-то другие из тех, что не красные.

Козленок дергал веревку. Мальчик сорвал ему стебелек лебеды. Козленок свова дернул веревку.

Он не слышал, как люди шепчутся, никто их не слышал.

— Давайте найдем какого-нибудь другого козленка, братцы,— взмолился средний.

— С какой это стати? — возмутился третий.— Сойдет и этот.

— Жаль мне этого мальчишку,— сказал средний.— Какой-то он уж очень несчастный.

— Послушай,— сказал первый,— кончай мудрить. Козленка этого нам надо взять. Мы голодные, и черт его знает, когда нам попадется какой-нибудь другой. Да еще такой славный.

— Ради чего мы все это творим? — сокрушенно проговорил средний.— Мы просто бандиты. Разбойники, которые грабят беззащитных. Эти несчастные думают, что мы чья-то армия. А мы — никто, не партизаны, не четники и не усташи[1]. Самые обыкновенные грабители, люди без сердца, без души и без родины. Скажите, кто мы такие и во имя чего мы отберем козленка у этого хромого малыша? Мы ведь отребье — беглая шваль, дезертиры, думаем перебиться как-нибудь, пока идет война. Скажите мне, во имя чего...

— Перво-наперво,— начал первый,— мы забираем козленка во имя голода. А во-вторых, далась тебе эта родина. Не твоя печаль, кто тут верх возьмет и чья будет власть! Пойми ты, дурак, никто твою родину в вещмешке от тебя не утащит. Она все равно нам останется и нашим сыновьям. Какая бы ни была — партизанская или четническая. Только ты все равно перед ней виноват и должен будешь ответить перед ней как дезертир. Независимо от того, кто победит. Второе — мотыгу у тебя из рук никто не вырвет. И третье — будешь много рассуждать и задумаешь нас выдать, мы тебя прикончим.

— Кому мне вас выдавать? — возразил средний.— Кто вы такие? И могу ли я вас бросить? Кому на вас донести? Даже если бы я и решил? Вы никто, жалкие ничтожества без роду без племени. Люди без противников — а это позор для мужчин. Вы... то есть мы, самые обычные трусы, мы не смогли стиснуть зубы и остаться в окопах. Нас объединяет подлость...

— Какая еще подлость, болван!

— Объединились отщепенцы, отбросы общества,— продолжал средний с тихим ожесточением.— И похваляются своими бесчинствами. Да еще именуются храбрыми черногорцами. А на самом деле никто. Какие там черногорцы! Шастаем от села к селу, как банда грабителей, и только и высматриваем, где бы что стащить.

— Послушай, если ты так думаешь и у тебя за всякую голь перекатную сердце болит, тебе бы лучше от нас отделиться и пойти в народ проповеди читать,— заметил третий.— Хотя это дело пустое. Эта беднота не верила никаким проповедям во веки веков. К тому же они быстро поймут, что ты мошенник, шантрапа, жулик, врун, грабитель, беглый каторжник, которого только война и спасла,— иначе сидеть бы тебе за решеткой по гроб жизни. Но послушай меня, гнусный гад. Катись-ка ты отсюда ко всем чертям — скатертью дорожка. Посмей только пикнуть кому-нибудь о нас, я из тебя выпущу кишки, как сейчас из этого козленка.

— Когда-нибудь я от вас все равно отделюсь,— заметил средний тихо,— но сейчас для этого не время. Куда мне податься? Везде война, в одиночку пропадешь. А тут еще пожары вокруг. Выгорит все, это уж как пить дать. И дождя, как назло, не дождешься. Но когда-нибудь я от вас отделюсь. Лучше на каторгу, чем с вами.

---

[1] Сербские и хорватские группировки, воевавшие на стороне фашистов. *(Здесь и далее прим. перев.)*

— Мы тебе глотку перережем и бросим в первую попавшуюся яму,— сказал первый.— Выдашь ты нас.

— Выдать не выдам, а брошу, это точно,— сказал средний.— Примкну к первым попавшимся частям, которые встретятся на пути. Расскажу им все как есть. Простят меня — хорошо. Не простят — тоже неплохо. От смерти все равно не уйдешь, так уж лучше от мужской руки погибнуть, чем с разбойниками подохнуть в болоте. Пусть ведут меня с собой. Я на все согласен. Буду на их стороне воевать. Чтоб знать, за кого я убиваю. А убивать у меня так руки и чешутся! Давно уже чешутся. Только так я это не могу, когда не в армии. Когда перед тобой нет противника. Не могу я кинуться на мирного человека... А попадетесь вы мне на пути — перережу, как цыплят. Ну, чего испугались, нахмурились? Ведь мы с вами всего лишь сообщники, беглецы, дезертиры. Одно нас с вами объединяет — жажда выбраться как-нибудь живыми из этого ада. Из этой преисподней... Ну а кончится война — и мы с вами снова на каторгу загремим. Отбывать наказание. Родине долг выплачивать. Тут уж, брат ты мой, отлынивать не приходится. Свое отработай. Причитается с нас за наши дела. Да что там говорить? Разве преступник может быть честным человеком!..

— Послушай, перво-наперво заберем у мальчишки козленка,— оборвал его третий.— Нечего волынку тянуть. А счеты сводить будем потом. Когда жаркое съедим. Там, наверху, в роще. Здесь на нас люди смотрят.

— И думают, что мы какая-то армия,— усмехнулся средний.

— Мы своя *собственная армия*,— сурово отрезал первый.— Я тут командир. И приказываю немедленно забрать козленка.

— Люди добрые,— завопил средний,— вы только посмотрите, как тут все выгорело. Все подчистую сгорело... голод будет жестокий, все перемрут без хлеба.

— Не болтай лишнего, каторжник,— сказал первый.

Все трое направились к мальчику.

Не трогайте этого мальчика. Мальчик наш, и мы его любим. Мы его знаем с тех пор, как он появился на свет. Это было пять или шесть лет назад, скорее всего пять с половиной, в ту осень, когда дожди и паводки унесли с земли все, что на ней было.

Тогда нам не на что было смотреть, кроме как на лачужку из прутьев под соломенной крышей. В ней жил маленький человечек с беременной женой, матерью мальчика. Мы ее хорошо знали. У нее были большие черные глаза на чахоточном лице. Мы видели, как она тяжело передвигалась вдоль ограды, с этим своим большим животом, как она стонала и просила есть... Дети разбегались при ее появлении, а потом швыряли в нее яблоками, камнями и землей. Злые дети, жестокие. Мы видели, как прохожие вытащили ее из грязной канавы, обессилевшую и голодную, и дали ей хлеба и соли. Когда она рожала этого мальчика, она так кричала, что, казалось, земля разверзнется и обрушится небо. Может быть, потому он и хромой, рассуждаем мы сверху, это как возмездие за ее крики.

Его кормили грудью соседки, пастушки, уродки и нищенки, их было такое множество в нашем краю, что проезжий человек должен был бы, вероятно, подумать, что край наш вконец выродился, разорился и обнищал.

Только мы-то знаем, что не всегда тут было такое запустение и убожество.

Мы бы даже сказали — напротив, если только такие, как мы, могут о чем-то отсюда судить. В нашем краю жили довольные своей судьбой, мирные и добрые люди, которым для полного счастья недоставало порой страстей и страданий.

Случалось, тут тоже проливали кровь. Но больше от безмерной любви, чем от ненависти, и, жертвуя собой, наши люди испытывали отрадное чувство какой-то странной, теплой и утешительной боли.

А потом томились в заключении, и в этом своем рабстве находя какую-то отраду. Мы добровольно отдавались в это рабство, с неслышной песней на устах, и при этом никогда не роптали, не хулили ни мнимых, ни действительных богов, потому что знали, что ничто не вечно в этом мире, в том числе и наше заточение. Нам смешон панический страх перед всем преходящим. Мы льем слезы отсюда, свысока, но не вынашиваем планов мщения. В долгие и бессонные ночи мы собираем дикие лесные и луговые цветы и, смешивая их с полынью и фиалками, плетем бесплотные венки на могилы падших. И сознаем, что наши страдания — всего лишь капля тех великих страданий и горя, которые видны на каждом шагу этой нашей несчастной, залитой кровью, опустошенной земли.

Мы видим, как враждуют братья, проливая кровь друг друга за те знаки отличия, что носят на шапках. И глубокая печаль омрачает беспредельную ясность наших душ. Мы одновременно и матери героев, и сестры, что не встретят братьев с цветами, и молодые жены, что носят бремя под сердцем, и престарелые отцы, которым никогда не дождаться, чтобы стали их сыновья полководцами, королевскими бригадирами и черногорскими гвардейцами.

Земля наша черногорская — маленькая, каменистая и растрескавшаяся — горит; что нас ждет, если она выгорит дотла. Придется поднимать на пепелище новые дома. Детей своих посылать за подаянием.

Боюсь, однако, мы чрезмерно затянули свой рассказ. А начали мы его с повести о мальчике и его матери.

После ее смерти отец мальчика не прожил и трех лет: его убили у нас на глазах. Подстрелили на лету... Был он ростом мал, нравом смирный, с виду такой неказистый. И пока он бежал, дети с пригорка смеялись над ним, потому что, согнувшийся на бегу, он казался еще меньше и смешнее. Вслед дали залп, шарахнули из винтовки, не целясь, как стреляют вдогонку вспорхнувшей вороне, быть может, и не собираясь убивать.

Несколько дней он лежал, перевесившись через ограду. К счастью, была поздняя осень. Мы кричали сверху, чтоб его унесли, потому что, хоть и стояла осенняя прохладная погода, нас душил смрад. Не хватало нам еще этой напасти. Они унесли его, отбиваясь от собак.

По-видимому, унесли его те же, кто убил. У него нашли красную листовку под рубахой; обвиняли его «в грабеже и разбое», хотя ни в том, ни в другом его совершенно невозможно было заподозрить. Кто-то на него донес, решили мы.

А мальчика, сына его маленького, мы тоже растили. Отсюда, сверху. Он наш, а мы его. Не трогайте нашего мальчика. Оставьте ему козленка, сама судьба подарила его мальчику.

Люди с винтовками окружили мальчика. Средний спросил его:

— Ну как, не холодно тебе, мальчик?

— Как мне может быть холодно, когда кругом такое пекло? Почему ты меня об этом спрашиваешь?

— Да нет, это я просто так.

Мальчик посмотрел на него недоверчиво.

— Чей это козленок, малый? — спросил его первый.

— Мой,— ответил мальчик.

— Ты голодный, мальчик? — спросил средний.

— Голодный,— ответил мальчик, подтягивая к себе веревку.

— Где твои родители, мальчик?

— У меня их нет,— ответил мальчик сухо.— У меня есть брат и сестра.

— А они где? — спросил средний.

— Ушли куда-то за подаянием,— ответил мальчик твердо.

— А почему ты с ними не пошел?

— Я хромой и не могу далеко ходить,— сказал мальчик,— а потом я должен козленка пасти.

— В доме у вас есть еще какая-нибудь живность? — спросил средний.

— Кошка и щенок,— сказал мальчик.— Только щенок сбежал куда-то. Его нечем кормить. Но он вернется. Он всегда возвращается.

Мальчик смотрел на них снизу вверх.

Мужчины переглядывались целую минуту. Как будто бы совещались безмолвно. Лицо среднего выражало крайнее презрение. Первый был бледен. Третий смотрел на мальчика. Все трое были небриты.

Козленок ощипывал ветку. Это был белый, хорошенький козленок.

Первый сказал тихо и сурово:

— Ты должен отдать нам этого козленка, малый.

Мальчик смотрел на них, ничего не понимая. Часто моргал.

— Мы у тебя заберем этого козленка, малый,— сказал первый.— А завтра приведем тебе другого, красивее и больше этого. Не сердись на нас, слышишь, так нужно.

— Мне и этот нравится,— пролепетал мальчик испуганно.— Мне не нужно другого козленка, который больше и красивее этого.

— Давай с тобой договоримся по-хорошему, малыш,— сказал первый.— Не будем ссориться. Сейчас мы забираем этого козленка, а завтра приведем тебе двух. Даже трех, если уж на то пошло. Ты любишь козлят? Скажи мне, малый?

Средний смотрел на него с безучастным состраданием. Лицо его заливал румянец стыда.

Первый взял из рук мальчика веревку и сказал:

— Не сердись на нас, дорогой. Мы вынуждены забрать его у тебя.

Мальчик тянул мужчину за полу. Все это видели люди из окон. Видели и дети, которые бросались яблоками, песком и камешками. Казалось, это видели все, все люди, у которых есть глаза, руки, сердце и совесть.

Но присутствующих было немного. Поэтому и позора было меньше.

Небо еще больше нахмурилось.

Козленок крутился волчком.

Средний нагнулся и погладил мальчика по голове.

— Не плачь, малыш. Будут у тебя козлята. Не смотри на меня так. Это не я у тебя его отнял. Это его отняли *они*. Я не хотел. Видишь, *они* его и уводят.

— Он тоже будет его есть, малый,— сказал первый, криво усмехаясь через плечо.

Средний присел на корточки возле мальчика и прошептал:

— Хочешь денег, малыш? Вот тебе, возьми. Не хочешь? За эти деньги ты мог бы купить другого козленка. Красивей и больше, чем этот...

— Я люблю только моего козленка,— простонал мальчик.

Средний снова погладил его по голове.

Мальчик вывернулся у него из-под руки и смерил его укоризненным взглядом.

Мальчик побежал за козленком.

Человек стал его догонять.

Первый человек закинул козленка за спину и пошел вдоль ограды.

Мальчик захлебывался плачем, растворяясь в буйстве листвы и папоротника.

Средний направился за ним. Мальчик бежал впереди, выбиваясь из сил, прихрамывая и спотыкаясь.

Козленок тупо пялил глаза с плеча человека. Потом наставил уши торчком и задергался. Человек держал его за ноги и быстро шел по тропинке, уводившей в рощу.

Средний догнал мальчика.

Проговорил вкрадчивым, прерывистым голосом:

— Послушай, малыш, возьми деньги. Возьми. Не плачь. Вот я сунул их тебе в карман. На них можно купить целых двух козлят. Даже трех!

— Скажи мальчишке, что эти деньги ты нашел у убитого,— крикнул ему первый.— У того, который вышел к нам, а мы его прихлопнули,— добавил он тихо.— Это деньги, добытые мародерством, малый!

Средний пропустил замечание первого мимо ушей. Он шептал:

— Эй ты, вставай! Земля холодная, простудишься. А ну, вставай!

Земля была и в самом деле сырая. Это чувствовал мальчик, скребясь по ней худыми скрюченными пальцами. Он хотел обезобразить себя и царапал ногтями лицо. Он ничего не видел вокруг, кроме веревки, что вилась следом за тем человеком, уносившим козленка. Веревка все вытягивалась, и он не мог целиком охватить ее взглядом, поймать ее конец, задержать.

До него дошло, что у него забрали козленка, но он надеялся, что вернут. Ибо, надо сказать, он любил и почитал людей с оружием. Он и сам мастерил себе ружья из разных палок, гордо выпячивал грудь и представлял себя воином-героем, который защищает стариков и детей и поражает черное скопище подлых захватчиков, нападающих из-за ограды на его владения.

Он был уверен, что вооруженные люди через час-другой вернутся с козленком. Денег он от них не возьмет. Скажет, чтоб отдали тем детям, которые кидаются яблоками в прохожих,— пусть они тоже купят себе козленка на эти деньги.

Он посмотрел на детей, топтавшихся на пригорке. Но им был совершенно безразличен змеившийся конец растянутой веревки, которая связывала его неразрывными узами с вооруженной тройкой, удалявшейся с козленком по тропе.

Мальчик не знал, что незримая связь, объединявшая его с теми тремя, что уносили козленка, остается невидимой тем детям, точно так же, как и многие другие связующие нити, объединяющие мир.

Да и сам этот мальчик был непонятен тем детям. Они не видели ничего особенного в том, что вооруженные люди забрали у мальчика самого что ни на есть обыкновенного, с их точки зрения, козленка и уносили его прочь. В особенности тем двоим, которые смотрели, оборачиваясь по временам, как их спутник уговаривает мальчика, склоняясь к нему, точно родной отец, а не грабитель. Ясное дело: мальчишка не встанет с земли, а будет нарочно колотить по ней руками и ногами, потому что ему жаль отдать козленка.

Средний поплелся за ними, ворча, что их обязательно кто-нибудь настигнет.

Они принялись издеваться над ним, донимать его насмешками и бранью.

Знайте же, что в этих окнах торчим мы годами. И заживо гнием тут в заточении, как рабы на галерах. А как бы нам хотелось очутиться сейчас там, внизу, и запретить тем троим забирать у мальчика козленка. Мы бы только сказали им об этом и снова вернулись наверх, в свои темницы. Чтобы отбыть свое, как подобает честным людям.

Мы только и видим отсюда что этого мальчика да соломенную крышу его лачуги. У нас тут вечный мрак, так как наша берлога повернута к солнцу спиной, глухой стеной. Существует одна только камера, в которую солнце заглядывает два раза в день. Говорят, там живут два студента, ученики дьявола.

Это говорят уже не те, которые рассказывали вам о мальчике вначале. Нас тут очень много. Но мы больше всех любим этого мальчика с козленком. Мы досконально знаем всю его историю. И наш рассказ о нем самый правдивый.

Что делает наш мальчик?
Лежит на сырой земле и плачет.
А что сделали люди с винтовками?
Они увели козленка.
Зачем им козленок?
Надо думать, они его зарежут и съедят.
Давайте купим мальчику нового козленка.
Как бы мальчик не простудился, ведь земля, наверное, сырая.
Что делает тот средний, который долго не отходил от мальчика?
Они заставили его взвалить козленка на плечи.
А двое других?
Идут следом за ним и паясничают.

Люди из окон смотрели, как мальчик лежит на земле и рыдает.

Ребятишки кидались в него яблоками: вставай и беги отнимать у них своего козленка.

Мальчик бился на траве и в отчаянии раздирал себе ногтями лицо.

Вдали серела полоса дождя.

Земля пропиталась влагой.

Земля была податлива, как тесто под босыми ногами мальчика, когда он бежал. А бежал он, стиснув кулаки, по тропе, уводившей троих мужчин в лес. Бежал по следу нерасторжимой связи, недоступной его сознанию.

Вокруг было небо и августовский камень.

Мальчик перескочил через поток, пенистым лбом погружавшийся в реку, и оказался у плетня. Он старался отыскать глазами эту связь, эту веревку.

Пастухи видели, как он озирался вокруг, высматривая, куда скрылись вооруженные люди с козленком.

Он пошел вдоль плетня, придерживаясь за него.

Присел под кустом. Дождь капнул ему на макушку. И мальчик остыл.

Никакой связи не было.

Козленок лежал навзничь на поляне, в бурьяне. Человек уже занес над ним свою руку. Это был тот, первый, он сидел на нем и напевал.

Остальные двое держались поодаль. Третий смотрел на среднего. Средний смотрел перед собой и молчал.

Белая шея была вытянута, бородка клинышком дрожала, трепетали нежные козлиные бока. Короткие рожки — два тупых клинка на траве.

Первый крикнул тем двоим, чтоб они набрали хвороста и развели костер, пока он зарежет козленка.

Третий сказал среднему, что он наестся до отвала, только боится расстройства желудка. Потом он захихикал и, захлебываясь хохотом, проговорил, что такое с ними и на самом деле может приключиться и что это будет для них хуже всякого преследования. И, продолжая хихикать, углубился в папоротники.

Средний забарабанил пальцами по вещмешку, на котором лежал, и загляделся вдаль, где над кровлями плыла песня муэдзина и колокольный звон, а по другую сторону вздымался лес и простирались поля. Но перед взором его все было мертво. Мир вещественный сливался с миром призрачным, а голос того, что сидел на козленке, и хихиканье третьего в зарослях папоротника — с небом. Средний думал о мальчике. *Я люблю только моего козленка;* мальчик раздирал

себе лицо ногтями и бил себя в грудь. Жалкий комочек, бившийся на мокрой земле, он казался еще меньше.

Человека терзала жалость.

И так хотелось плакать, жалея мальчика. Но это у него быстро прошло. Он понял, что им надо как можно скорее убираться с этой поляны. Развалины лачуги у ограды снова укололи его напоминанием о мальчике, и у него защипало в горле.

Над крышами вдали вился огонь. Средний лежал, подложив руки под голову, и видел, как его товарищ возвращается из леса с охапкой хвороста. И он оставил мысли о покосившихся, осевших бедняцких лачугах, о пепелищах и скитающихся возле них беспризорных детях и трупах, которые реки несли подобно пенной накипи.

Движения его товарища, который, весело напевая, разводил костер, действовали на него успокоительно, обещая сон в утомленных папоротниках.

Те двое о чем-то оживленно совещались у костра. Переговаривались, чиркали спичками. Его как бы не принимали в расчет. Это его вполне устраивало.

Сквозь плетень блеснуло острие ножа.

Мир рухнул и померк в глазах мальчика, белела лишь шея козленка и по локоть обнаженная рука с рукояткой ножа. Кровь хлынула струей и окрасила руку мужчины.

Мальчик закрыл лицо ладонями. И долго не открывал.

Потом проковырял пальцем щель в плетне, раздвинул прутья. Поеживаясь, он ощущал, как срастается с кротовой кочкой, на которой сидел.

Алая лужица крови растекалась на земле под козленком.

Сквозь пальцы и прутья плетня мальчик видел, как козленок беспомощно дергал ногами и напрягался в надежде сделать последний спасительный рывок, пока из его перерезанной глотки не хлынула кровь.

Первый смотрел на выпученные глаза и вывалившийся в траву язык и что-то кричал своим товарищам.

Мальчик не мог на них сердиться, не мог их ненавидеть. Это были вооруженные люди, это были воины. А он и себя нередко представлял воином с оружием в руках и со звездочкой на шапке, шагающим с отрядом.

Воинской части все прощается.

Ничего, что она вытаптывает всходы,— поднимутся новые.

Или устраивает привал посреди некошеного луга — успеем еще накосить до зимы.

Армейский обоз разворотил поля— вырастет новый урожай.

Но теперь мальчик уже не верил в то, что все это шутка и что ему вернут козленка. Он видел все своими глазами. И хорошо, что видел,— а то бы так и мучился вечно надеждой.

Человек с винтовкой уселся на тушу. Мальчик ненавидел тех, которые шатались по селам, не будучи вооруженными воинами, и грабили дома, оставляя бедноту без соли и хлеба. Но к воину, державшему в руке своей нож, не было у него ненависти, хотя он и содрогался при мысли о том, что он никогда больше не увидит своего козленка.

А вот и средний. К нему он испытывал почтительный восторг. Да и о тех двоих, если закрыть глаза, он ничего худого не мог подумать.

— Костер готов,— сказал третий весело.

— Не полил бы дождь! — заметил первый, отдуваясь. — А то помешает мне содрать с него шкуру.

— А на кой черт ее обдирать? — сказал третий.

— Если хорошо ободрать, можно будет продать шкуру кому-нибудь из местных,— сказал первый.

Средний смотрел на темные кроны дубов, черневшие вдали. Он едва слышно насвистывал, удивляясь, что не забыл еще мотивчик, который он выучил в лагере. На восьмом году отбывания срока. Мотивчик занес к ним один озорной паренек с широко расставленными глазами — говорили, он поистине дьявол в человеческом облике.

От костра шел ароматный дымок, вместе с ним из памяти среднего выветривался тот весенний день накануне войны, когда с помощью этого самого озорного парня он бежал из заключения.

Дымок благоухал, опьянял своим запахом, как земля. И средний удовлетворенно подумал о том, что никогда больше не пришлось ему встретиться с тем парнем, чье настоящее имя, происхождение и род занятий он так и не выяснил.

— Эх, будь тут где-нибудь поблизости тот парнишка, я бы ему отдал козлиные яички и задок. Пусть утешится.

— Ну, нет, мы эти яйца подарим нашему дружку, чтоб отогнать от него мрачные мысли,— не согласился третий.

— А что, если от этого пиршества у него расстроится желудок?— забеспокоился первый.

— Оставим его у какой-нибудь вдовушки,— отозвался третий.— Пусть его лечит. Пусть врачуют друг дружку.

Средний, не меняя позы, лежал, заложив руки под голову, и смотрел на стаю ворон, круживших на фоне полыхающего неба. Ему казалось, что облака обрушатся в костер, не удержатся в небе, как и стая отчаянно каркавших ворон.

Небо было объято огнем со всех сторон. Средний не слышал, что говорили те двое. Он был голоден и предвкушал сытную еду. Ноздри его щекотал теплый запах парного мяса. Ему не хотелось говорить, не хотелось двигаться, а только есть и спать.

Мальчик наблюдал за тем, как первый, ловко, играючи, сдирает шкуру с козленка. По временам на траву капала кровь, очерчивая круг на земле, горящую звезду.

Первый крикнул тому, у костра:

— Один жир. Прямо-таки удивительно.

— Мне тоже он казался тощим.

— Налитой, как спелая слива,— проговорил первый.

— Видать, недаром мальчишка его так жалел. Он его баловал, холил!

— Нам столько мяса не съесть,— заметил первый.— Куда остатки денем?

— Навьючим на нашего спутника,— сказал третий.— Пусть тащит, если собирается есть вместе с нами.

— Давненько я козлятины не ел,— воскликнул первый.— Ей-богу, забыл уж, какой у нее вкус.

— Куда ты соль девал? — забеспокоился третий и добавил, что он и в самом деле опасается расстройства желудка.

Шкура лежала в кровавом кругу, в центре сияющей звезды.

Человек выпотрошил козленка.

Мальчик неотрывно смотрел сквозь щель в плетне на освежеванного козленка и костер, который ел ему дымом глаза. Плакать он не мог, как не мог о чем-нибудь думать. Едва ли он доверял своим глазам.

Он только то и понимал, что все это гораздо хуже ужасных снов, являвшихся ему порой. Он был испуган и боялся шкуры.

А костер между тем разгорался. Красные языки пламени мерцали, они стлались по траве, по земле, по плетню подобно расползающимся пятнам ржавчины. Временами они вспыхивали ослепительным золотисто-розовым сиянием, придавая всему фантастический вид.

И тогда даже висящая шкура выглядела точно живая и, казалось, готова была двинуться куда-то.

Мальчик дрожал, ухватившись за прутья плетня. Папоротники закрывали от него среднего, который предлагал ему деньги.

Средний тоже не знал, что мальчик тут, поблизости от него, и что он собственными глазами видит, как они его козленка полосуют ножом и раздирают, как волки, на куски.

А теперь слово детям:

Вы видите его?

Ага.

Он так и сидит на корточках?

Нет.

А что же он в таком случае делает?

Держится за плетень и не плачет.

А я бы заплакал, если бы у меня кто-нибудь козленка отобрал.

Так у тебя же нет козленка, у тебя самая обыкновенная кошка, она котится чаще, чем зайчиха.

А где те люди?

Да вон они, эти люди, потащили шкуру к шалашу.

Я бы отнял ее у них, будь я на его месте.

Ого, гляньте-ка, а козленок уже на вертеле. Ага, поплатился мальчишка за то, что не хотел с нами играть.

Дети натягивали рогатки. Камешки, яблоки и комья земли летели в разные стороны, а иной раз пролетали и над крышей темницы. Низкие облака были, казалось, в испарине.

Дети видели, как мальчик поднялся с земли и неловко перелез через плетень. Отсветы костра ложились на траву и на листья.

Мальчик не упускал из виду вытянутые тени тех троих. Они переговаривались, и тени их шевелились.

«Хорошо бы,— подумал мальчик,— если бы я сумел это сделать». И он очутился возле шкуры.

Дрожа, точно в ознобе, он присел и затаился. И тотчас же заметил, что руки у него окровавлены, как и трава, темневшая под отсветами пламени.

Он трясся всем телом. Озирался, думая о том, что все же, будь они ближе, ему не было бы так страшно.

Эта влажная шкура пугала его: мальчик боялся вида крови.

Он чуть было не пустился наутек.

Люди у огня смеялись. Потрескивали сырые ветки. Люди говорили так громко, что он вполне мог разобрать отдельные слова, но ему было не до того.

В руках у него был маленький ножик. Точнее сказать, не ножик, а искривленное лезвие, обломок ножа без рукоятки с зазубренным концом.

Небо было с козлиную влажную шкурку.

На макушку ему упали первые капли дождя.

Тот самый мальчишка, что спрашивал недавно, дадут ли ему хоть кусок, и больше всех кидался яблоками, опять стал говорить, что он бы съел козлятины — он уловил раздражающий запах жареного мяса.

Люди у костра смеялись.

Мальчик отыскивал взглядом среднего. Вместо него появился первый — бросил в костер охапку хвороста и зевнул.

Тут мальчик заметил собаку. Она подбиралась к шкуре. Увидев мальчика, отскочила и опрометью бросилась в заросли папоротника.

Мальчик присел на корточки и острием ножа отрезал от шкуры хвост.

Люди из-за костра были едва видны. Они не могли заметить мальчика.

Мальчик перелез через плетень и заковылял через луг. Надо было поскорее скрыться с глаз долой: ведь если бы его накрыли люди с винтовками, он бы провалился сквозь землю от стыда.

У себя за спиной он слышал насмешливые возгласы детей.

Это они передразнивали тех троих, пока они ели, смеясь и шумно разговаривая. Все трое.

— Что будем делать со шкурой? —спрашивал первый.

— Давайте оставим ее собаке,— предложил третий.

Средний закинул за спину вещмешок. Он сказал:

— Посмотрите, какое скопление войск у мечети. И у церкви тоже.

— Ну и что они нам могут сделать? — спросил первый.

— Я бы предпочел смотреть на них из леса,— ответил средний.

— С таким храбрецом, как ты, мы не пропадем,— заметил третий.

— Тоже мне герой! — осадил его средний.— Знаю я, какие вы храбрые. Помолчал бы лучше.

Они поправили винтовки. И еще с минуту стояли нагруженные и готовые двинуться в путь. Словно бы хотели передать кому-то последний наказ.

Они внимательно осматривались вокруг себя, хотя и были уверены, что ничего не забыли. Вещмешок болтается за горбом, винтовка на месте — она же посох и орудие защиты, которое не выпускают из рук и во сне.

— Мяса еще до черта осталось,— проговорил первый.

Огонь подкрадывался к шалашу. Какая-то собачонка пыталась утащить шкуру. Шкура была больше собаки.

Средний с беспокойством следил за солдатами, сновавшими перед мечетью и церковью.

Поблескивало оружие, темнели каски. Зеленая масса какого-то войска. Огромное скопище застряло на мосту, заклинилось в узком проходе, не в состоянии двинуться ни назад, ни вперед.

Судя по всему, это были отступающие части. Потрепанное воинство, разбитые остатки, бегущие от подступавших со всех сторон пожарищ.

Средний был молчалив и пропускал мимо ушей ядовитые колкости на свой счет.

— Ну, как, наелся козлятины?

— Наелся,— наконец ответил средний и прибавил: — Переел, живот начинает болеть.

— А вначале отказывался.

— Ну и что же.

— Интересно, как бы ты удирал от этих частей на голодный желудок? — допытывался первый.

— Сытое брюхо — для драпанья первое дело,— вставил третий.— То-то, брат. Говорил я тебе...

— Только этого войска бояться, по-моему, нечего,— проговорил первый и прищурился, заглядевшись в небо и словно бы прикидывая, пойдет ли дождь или нет.— Плетутся, как побитые.

— Ты чего загрустил? — спросил третий среднего.— Опять стал козленка жалеть?

— Поспать бы сейчас,— сказал средний.— А мясо надо было бы все взять с собой. Сгодилось бы нам.

Они зашли в рощицу, заслонившую их.

— А знаете, что я вам скажу,— начал первый, поеживаясь,— мне и самому тошно стало, что я зарезал этого козленка. Не надо было этого делать. Можно было и без козленка обойтись. Не померли бы с голоду. Сейчас мы сыты, а скоро опять проголодаемся. Бог ты мой, как страдал этот мальчик... Меня совесть прямо-таки замучила... Нет, ты только представь себе, был бы ты таким же бес-

помощным и слабым малышом, а я бы у тебя стал отнимать что-нибудь... Эх, я сам себе противен, братец мой.

Глаза его при этом ничего не выражали. Ни один мускул не дрогнул в лице. Только голос слегка потеплел.

— Хватит болтать,— сказал третий.— Не прикидывайся.

— Смотри не потеряй свою поклажу,— сказал средний первому.— Чтобы завтра другого козленка резать не пришлось!

— Ну и подлый же ты! — ответил на это первый.

— Эй, вы, что это там такое виднеется в этих окнах? — воскликнул третий.— Что-то странное.

— Руки, продетые сквозь прутья решетки,— ответил средний.

— Какие странные головы у них,— проговорил третий тихо,— не головы, а черепные коробки.

— И что это за дом чудной какой-то? — заметил первый.

— Тюрьма или сумасшедший дом,— проговорил средний.

— Мрачная очень. Наша была меньше, насколько я помню. Не такая страшная. Нет, ты только посмотри. Многоэтажная тюрьма. Какая мерзость.

Они рассматривали из-за деревьев тюрьму и войска, растекающиеся по огородам и домам. Они не спешили покинуть тенистую рощу и выйти из ее укрытия.

У шалаша горел огонь, точно звезда. Но ровный его свет не ослеплял, как те пожарища, что надвигались, клубясь, отовсюду.

Мальчик бежал через луг. Плетень вился за ним, точно след. Он проковылял мимо мрачного здания. Обогнул лестницу, прислоненную к стене. И очутился на том самом месте, где его с козленком застали вооруженные люди. Он хотел восстановить ту связь. Озирался вокруг. Но ничего такого не увидел.

Мальчику чудилось, будто с гор спускаются сумерки, а может быть, это была завеса пепла. Перед ним стояли вооруженные люди, у него в руках была веревка. Другой ее конец держали те трое, с винтовками. Только это он и запомнил. Они были связаны ею воедино — на одном ее конце те трое людей с винтовками, на другом он с хорошеньким маленьким козленком.

Он смотрел на солдат с восхищением, едва ли не с любовью, хотя и понимал, что им нужен козленок.

В ту минуту он еще не сердился на них. У них оружие, они стреляют, они очень сильные.

Возможно, кто-то из них похож на моего папу, думал мальчик. И продолжал свою мысль: может быть, мой папа не умер, может быть, он жив и просто скрывается где-то.

Люди с винтовками могут решительно все. Они стреляют, они воюют и гибнут. Они должны есть.

Мальчика немного сердит только то, что они считают его слишком маленьким и слабым для того, чтобы тоже стрелять и ходить по лесам. Он бы доказал им, на что способен, если бы не боялся, что в его отсутствие кто-нибудь разграбит его дом и потом у него не будет крыши над головой.

Потом он ни о чем не думал и ни о чем не вспоминал, а без всяких мыслей в голове вглядывался в очертания мрачной темницы. В окнах торчали обритые головы. Он никогда не размышлял о том, кто такие эти люди, которые разглядывали его из окон, когда он проходит мимо них. Вначале он их боялся. Иногда они его смешили. Особенно когда они его звали, беззвучно шелестели губами, желая, видимо, что-то сказать ему, а может быть, тем другим детям или просто так махали прохожим тонкими белыми руками. Вот и сейчас они что-то шептали в окне.

Мальчик прижимал к себе хвостик. Его бил озноб. Страшно было и трогать этот хвостик, и невозможно не трогать. Ах, был бы это

крошечный козленок, которого можно было бы вскормить. Руки мальчика стали влажными.

Он увидел на своей ладони красную запекшуюся звездочку крови, такую же, что алела в траве у костра, где валялась шкура. Хвостик — он совсем отдельный от шкуры. Шкура — это падаль и ее скоро источат черви. А хвостик от ящерицы вот, например, может жить сам по себе. Он долго извивается и дергается на ладони. Некоторые дети утверждают, что из этого огрызка может вырасти новая ящерка, настоящая зеленая ящерка. Он вспомнил, как держал однажды у себя ящерку, но хвост оторвать не решился. И змеиный хвост извивается, когда его отсекают.

А что ему делать с этим козлиным, с этим белым, похожим на заячий, с этим драгоценным хвостиком? Он его ни за что не бросит. И собаке не даст. Козленок такой же хорошенький, непоседливый и непослушный, как ящерка.

Чем занят наш мальчик?
Сидит на корточках, наклонился над чем-то.
А что он зажал в кулачке?
Что-то белое и маленькое, словно чей-то хвостик.
А какие глаза у нашего мальчика?
Похоже, темные и круглые.
До каких пор он будет плакать, наш мальчик?
Дождь начинается, а он все не идет в дом.
Хоть бы догадался всю шкуру забрать.

Так говорили люди в окнах, говорили вслух, не таясь. Один сказал, это был местный цирюльник, что настоящего имени мальчика он не знает, но что ему подходит прозвище, которое он ему дал. Пекарь возразил на это, что придуманное цирюльником прозвище — самая настоящая нелепица, лишенная какого бы то ни было смысла.

Цирюльник был поражен: может ли такое быть, чтобы кличка, которую он дал мальчику с неразлучным козленком и которую постоянно твердил про себя, ничего не значила! Ему доказывали, что прозвище, придуманное им для мальчика, слишком длинное, смутное и бессмысленное.

Но доказать что-нибудь было ему невозможно, потому что кличка, изобретенная им, значила для цирюльника гораздо больше любых привычных слов и понятий.

Долго еще узники препирались по этому поводу, а потом пришли к соглашению называть этого мальчика: *наш хромой мальчик.* И договорились оставить за ним это имя, когда он вырастет и возмужает.

Кто-то прошептал, что никогда им не дожить до того времени, когда мальчик вырастет и возмужает: разные болезни и хворобы так и косят людей у оград.

Но его перебили:

— Мы будем жить вечно, будем жить в других, как сейчас другие живут в нас, мы будем жить всегда, пока вдоль оград бродят голодные беременные женщины, подставляя солнцу свою иззябшую плоть, и пока возле покосившихся жалких лачуг крутятся хромые детишки с пушистыми козлятами.

На этом они помирились, сказав друг другу, что именно так оно и будет.

Ох уж эти сорванцы, что всех и каждого обстреливают яблоками. Забрались на пригорок и пуляют оттуда.

Они мочились на ограду, как козлята или щенки.

Девочки тоже грызли яблоки, но держались от мальчишек в стороне.

Козы по исконному своему козьему обыкновению поднимались на задние ноги, передними опираясь на ограду или ствол, и ощипы-

вали свежие листья. Когда же им попадался случайно молодой обжигающий побег боярышника, они фыркали и отскакивали от него, содрогаясь всем телом и тряся бородой.

Издалека косыми столбами, нисходившими с неба, приближался дождь.

А потом козы снова накидывались на молодые зеленые стебли и принимались обгладывать их, как настоящие грызуны, с жадностью вонзая зубы в сочную кору, чтобы остудить боль ожога.

Козы разбрелись по всей длине ограды до самого ее начала, где занималось пламя ближайших пожарищ.

Низко стлались облака, и кровли домов казались податливыми под ними, как мякоть яблока.

Дети переглядывались беспокойно: скоро час акшама, вечер подходит, скоро ходжа появится на минарете... колокола звонят, как будто по покойнику,— пора гнать коз с приплодом домой...

Мы погоним коз домой.

А что он сделал со шкурой?

Мы видели только ножик и хвостик.

Жаль ему, наверное, своего козленка?

Не плачет, должно быть, все слезы уже выплакал!

Зачем мы позволили тем троим, чтобы они забрали у него козленка?

Давайте отдадим ему одного из своих.

Не будет он любить другого козленка, как любил своего, так что и давать бесполезно.

Трое с винтовками шли тропой через рощу. Средний предводительствовал, он считал, что знает эту местность. Они были уже у реки.

Сквозь ветви деревьев все еще светилась рдеющая у шалаша красная звездочка, подернутая пеплом. Они говорили о частях, которые рассыпались возле моста, отыскивая брод: солдат было очень много, поэтому им приходилось переходить реку вброд.

Офицеры изучали окрестности через бинокль, направляя свои окуляры главным образом выше, к рощице и шалашу, к которым вела от берега тропа.

В толстом испещренном цифрами стекле с крестообразным пересечением линий горел небольшой костерок. Собачонка у костра лизала траву. А потом испуганно потащила к краю стекла козлиную шкуру. Потащила с таким проворством, что офицер едва успевал переводить за ней свои окуляры, не давая собачонке вырваться из колдовского глаза бинокля.

Собачонка, шкура и костерок о многом говорили офицеру: кто-то здесь побывал. Это было всем понятно, а тем более после того, как один какой-то парнишка лет десяти или двенадцати рассказал о том, какая тут произошла история.

Кто-то предположил, что это были те самые дезертиры, которые сбежали от них, если и не все двенадцать человек, так не иначе как первая или последняя тройка. Попадись они нам в руки, и они будут неминуемо расстреляны, как и все прочие, таково было всеобщее мнение.

Парнишка повторил свой рассказ и офицеру с биноклем. Он сказал, что трое вооруженных людей отняли у хромого мальчика козленка, зарезали его, зажарили у шалаша и поспешно ушли в горы всего несколько минут назад.

Офицер прощупывал тропу. Толстые стекла бинокля погружались в чащу папоротника, преградившую дорогу огню. Полынь и молочай, репейник и тысячелистник подпирают здесь друг друга. Кусты теснятся и у источника по ту сторону реки — к чистой его струе приникли три лоснящиеся жиром рожи, поросшие бородой. Однако с по-

мощью одного только бинокля не выловишь дезертиров, скрывающихся в густом лесу. Офицеру это хорошо известно.

Вояки дали парнишке винтовку в руки, самую настоящую винтовку, и шапку дали ему с большой кокардой и велели идти впереди.

И парнишка зашагал к алой звездочке в горах, уже подернутой пеплом. По пути он объяснил воякам, что у хромого мальчика никого на свете нет и что это самый страшный грех — зарезать его козленка.

Вояки велели парнишке внимательно следить за дорогой, чтоб не сбиться со следа. А что это за армия, его, мол не касается. Он должен знать свое дело — не упустить след да запомнить, что, если он их куда-нибудь не туда заведет, они оторвут ему уши и переломают ребра.

Парнишка сказал, что ему очень хочется получить орден.

— Может быть, и получишь,— ответили ему.— Если будешь держать язык за зубами, а когда вырастешь, отпустишь себе усы и бороду[1] и пойдешь воевать на нашей стороне.

Второй офицер, оставшийся внизу в качестве наблюдателя, видел, как поперек толстой линзы промчалась собачонка со шкурой; куда это ты несешься, чертовка, подумал про себя офицер, не нужна нам твоя шкура, нам нужны беглецы, которые выкрали деньги, планы, забрали оружие и шмыгнули в папоротники.

В окулярах его чернели решетки, ее прутья напоминали заржавевшие допотопные клинки.

Мелкий дождик начал сеять за округлостью линзы.

Вояки долго с удивлением разглядывали мрачный дом и человеческие черепа, торчавшие в окнах. Они двигали губами. Один вояка уже готов был отдать приказ шарахнуть очередью по этим решеткам. До того отвратительными показались ему паукообразные существа в окнах.

Вояки галдели, укрывая трофейное оружие палаткой, так что стоявший без всякого дела офицер не мог расслышать, о чем говорили люди за решетками.

Что делает наш хромой мальчик?
Поливает хвост.
А из чего он его поливает?
Из ладоней.
Зачем он это делает?
Он надеется.
На что он надеется?
Потом узнаете.
Сколько ему лет, вы сказали?
Пять или шесть.
Ну, пусть надеется, раз пять или шесть.

Мальчик сидит на корточках у ограды. Две маленькие руки сложены, углубления ладоней — две розовые раковины, в них вода.

Мальчик плачет и думает, что не нужно никакого гроба. Потому что хвостик совсем не то, что человек. Не будет поцелуев в лоб, на который налеплена листовка, найденная за пазухой, у сердца.

Говорят, так выглядел его отец, когда лежал, перевесившись через ограду.

А дальше все как обычно. Ямка получилась достаточно вместительной, глубиной в пядь и еще одну пядь, длиной в три детских ладони. Две перекрещенные дощечки — крест над похороненным тут хвостиком: почему на могиле моего папы нет никакого надгробного знака, ведь он погиб, как и остальные соседи, вспоминает мальчик, и сердце его леденеет.

Пригоршня земли не барабанит по крышке гроба, которого нет.

[1] Борода и усы считались непременной принадлежностью четников.

Вырастает земляной холмик без травы и без листьев. Все в мире пропитано сыростью — и дерево, и камень, и утро с туманом или просто с обычными облаками.

Проходят дни. Дожди идут. Стекают капли с крыши, опаленной пожаром, и падают в раковину детской ладони: я еще подожду.

Весь мир стал могилой и клочком неба над ней.

Сквозь сумрак струится вода. Растекается, проникает в ямку, где похоронен хвостик.

Утро зябкое, и мальчик дрожит и наклоняется проверить, не вспучивается ли земля над белым хвостиком.

Ночи длинные: не покормить ли тебя травой, маленький хорошенький козленок, вот как ты поднимаешься из земли, растешь.

Мальчик прикорнул у ограды. Весь прочий мир заслоняет хребет, поросший белой шерстью, он, выгибаясь, распирает доски в швах. За хребтом появляется хвост, короткий белый хвостик, отряхиваясь от земли. За хвостиком появляются белые уши: между ними чуть пониже открывается белый лоб со звездочкой посредине, он не шире человеческой ладони. Целую минуту выглядывает из-под земли маленькая испуганная голова, отыскивая руку мальчика, и, в ожидании его ласки, жалобно блеет. Сквозь белую шерстку пробились рожки: это будет настоящий крупный козел!

Швы лопнули, и доски совсем разошлись. Все четыре ноги выпростались на свободу, какую из них первой сунуть за пазуху, согреть своим теплом? И вот уже козлик выпрямляется. На шее у него болтается какая-то веревка, с кем-то она его связывает. Да это же его козлик, которого у него отняли: он вырос из хвостика. Что там светится в круглом козлином глазу? Мальчик замирает от страха и протягивает руку: козлик лижет ее и пощипывает. Он придвигается ближе и долго гладит бородку, а она трясется от благодарного блеяния.

Сон увлекает мальчика следом за вьющейся по земле веревкой. Но это уже не та связь, которая некогда соединяла его с теми тремя беглецами, это уже что-то другое, что может привидеться лишь в сновидениях о добрых людях. Мечта прикорнула с ним рядом у ограды и тоже зябко трясется от холода. Перед рассветом по этой связующей нити начинают сновать муравьи, заползая в могилу. Сон дрожит в темноте на подушке: подрос ли ты, мой белый козленок?

Занимаются теплые дни. Он выбирается из лохмотьев, которыми его каждую ночь укрывает старуха,— он пасет ее козу. И сновидения исчезают.

Прячась от старухи и прочих непрошеных глаз, мальчик крадется к могилке, прислушивается, дрожа всем телом, и, вздрогнув, убегает. Иногда со страху он забирается в заросли крапивы, как молодой петушок, и долго там трясется или плачет.

А после пугливо озирается вокруг — как бы его кто-нибудь не заметил заплаканным. Ведь мальчик знает, что слезы — это постыдное, плохое дело и что плакать нельзя ни из-за отца, ни из-за матери, ни из-за братьев и сестер и даже из-за козленка.

Спускаются длинные и душные ночи. И пока он дрожит, свернувшись калачиком рядом со старухой, и она рассказывает ему о своих детях, которых больше нет, и постепенно погружается в сон, еще более мучительный и беспокойный, чем предыдущий, его не оставляет тревожное чувство, что кто-то проникнет в его заветную тайну, разграбит могилу и унесет хвостик, лишив его последней надежды.

Он просыпается среди ночи потный, измученный, усталый и убеждается в том, что вокруг нет никаких насильников, которые бы снова ограбили его. Сухая старухина рука успокаивает мальчика и кладет его голову на подушку, с которой он съехал. Он с трудом засыпает под бабкины уговоры и причитания. Но все же засыпает. И

снова в его сон вплывают распираемые доски гроба, которые скрывают самую большую тайну на свете.

Едва рассветет — и бабка выходит побираться на дорогу. Старуха слоняется с бесконечными толпами нищих, что разбрелись по всем дорогам, тропам и стежкам, какие только можно отыскать, и, застыв на каком-то углу, в отличие от других внятно и часто твердит:

— Подайте, подайте...

Мальчик остается один и страдает от одиночества. Он мечтает о том, как он вылечит больную ногу и станет взрослым. Потом он двинется в путь — разыскивать братца и сестрицу. Он не разрешит им побираться, потому что будет таким богатым и могущественным, что сможет кормить их хлебом и молоком, пока они не вырастут такими же большими, как он сам.

Когда он не думает о козленке, которого больше нет, и о хвостике, все больше подрастающем в его воображении, он начинает вспоминать то, что ему было известно из рассказов соседей о его отце и матери.

Отца ему особенно жалко.

Тоскуя о родителях, он решает сделать себе тряпичного отца. Он стаскивает с чердака отцовскую одежду, изрешеченную пулями. Приносит его башмаки и шапку к большому пугалу, чернеющему среди огорода. Срывает старые тряпки с выцветших кольев и надевает на них отцовскую одежду.

Вот и вышел у него отец: два пустых, раскинутых в стороны рукава, две короткие штанины с подобием какой-то обувки, сверху нахлобучена шапка, как раз на том месте, где должны были бы быть шея и голова.

Закончив работу, мальчик отходит немного в сторону и, развернувшись на своем костыле, говорит черному пугалу, блестя глазами, тихим-тихим голосом:

— У меня козленка забрали...

Черный отец молчит. Раскинул руки в стороны, будто собираясь взлететь, оторваться от земли, к которой его пришили пулями, вытянулся, расставив ноги. А лицо скрыл под шапкой.

Похоже, он погрузился в глубокое раздумье: ступай себе, сынок, и не печалься. Что ж из того, что вооруженные люди забрали и зарезали твоего козленка! У тебя вырастет такой же точно из хвостика, если ты его будешь поливать. Ступай, сынок, и не тревожь своего отца, изрешеченного пулями...

И он, такой тщедушный, возвращается в дом и пугливо жмется к старухе, которая к вечеру обычно является из своих скитаний,— она просит милостыню. Мальчик погружается в сон, и ему является отец: он сходит с кольев на огороде, со своего креста, и спрашивает у мальчика, что стало с захороненным хвостиком. Избавляет его от этих расспросов старуха, она встает с первым светом, доит козу и кипятит для мальчика молоко.

Отец всегда является ему на заре, когда сон становится хрупким; вот он неотступно стоит перед ним — черный и окоченевший, раскинул руки в стороны и не отпускает от себя.

И снова, как только старуха уходит, мальчик бредет к пугалу и, опираясь на свой костыль и засунув палец в рот, глазами, полными слез, смотрит на своего черного отца, которого днем нещадно печет солнце, хлещут дожди и иссушают ветры, и говорит с ним о чем-то.

Но отец его, видимо, только и думает о том, чтобы слететь с этого своего креста, возможно даже и без башмаков, и упорно молчит, и мальчик растерян и смущен.

Он боится довериться старухе и от этого еще больше страдает.

Нищие проходят по дороге. Останавливаются ненадолго, созерцают пугало. Переглядываются с удивленным видом и крестятся. И бредут дальше дорогой, ни о чем не говоря, даже о хлебе. А уж тем более о хромом мальчике, застывшем на костыле у пугала.

И мальчик не смотрит на нищих. Он дожидается старуху с милостыней, а тем временем пытается рассказать отцу вчерашний свой сон: ему снилось, будто нога его окрепла в колене, подросла и укрепилась в бедре. И сам он словно бы вырос и стал таким сильным, что мог донести до мельницы полный мешок кукурузы. Или закинуть за спину козленка и бегом пуститься к лесу. Никто теперь не считает его нищим. Руки у него сильные, и он может столько заработать, что бабке по три-четыре дня не приходится ходить за подаянием.

Тише стало в округе. Хотя пожары еще и бушуют, не сразу их загасишь, но кое-где начали жать ячмень — значит, хотя бы у кого-то будет хлеб. Похоже, кончилась братоубийственная война. А его братишка с сестрицей, наверное, скоро вернутся из скитаний. Втроем они окопают и приведут в порядок могилу матери. И отцовскую могилу они тоже уберут, если только разыщут то место, куда его закопали раздетого в землю.

От этих слов отец его словно бы оживает, поворачивается к нему неловко под порывом ветра, покосившийся и странно плоский, и снова погружается в августовский сон.

В сущности, отец ему не верит и гонит прочь. Что ты можешь, хромой и беспомощный? Никогда твоя сухая нога не догонит правую. Поливай свой хвостик, коль скоро у тебя нет другого занятия, и прихлебывай молоко, которое дает тебе старуха. И оставь свои заботы о могилах, этого мы от тебя никогда и не ждали. Лучше смотри хорошенько, чтобы кто-нибудь не стащил у тебя хвостик.

Сны налетают и улетают. Чередой проходят горячие августовские дни. Разные перемены происходят в мире, а жизнь идет по-старому. То, что не сгорело в пожаре войны, полно ожидания грядущего и готово отдаться его течению. Воде или пламени, все едино.

Огонь распространяется со скоростью свежих военных частей. Бабка побирается. Мальчик всего на свете боится, надеется на какое-то чудо, трепещет и с замиранием сердца смотрит на своего отца, которого он смастерил.

Могилка зарастает травой и бурьяном — до того тучна и плодородна земля вокруг дома и у ограды. Землю иссушает ветер, зной и пожар, но она вскармливает и оберегает все то, что в нее брошено хотя бы с самой слабой надеждой.

Так все и идет.

Какие-то вооруженные люди смотрят на мальчика из-за ограды, но через ограду им не перескочить. Слишком высоко. Придется ее разломать. Ну что ж, пусть ломают. Им все дозволено. Ему тоже будет все дозволено, когда его возьмут в армию, как других.

Мальчик загляделся вдаль, откуда на него надвигается великое множество вооруженных людей. У каждого в руках по козленку. А самый низкорослый из них стыдливо прижимает к своей груди поросенка, который рвется из воинских объятий.

Мальчик не знает, чья это армия: он не может распознать, какие у них знаки на шапках. Кое-кто идет и вовсе с непокрытой головой. Видимо, это воины, собранные со всего мира: все они разного роста, и волосы у них разные, и глаза. Двух одинаковых шапок не найдешь в этом воинстве. Только у каждого затаилась слеза в уголке глаз, крупная солдатская слеза.

Воины проходят мимо и молчат. А слеза в глазах все наливается, тяжелеет: почему они не хотят сказать ему ни слова.

Воины протягивают мальчику свои дары. Отталкивают друг друга — кто первый дотянется до мальчика и чьего козленка он погладит раньше.

Великое множество воинов, тысячи воинов стекаются к нему, земля чернеет от них.

Мальчик сознает, что они стремятся смыть позор, которым покрыли себя те трое вооруженных людей, и боится протянуть руку, чтобы не обидеть кого-то. Он может взять только одного козленка.

Долго еще странное воинство, обтекая мальчика, проходит мимо и плачет. Мальчик не знает, куда деваться от смущения.

А воины плачут, как дети, и протягивают ему своих козлят.

И мальчик плачет, потому что ему совестно признаться им, что они напрасно пришли к нему — ведь ему нужен только тот козленок со звездочкой на лбу.

Воины проходят, а мальчику безумно хочется кинуться перед ними на колени и целовать им ноги. Так он их любит, жалеет и восторгается ими.

И еще какие-то люди смотрят на мальчика. Они хотели бы сказать ему, что того козленка вернуть невозможно.

И на них он не сердится. Это все хорошие люди, и они хотели бы делать для него добро. Он не может ни о ком из них думать плохо, он просто не верит, что бывают и плохие люди тоже. Он любит даже тех, которые дразнят его и надсмехаются над ним.

Потому что он хочет надеяться, что земля вспучивается над подрастающим хвостиком.

Щеки его — как пригоршня истощенной почвы.

Дети грызут яблоки и ведут вдоль ограды своих козлят.

Глаза его, точно узкие щелки, смотрят на мир.

Сон нашептывает ему в темноте: мне нужен только тот мой козленок. Ваших я не хочу — я знаю, вы добрые, но мне не нужен никакой другой козленок. У ваших козлят нет звездочки между глазами, и они совсем не такие пушистые, как мой.

Дети грызут яблоки, оплакивая его козленка.

И он опять не знает, куда деваться от смущения и жалости: так бы и забился в крапиву, чтобы никто его там не нашел.

Дети грязные, худые, оборванные и рахитичные. У них на веревке козлята, но без звездочки между глазами. И дети еще пуще плачут, не находя на них этой метки.

Мальчик им тоже ничего не говорит, боясь как-нибудь ненароком обидеть. Он скорее бросится в воду с моста, чем скажет им что-нибудь плохое. Они должны и сами понимать, что ему не нужны чужие козлята. Добрые дети, милые дети, прекрасные дети, но только чужие козлята не могут ему заменить того, который у него был. Единственного козленка на свете.

Но дети от него не отстают, они хотят слезами и мольбами разжалобить мальчика.

Дети злятся: если он не согласится взять нашего козленка, мы закидаем его яблоками и он никогда не сможет больше проснуться.

Приходит десятое утро с туманом. Земля выгорела дотла. А под дощечками, сложенными крестом, ничего не оказалось. Камни с налетом гари. Или без.

Пригоршня гладкой гальки, по рукам стекает вода, и то и другое белее козлиной шерстки.

У мальчика опускаются руки, в глазах темнеет, лицо искажено.

Весь мир сосредоточился в слезе, нависшей над отрядом муравьев, источивших белый козлиный хвостик, над отрядом доблестных священных воинов, которым под силу совершить невозможное.

Мальчик оглядывается, отыскивая глазами пугало.

Ветер вздул две пустые короткие штанины, и они разлетелись в разные стороны. Но что самое главное — шапка прочно держится на вершине кола: она скрывает пустое, темное, отсутствующее лицо.

Рожицу мальчика искажает гримаса, у него вид побитого щенка. Дыхание пресекается.

Папочка мой золотой. Папочка мой хороший. Огородный мой папочка. Милый мой папочка. Единственный мой папочка. Папочка мой тряпичный. Сдвинь свою шапку с лица и взгляни на меня. Ничего от моего козленка не осталось. Папочка мой самый лучший на свете. Как я теперь буду один-одинешенек на свете? Бабка умрет. А тебя повалит ветер. Брата и сестры у меня нет. Папочка мой самый золотой, изрешеченный пулями, мой папочка. Тех троих ты не ругай. Они были голодные и потому закололи моего козленка. Но он им впрок не пошел: их в тот же день еще, должно быть, перебили или повесили. Не кори и эту славную муравьиную мелюзгу — она тоже была голодной. А земля была бесплодная, выжженная и сухая. Оттого так все и получилось, папочка мой, подстреленный на лету.

Плачет наш хромой мальчик.

■

Публицистика

Т. МОТЫЛЕВА

ДРУЗЬЯ ОКТЯБРЯ И НАШИ ПРОБЛЕМЫ

Влияние Октябрьской революции на мировую литературу проявилось в разнообразных формах. И оно затронуло, конечно, не только писателей революционно настроенных. Симпатии к миру социализма или сочувственный интерес к нему выражались не только посредством прямых политических деклараций: острые вопросы эпохи входили в самую сердцевину художественных произведений, подчас даже неожиданно для их авторов: в общей форме можно сказать, что наша революция сильно способствовала политизации художественного творчества, представляющей одно из характерных свойств литературного процесса в XX веке. Благодаря Октябрьской революции в сознании зарубежных деятелей культуры укреплялась мысль об исторической исчерпанности капитализма, зарождались смутные надежды на коренное обновление жизни, морали, духовного мира людей. Об этом говорит, например, искреннее признание такого далекого от политики мастера слова, как Роберт Музиль, датированное 1930 годом: «Я думаю, что революция — это большая духовная поддержка для всех нас, кто надеется, что из человека хоть в чем-то еще может выйти что-то хорошее» [1].

Круг иностранных писателей — друзей СССР — уже в первые послеоктябрьские десятилетия включил прославленные в мировой литературе имена. Анатоль Франс, Ромен Роллан, Анри Барбюс, Мартин Андерсен-Нексё, братья Манн, Бертольт Брехт, Герберт Уэллс, Бернард Шоу, Теодор Драйзер, Эптон Синклер, Синклер Льюис, Эрнест Хемингуэй — этот перечень можно расширить. На первом съезде писателей СССР (1934), на Конгрессе писателей в защиту культуры в Париже (1935) к речам советских ораторов прислушались не только их зарубежные единомышленники или ближайшие союзники, но и те крупные художники, которые придерживались во многом иных идейно-творческих позиций.

И все же — история отношений иностранных писателей к стране Октября по-своему драматична. В ней присутствуют не только схождения, сближения, но и расхождения, подчас разрывы.

Неразумно (как это иногда у нас делается) объяснять те или иные колебания или заблуждения зарубежных прозаиков или поэтов давлением литературного рынка, теми или иными корыстными или конъюнктурными соображениями — для художников подлинно значительных такие соображения не могут играть решающей роли. Но нельзя упускать из виду влияние дезинформации или просто недостаточность информации — это фактор действительно существенный, искажающий облик Советского Союза в глазах немалой части западной интеллигенции. Нельзя недооценивать и чисто индивидуальные мотивы, из-за которых траектория гражданского поведения писателя может принимать ломаный, зигзагообразный вид. Однако самое главное — необходимо осознать, что на политическую позицию западных деятелей культуры не могли не влиять события, о которых мы теперь говорим открыто, явления и процессы, которые мы сами оцениваем как негативные. Вернейших друзей СССР не раз ставили в трудное положение те факты нашей жизни, которые нельзя было ни замолчать, ни оправдать в глазах инакомыслящих.

Все это напоминает нам о том, что к вопросам наших международных литературных контактов нельзя подходить с позиций «теории бесконфликтности».

Иностранным писателям, друзьям СССР, хотелось не только воспевать и восхвалять наши достижения, но и изучить советский опыт, разобраться в нем, проанализировать его. Им хотелось в свете этого опыта по-новому задуматься над коренными проблемами истории и современности. Международное значение Октябрьской революции, в частности, проявилось и в том, что она дала мощный толчок социально-

[1] «Иностранная литература», 1987, № 11, с. 208. *(Здесь и далее прим. авт.)*

аналитической мысли — не только ученых, но и писателей. Соотношение цели и средств в борьбе человечества за лучшее будущее, роль насилия в истории, новые возможности демократии в условиях социалистического общества, судьба интеллигенции в этом обществе, взаимодействие личности и коллектива, природа власти в социалистическом государстве — все эти вопросы подлежали новому осмыслению и заставляли писателей размышлять.

Такие размышления не могли не приводить к острым разногласиям даже среди тех деятелей культуры, которые относились к Советскому Союзу доброжелательно. В самом начале двадцатых годов развернулась дискуссия в печати между Барбюсом и Ролланом (Ромен Роллан впоследствии рассказал о ней в своей известной статье «Панорама»). Различие позиций двух великих французов было не столь резким и с течением лет было в основном преодолено. Но в среде литераторов разных стран, принявших участие в дискуссии, ясно обозначились и либеральное и левоэкстремистское крыло: противостояние споривших привело к распаду группы «Кларте», в которой Барбюс пытался объединить прогрессивных деятелей культуры. Так или иначе, принципиальные разноречия по всему комплексу вопросов, обозначенному выше, продолжали жить в кругах западной художественной интеллигенции. Они касались прежде всего путей революционного преобразования жизни. И наиболее непосредственно проявлялись в отношении писателей к СССР.

В советских изданиях разных лет, периодических и непериодических, в популярных обзорных трудах или учебных пособиях, можно найти много документов — приветствий, интервью, кратких газетных статей, где высказаны положительные суждения иностранных писателей о Советском Союзе, как правило вполне искренние. Но воззрения этих авторов не всегда предстают в таких материалах с должной полнотой — обычно у нас выбирают для публикации то, что бесспорно, то, что мы можем принять безоговорочно. И у широкой публики, не слишком сведущей в литературе, складывается впечатление, что прогрессивные зарубежные писатели судят о нашей стране более или менее одинаково, что они знают нашу действительность поверхностно и не слишком задумываются над сложными вопросами. А ведь это не так — или не всегда так.

Рассматривая в историческом плане отношение иностранных писателей к нашей стране, мы прежде всего находим в нем общие черты. На исходе первой мировой войны буржуазный образ жизни, включая и его наиболее демократические формы, настолько дискредитировал себя даже в глазах своих недавних приверженцев, что это само по себе должно было вызвать у немалой части иностранной художественной интеллигенции тяготение к Советской России. У писателей левой политической ориентации возникало и утверждалось — наперекор воинствующему антисоветизму буржуазной печати — однозначно радужное представление о стране Октября как цитадели справедливости и счастья: оно сказалось, в частности, в ранних произведениях революционных поэтов Запада, написанных вскоре после установления Советской власти (например, в стихотворении Иоганнеса Бехера «Привет немецкого поэта РСФСР» — в оригинале интонация восторга выражена еще сильнее, чем в существующих переводах).

Победа советского народа над полчищами интервентов, превращение голодной и нищей страны в современное индустриальное государство — все это восхищало и вдохновляло революционных литераторов, внушало уважение подчас даже далеким от коммунизма деятелям культуры. В то же время ситуация «осажденной крепости», в которой находился Советский Союз в течение десятилетий, часто побуждала иностранных друзей СССР держать свои критические соображения при себе, не предавать их гласности. И в нашем литературоведении сложился своего рода стереотип: иностранные писатели делятся на две категории — друзья безоговорочно восхищаются, враги злобно клевещут.

С течением времени зарубежные современники Октябрьской революции — наши бывшие современники — уходят из жизни, становятся для нас предметом исторического или историко-литературного изучения. С дистанции лет многое видится яснее. Появляются человеческие документы минувших десятилетий, письма, фрагменты неопубликованных произведений писателей разных стран. Мы более отчетливо можем увидеть их — сложные, подчас запутанные — пути поисков и сомнений. Все это дает нам новые возможности для того, чтобы представить себе расстановку идейных сил в западной литературе за семьдесят послеоктябрьских лет точнее, чем мы ее себе представляли. Познание, оценка советской действительности складывались у каждого из крупных иностранных писателей по-своему.

Попробуем проследить это на нескольких характерных примерах.

1. Размежевание

Советским читателям известна книга Г. Уэллса «Россия во мгле» (1920), привлекшая внимание В. И. Ленина и тут же переведенная у нас. Это была честная и трезвая книга, несмотря на ее общий скептический тон и неоднократные заверения автора о неприятии им марксизма. После окончания работы над рукописью Уэллс писал Горькому: «Я сделал все возможное, чтобы заставить наше общество понять, что Советское правительство — это люди, а не какое-то исчадие ада. Мне кажется, что я много сделал, чтобы подготовить почву для культурных отношений между двумя половинами Европы. Книгу я вам посылаю. Вы увидите, что я не польстил большевикам. Если бы я это сделал, результат был бы обратный тому, которого я добивался»[2]. «Россия во мгле» получила большой общественный резонанс,

[2] «Иностранная литература», 1959, № 11, с. 42.

вызвала полемику в печати и в конечном счете сильно способствовала распространению на Западе элементарно правдивых понятий о Советской России.

Герберт Уэллс увидел нашу страну в состоянии разрухи. Теодор Драйзер, побывавший в СССР семь лет спустя, увидел нашу страну в лесах строек. И в книге «Драйзер смотрит на Россию» рассказал о том, что ему удалось узнать и понять за 77 дней путешествия, включившего не только Москву и Ленинград, но и Украину, Донбасс, Кавказ. Автор «Американской трагедии» в ту пору считал себя «неисправимым индивидуалистом» и не скрыл своих разногласий с советскими людьми, но не скрыл и своей нараставшей в ходе путешествия симпатии к ним [3].

Имеется любопытное дополнение к книге Драйзера об СССР — его «Заявление перед отъездом из Советского Союза», своего рода прощальное письмо, обращенное к советским людям. Оно было опубликовано Рут Кеннел, сопровождавшей писателя в качестве секретаря [4]. Перед тем как продиктовать Кеннел это письмо, Драйзер сказал ей: «Я полюбил русских. Я не собираюсь им льстить, но я восхищен их борьбой за лучшую жизнь и скажу им это» (198).

Драйзер был убежден, что историю творят сильные личности скорей, чем народы, и что СССР в этом смысле не составляет исключения. Однако во главе СССР стоят — так считал он — идеалисты, люди особого склада. И в прощальном письме говорится: «Для оценки того, что эта группа высоких идеалистов сделала в России, я могу найти лишь слова похвалы... Отрадно видеть новые заводы, школы, больницы, научные учреждения, разбросанные по всей стране. Я искренне надеюсь, что этот могучий энтузиазм, направленный на модернизацию России и на создание всяческих удобств для жизни, подобных западным, не ослабнет до тех пор, пока вся страна не превратится в рай, какой хочет создать эта изумительная группа идеалистов» (313). Вместе с тем писатель откровенно говорит и об отрицательных явлениях, с которыми он столкнулся. Его поразили беспризорные подростки, которых он встречал на улицах. Его неприятно удивило отсутствие элементарного порядка, черты неряшества, безалаберности на производстве и в быту. «Ваши гостиницы, поезда, вокзалы и рестораны слишком грязны и плохо оборудованы. Вы недостаточно часто моете окна. Вы мало проветриваете помещения. Вы живете в слишком большой тесноте, и у вас даже хватает неразумия, чтобы оправдывать тесноту духом коллективизма» (314). Мы чувствуем в суждениях Драйзера некий оттенок наивности. Но видим и точность его наблюдений,— например, там, где он говорит о низкой производительности труда, настоятельно советует упорядочить систему его оплаты, чтобы заработок соответствовал реально выполненной работе; или — когда он замечает, что русский крестьянин «больше всего хочет, чтобы его оставили в покое» (314), не мешали ему трудиться, как он привык.

Драйзер простодушно полагал, что письмо, которое он адресовал Всесоюзному обществу культурных связей с заграницей, будет опубликовано в СССР и что, возможно, к некоторым его замечаниям прислушаются. Но не тут-то было: письмо было положено под сукно и осталось там.

Так или иначе, этот документ, обнародованный с опозданием на сорок лет, по-своему примечателен: это был первый случай, когда иностранный писатель попытался, обращаясь прямо к советским людям, подвергнуть критике некоторые стороны жизни СССР с позиций доброжелательства.

После возвращения из Советского Союза Драйзер, как известно, решительно пошел на сближение с радикальной интеллигенцией, много раз выступал в печати как противник империализма и друг СССР. Стоит привести здесь его личное письмо, представляющее политический интерес. Литератор Макс Истмен попросил Драйзера заступиться за группу советских граждан, арестованных по обвинению в троцкистской деятельности. И писатель ответил (26 мая 1933 г.):

«Я поразмыслил, серьезно, как на молитве, об этом деле, касающемся Троцкого. Я очень сочувствую его сторонникам в том положении, в которое они попали, но тут встает вопрос выбора. Какова бы ни была природа нынешней диктатуры в России — несправедливая или какая хотите,— победа России важнее всего. Я согласен с Линкольном: нельзя менять лошадей при переправе через поток.

Пока нынешнее напряженное военное положение не смягчится — если только существует возможность его смягчения — и пока вопрос о японской опасности не прояснится, я не хотел бы делать ничего такого, что могло бы нанести ущерб положению России. И, с божьей помощью, не сделаю» [5].

Тут речь шла, конечно, не только об агрессивных действиях Японии, которая, оккупировав Маньчжурию, вплотную приблизилась к советской границе. Драйзер, как и многие прогрессивные общественные деятели разных стран, сознавал, что СССР вынужден строить новую жизнь в капиталистическом, то есть враждебном окружении. И он считал, что малейшее вмешательство иностранных деятелей культуры в острые проблемы внутренней жизни Советской страны в этих условиях неуместно. Так считал, как мы увидим, не он один.

Начало «красных тридцатых» отмечено широким движением западных литераторов влево. Этому способствовала и растущая угроза фашизма в Германии, и миро-

[3] Подробный разбор книги «Драйзер смотрит на Россию» см. в книге Я. Засурского «Теодор Драйзер». М., 1964.

[4] Ruth Epperson Kennell. Theodore Dreiser and the Soviet Union. New York, 1969. (Далее страницы указаны в скобках.)

[5] Letters of Theodore Dreiser. A Selection. Vol. 2. Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1959.

вой экономический кризис, и успехи индустриализации в СССР.

Летом 1931 года московская литературная общественность с радостью и вполне понятным любопытством восприняла приезд Бернарда Шоу. 26 июля в Колонном зале Дома Союзов состоялся вечер в честь Шоу — ему в тот день исполнилось 75 лет. Мне удалось попасть в переполненный зал — многие, как и я, стояли в проходах, позади колонн. Юбиляр держался прямо, был бодр и начал свою речь русским обращением «Товарищи!»; он напомнил, что еще много лет назад послал одну из своих книг Ленину «с посвящением, полным энтузиазма» [6]. Шоу имел устойчивую репутацию друга СССР, и то, что он говорил во время десятидневного пребывания у нас в стране, в беседах и кратких интервью, вполне отвечало этой репутации. 29 июля, как сообщала печать, английский гость был принят Сталиным; содержание их беседы, продолжавшейся более двух часов, нигде не было изложено и осталось неизвестным.

В 1932 году Шоу начал работу над книгой «Разумное понимание России», но не закончил ее: написано было лишь введение и первая глава. Этот фрагмент книги появился в 1964 году в США — стараниями американского исследователя, который отыскал рукопись в архиве Шоу в Британском музее. В предисловии к книге публикатор, Гарри М. Гидалд, достаточно объективно резюмирует главный смысл работы Шоу: «Она содержит блестящее сатирическое изложение истории современного европейского капитализма... Шоу берет под обстрел коррупцию хищнического западного общества и рекомендует в качестве лекарства замену современного капиталистического хищничества политической системой принудительной честности. Он пишет как революционер, восхищенный достижениями СССР в момент первой вспышки сталинской эры и пятилетнего плана... Он дает неподражаемую — вполне в духе Шоу — историю революционеров в России XIX и XX веков и сочетает свою апологию советской социальной и карательной системы с парадоксальной критикой марксизма» [7].

Фрагмент неоконченной книги Шоу в основном представляет язвительное обличение буржуазного строя; о Советском Союзе говорится по преимуществу суммарно, в общих выражениях. Шоу отмечает, что русская революция произошла — наперекор предсказаниям Маркса — в стране экономически отсталой; отсюда, как он дает понять, проистекают многие трудности в развитии советского общества. И вместе с тем, по мнению Шоу, опыт СССР подтверждает закономерность, которая обнаружилась в революциях прошлого, в частности в революции французской: практика борьбы оказывается более суровой, чем представления тех, кто готовил эти перевороты. Заостряя свою мысль до парадокса, Шоу пишет: «Успешно проведенная революция должна привести своих участников и сторонников к трагическому разочарованию» (69). «В момент, когда революция воплощается в правительство, она неизбежно начинает истреблять революционеров» (70). В подтверждение этих категорически выраженных тезисов Шоу ссылается на то, что результаты Октябрьской революции не удовлетворили ни анархиста Кропоткина, ни эсерку Спиридонову, ни Александру Толстую; он утверждает, что, по дошедшим до него слухам, и Н. К. Крупская, «самая обаятельная вдова в мире», после смерти Ленина подвергла критике советское руководство, но под давлением угроз Сталина была вынуждена замолчать; к числу лиц, втайне недовольных, Шоу относит и Горького. И приходит к заключению: «Я не упрекаю Советское правительство в том, что оно не полностью осчастливило этих ангелов революции... Еще меньше я могу упрекнуть его в том, что оно открыто расстреливает анархистов и синдикалистов, которые в старое время были его соратниками, помощниками и товарищами по несчастью» (71).

Тут в рассуждениях Шоу звучит интонация активной обороны: он как бы нарочно, назло западным противникам Советского Союза, акцентирует, не заботясь о точности, уязвимые стороны советской «карательной политики» и демонстративно одобряет их. Советский строй, говорит он, беспощаден к «форсайтам», то есть к собственникам, эксплуататорам. Жить за счет чужого труда с советской точки зрения преступно, и если «форсайтов» расстреливают, значит — так им и надо. «Есть нечто трагикомическое и жалкое в том, что Сомс Форсайт, попавший в руки коммунистических распорядителей, ликвидируется как нечисть; но такие происшествия неизбежны в условиях суровой морали Коммунизма» (76). Притом Шоу намеренно пренебрегает здесь такими понятиями, как гуманность и даже законность: «Расстрелы форсайтов — специфическая черта русской революции» (83). И, как бы предвидя возражения со стороны буржуазных идеологов, Шоу переходит в контрнаступление: «Буржуазия прогнила. Армия прогнила. Монархии прогнили. И парламентские учреждения прогнили больше всего. Во всем этом виноват частный капитал, жаждущий прибыли для частных лиц» (102). «Ясно, что Россия, истребляя определенный сорт нежелательных людей для блага остальных, делает то же самое, что мы делали испокон веков и продолжаем делать» (113).

Круг неожиданно замыкается: защита СССР оборачивается уподоблением советского строя капиталистическому, то

[6] В 1921 году Шоу послал свою книгу «Назад к Мафусаилу» Ленину, «который один среди государственных деятелей Европы обладает дарованиями, характером и знаниями, необходимыми человеку на столь ответственном посту». Эта надпись, а также пометки В. И. Ленина на предисловии Шоу к книге «Назад к Мафусаилу» опубликованы в «Иностранной литературе», 1957, № 4, с. 27—32.

[7] Bernard Shaw. The Rationalisation of Russia. Bloomington, Indiana University Press, 1964, p. 10. (В дальнейшем страницы указаны в скобках.)

есть, независимо от воли автора,— осуждением.

Можно ли считать случайным, что Шоу отложил в сторону начатый труд, не дописал его? Вряд ли. Он не смог отделить подлинную суть советского общества от искажений и эксцессов и, возможно, сам почувствовал шаткость, даже двусмысленность своей аргументации. Но его приверженность к Советскому Союзу была безусловно искренней. И с другой стороны, он первым среди иностранных писателей, друзей Советского Союза, затронул его действительно болевые точки.

Именно тридцатые годы принесли с собой, наряду с очевидными успехами в строительстве нового общества, и потери, которые дорого нам обошлись и нанесли громадный ущерб международному престижу нашей страны. «Возникла административно-командная система партийно-государственного руководства страной, усиливался бюрократизм, об опасности которого предупреждал в свое время Ленин». Это сделало возможными «и культ личности, и нарушения законности, произвол и репрессии 30-х годов. Прямо говоря — настоящие преступления на почве злоупотребления властью» [8]. Все это ставило зарубежных друзей СССР в исключительно сложное положение. Иные шарахались вправо, перебегали во вражеский лагерь. А наиболее стойкие друзья Советского Союза — будь то коммунисты или интеллигенты либерально-демократического склада — сохраняли верность делу Октября, с которым они так или иначе связывали лучшие надежды человечества. Об отрицательных явлениях нашей жизни они, как правило, знали далеко не всё, а если и знали, то старались, по возможности, их не замечать. Более того: нарастающая волна травли, поношений Советского Союза в буржуазной печати рождала у таких друзей желание защитить Советскую страну от вражеских нападок, рассказать о ее достижениях и успехах, обходя молчанием все то, что могло дать, и давало, повод для осуждения.

Только так можно объяснить появление книги Анри Барбюса «Сталин». Она вышла весной 1935 года — д о больших показательных процессов 1936—1938 гг.: она была подготовлена к печати д о убийства Кирова и последовавших за ним массовых арестов. О грубых нарушениях ленинской политики в деревне, об усилении бюрократических тенденций во внутрипартийной жизни — обо всем этом Барбюс, видимо, знал крайне мало. Простодушная доверчивость, с которой он пересказывал официальные советские материалы, объяснялась — по верному замечанию французского исследователя-марксиста Жана Реленже — не только слабым знанием реальности, но и тем, что эти материалы «вполне соответствовали чаяниям революционеров всего мира, подчас волюнтаристским и утопическим» [9]. Желая оживить свою книгу, Барбюс беседовал с видными политическими деятелями, ссылался по ходу своего изложения на их воспоминания. По жестокой иронии истории среди этих деятелей, приложивших руку к барбюсовской апологии Сталина, были люди, в скором времени ставшие — прямо или косвенно — жертвами сталинского произвола: Орджоникидзе, Енукидзе, Бела Кун, Кнорин, Бубнов, Радек... Стоит попутно заметить, что труд Барбюса, который в оригинале носит подзаголовок — «Un monde nouveau vu à travers un homme» — «Новый мир, увиденный сквозь одного человека»,— в переводе получил иной подзаголовок, сосредоточивающий внимание читателей именно на личности Сталина: «Человек, через которого раскрывается новый мир». Вследствие такой перестановки акцентов была усилена «культовая» направленность русской публикации.

Мог ли быть Барбюс вполне доволен своей книгой? Этого никто не знает и не может узнать: он скончался в августе 1935 года. Его торжественные похороны в Париже, вылившиеся в массовое народное шествие, подтвердили, насколько велик был его авторитет как писателя-борца, одного из лидеров международного движения против империалистической войны и фашизма. Но книга о Сталине, носившая откровенно пропагандистский характер, могла быть убедительной только для единомышленников и, судя по всему, не имела большого читательского успеха.

Зато подлинной литературной и политической сенсацией стала появившаяся в 1936 году небольшая книжка Андре Жида «Возвращение из СССР». Буржуазная пресса шумно приветствовала сам факт, что крупный мастер слова, представитель парижской литературной элиты, который недавно еще выступал заодно с коммунистами, участвовал вместе с ними в Конгрессе в защиту культуры,— после поездки в СССР фактически примкнул к его противникам.

В книжке Жида нет политического антисоветизма в прямом смысле слова [10]. Но в ней отражено восприятие Советского Союза индивидуалистом и эстетом, который надеялся увидеть в СССР рай земной и быстро перешел от восхищения к разочарованию. Он не нашел контакта с советскими людьми. Они показались ему неинтересными, серыми, одинаковыми. Скромная обстановка жилищ, бедная, немодная одежда, скудный ассортимент промышленных товаров в магазинах — все это вызывало у него раздражение.

В одном существенном пункте Жид оказался п р а в: он первым среди иностранных деятелей культуры сигнализировал о тех уродливых формах, которые принял культ личности Сталина. Обилие портретов и статуй «вождя», неумеренное прославление его в печати — все это возмутило Жида, и тут можно его понять. Но о многом другом — включая мелочи быта — он судит в своей книге пристрастно

[8] М. С. Горбачев. Октябрь и перестройка: революция продолжается. М., 1987, с. 19, 21.

[9] La Nouvelle Critique. N° 126, juillet — août, 1979, p. 24.

[10] Лишь впоследствии Жид опубликовал брошюру «Поправки к моему «Возвращению из СССР», носившую откровенно антисоветский характер.

и предубежденно: даже качество фруктов и овощей на Кавказе он находит «посредственным». Передавая свои беседы с советскими читателями, рабочими, студентами, он огульно, без малейшей попытки дифференциации, осуждает их за высокомерие и невежество, за полное будто бы равнодушие к жизни и культуре зарубежных стран. Возможно, что Андре Жиду где-то не повезло на собеседников. Но общая картина советского народа у него дана в явно тенденциозных, однотонно-мрачных тонах: ключевые слова тут — «конформизм», «деперсонализация», «комплекс превосходства».

Книга Жида вызвала в зарубежной печати оживленные отклики — «за» и «против». В полемику включился и Лион Фейхтвангер в книге «Москва. 1937». Он напомнил о том, какой большой путь экономического и культурного развития проделала отсталая и разоренная войнами страна за короткий исторический срок: уже это дает гражданам СССР основание для гордости. Он с похвалой отозвался о советской читающей публике, особенно о молодежи, отметил ее любознательность, живость умственных интересов,— попутно он с негодованием отверг застарелые басни о «русской лени». Отметая тезис А. Жида о «конформизме», свойственном будто бы всему народу СССР, Фейхтвангер пишет: «В общем и целом конформизм советских людей сводится к всеобщей горячей любви их к своей родине. В других местах это называют просто патриотизмом» [11].

Фейхтвангер стремится быть объективным, высказывает критические замечания и о неприглядной одежде москвичей, и о тесноте в коммунальных квартирах, и о разнообразных бюрократических осложнениях, с которыми сталкиваются не только иностранцы-путешественники, но и рядовые советские граждане. Его настораживает чрезмерная подозрительность, «психоз вредительства» (28), которым было охвачено, по его словам, население СССР, и «стандартизованный энтузиазм», который «распространяется через официальные микрофоны» (32). А о «безвкусном и не знающем меры» (51) культе личности Сталина он откровенно высказался в личной беседе со Сталиным, но в ответ услышал заверения, что во всем виноваты «подхалимствующие дураки» (52).

Общий положительный итог оценок Фейхтвангера во многом определялся благоприятным впечатлением, которое на него произвел советский руководитель. Мы понимаем сегодня, что Сталин был не только деспотом, но и виртуозом лицемерия,— он мог при желании говорить с посетителями, особенно иностранными, в любезном, уважительном тоне. С другой стороны, Фейхтвангер, как многие немецкие антифашисты, травмированные крахом Веймарской республики и разочарованные в буржуазной демократии, считал Советский Союз единственной силой, способной одолеть Гитлера, и в этом, как показала история, не ошибся. Но он увидел в Советском Союзе преимущественно то, что хотел увидеть. И в этом было его роковое заблуждение.

В главе «Явное и тайное в процессах троцкистов» у Фейхтвангера иногда проскальзывает тон некоторой неуверенности. Он присутствовал в Колонном зале в марте 1937 года на допросах Радека, Пятакова; он силился понять то, что казалось загадочным в поведении обвиняемых, говорило о том, что суду был представлен лишь «препарированный материал предварительного следствия» (77) — этим объясняется отсутствие подлинных документов, которые бы обосновывали обвинение... И при всем том — Фейхтвангер в своей книге одобрил судебную расправу Сталина с неугодными ему лицами. А о массовых арестах, о которых он не мог не слышать, он просто промолчал. Всем этим он внес вредную путаницу в сознание тех читателей, прежде всего немецких, которые отнеслись к его книге с доверием.

Книгу Фейхтвангера положительно оценил Брехт (по крайней мере на первых порах); отзвуки ее сказались много лет спустя в автобиографическом труде Генриха Манна «Обзор века», где есть небольшой экскурс «Московские процессы».

Зато Томас Манн, который в дневнике за 9.IV.1937 г. отозвался о книге Андре Жида «Возвращение из СССР» словами: «Непостижима эта сенсация», вскоре прочитал и книгу Фейхтвангера и в дневнике за 8.VII сделал о ней лаконичную запись, выражающую скорей сомнение, чем согласие: «Ist doch merkwürdig zu lesen» [12] — «Читается все-таки с любопытством».

Но о Томасе Манне речь впереди.

2. «Я не Сталина защищаю, а СССР»

Трагические события внутренней жизни СССР во второй половине тридцатых годов — волны арестов, открытые процессы — вызвали резкое противоборство мнений в западной печати. Недруги ликовали, а друзья Советского Союза мучительно размышляли: что же происходит?

Особенно болезненно эти события отозвались в сознании двух писателей с мировым именем, связанных многолетней дружбой и творческим сотрудничеством: Ромена Роллана и Стефана Цвейга. Между ними не было полного единомыслия: Роллан еще в двадцатые годы встал на позиции активной борьбы с фашизмом и поддержки СССР, а Цвейг остался приверженцем «независимости духа» и не вмешивался в политику. Но их роднило многое: помимо категорического отрицания фашизма и захватнических войн — преданность русской культуре, глубокая привязанность к Горькому.

Духовное развитие Ромена Роллана после Октябрьской революции освещено им самим в статьях «Прощание с прошлым»,

[11] Лион Фейхтвангер. Москва. 1937. М., 1937, с. 31. (Далее страницы указаны в скобках.)

[12] Thomas Mann. Tagebücher 1937—1939. Frankfurt am Main, 1980, S. 52, 74.

«Панорама» и во многих работах советских литературоведов. Здесь уместно взять в качестве точки отсчета 1935 год, когда состоялась поездка Роллана в Советский Союз, в гости к Горькому. Эта поездка и связанные с ней размышления отразились в «Московском дневнике» Роллана, опубликованном лишь частично, а также в письмах к разным лицам, хранящихся в его архиве. К этим документам — в большей части неопубликованным — я и буду обращаться.

Ромен Роллан был еще до 1935 года знаком с советской действительностью намного лучше большинства своих западных коллег — благодаря переписке с советскими читателями и в особенности благодаря браку с уроженкой России Марией Павловной Кудашевой (1895—1985), которая деятельно помогала ему в трудах.

Когда Роллан с женой приехали в Советский Союз, у него с самого начала было намерение не просто увидеть воочию великую страну, о которой он столько читал и слышал, о которой столько раз говорил добрые слова,— но и откровенно высказаться по вопросам, которые его беспокоили. Он сделал это в личной беседе со Сталиным. Его издавна тревожила проблема репрессий: это и стало главной темой его беседы в Кремле.

Сталин постарался убедить писателя-гуманиста в необходимости суровой карательной политики, развивая свой излюбленный ложный тезис об усилении классовой борьбы после победы социализма. У советской власти, сказал он, много тайных врагов, они плетут заговоры, готовят покушения, вредят где только могут... Роллан выслушал все это с некоторым сомнением, но в какой-то мере и поверил тому, что было ему сказано. Единственное, чего он добился в ходе беседы, было согласие Сталина выпустить за границу французского анархиста Виктора Сержа, находившегося в ссылке.

Здесь уместно включить немаловажный факт, известный мне по устному рассказу вдовы Роллана. В антракте спектакля, который Роллан смотрел в Большом театре, к нему в ложу зашел посол США Буллит, наговорил много любезностей и попутно шепнул: «Учтите, этот режим продержится не более двух лет». Роллан вспоминал эти слова в последующие годы — как подтверждение, что Советскому правительству грозят опасности. Так посол США, сам того не зная и не желая, укрепил доверие Роллана к Сталину.

Живя в Горках под Москвой, в доме Горького, Роллан накопил много впечатлений, в большинстве своем отрадных. К нему приезжали писатели, деятели искусства, делегации молодых рабочих, комсомольцев, пионеров, шел поток дружеских читательских писем. Долгие часы Ромен Роллан проводил в разговорах с Горьким. Но иногда улавливал в словах русского друга и в выражении его лица сдержанную грусть. После первой беседы с Горьким он записал в дневнике: «Разговор касается многих предметов, в том числе и тех, о которых шла речь вчера у Сталина,— речь идет и о старой отсталой России, которая еще жива. Горький хотел бы, чтобы о больных вопросах говорилось открыто...»

В «Московском дневнике» Роллана подспудно проскальзывает предположение, что в жизни страны больше «больных вопросов», чем ему известно. Однако в конце дневника с уверенностью выражено итоговое впечатление от поездки: в жизни СССР есть и «актив», и «пассив», но «актив преобладает».

Несколько раз Роллан встречался с Бухариным, в ту пору ответственным редактором «Известий»: между ними возникла взаимная симпатия. Сохранилось (и демонстрировалось на выставке, посвященной Роллану, в Париже в 1966 году) письмо Бухарина Роллану, написанное по-французски, от 27 октября 1935 года. Там, в частности, есть строки: «Вы постигли героические принципы жизни — и это самая большая, самая пламенная человеческая ценность на нашей планете» [13]. Как вспоминала Мария Павловна, Горький однажды сказал Роллану: «Бухарин — горячая голова, он способен на необдуманные поступки». Это побудило Роллана при прощании напутствовать Бухарина: «Будьте осторожны».

В 1936—1938 годах Роллан и его жена с особой тревогой следили за судьбой Бухарина. По словам А. М. Лариной, «в дни тягостных предарестных событий, когда однажды в газетах сообщили (это была очередная уловка Сталина), что дело Бухарина прекращено, Николай Иванович получил поздравительную телеграмму от Ромена Роллана»...[14] Можно понять, как тяжело отозвалось в сердце французского писателя осуждение Бухарина и его трагическая гибель.

Проблематика репрессий в СССР занимает важное место в мыслях Ромена Роллана в конце тридцатых годов. На первых порах после возвращения домой он еще верил, или старался верить, в сталинскую версию о готовящихся будто бы заговорах и о необходимости суровых мер. Но предчувствовал возможность эксцессов, которые его заранее пугали. О смерти Горького он глубоко горевал — не только потому, что потерял своего лучшего русского друга, но и потому, что Горький мог оказывать благотворное, сдерживающее влияние на руководителей страны. Он так и записал в дневнике: «Присутствие его голубого ока само по себе было уздой и опекой. Теперь это око закрылось».

Процесс против Зиновьева, Каменева и других деятелей, обвинявшихся в принадлежности к троцкистской оппозиции, вызвал у Роллана острую душевную боль — несмотря на то, что он к Троцкому и троцкизму издавна относился резко критически. В дневнике за август 1936 года говорится: «Даже тот, кто никогда не уважал главарей заговора, даже тот, кто приемлет обвинения против них... не может не испытывать тревоги, подобной той, какая охватила лучших членов Конвента в 94-м го-

---

[13] Romain Rolland. Sa vie, son œuvre. Archives de France — Hotel de Rohan. Paris, 1966, p. 60.

[14] «Огонек», 1987, № 48, с. 30.

ду после казни Дантона. И яростный лай, поток ненависти и поношений во французской радиопередаче из Москвы во вторник, 25-го, после казни, по-моему, омерзителен... Боюсь, что инстинкты злобы и гордыни одержали верх в этом деле над политическим разумом. Но теперь мне яснее многое, что я в прошлом году плохо знал» [15].

После смерти Горького связи Роллана с СССР намного ослабели. Он чаще всего вовсе не получал ответа на свои письма в различные инстанции, на свои запросы и ходатайства. И с горечью отметил в дневнике (в октябре 1936 года): «От нас ожидают, чтобы мы защищали СССР против бешеной клеветы его врагов на Западе и нам не дают никакой возможности это делать, нам совершенно отказывают в информации».

А информация была настоятельно необходима Роллану — не только для отпора врагам Советского Союза, но и для того, чтобы отвечать на тревожные вопросы друзей, в частности Стефана Цвейга. Он слал Роллану письмо за письмом, недоумевал, негодовал:

«Какой-то рок, какая-то метафизическая воля приводят людей к ослеплению,— писал он Роллану 28 сентября 1936 года.— Так, в Вашей России Зиновьев, Каменев, ветераны Революции, первые соратники Ленина расстреляны, как бешеные собаки... Вечно та же техника, как у Гитлера, как у Робеспьера: идейные разногласия именуют «заговором»; разве не было бы достаточно применить ссылку? Она была бы даже более суровым наказанием, чем эмиграция, которая (см. Троцкий) медленно грызет, убивает, доводит до бессилия...» [16]

Цвейг вернулся к этой теме в письме от 5 декабря 1936 года. «Я не сторонник Троцкого — у него не хватило чувства достоинства, чтобы промолчать, и его писания принесли большую — слишком большую! — пользу реакции... Процесс меня глубоко смутил,— впрочем, как и других лучших друзей СССР. И еще другое: идолопоклонство, которым окружен Сталин... Именно потому, что существование СССР в настоящее время — самая большая необходимость, его подлинные друзья должны были бы сделать все, чтобы такие вещи, как процесс Зиновьева, больше не повторялись».[17]

Роллан отвечал — сбивчиво, неуверенно. Он пытался поддерживать версию о заговорах, в которой явно сам начинал сомневаться. В письме Цвейгу от 9 декабря 1936 года он говорит о напряженной обстановке в Советском Союзе: «Вы себе, наверное, не представляете, что тамошние деятели живут в окружении убийц. Незадолго до моего приезда сам Сталин чуть не стал жертвой одного из них, прямо в Кремле. Сталина я очень уважаю. Мне не нравится обилие его изображений и тучи фимиама, которые его окружают. Но сам он прост в обращении и даже грубоват». Тут особенно ясно видна наивная доверчивость Роллана: он словно бы не подозревает, что грубоватость и простота в обращении могут отлично сочетаться с коварством и жестокостью. Именно потому, что Роллан глубоко любил Советскую страну, ему оказалось труднее, чем Цвейгу, распознать суть культа личности в его самых отвратительных проявлениях.

Но на свой лад Роллан пытался вмешиваться в то, что происходило в Советском Союзе. Он старался, по крайней мере, заступиться за людей, лично ему известных. Но — безуспешно. Давнишний друг Роллана, Герман Гессе, попросил его (в марте 1936 года) ходатайствовать за двух его знакомых, арестованных в Москве неизвестно за что. И Роллан ответил немедленно: «восемь месяцев тому назад один мой друг, врач, которого я знаю в течение двадцати лет, был арестован в Ленинграде без всяких объяснений; с тех пор о нем ничего нельзя было узнать. Я за него заступился, горячо, как только мог; я писал всем руководителям (два раза — Сталину), писал всем тем, кто его знали и могли бы ему помочь; и за восемь месяцев не получил ни слова в ответ. Так же обстоит дело со всеми письмами, которые я написал в течение двух лет в защиту большого числа других людей, арестованных или пропавших без вести, мне лично знакомых. Ответ — молчание...

Когда был жив Горький, я многое мог сделать через него. Теперь ничего не могу» [18].

И при всем том Роллан не утратил в те черные годы чувства личной причастности к советскому обществу. Об этом говорит, например, его письмо Франсу Мазереелю от 6 ноября 1937 года:

«Меня вовсе не радует то, что происходит в СССР,— эта затянувшаяся эпидемия арестов и казней. У меня есть личный друг, очень мне дорогой, который три месяца назад был арестован в Ленинграде,— это врач, работавший в лаборатории, безобидный, чуждый всякой политике человек. Я написал в его защиту уж не помню сколько писем, Сталину, Ежову и т. д. и т. п. И меня не удостоили ни одного ответа, даже косвенного. Впрочем, после смерти Горького никто из советских «официальных лиц» ни разу не ответил мне на письма, которые я им посылал (всегда — для пользы дела). Не утешительно! К счастью, дело выше нас — и выше их! А делу я верен».

Верность д е л у — борьбе за счастье человечества, за мир между народами — это было для Роллана важнее всего. Он чувствовал потребность в сложившихся условиях, морально для него тяжелых, определить свою позицию, хотя бы для самого себя,— и сделал это в дневнике в конце 1937 года:

«Мне необходимо высказать здесь, каково на самом деле мое умонастроение по отношению к СССР. Я являюсь и остаюсь, до самых глубин моей души, его верным защитником. Я восхищаюсь им и люблю его непобедимый порыв, его мощное и напряженное развитие; я вижу в нем самую

---

[15] Jean Pérus. Romain Rolland et Maxime Gorki. Paris, 1968, p. 332.

[16] Цит. по книге: Dragan Nedeljković. Romain Rolland et Stefan Zweig. Paris, 1970, p. 192.

[17] Ibidem, p. 194.

[18] Cahiers Romain Rolland. D'une rive à L'autre. Hermann Hesse et Romain Rolland. Paris, 1972, p. 165.

прочную надежду на социальный прогресс человечества. Я, следовательно, буду вместе с ним — против всех врагов, которые ему угрожают».

Далее Роллан говорит о том, что внушает ему острое беспокойство и боль. Дело не только в громких судебных процессах, в осуждении отдельных крупных деятелей: Роллана еще больше тревожит то, что репрессии приняли массовый характер, отравляют и дезорганизуют всю жизнь страны. «В течение полутора лет (точнее — со времени смерти Горького) развернулся террор, который свирепствует по всему СССР... Смертельная тревога завладела всей политической жизнью Союза... В течение последних десяти месяцев царствует нездоровая атмосфера подозрительности и страха, которая замораживает перо писателей, парализует языки, унижает сердца». И тут же Роллан формулирует свою принципиальную позицию по отношению к культу личности: «...Я не Сталина защищаю, в СССР — кто бы ни стоял в его главе. Вреднейшая вещь — идолопоклонство по отношению к отдельным лицам, будь то Сталин, Гитлер или Муссолини. Я стою за дело свободных народов, хозяев своей судьбы» [19].

Роллан чувствовал на себе долю ответственности за то, что происходит в Советском Союзе,— именно потому, что он относился к нему не как посторонний, а как свой, близкий человек. Именно этим чувством личной причастности, заботой о международном и политическом авторитете Советской страны продиктованы строки из письма Роллана к писателю-коммунисту Жан-Ришару Блоку от 3.III.1938 года (в то время проходил суд над Бухариным, Рыковым, Крестинским и другими):

«Московский процесс для меня — терзание. Не хочу ничего писать здесь по существу дела — еще поговорим об этом. Однако резонанс этого события во всем мире, особенно во Франции и в Америке, будет катастрофическим.

Не думают ли лучшие друзья СССР, что надо было бы самым быстрым способом отправить советским властям письмо (закрытое, не предназначенное для печати), заклинающее их подумать о том, какие плачевные последствия для Народного фронта, для сотрудничества коммунистической и социалистической партий, для совместной защиты Испании будет иметь решение, приговаривающее осужденных к смертной казни? Именно в данный момент, когда ФКП делает все возможное, чтобы установить объединенный фронт трудящихся разных идейных тенденций, все ее усилия рискуют быть перечеркнутыми вследствие того морального отзвука, который получит такой приговор. А ведь, наверное, возможно (и было бы нужно) заменить его ссылкой, которая обезвредит осужденных, без того, чтобы возбуждать общественное мнение,—оно и так глубоко смущено».

Имя Сталина навсегда исчезло со страниц работ Ромена Роллана. Но он оставался другом СССР и дал этому свидетельства в кратких статьях-приветствиях, которые написал по просьбе советских газет и журналов к 20-й и 21-й годовщинам Октября, к 1 Мая 1939 года. Размышления писателя над судьбами СССР отозвались в законченной им в 1938 году монументальной трагедии «Робеспьер», задуманной еще в начале века. Перекличка с событиями современности явственно ощущается и там, где Роллан трезво оценивает достижения и роковые ошибки якобинской диктатуры; и там, где он раскрывает трагические заблуждения тех честных якобинцев, которые дали себя втянуть в термидорианский заговор и, сами того не желая, сыграли на руку самой черной реакции; и там, наконец, где он в символической форме утверждает силу и бессмертие революционного дела[20]. Закончив работу над трагедией, Роллан 9. IV. 1939 года послал ее критику Люсьену Прайсу с письмом, где, в частности, сказано: «Тут есть историческая правда, но есть и урок для современности... Несмотря ни на что человечество идет вперед. Но — какой ценой! С какими встрясками! И со сколькими миллионами жертв!»

С этим кратким суждением Роллана о трудных путях человеческого прогресса, высказанным в личном письме накануне второй мировой войны, любопытным образом перекликается суждение другого классика XX века, Томаса Манна, высказанное тоже в личном письме вскоре после окончания второй мировой войны: «...Я в глубине души убежден, что, как бы то ни было, человечество все-таки — хотя видимость и свидетельствует о противоположном — на хороший отрезок протолкнулось вперед. И оно ведь — живучая кошка...»[20а]

Автор «Жан-Кристофа» и автор «Доктора Фаустуса» по своему духовному складу были, разумеется, во многом несхожи. Но общая их черта, при всех различиях,— философский склад мышления, благодаря которому основные идеологические проблемы времени глубоко входят в образную суть их произведений. Именно это в первую очередь связывает их с русской классической литературой, которая сыграла едва ли не определяющую роль в творческом развитии их обоих. Отношение их к Советскому Союзу было неодинаково, но оно сопоставимо.

Сложный путь Томаса Манна от старобюргерского консерватизма к активному антифашизму исследован во многих работах, он отражен и в его публицистике, известной у нас. Но документы, обнародованные посмертно, дневники, письма вносят сюда новые оттенки, подчас существенные.

Еще в двадцатые годы Томас Манн ясно сознавал, что Октябрьская революция в России и связанные с нею события на Западе знаменуют новую эпоху в мировой истории. «Мировая революция стала непреложным фактом»[21],— так он прямо и говорит в статье «Любек как форма духовной жизни». К острым формам классовой борь-

[19] Jean Pérus. Romain Rolland et Maxime Gorki. Paris, 1968, pp. 335-336.

[20] Подробно об этом см.: Т. Мотылева. Трагедия Ромена Роллана «Робеспьер». Французский ежегодник, 1972. М., 1974.

[20а] Thomas Mann. Karl Kerengi, Gespräch in Briefen. Zürich, 1960, S. 146.

[21] Томас Манн. Собр. соч., т. 9. М., 1960, стр. 90.

бы он относился — до конца жизни — резко отрицательно; но никогда не поддавался антисоветским настроениям, к которым его не раз пытались склонить.

В 1932 году Томас Манн писал русскому прозаику-эмигранту И. Шмелеву: «Я, как человек не русский, правда, необыкновенно многим обязанный русской литературе, но по душевному складу скорей примыкающий к Западной Европе, не могу и не смею высказываться о сегодняшней России и о предпринятом ею грандиозном социальном опыте. Жизнеспособность этого нового государственного и общественного строя и его права на будущее могут быть доказаны или опровергнуты с ходом времени. Надо дождаться и тех культурных, художественных и поэтических свершений, которые породит этот новый мир»[22]. Нетрудно заметить, что в этих сдержанно-уклончивых оценках заключено, по сути дела, очень лояльное и уважительное отношение к «грандиозному социальному опыту» Советского государства. Когда в Германии в 1922 году было основано «Общество друзей новой России», Т. Манн вошел в состав его правления. К началу двадцатых годов относятся и его первые работы о русской литературе: «Русская антология», «Гёте и Толстой».

Дневники Томаса Манна периода эмиграции свидетельствуют, что мысли о России занимали в его духовной жизни гораздо больше места, чем можно судить по его опубликованным произведениям. Он перечитывал русских классиков почти непрерывно, об этом имеется множество записей; он слушал московские радиопередачи, читал литературные журналы на немецком языке, выходившие в Москве, и заносил в дневник свои впечатления о них.

В апреле 1936 года он получил от М. Кольцова приглашение приехать в Москву и некоторое время действительно собирался приехать. Но в конце июля пришло сильно смутившее его известие об аресте в Москве жены поэта Эриха Мюзама, погибшего в фашистском концлагере. Томас Манн написал письмо Кольцову с просьбой вмешаться, заступиться за ни в чем неповинную женщину: письмо датировано 1 августа,— возможно, что Кольцов его не получил, потому что был в Испании. Так или иначе, Т. Манн не дождался ответа на свое ходатайство; проект путешествия в СССР отпал сам собой. А в конце августа писатель был удивлен и возмущен сообщениями московского радио о процессе лиц, обвинявшихся в причастности к троцкистской оппозиции. Он не брался судить, действительно ли справедливы обвинения: его шокировал вульгарный, крикливый тон радиопередач, да и сам ход процесса. «Что подумать обо всех этих покаянных признаниях, за которыми последовал общий смертный приговор?.. Может быть, отчеты просто фальсифицированы? Или обвиняемым посулили помилование, если они дадут угодные правительству показания. Но характеры у них такие, что трудно в это поверить. Ведь речь идет о последних ленинцах... После обеда пришли газеты: 16 ленинцев, получивших после гротескных покаянных речей смертный приговор, действительно казнены. Ужасно». Три недели спустя, 12 августа, Т. Манн занес в дневник: «Озабочен — как относиться к России после процесса, который представляет собой глупость еще в большей мере, чем преступление»[23].

Порывать отношения с Советской Россией Томас Манн, как бы то ни было, не хотел. Получив весной 1937 года письмо от Союза писателей СССР с предложением — написать статью для сборника, посвященного 20-летию Октябрьской революции,— Томас Манн от этого предложения, по сути дела, отказался, но мотивировал свой отказ в развернутом послании, очень корректном по тону и представляющем собой своего рода кредо. Он заметил прежде всего, что «в сегодняшней Европе проявить коммунистические или хоть в какой-либо мере социалистические симпатии — значит принять на себя мученичество». А он не хотел подвергаться травле, носить ярлык «коммунистического писателя» — прежде всего потому, что не считает себя таковым. Ему чуждо само понятие диктатуры, хотя он понимает, что «вероятно, свобода без диктаторских черт и элементов уже немыслима и невозможна на земле». Он подчеркивает свое неизменное уважение к «мощному социальному эксперименту, каким является русская революция»; он выражает надежду, что «новая советская конституция» поможет народу СССР идти дальше по пути свободы и демократии...[24] В дневнике за тот же 1937 год находим записи о встречах со случайными знакомыми, которые рассказывают «очень интересно, в положительном смысле, о развитии Советского государства», передают «очень благоприятные впечатления о России»[25]. Писателя несомненно радовала подобного рода информация — отчасти и потому, что его все больше возмущала политика «умиротворения» по отношению к фашистской Германии, проводившаяся западноевропейскими державами.

С глубоким огорчением Томас Манн (как, впрочем, и многие другие западные антифашисты) воспринял советско-германский пакт о ненападении: он не мог понять причин, вынудивших Советское правительство совершить такой шаг, и временами поддавался расхожим суждениям о родстве фашизма и большевизма. Однако нападение гитлеровской Германии на СССР вызвало у него новый прилив симпатий к Советской стране. Вначале он (в отличие от своего брата Генриха) не верил в возможность победы СССР, а потом стал с нарастающим чувством торжества чуть ли не каждый день отмечать в дневнике успехи советского оружия. Восхищение подвигами советского народа, коренящееся в давней привязанности к «великой, святой, глубоко человечной культуре России», отчетливо выражено

---

[22] Thomas Mann. Briefe 1889—1936, Frankfurt am Main, 1961, S. 324.

[23] Thomas Mann. Tagebücher 1935—1936. Frankfurt am Main, 1978, S. 358, 359, 364.

[24] Thomas Mann. Briefe 1937—1947. Frankfurt am Main, 1963, S. 18-21.

[25] Thomas Mann. Tagebücher 1937—1939. Frankfurt am Main, 1980, S. 16, 37.

в его открытом письме Алексею Толстому, написанном летом 1943 года и недавно опубликованном на русском языке[26].

В годы войны Томас Манн самокритично размышлял о себе, о своих давних националистических заблуждениях, о своих недавних неверных оценках советской политики. 5 июля 1942 года он записал: «Для меня эта война — искупление былых тяжких провинностей. Она не была неизбежной. «Мировой революции» я не боюсь. Я бы относился к коммунизму лояльно и с готовностью, даже с радостью подчинился бы его диктатуре, если бы надо было выбирать между ним и нацизмом»[27]. Он старался уяснить сам себе, насколько советское общество и государство по самой сути противоположно третьему рейху. «В России революция возвысила массы, а тут (в Германии.— Т. М.) они «организованы» в стадо самого низменного пошиба»[28]. Однако он решительно отказывался отождествлять смысл Октябрьской революции со Сталиным и его окружением: «Можно было с симпатией принимать новый, в известном смысле коммунистический мир, каким он вырисовывался вначале. Но в руки каких негодяев попало осуществление его дела!» [29] Отношение Т. Манна к Сталину в годы войны было и оставалось противоречивым; читая номер «Интернационале литератур», посвященный победе над гитлеровской Германией, он отметил: «Трудно переносимы эти славословия Сталину в византийском духе. Но в конечном счете его личный вклад огромен» [30].

Т. Манн надеялся на прочный союз «социализма и демократии, России и Америки» [31] и глубоко горевал, что его надежды не оправдались. Его углубившиеся за годы войны добрые чувства к советскому народу выражены во многих письмах и интервью последних лет жизни. Его сильно тревожила деятельность милитаристских сил в капиталистическом мире, он старался противостоять такого рода тенденциям где только мог (делая при этом свои обычные оговорки о несогласии с коммунизмом). «Не могу себе представить,— сказал он в 1949 году американскому журналисту,— чтобы коммунизм стал подходящей политической формой для Германии. Но не могу одобрить взвинченной антибольшевистской пропаганды, за которой часто стоят реакционные круги. И я чувствую большую симпатию к культурным свершениям русских. Я не хотел бы лишиться произведений Толстого и Достоевского» [32].

В последние годы Томаса Манна сильно тревожило, что в стране, создавшей высочайшие образцы духовной культуры, талантливые писатели и композиторы подвергаются необоснованным преследованиям, обвинениям в формализме и безыдейности. Он возмущался разносной, грубой критикой, унижающей достоинство искусства. И это омрачало его отношение к СССР. В беседе с французской журналисткой Доминик Арбан в 1950 году он отрицательно отозвался о «сталинском эксперименте, ставящем культуру на службу невежеству». И сделал в этой же беседе ответственное политическое обобщение, тем более примечательное, что оно было высказано в разгар «холодной войны»:

«...Когда я говорю о коммунизме, я не имею в виду сталинизм, нет. Я имею в виду коммунизм и русскую революцию 1917 года. Это было большое политическое событие, социальная революция, последовавшая за политической революцией, французской— и та и другая оставила след в жизни человеческого общества» [33].

3. Необходимость пересмотра

Итак, позиция, к которой пришли, в итоге трудных размышлений, и Ромен Роллан, и Томас Манн (в менее ясной форме и Стефан Цвейг) сводилась к формуле: «Советский Союз — да, сталинизм — нет». Пусть эта позиция могла стать известной лишь узкому кругу их корреспондентов и собеседников — принципиально важно, что хотя бы некоторые из старых, всемирно известных мастеров культуры смогли непримиримо критически отнестись к сталинским злодеяниям и вместе с тем уберечься от заразы антисоветизма.

Подобные проблемы вставали начиная с середины тридцатых годов и перед писателями более молодыми, придерживавшимися коммунистической ориентации чуть ли не с начала своего творческого пути. Вполне понятно их восторженное восприятие Октябрьской революции; вполне объяснимы и их горестные переживания, когда они убеждались, насколько велик разрыв между идеалами Октября и действительностью,— и те чувства и навыки революционной дисциплины, которые побуждали их не разглашать свои критические суждения.

Бертольт Брехт — один из крупнейших революционных писателей нашего века — не был членом коммунистической партии, но по идейному складу был коммунистом, усиленно штудировал классиков марксизма, был глубоко предан памяти Ленина. Его привязанность к Советскому Союзу, к русской революционной культуре нашла выражение, еще до гитлеровского переворота, в пьесе по повести Горького «Мать», которая до сих пор держится в репертуаре передовых театров. Советской стране посвящены многие его известные стихотворения разных лет — «Переезжая границу Советского Союза», «Ковровщики Куян-Булака чтят Ленина», «Московский рабочий класс принимает великий метрополитен 27 апреля 1935 года», «Эпитафия Горькому» и другие.

Выше упоминалось, что Брехт одобрил книгу Фейхтвангера «Москва. 1937». В его

---

[26] «Иностранная литература», 1987, № 11, с. 210—211.

[27] Thomas Mann. Tagebücher 1940—1943. Frankfurt am Main, 1982, S. 448.

[28] Ibidem, p. 351.

[29] Ibidem, p. 352.

[30] Thomas Mann. Tagebücher 1944—1946. Frankfurt am Main, 1986, S. 281.

[31] Thomas Mann. Briefe 1937—1947, Frankfurt am Main, 1963, S. 228.

[32] Frage und Antvort. Interviews mit Thomas Mann. Hamburg, 1983, S. 298.

[33] Ibidem. S. 320-321.

рукописном наследии нашлась даже заметка, относящаяся, вероятно, к 1937 году, где сделана попытка оправдать «московские процессы» необходимостью обороны СССР. Но Брехту скоро пришлось усомниться в своей правоте. Находясь в эмиграции в Дании, он узнал об аресте и гибели своего близкого друга, известного советского писателя С. Третьякова. И излил свои чувства в стихотворении «Непогрешим ли народ?»:

Мой учитель,
Огромный, приветливый,
Расстрелян по приговору суда народа.
...Сыны народа решили, что он виновен.
Колхозы и принадлежащие рабочим заводы,
Самые героические учреждения в мире,
Считают его врагом.
Ни один голос не поднялся в его защиту.
А что, если он невиновен?

...Враг переодет.
Он нахлобучивает на глаза рабочую кепку.
Его друзья
Думают, что он усердный работяга, его жена
Тычет вам дырявые подметки,
Которые он истоптал, служа народу.
И все же он враг. Но был ли таким мой учитель?
А что, если он невиновен?

Опасно говорить о тех врагах, которые засели
в судах народа,
Потому что суды следует уважать...
Преступник держит наготове доказательства
своей невиновности.
У невинного часто нет никаких доказательств.
Но неужели в таком положении лучше всего
молчать?
А что, если он невиновен?

(Перевод Б. Слуцкого)[34]

Можно, конечно, истолковать это стихотворение просто как выражение горя по поводу единичной судебной ошибки. Но это будет вряд ли правильно. Намек на «врагов, которые засели в судах народа», достаточно выразителен. Брехт понимал, что тут не просто частный случай. Вести, приходившие из Москвы (возможно, окольными путями), подтверждали его худшие опасения. В январе 1939 года он записал в свой «Рабочий дневник»:

«Кольцов тоже арестован в Москве — последний русский, с которым я поддерживал связь. Никто ничего не знает о Третьякове, который будто бы «японский шпион», Рейх и Ася Лацис больше мне не пишут, Грета не получает ответов от своих кавказских и ленинградских знакомых. Бела Кун тоже арестован — единственный политический деятель, с которым я виделся. Мейерхольд лишился театра, говорят, ему разрешено ставить оперы. Литература и искусство в жалком положении, политическая теория пошла к чертям собачьим, остается лишь проповедуемый чиновниками жидкий бескровный пролетарский гуманизм. В официальной статье («Торжество теории Ленина и Сталина о победе социализма в Советском Союзе») некто Воскресенский в качестве сталинской теории выдает такое: «отмирание государства происходит через его всестороннее укрепление», и: «социалистическое государство необходимо для того (!), чтобы привить массам новую, социалистическую, дисциплину труда»... О политической «демократии» ничего не узнаешь, кроме фраз, и ничего нельзя узнать о социальных формах организации производства. Для зарубежных марксистов отсюда вытекает, что нужно занять примерно ту же позицию, какую Маркс занимал по отношению к немецкой социал-демократии: положительно-критическую»[35].

Этой позиции по отношению к Советскому Союзу Брехт следовал до конца своих дней. Он был и оставался верен делу социализма, никогда не позволил бы себе сделать или сказать публично то, что могло бы повредить Советскому Союзу. Но он раз и навсегда перестал считать, что все, что делается в СССР, справедливо и что его руководители всегда правы. Он охотно делился своими критическими соображениями по разным поводам с друзьями-единомышленниками или фиксировал свои суждения в «Рабочем дневнике». В этой книге отражаются самые разные грани мысли Брехта, часто противоречивой; он то критикует советскую внешнюю политику (в период действия пакта о ненападении с Германией), то высказывает в дневнике свое раздражение по адресу советских литературоведов, ведущих бесплодные споры о реализме; так или иначе, в период Отечественной войны здесь доминируют мотивы симпатии, уважения, подобные следующей записи: «И день и ночь на снежных полях под Смоленском бушует борьба за достоинство человека»[36].

Еще в начале тридцатых годов Брехт начал работу над книгой, рукопись которой сопровождала его на всех стадиях эмиграции и которая была опубликована посмертно. Это — собрание философских фрагментов, заметок, притч, под общим названием «Ме-ти». В самом ее замысле отозвалось увлечение Брехта китайской культурой. Ме-ти — по принятой у нас транскрипции, Мо-ди, или Мо-цзы,— китайский мыслитель, живший в V веке до нашей эры; его очень ценил Толстой (о чем Брехт, быть может, и не знал). Книга «Ме-ти» — стилизация древнекитайских философских трудов: здесь излагаются в сжатой афористической форме воззрения Учителя, но фигурируют и вымышленные персонажи, носящие имена в китайском стиле. Реальные исторические лица предстают под шифрами: Маркс носит имя Ка-ме, Ленин — Ми-ен-ле, Сталин — Ни-ен, Троцкий — То-ци, Советский Союз именуется — страна Су (Sowjetunion), слово «социализм» зашифровано обозначением «Великий Порядок». Такая форма изложения давала писателю возможность высказывать свои суждения в остраненно-лапидарной манере и, быть может, привлекала его и по соображениям конспирации: в годы своих скитаний он всегда мог опасаться ареста или обыска.

Несколько раз на протяжении книги встает контраст: Ленин — Сталин. Скромность Ми-ен-ле, его способность убеждать противоположна властолюбию и тщеславию, присущему Ни-ену, который предпочитает действовать не убеждением, а приказами. После смерти Ми-ен-ле идет борь-

[34] Бертольт Брехт. Театр, т. 5-й, ч. 1. М., 1965, с. 481—482.

[35] Bertolt Brecht. Arbeitsjournal 1938—1955. Berlin und Weimar, 1977, S. 23.

[36] Ibidem, S. 273.

ба за власть между Ни-еном и То-ци. И «многое происходило так, как хотел То-ци, а не так, как хотел Ни-ен»[37] — иначе говоря, по мысли Брехта, Сталин на практике отчасти следовал идеям Троцкого. Брехт устами Ме-ти одобряет деятельность Сталина в области экономики, промышленности, признает за ним как заслугу то, что он «поднял производство», но порицает его за то, что окружен облаком фимиама, «столь густым, что лица не видно»[38]. Ни-ен был прав, когда отстаивал возможность построения Великого Порядка в одной стране. Действительно, в стране Су заложены и развиваются некоторые основные начала Великого Порядка. «Но новая система, самая прогрессивная в мировой истории, работает еще плохо, недостаточно органично и требует такого напряжения, такого частого применения насилия, что пределы свободы отдельной личности очень ограничены... Отсутствие свободы мнений, свободы союзов, подхалимство, произвол властей — все это показывает, что далеко не все основные начала Великого Порядка осуществлены и развиваются»[39].

В 1948 году Брехт приехал в Берлин. После долгих лет странствий, лишений, опасностей он получил возможность работать в полную силу и как писатель, режиссер и как общественный деятель — один из ведущих мастеров культуры Германской Демократической Республики.

После XX съезда КПСС (и незадолго до своей кончины, последовавшей в августе 1956 года) Брехт написал небольшую статью в форме тезисов — в собрании его политических сочинений она озаглавлена «О критике Сталина». Ее стоит привести здесь полностью:

«1. Разрушение капиталистического варварства может само еще обнаружить черты варварства. Возникший таким образом варварский порядок на первых порах может нести черты бесчеловечности, в силу того, что пролетариат, как описано Марксом, содержался в бесчеловечных условиях. Революция развязывает в людях в одно и то же время чудесные добродетели и застарелые пороки. Для освобождения от пороков требуется больше времени, чем для революции. Она пройдет во второй раз (в Китае) несколько легче — также и в менее отсталых странах, где первоначальное накопление капитала продвинулось дальше.

2. Одно из вредных последствий сталинизма — пренебрежение диалектикой. Без знания диалектики непонятны такие переходы, как превращение Сталина из мотора в тормоз. Непонятно также, как аппарат подмял под себя партию. Так же — как борьба мнений превратилась в борьбу за власть. Так же — как идеализация и возведение в легенду руководящей личности, имевшие целью завоевание широких отсталых масс, обернулись отрывом от масс и обрекли их на пассивность.

3. Оценка Сталина под углом зрения истории требует работы историков. Ликвидация сталинизма может состояться лишь при условии гигантской мобилизации мудрости масс силами партии. Она лежит на прямом пути к коммунизму.

4. Обожествление Сталина (болезненно) перейдет в полный отказ от всяких божеств»[40].

Таков итог долголетних размышлений Брехта над проблемами, которые поставила перед коммунистическим движением судьба русской революции.

Гораздо более тяжко далось избавление от иллюзий сталинизма другому писателю, стоящему у истоков немецкой социалистической поэзии,— Иоганнесу Р. Бехеру.

Жизнь и творчество Бехера тесно связаны с нашей страной. Он много раз бывал у нас и из двенадцати лет эмиграции десять провел в Москве. Советская тема, ленинская тема занимают большое место в его творчестве — достаточно назвать, помимо ряда лирических стихотворений, поэму «У могилы Ленина» (1924), поэму о пятилетке «Великий план» (1931), стоит назвать, наконец, драму «Зимняя битва» («Битва за Москву»), написанную в ноябре—декабре 1941 года и озаренную перспективой полного разгрома германского фашизма.

Годы пребывания в СССР — ответственный период в жизни Бехера. Здесь были написаны некоторые лучшие его книги стихов, завершен роман «Прощание»; здесь он мог беспрепятственно публиковать свои произведения на языке оригинала; в качестве ответственного редактора журнала «Интернационале литератур» он мог поддерживать своих коллег, нашедших убежище в других странах, мог в известной мере быть организатором антифашистских литературных сил. В период жизни в СССР— Бехер впоследствии не раз говорил и писал об этом — он обогатился ценным опытом, который очень пригодился ему в строительстве немецкой социалистической культуры.

Но с дистанции лет мы можем видеть и обратную сторону медали. Получив гражданство СССР, вступив в семью советских писателей и участвуя в литературной жизни нашей страны, Бехер вместе с тем принял и неписаные законы, которым подчинялась советская литература. Он воспринял и по-своему поддерживал культ личности Сталина и как редактор журнала, и отчасти как писатель. Его поэма «Ялта», в одном из разделов которой прославляется Сталин, носит печать декларативности, риторики. Это одно из наименее удачных его произведений.

По натуре Бехер был человеком независимым, можно сказать — ершистым, часто резким в своих высказываниях. Он откровенно говорил с советскими друзьями и знакомыми о том, что его беспокоило, осуждал проявления бюрократизма, формального отношения к делу (об этом могу свидетельствовать по личным воспоминаниям). Но авторитет Сталина для него — как и для очень многих — был незыблем.

[37] Bertolt Brecht. Prosa. Band IV. Berlin und Weimar, 1975, S. 70.

[38] Ibidem, p. 160.

[39] Ibidem, p. 170.

[40] Bertold Brecht. Schriften zur Politik und Gesellschaft. Band II. Berlin und Weimar, 1968, S. 223-224.

Когда в феврале 1942 года появился приказ Верховного главнокомандующего с многозначительной фразой «Гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остается», Бехер отозвался на «сталинский приказ» статьей в «Правде», растроганной, взволнованной. И это можно понять.

Бехер тщательно берег письмо Б. Л. Пастернака от 25.IX. 1940 года (написанное по-немецки). В нем была дана высокая оценка книги Бехера «Второе рождение»: «Поздравляю тебя сердечно, это победоносное счастье, обладать таким богатством, как твоя книга, таким островом в сегодняшнем море лжи»[41]. Задумался ли Бехер над словами «море лжи»? Вероятно, задумался, но держал свои размышления при себе.

Лишь много лет спустя, в 1957 году, был создан четырехчастный цикл автобиографических стихотворений «Мастерская», где в третьей части, «Москва, Лаврушинский переулок», было в нескольких строках передано душевное состояние, испытанное многими москвичами в 1937—1938 годах. Цитирую эти строки в новом, уточненном переводе, принадлежащем Г. Ратгаузу:

Звонок к соседу. Я в ночной рубахе.
Не постучат ли нынче в дверь твою?
Исчез бесследно... Про́клятые страхи!
Я сам себя подчас не узнаю...

Бехер умер в 1958 году. Для осмысления итогов XX съезда КПСС у него было не так много времени. Но это осмысление ощутимо в его последних книгах, опубликованных при жизни,— в собрании стихов «Шаг середины столетья» и в завершающей части его теоретического цикла «Поэтический принцип». Тема борьбы против догматизма проходит через весь цикл теоретических работ Бехера — в последней части она заметно усиливается. Бехер настойчиво напоминает, что «поэзия не терпит монополии или диктатуры», что в этой области неуместен «любой вид администрирования, любая попытка насильственного утверждения». Он возражает против примитивного понимания тезиса «искусство — оружие»: «В оружейных палатах искусства немало и заржавленного утиля, который давно уже нужно было бы пустить в переработку». Искусство должно стремиться к целостному эстетическому освоению мира, в частности и к познавательно-критическому его освоению...»[42] Уже в этих суждениях Бехера сказывается раскрепощающее влияние XX съезда КПСС.

Бехер был первоначально намерен реагировать на XX съезд и в более прямой форме. Он включил в «Поэтический принцип» страницы самокритической исповеди, где отчетливо говорится, что его уважение к Сталину было глубоким и искренним, но что у него постепенно накапливались сомнения, которые он не считал себя вправе высказать. Однако перед сдачей книги в печать поэт изъял эти страницы (возможно, считая их неуместными в книге, посвященной вопросам поэтики). Они поныне хранятся в Архиве Бехера в Берлине.

Книга стихов Бехера «Шаг середины столетья» разнообразна по тематике. Она включает и известный у нас «Вселенский манифест», приветствующий первые успехи Советского Союза в освоении космического пространства, и стихи на «вечные» темы лирики — любовь, верность, старость, смерть. Есть там и несколько стихотворений, непосредственно откликающихся на острые проблемы времени.

В сонете «Безымянные» лирический герой размышляет о тех годах, когда «вычеркивались многие имена», когда «человек сам не мог судить, в какой игре требуется его участие...». В другом сонете, «Необъяснимое», поэт признается, что его и после возвращения на родину тяготила неотвязная печаль, непонятная ему самому. Теперь «раскрыта тайна», и он может понять природу того глубокого горя, которое его издавна обременяло. Об этом же говорит сонет «Возвращение». Человек успокаивает себя: «Мои-то руки не окровавлены!» — и все же его руки дрожат, однако он прислушивается к своему внутреннему голосу: «Ты прощен, сделай что можешь, чтобы времена переменились!» Но мотивы самокритики, даже покаяния, усиливаются в сонете «И все же»: «Я сам себя обманывал идиллиями, я поддавался вредному безумию...» Сонет «Хорошо продумано» опять вносит ноту уверенности: несмотря на понесенные жертвы, наше дело живет и будет жить — «Чего мы достигли, никто у нас не может отнять».

Два стихотворения, сильных по мысли и мастерству, примыкающих к той же тематической группе, не были включены Бехером в сборник. По соображениям осторожности? Да, может быть: самому поэту было нечего бояться, но он считался с обостренной идеологической атмосферой — не только в ГДР, но и во всех социалистических странах Европы — в связи с событиями 1956 года в Венгрии.

Сюжет стихотворения «Верный человек», как объяснила мне вдова поэта, Лилли Бехер, был прямо подсказан судьбой венгерского коммунистического деятеля Ласло Райка, безвинно осужденного и посмертно реабилитированного. Это — своего рода трагическая микроновелла. Заключенный дал себя убедить, что он должен признаться в преступлениях, им не совершенных,— якобы для пользы общего дела. Ценой самооговора будет помилование и свобода: так ему обещано. Но его ведут на расстрел.

Сонет «Во свете и во тьме» — обобщение тех внутренних противоречий, психологических контрастов, которые были испытаны «в те самые годы» и поэтом, и многими другими. Гордость достигнутым — и чувство унизительного страха; ощущение величия переживаемой эпохи — и постоянная неуверенность в окружающих, всеобщая подозрительность, отравляющая жизнь... «Тьма» постоянно соседствовала со «светом» — но тут не может быть успокаи-

[41] Факсимиле письма воспроизведено в книге:
Johannes R. Becher. Bild-Chronic seines Zebens. Berlin, 1963, S. 148.

[42] И. Р. Бехер. О литературе и искусстве. М., 1981, с. 289 и 321.

вающего равновесия, память о «тьме» неизгладима[43].

Это стихотворение — наиболее открытое выражение той духовной драмы, которая много лет тяготела над поэтом-коммунистом и с особой силой была им испытана в последние два года жизни.

Аналогичную духовную драму пережил, быть может даже и в более острой форме, Луи Арагон.

Поворотной точкой в его судьбе и творческом развитии стал год 1930-й, когда он, молодой поэт-сюрреалист, в первый раз приехал в СССР, принял участие в конференции революционных писателей в Харькове, побывал на Днепрогэсе. Он вспомнил об этом в речи на Конгрессе клубов им. Джона Рида в Нью-Йорке в 1935 году: «Да, с тех пор для меня стало очевидным, что самое насущное, единственно достойное дело для человека и поэта — прославлять новый мир... Отныне я включился в повседневную борьбу новых Титанов социального неба...»[44] Это решение Арагона отозвалось в его поэме «Красный фронт», цикле стихов «Ура, Урал!» и стихотворениях разных лет; оно в конечном счете определило и замысел большого цикла романов «Реальный мир».

В поэме «Незаконченный роман», вышедшей в 1955 году, Арагон говорит о своих давних московских впечатлениях:

Я знал толкотню и давку меж некрашеных
сроду досок,
Знал квартиры, которые делят, как в голод —
хлеба кусок,
Коридоры в жесткой ангине, сварливые голоса,

Клопы и перегородки, злобу и примуса...
Откуда же в скудном свете тех незабытых лет
Вдруг свершается чудо, загорается яркий свет?[45]

(Перевод М. Алигер)

Скудость, неустроенность московского быта в годы первых пятилеток ни в коей мере не смущали французского поэта — напротив, он склонен был видеть во всем этом доказательство стойкости советских людей, которые строят новую жизнь в трудных условиях.

Но в 1936—1937 годах — когда Арагон с Эльзой Триоле два раза подряд побывали в СССР — перед ними встали новые проблемы. Поэт почувствовал нечто гнетущее, напряженное в атмосфере дома Горького в дни после его смерти. Прошло еще немного времени — и он узнал об аресте и гибели М. Кольцова, с которым давно дружил; узнал об аресте комкора В. Примакова, с которым встречался в доме Лили Брик; узнал об аресте Тухачевского и других виднейших советских военачальников. Вспоминая обо всем этом в романе «Гибель всерьез», Арагон признается, что «у нас тогда была вера угольщиков» (то есть слепая вера — 48), что он представлял себе Советский Союз как «мир розовой библиотеки» (так называлась популярная серия детских книг — 57)... Арагона и Эльзу Триоле поразило, что философ И. Луппол, автор серьезной книги о Дидро, исчез неизвестно куда, а книга была изъята из продажи; поразило, что врачи, лечившие Горького, были вскоре после его смерти объявлены убийцами. В романе «Гибель всерьез» приводятся слова героини романа: «Почему он так недоверчив, Сталин? Мне непонятен мир, где недоверие стало правилом,— ведь если надо изменить мир, то для того, чтобы он стал миром доверия»... (48). С горькой иронией передается то, что сказал Михаил Кольцов перед отъездом из Парижа: «Запомните последние слова, которые вы слышали от меня. Запомните, что Сталин всегда прав» (66)[46].

Беззакония в СССР — далеко не единственная тема романа «Гибель всерьез», представляющего своеобразный сплав воспоминаний, лирических монологов, вставных новелл. Здесь речь идет и о любви, и о ревности, и о судьбах искусства. Сквозной, объединяющий мотив здесь — двойственность или даже множественность личности, совмещение в одном человеке добра и зла, веры и сомнения, скромности и тщеславия, искренности и приспособленчества. Стоит привести здесь строки из характеристики этого романа, принадлежащие одному из старейших советских литературоведов, А. В. Чичерину:

«Такого естественного и глубинно взбудораженного обращения к читателю, такого трагедийно звучащего голоса мы еще в романах, может быть, и в стихах его не слыхали. Все, о чем сказано в этой книге, глубоко тревожит ее автора и требует разрешения. Человек. Истинное в нем и ложное. Выдуманное и настоящее...

Не личная трагедия, не чье-то индивидуальное несчастье — социальный ущерб и гибель всерьез как характерное бедствие современного человека — вот о чем сообщает нам возбужденный и прерывистый голос»[47].

А. Чичерин далее критикует Арагона за хаотичность, нечеткость структуры романа. Но эта хаотичность отвечает тому душевному смятению, которое испытывает герой романа и которое хорошо знакомо Арагону. А истоки этого душевного состояния — те жизненные факты, которые так мучительно ошеломили его в 1937 году. Из этих фактов вырастает обобщение: «В нашу эпоху людей-двойников добро и зло даже и не нуждаются в том, чтобы принимать символическое обличье, они существуют в одном и том же человеке как альтернатива души, и тот, кто ненавидит войну, может с честными намерениями совершать поступки, которые ее развязывают,— понятно?»[48].

Переживания «страшного года, который изуродовал историю великого героического народа»[49], окрасили в трагические тона многие страницы позднего творчества Арагона. Он возвращается к этим пережива-

[43] Johannes R. Becher. Gesammelte Werke. Band 6. Gedichte 1949—1958. Berlin und Weimar, 1973, S. 405, 407, 408, 433, 438, 529, 530.

[44] Aragon. L'Oeuvre poétique. Tome VI. Paris, 1975. p. 254-255.

[45] Арагон. Собр. соч., т. 9-й. М., 1960, с. 578.

[46] Aragon. La mise à mort. Paris, 1965 (Страницы указны в скобках.)

[47] А. В. Чичерин. Ритм образа. Издание второе. М., 1980. с. 222—223.

[48] Aragon. La mise a mort, p. 91.

[49] Aragon. L'Oeuvre poétique. Tome VII. Paris, 1977. p. 283.

ниям и в лирическом романе «Бланш, или Забвение», вспоминая о том, как в 1956 году перечитывал роман классика немецкой литературы Гёльдерлина «Гиперион». Горестная исповедь грека, который борется за освобождение своей родины от турецкого ига и возмущен резней и грабежами, учиненными его товарищами, ассоциируется у Арагона с фактами, которые осквернили облик русской революции. «Эта горечь — это была и моя (и наша) горечь, испытанная в то время... Ах, как я понимал это горе и этот стыд!»[50]

Советский народ, как бы то ни было, оставался для Арагона «великим героическим народом». Но страшная правда о размахе былых преступлений, раскрытая на XX съезде, не переставала мучить его.

В последние годы жизни Арагон выпустил многотомное собрание своих поэтических произведений, куда включил и автобиографические очерки-комментарии. В седьмом томе, посвященном 1936—1937 годам, возникает новый для Арагона мотив личной ответственности, личного соучастия в вине. Он пишет: «Год 37-й — это год чудовищных больших процессов, которым я, впрочем, аплодировал...»[51] В книге полностью воспроизведена статья Арагона, напечатанная в журнале «Коммюн» в марте 1937 года, где автор прославлял Сталина и обличал лиц, объявленных «врагами народа». К статье сделано примечание: «Нельзя перечитывать без стыда эту «прозу» спустя сорок лет, но, что поделаешь, приходится признать свое отцовство»[52]. В интересах истины надо добавить, что тут же рядом перепечатаны статьи пяти советских писателей, написанные в то же время и в том же отвратительном духе. (Из уважения к их памяти не буду называть их имена.)

Можно спорить, действительно ли было необходимо Арагону сорок лет спустя выставлять напоказ былые заблуждения — свои и не только свои. Но нельзя отказать ему в гражданском мужестве, с каким он это сделал. Своеобразным актом покаяния он внес свой вклад в познание событий «страшного года».

* * *

Факты и документы, собранные здесь, разумеется, не исчерпывают тему, это лишь первоначальный подступ к ней. Но думается, что они представляют принципиальный интерес. Без осмысления таких фактов сегодня уже нельзя серьезно изучать творчество писателей, о которых здесь шла речь. И нельзя серьезно изучать историю нашей страны, нашей революции, не учитывая, насколько сложным, противоречивым было воздействие, которое она оказывала на современников за рубежом. В частности, на творческую интеллигенцию.

Суждения иностранных писателей, приведенные выше, не всегда следует воспринимать как непреложную истину: тут каждый раз действовали и субъективные факторы, особенности идейной позиции, идейного пути каждого из писателей. Так или иначе, эти суждения свидетельствуют, какой существенный ущерб моральному авторитету нашей страны нанесли злоупотребления и преступления, связанные с культом личности. Они свидетельствуют вместе с тем, как близко к сердцу зарубежные мастера культуры принимали трагические события в жизни Советского Союза. А главное, свидетельствуют: лучшие, наиболее проницательные из этих мастеров сумели понять, что негативные моменты нашей истории не вытекают из сути социалистических идей и не могут заставить забыть о героических делах народа, совершившего впервые в мировой истории социалистическую революцию и одержавшего победу над фашизмом.

---

[50] Aragon. Blanche, on l'oubli. Paris, 1967, pp. 435-436.

[51] Aragon. L'Oeuvre poètique. Tome VII, p. 281.

[52] Ibidem, p. 297.

ГАННА КРАЛЛЬ

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

Перевод с польского К. СТАРОСЕЛЬСКОЙ

От переводчика

В апреле нынешнего года Польша торжественно отмечает сорокапятилетие восстания в варшавском гетто.

Фашистские войска вступили на территорию Польши в 1939 году, а уже в сороковом во многих городах оккупированной страны были созданы «еврейские жилые районы» — отгороженные от остальной части города кварталы, где под неусыпной охраной жило, а вернее, медленно умирало загнанное туда еврейское население. Начавшаяся вскоре планомерная ликвидация гетто завершилась в сорок третьем году. Однако в Варшаве ворвавшимся на улицы гетто вооруженным фашистским отрядам неожиданно было оказано сопротивление. Неравная борьба продолжалась недолго: в середине июля развалины полностью уничтоженного района окончательно опустели. Но до того нескольким группам участников восстания удалось выбраться из-за стен. Об одном из них, члене штаба повстанцев Мареке Эдельмане, написана книга. Называется она: «Опередить Господа Бога», издана в Кракове в 1977 году. Автор, Ганна Кралль, нарисовала «двойной» портрет своего героя. На страницах этой небольшой книжечки встретились и перемешались два времени: последние страшные месяцы существования гетто, рассказ о которых записан со слов Эдельмана, и последующие — в мире без войны — годы жизни и работы его самого и его коллег-медиков (Эдельман — кардиолог, ординатор одной из лодзинских клиник).

Книга Ганны Кралль вызвала огромный интерес — и не только в Польше, где в памяти еще многих живо время войны и оккупации. Меньше чем два года спустя выходит второе издание (сейчас — к апрелю 1988 года — готовится третье, очень большим для Польши — пятидесятитысячным — тиражом); за короткое время книга переведена на 12 языков; предисловие к западногерманскому изданию написал Вилли Брандт.

Нашлись у этого уникального репортажа и противники; возмущение вызывала как бы намеренно «антигероическая» позиция героя. Эдельман, говоря о прошлом, всячески избегает пафоса и громогласия, не допускает ни малейших прикрас, никаких преувеличений и отступлений от того, что происходило в действительности. О мужественной борьбе горстки обреченных на истребление людей, героизму которых

© Copyright by Hanna Krall, Kraków, 1977.

отдал дань уважения даже руководитель акции по уничтожению гетто, эсэсовский генерал Юрген Штроп [1], рассказывается обыденным, сдержанным, нарочито приземленным тоном. Столь же бесстрастно описан ужас повседневного существования, не укладывающиеся в уме, но ставшие внутри стен гетто реальностью бытовые подробности, невозможные в нормальной жизни поступки, в которые вместилось все — от проявления высочайшего благородства до утраты человеческого облика.

Однако слышимые нами скупые, негромкие слова — лишь оболочка, скрывающая огромное напряжение неустанного состязания с Господом Богом, состязания, победить в котором — значит спасти по крайней мере еще одну человеческую жизнь. И уж совсем не обозначенная, незримая, постоянно присутствует на страницах книги сама История.

[1] См. Казимеж Мочарский. «Беседы с палачом». «Знамя», 1987, № 5 (перевод С. Ларина).

— На тебе в тот день был красный пушистый джемпер. «Отличный джемпер,— добавил ты,— из ангорской шерсти. Очень богатого еврея...» Поверх два кожаных ремня крест-накрест, а посередине — на груди — фонарик. «Надо было меня видеть!» — сказал ты мне, когда я спросила про девятнадцатое апреля...

— Так и сказал?

Холодно было. В апреле по вечерам бывает холодно, особенно когда ешь мало, вот я и надел джемпер. Да, я его действительно нашел в вещах одного еврея; после того, как их семью выволокли из подвала, я взял себе джемпер из ангорской шерсти. Отменного качества: у этого типа была куча денег, перед войной он пожертвовал в ФОН [1] на постройку самолета или танка, чего-то в этом роде.

Я знаю, ты любишь такие детали, потому, наверно, про него и упомянул.

— Ну нет. Упомянул — поскольку хотел кое-что подчеркнуть. Деловитость и спокойствие. Вот что тебе было нужно.

— Просто я говорю так, как мы все тогда об этом говорили.

— Стало быть, джемпер, ремни крест-накрест...

— Допиши еще: два револьвера. Это был высший шик — револьверы на ремнях. Нам тогда казалось, у кого есть два револьвера, у того есть все.

— Девятнадцатое апреля: тебя разбудили выстрелы, ты оделся...

— Нет, пока еще нет. Меня разбудили выстрелы, но было холодно, к тому же стреляли далеко и вставать было незачем.

Оделся я в двенадцать.

С нами был парень, который принес с арийской стороны оружие — он собирался сразу идти обратно, но было уже поздно. Когда начали стрелять, он сказал, что у него в Замосьце в монастыре дочка и он знает, что живым не останется, а я останусь и потому должен после войны об этой дочке позаботиться. Я сказал: «Ладно, ладно, не болтай чепухи».

— Ну и?..

— Что «ну и»?

— Удалось тебе отыскать дочку?

— Да, удалось.

— Послушай. Мы условились, что ты будешь говорить, верно?

Пока еще девятнадцатое апреля. Стреляют. Ты оделся. Тот парень с арийской стороны сказал про дочку. Что дальше?

— Мы пошли поглядеть, что делается вокруг. Вышли во двор — а там немцы, пятеро или шестеро. Собственно, следовало их убить, но у нас еще не было в таких делах сноровки, да и страшновато было — в общем, не убили.

Спустя три часа стрельба прекратилась.

Стало тихо.

В наш участок входило так называемое гетто фабрики щеток — Францисканская, Свентоерская, Бонифратерская.

Фабричные ворота были заминированы.

Когда на следующий день подошли немцы, мы включили взрывное устройство — наверно, сотню их разнесло в клочья, хотя точно не помню, ты должна это где-нибудь проверить. Я вообще уже многого не помню. Про каждого из своих больных мог бы тебе рассказать в десять раз больше.

После взрыва немцы пошли на нас цепью. Очень нам это понравилось. Против сорока — сотня, целая колонна, в боевом порядке, крадутся, видно, что относятся к нам серьезно.

Под вечер прислали троих с опущенными автоматами и белыми бантами. Кричали, чтоб мы сложили оружие, тогда нас отправят в специальный лагерь. Мы их обстреляли — в донесениях Штроопа [1] я потом нашел эту сцену: они, парламентеры, с белым флагом, а мы, бандиты, открываем огонь. Впрочем, мы в них не попали, но это неважно.

— Как — неважно?

— Важно было другое: что мы стреляем. Это необходимо было показать. Не немцам. Они умели стрелять лучше. Мы должны были это показать другому, не немецкому миру. Люди считают, что

[1] Фонд национальной обороны.

[1] Юрген Штроп (1895—1952) — группенфюрер СС, генерал-лейтенант полиции, ответственный за ликвидацию варшавского гетто; с апреля по сентябрь 1943 г.— руководитель СС и полиции Варшавского округа; в июле 1951 г. приговорен к смертной казни воеводским судом Варшавы.

когда стреляют — это высочайший героизм. Ну и мы стреляли.

— Почему вы назначили именно эту дату — девятнадцатое апреля?

— Не мы ее назначили. Немцы. В этот день должна была начаться ликвидация гетто. С арийской стороны нам сообщили, что немцы готовятся, уже окружили снаружи стены. Восемнадцатого вечером мы собрались у Анелевича, впятером, весь штаб. Я, наверно, был самый старший, мне исполнилось двадцать два года, Анелевич моложе на год, всем пятерым вместе было сто десять лет.

Говорили там уже мало. «Ну так что?» «Звонили из города», Анелевич берет на себя центральное гетто, заместители — Геллер и я — «Мастерские Тёббенса» и фабрику щеток. «Ну, до завтра» — разве что попрощались, чего никогда раньше не делали.

— Почему именно Анелевич возглавил штаб?

— Ему очень хотелось, вот мы его и выбрали. Ребяческие, конечно, амбиции, но парень он был толковый, начитанный, очень энергичный. До войны жил на Сольце. Его мать торговала рыбой; если не удавалось все продать, она посылала сына за красной краской и заставляла подкрашивать жабры, чтобы рыбины выглядели как свежие. Он был вечно голоден. Когда приехал к нам в первый раз и мы дали ему поесть, прикрывал тарелку рукой, чтоб не отобрали.

В нем было много юношеского задора, горячности, только он никогда прежде не видел «акции». Не видел, как грузят людей в вагоны на Умшлагплаце. А от такой штуки — когда на твоих глазах четыреста тысяч человек отправляют в газовые камеры — можно сломаться.

Девятнадцатого апреля мы не виделись. Встретились на следующий день. Перед нами был уже другой человек. Целина сказала мне: «Знаешь, это с ним случилось вчера. Сидел, твердил: мы все погибнем...» Один еще только раз оживился. Когда от аковцев [1] пришло сообщение: ждать в северной части гетто. Мы толком не знали, в чем дело, да и ничего из этого не вышло, парня, который туда пошел, сожгли на Милой, мы слышали, как он целый день кричал: думаешь, это еще может на кого-нибудь произвести впечатление — один сожженный парень вдобавок к четыремстам тысячам сожженных раньше?

— Я думаю, один сожженный парень производит большее впечатление, чем четыреста тысяч, а четыреста тысяч — большее, чем шесть миллионов. Итак, вы не знали толком, в чем дело...

— Анелевич думал, подойдет подкрепление, а мы ему втолковывали: «Брось, там все простреливается, нам не прорваться».

Знаешь что?

Я считаю, в глубине души он верил в победу.

Конечно, никогда раньше он об этом не говорил. Наоборот. «Мы идем на смерть,— кричал,— другого пути нет, погибнем с честью, ради истории...» — в таких случаях ведь всегда говорят что-то в этом роде. Но сейчас мне кажется, что он все время сохранял какую-то ребяческую надежду.

У него была девушка. Красивая такая светлая, теплая. Мирой ее звали.

Седьмого мая он был с ней у нас, на Францисканской.

Восьмого мая, на Милой, он застрелил сперва ее, потом себя. Юрек Вильнер крикнул: «Погибнем вместе», Лютек Ротблат застрелил свою мать и сестру, потом уже все стали стрелять; когда мы туда продрались, живых оставалось всего несколько человек, восемьдесят покончили с собой. «Именно так и должно было случиться,— сказали нам потом.— Погиб народ, погибли его бойцы. Смерть — символ». Тебе небось тоже нравятся такие символы?

Была там с ними девушка. Рут. Она семь раз стреляла в себя, пока не попала. Очень красивая крупная девушка с персиковой кожей, но извела зазря шесть патронов.

На этом месте теперь сквер. Могильный холмик, камень, надпись. В хорошую погоду приходят матери с детьми или, вечером, парочки — на самом деле эта братская могила — тоже символическая, костей мы так и не собрали.

— У тебя было сорок бойцов. Вам ни разу не пришло в голову сделать то же самое?

— Ни разу. Напрасно они так поступили. Хотя это и прекрасный символ. Но ради символов не стоит жертвовать жизнью. Тут у меня сомнений не было. Во всяком случае — в течение всех двадцати дней. Я мог сам съездить по морде, если кто-нибудь из моих впадал в истерику. Вообще я тогда многое мог. Потерять пять человек в схватке и не испытывать угрызений совести. Лечь спать, когда немцы долбили отверстия в стене, чтобы нас подорвать,— я просто знал, что пока нам делать нечего. А вот когда они в двенадцать пошли обедать — тут мы быстро сделали все, что было нужно, чтоб прорваться. (Я не волновался — наверно, потому, что, собственно, ничего не могло случиться. Ничего страшнее смерти, ведь о жизни вопрос никогда не стоял, всегда только о смерти. Возможно, никакой трагедии вовсе и не было. Трагедия — это когда ты волен принять какое-нибудь решение, когда что-то от тебя зависит, а там все было предрешено заранее. Сейчас, в больнице, на карту ставится жизнь — и всякий раз я должен принимать решение. Сейчас я волнуюсь гораздо больше.)

И еще я кое-что мог. Мог сказать парню, который попросил у меня адрес на арийской стороне: «Еще не время. Еще рано». Сташеком его звали... «Марек,— говорил он,— ведь ТАМ есть место, куда можно пойти...» Неужели надо было ему сказать, что такого места нет? Вот я и сказал: «Еще рано...»

[1] Аковцы — члены Армии Крайовой (АК), подпольной военной организации, действовавшей в 1942—1945 гг. в оккупированной Польше и подчинявшейся польскому эмигрантскому правительству в Лондоне.

— Из-за стены видно было что-нибудь на арийской стороне?

— Да. Стена доходила только до второго этажа. Уже с третьего видна была ТА улица. Мы видели карусель, людей, слышали музыку и ужасно боялись, что эта музыка заглушит нас и эти люди ничего не заметят, что вообще никто на свете не заметит — нас, борьбы, погибших... Что стена такая огромная — и ничего, никакие вести о нас никогда не просочатся наружу.

Но из Лондона передали, что Сикорский [1] наградил посмертно орденом Виртути Милитари[2] Михала Клепфиша. Того парня, который на нашем чердаке заслонил собой немецкий пулемет, чтобы мы могли прорваться.

Инженер, двадцати с чем-то лет. Про таких говорят: на редкость удачный мальчик.

Благодаря ему мы отбили атаку — сразу после этого и пришли те трое с белым бантом. Парламентеры.

Я стоял здесь. Вот тут, на этом месте, только ворота тогда были деревянные. А бетонный столбик тот же, и барак, и, наверно, даже тополя те.

Погоди, а почему, собственно, я всегда стоял с этой стороны?

Ага, потому что с той стороны шла толпа. Вероятно, я боялся, как бы меня не прихватили.

Я был тогда рассыльным в больнице, и в этом заключалась моя работа: стоять у ворот на Умшлагплаце и выводить больных. Наши люди выискивали тех, кого нужно было спасти, а я их выводил под видом больных.

Я был беспощаден. Одна женщина умоляла, чтобы я вывел ее четырнадцатилетнюю дочь, но я мог взять только одного человека и взял Зосю, которая была нашей лучшей связной. Четыре раза я ее выводил, и всякий раз ее хватали снова.

Как-то мимо меня гнали людей, у которых не было талонов на жизнь. Немцы раздали такие талоны, и тем, кто их получил, было обещано, что они останутся живы. Во всем гетто у людей тогда была одна-единственная цель: раздобыть талон. Но потом пришли и за теми, с талонами.

А еще объявили, что право на жизнь дается работникам фабрик — там нужны были швейные машинки, людям казалось, что швейные машинки спасут им жизнь, и за них платили любые деньги. Но потом пришли и за теми, с машинками.

Наконец, было объявлено, что дают хлеб. Всем, кто выразит желание ехать на работы, по три килограмма хлеба и мармелад.

Послушай, детка. Ты знаешь, чем тогда в гетто был хлеб? Если не знаешь, то никогда не поймешь, почему тысячи людей могли добровольно явиться и с хлебом поехать в Треблинку. Никто до сих пор этого понять не мог.

Здесь его раздавали, на этом месте. Продолговатые румяные буханки ситного.

И знаешь что?

Люди шли организованно, четверками — шли за этим хлебом, а потом в вагон. Желающих было столько, что выстраивались очереди, в Треблинку приходилось отправлять уже по два эшелона в день — и то все добровольцы не помещались.

Ну, а мы — мы, конечно, знали.

В сорок втором году мы послали одного нашего товарища, Зигмунта, разузнать, что происходит с эшелонами. Он поехал с железнодорожниками с Гданьского вокзала. В Соколове ему сказали, что здесь путь раздваивается, одна ветка идет в Треблинку, туда каждый день отправляется товарный поезд, забитый людьми, и возвращается порожняком; продовольствия не подвозят.

Зигмунт вернулся в гетто, мы написали обо всем в нашей газете — а никто не поверил. «Вы что, с ума сошли? — говорили нам, когда мы пытались доказать, что их везут не на работы.— Кто ж станет нас посылать на смерть с хлебом? Столько хлеба переводить зря?!»

Акция длилась с двадцать второго июля по восьмое сентября 1942 года, шесть недель. Все эти шесть недель я простоял у ворот. Здесь, на этом месте. Проводил на эту площадь четыреста тысяч человек. Видел тот же самый бетонный столбик, который сейчас видишь ты.

В этом техникуме помещалась наша больница. Ее ликвидировали восьмого сентября, в последний день акции. Наверху было несколько детских палат; когда немцы вошли на первый этаж, врач-женщина успела дать детям яд.

Нет, ты тоже ничегошеньки не можешь понять. Ведь она их спасла от газовой камеры, это было просто чудо, люди считали ее героиней.

Больные лежали на полу в ожидании погрузки в вагон, а медсестры отыскивали в толпе своих отцов и матерей и впрыскивали им яд. Они берегли яд для самых близких, она же — эта врачиха — с в о й цианистый калий отдала чужим детям!

Один только человек мог сказать во всеуслышание правду: Черняков [1]. Ему бы поверили. Но он покончил с собой.

Нехорошо поступил Черняков: умереть следовало с треском. Тогда это было очень нужно — умереть, призвав перед тем людей к борьбе.

Собственно, только за это мы к нему в претензии.

— «Мы»?

— Я и мои друзья. Те, кого нет в живых. За то, что он распорядился своей смертью как своим личным делом.

Мы знали, что умирать надо публично, на глазах у всего мира.

Разные у нас возникали идеи. Давид говорил: нужно броситься на стены —

[1] Сикорский Владислав (1881—1943) — премьер-министр польского эмигрантского правительства в 1939—1943 гг., генерал.

[2] Орден за выдающиеся боевые заслуги, за отвагу, проявленную на поле боя; существует пять классов Виртути Милитари.

[1] Адам Черняков (1880—1942) — общественный деятель, инженер; с 1939 г.— председатель созданного оккупационными властями Еврейского совета (Юденрат).

всем, кто только оставался в гетто,— прорваться на арийскую сторону, усесться на валах Цитадели, рядами, друг над другом, и ждать, покуда гестаповцы расставят вокруг нас пулеметы и расстреляют поочередно, ряд за рядом.

Эстер предлагала поджечь гетто, чтобы все мы сгорели вместе с ним. «Пусть ветер развеет наш прах»,— говорила она, но тогда это звучало не патетически, а по-деловому.

Большинство было за восстание. Ведь человечество условилось считать, что смерть с оружием в руках прекраснее, чем без оружия. И мы приняли это условие. Оставалось нас тогда в ЖОБе [1] всего только двести двадцать. Разве это можно вообще назвать восстанием? Просто речь шла о том, чтобы не позволить себя зарезать, когда настанет наш черед.

Речь шла лишь о выборе способа: как умереть.

Этим интервью, переведенным на разные иностранные языки, многие были возмущены до глубины души, и некий литератор, мистер С., написал Эдельману из Штатов, что вынужден был за него заступиться. Три большие статьи опубликовал, чтобы умерить страсти, а название придумал такое: «Исповедь последнего вождя варшавского гетто».

Люди стали писать письма в газеты — на французском, английском, еврейском и других европейских языках,— мол, зачем он все так принизил, но больше всего их задели рыбы. Те самые, которым Анелевич красил в красный цвет жабры, чтобы матери легче было продать на Сольце вчерашний товар.

Анелевич — сын торговки, подкрашивающий рыбам жабры, только этого не хватало. Так что задача у американского литератора была не из легких, а тут еще и один немец из Штутгарта прислал Эдельману трогательное письмо.

«Sehr geehrter Herr Doctor [2],— писал немец — во время войны, он, будучи солдатом вермахта, нес службу в варшавском гетто,— я видел там на улицах трупы людей, множество трупов, прикрытых бумагой, я помню, это было ужасно, мы оба жертвы ужасной войны, не могли бы вы мне черкнуть несколько слов?»

Разумеется, герр доктор ответил, что ему очень приятно и что он отлично понимает чувства молодого немецкого солдата, который впервые увидел прикрытые бумагой трупы.

История с литератором, мистером С., сразу ему напомнила о поездке в США в шестьдесят третьем году. Его привезли на встречу с руководителями профсоюзов. Он помнит: стоит стол, за столом человек двадцать, одни мужчины. Сосредоточенные, взволнованные лица — главы профессиональных союзов, которые во время войны давали деньги на оружие для гетто.

Председательствующий приветствует его, и начинается дискуссия. О памяти. Что такое человеческая память, и нужно ли ставить памятники или лучше строить дома — эдакие литературные дилеммы. Так что он очень старательно за собой следил, чтобы не ляпнуть чего-нибудь неподходящего, чего-нибудь вроде: «А какое это сейчас имеет значение?» Он не имел права так их огорчать. «Осторожно,— повторял он себе,— придержи язык, у них уже на глазах слезы. Они давали деньги на оружие и ходили к президенту Рузвельту, спрашивали, правда ли все, что рассказывают про гетто, так что уж, пожалуйста, будь великодушен».

(Это было, вероятно, после одного из первых донесений «Вацлава», Тося Голиборская тогда только-только выкупила его из гестапо за свой персидский ковер; донесение в виде микрофильма курьер провез в зубе под пломбой, и через Лондон оно попало в США, но им там трудно было поверить в эти тысячи перетопленных на мыло и тысячи сгоняемых на Умшлагплац, поэтому они отправились к своему президенту спросить, можно ли серьезно относиться к подобным вещам.)

Ну и он был великодушен, позволял им умиляться и рассуждать о памяти, а теперь вдруг так больно всех задел: «Разве это можно назвать восстанием?»

Возвращаясь к рыбам. Во французском переводе, в еженедельнике «Экспресс», рыбы звучали как du poisson и мать Анелевича, еврейская торговка с Сольца, покупала un petit pot de peinture rouge [1]. Ну разве такое можно воспринимать всерьез? Разве Анелевич, подкрашивающий peinture rouge жабры (les ouies),— тот самый Анелевич?

Это напоминает попытку рассказать английским родственникам о бабушке, умиравшей от голода во время варшавского восстания. Перед самой смертью набожная старушка просила что-нибудь поесть, ладно уж, пускай не кошерное, говорила она, пусть будет свиная отбивная.

Но весь разговор с английскими родственниками шел по-английски, так что бабушка попросила не отбивную, а porkchop и, к счастью, сразу перестала быть той умирающей бабушкой. К счастью — потому что теперь уже можно было говорить о ней без надрыва, спокойно, как принято в культурном английском доме рассказывать за обедом разные занятные истории.

А люди, которые пишут письма, настаивают, что настоящий был все-таки тот Анелевич, с peinture rouge. Что-то в этом, видимо, есть, раз столько людей настаивают. И пишут, что нельзя рассказывать такие вещи о руководителе восстания.

— Слушай,— говорит он,— придется нам теперь быть начеку. И тщательно подбирать слова.

---

[1] Сокращение от «Żydowska Organizacja Bojowa» («Еврейская боевая организация»)— созданная в 1942 г. в гетто военная подпольная организация, возглавлявшаяся Мордехаем Анелевичем.

[2] Многоуважаемый господин доктор *(нем.)*.

[1] Маленькую баночку красной краски *(франц.)*.

Ну что ж.

Будем тщательно подбирать слова и постараемся ничем никого не задеть.

В один прекрасный день раздается звонок. У телефона американский литератор, мистер С. Он в Варшаве. Виделся с Антеком и Целиной, но об этом — при личной встрече.

Ну — это уже дело серьезное. Можно не обращать внимания на то, что говорят все на свете, но мнением двух людей пренебречь нельзя, и люди эти — как раз Целина и Антек. Заместитель Анелевича, представитель ЖОБа на арийской стороне, который вышел из гетто перед самым началом восстания, и Целина, которая была с ними в гетто все время, с первого дня, и вместе с ними ушла каналами.

До сих пор Антек молчал. А тут приезжает мистер С. и говорит, что видел его неделю назад.

У меня складывается впечатление, что Эдельман немного волнуется перед этой встречей. Как оказалось — напрасно. Антек — сообщил мистер С.— заверяет его в своих дружеских чувствах и уважении и в целом, за исключением некоторых деталей, интервью одобряет.

«За исключением каких деталей?» — спрашиваю я у мистера С.

Антек, например, сказал, что вовсе не двести человек участвовало в восстании. Их было больше — пятьсот, даже шестьсот.

— Антек утверждает, что вас было шестьсот. Может быть, исправим это число?

— Нет,— говорит Эдельман.— Нас было двести двадцать.

— Но Антеку хочется, мистеру С. хочется, всем очень хочется, чтобы вас было хоть немножко больше... Исправим?

— Да это же не имеет значения,— говорит Эдельман со злостью.— Неужели вы все и вправду не можете понять, что это уже не имеет значения!

Ага, и еще кое-что. Ну конечно, еще история с рыбами.

Не Анелевич их подкрашивал, а его мать. «Запишите это себе,— говорит мне мистер С., литератор,— это очень важно».

Возвращаюсь к тому, что нужно тщательно подбирать слова.

Через три дня после выхода из гетто Целеменский отвел его к представителям политических партий, которые хотели выслушать отчет о восстании. Он был единственным оставшимся в живых членом штаба и заместителем Анелевича — пришлось докладывать. «За эти двадцать дней,— говорил он,— можно было убить больше немцев и спасти больше своих. Но,— говорил он,— мы не были толком обучены и не знали правил ведения боя. Кроме того,— говорил он,— немцы тоже умели хорошо драться».

А те переглядывались, не произнося ни слова, и наконец один из них сказал: «Надо его понять, это ж не нормальный человек. Это развалина».

Оказывается, он говорил не так, как следовало бы говорить.

«А как следует говорить?» — спросил он.

Говорить следует с ненавистью, с пафосом, переходя на крик,— нет иного способа выразить все это, кроме как криком.

Так что он с самого начала не годился в рассказчики, потому что не умел кричать. И в герои тоже не годился, потому что ему был чужд пафос.

Вот уж поистине невезение.

Единственный, который уцелел, не годился в герои.

Поняв это, он тактично замолчал. И молчал довольно долго, тридцать лет, а когда наконец заговорил, сразу стало ясно, что для всех было бы лучше, если б он продолжал молчать.

На встречу с представителями партий он ехал на трамвае, впервые после выхода из гетто ехал на трамвае, и тогда с ним произошла страшная вещь. Ему безумно захотелось не иметь лица. И не потому, что кто-то мог бы обратить на него внимание и выдать, нет, он просто почувствовал, что у него отталкивающее, черное лицо. Лицо с плаката «ЕВРЕИ — ВШИ — СЫПНОЙ ТИФ». А у всех, кто стоит вокруг, светлые лица. Вокруг красивые, спокойные люди; они могут быть спокойны, потому что исполнены сознания своей светлой красоты.

Он сошел с трамвая на Жолиборже, возле небольших домишек, улица была пуста, только одна старушка поливала в садике цветы. Она поглядела на него из-за проволочной ограды, а он старался идти так, будто его почти нет, старался занимать как можно меньше места в этом залитом солнцем пространстве.

Сегодня по телевизору показывали Кристину Крахельскую. У нее тоже были светлые волосы. Она позировала Нитшовой [1] для памятника Сирены, писала стихи, пела думки и погибла среди подсолнечников во время варшавского восстания.

Какая-то женщина рассказывала о ней: Кристина бежала садами, но была такая высокая, что не могла, даже пригнувшись, укрыться за этими подсолнечниками.

Итак, значит, теплый августовский день. Она сколола на затылке свои длинные светлые волосы. Написала: «Эй, ребята, к оружью штыки», перевязала раненого, а теперь бежит, освещенная солнцем.

Какая прекрасная жизнь и прекрасная смерть. Смерть поистине эстетическая. Только так надлежит умирать. Но так живут и умирают красивые и светлые люди. Черные и некрасивые живут и умирают неэффектно: в страхе и темноте.

(У женщины, которая рассказывает о Крахельской, пожалуй, можно было бы

[1] Нитшова Людвика — известный скульптор, автор, в частности, памятника Варшавской Сирены, стоящего над Вислой; Сирена с мечом в одной и щитом в другой руке — герб Варшавы.

прятаться. Она не накрашена, давно не заглядывала в парикмахерскую, наверняка — этого не видно по телевизору — широковата в бедрах и по горам ходит, обвязав вокруг пояса свитер. Мужу даже незачем было бы знать, что она кого-то прячет, только следовало вести себя осторожно и днем, между половиной четвертого и четырьмя, не занимать уборную. У него очень регулярно работает желудок, и туалетом он пользуется сразу же по возвращении домой, еще до обеда.)

Черные и некрасивые лежат, ослабев от голода, в сырых постелях и ждут, покуда кто-нибудь принесет им овсянку на воде или чего с помойки. Все серое — волосы, лица, постель. Карбидную лампу жгут бережливо. Их дети на улице вырывают у прохожих из рук свертки в надежде, что там окажется хлеб, и мгновенно все пожирают. В больнице распухшим от голода малышам дают ежедневно по пол-яйца в порошке и по таблетке витамина «С» — дележкой занимаются врачи, чтобы не травить душу санитарке, которая тоже распухла. (Только медицинскому персоналу больницы полагался продовольственный паек: пол-литра супа и шестьдесят граммов хлеба на человека. На специальном собрании было решено отказаться от двухсот граммов супа и двадцати граммов хлеба и разделить их между истопниками и санитарками. Таким образом все получали поровну: по триста граммов супа и сорок — хлеба.) На Крохмальной, 18, тридцатилетняя женщина, Ривка Урман, отгрызла кусочек от своего сына, Берко Урмана, двенадцати лет, накануне умершего от голода. Люди во дворе обступили ее молча, в гробовой тишине. У нее были серые всклокоченные волосы, серое лицо и безумные глаза. Потом приехала полиция и составила протокол. На Крохмальной, 14, нашли на улице разлагавшийся труп ребенка, подброшенный матерью, Худесой Боренштайн, из квартиры номер 67, ребенка звали Мошек. (Погребальные дроги общества «Вечность» увезли труп, а Боренштайн Худеса призналась, что подбросила его, потому что община отказывается хоронить бесплатно, да и она сама тоже скоро умрет.) Людей водят в баню, чтоб совсем не завшивели. Перед баней на Спокойной люди ждали на улице день и ночь, а когда утром привезли суп только для детей, пришлось вызвать полицию, чтобы она разогнала толпу, вырывавшую у этих детей еду.

Смерть от голода была столь же неэстетична, как жизнь. «Некоторые засыпают на улице с куском хлеба во рту или при попытке произвести физическое усилие, например, когда пускаются бежать, чтобы раздобыть хлеб».

Это фрагмент научного труда.

Врачи в гетто занимались исследованием голода, потому что механизм голодной смерти был тогда медицине неясен и нельзя было упускать подвернувшуюся возможность. Притом возможность исключительную. «Никогда еще,— писали они,— медицина не располагала экспериментальным материалом в таком обилии».

Для врача эта проблема интересна и сегодня.

— Взять, к примеру,— говорит доктор Эдельман,— нарушение водно-белкового обмена в организме. Пишут они там что-нибудь насчет электролитов? — спрашивает он.— Вместе с водой в соединительную ткань уходят калий и соли. Проверь, догадались ли они о роли белка.

Нет, насчет электролитов они ничего не пишут. С огорчением отмечают, что им не удалось установить столь интересного для врача механизма образования отеков при болезни голодания.

Возможно, они бы докопались до роли белка, если б им не пришлось внезапно прервать работу,— а они ее, к сожалению, прервали, в чем оправдываются во вступительной части. Они не смогли продолжить исследования, «поскольку подверглось уничтожению научное сырье — человеческий материал». Началась ликвидация гетто.

Сразу же после уничтожения «сырья», впрочем, погибли и сами исследователи.

Жив только один из них: доктор Теодозия Голиборская. Она изучала обмен веществ в состоянии покоя у голодных людей.

Она пишет мне из Австралии, что хотя и знала по литературе о нарушении обмена веществ в состоянии покоя при голодании, но не думала, что интенсивность снижается до такой степени; она это связывает с уменьшением числа и глубины дыхательных движений, то есть с малым количеством кислорода, потребляемого организмом в состоянии голода.

(Я спрашиваю у доктора Голиборской, пригодились ли впоследствии ей как врачу эти исследования. Она пишет, что нет, не пригодились, так как все больные, которых она лечила в Австралии, были сыты или даже перекормлены.)

А вот и некоторые результаты исследований, представленные в работе «Болезнь голодания. Клинические исследования голода, проведенные в варшавском гетто в 1942 году».

Мы различаем три степени истощения. I степень, при которой имеет место потеря избыточного жира; люди при этом выглядят моложе своего возраста. «С этим явлением мы часто встречались в довоенное время после возвращения пациентов из Карлсбада, Виши и т. д.» Ко II степени истощения относятся почти все наблюдавшиеся нами случаи. Исключение составляют случаи III степени — дистрофия, являющаяся чаще всего предсмертным состоянием.

Перейдем к описанию изменений в отдельных системах и органах.

Вес составлял в среднем от 30 до 40 кг и был на 20—25 проц. ниже довоенного. Самый низкий вес — 24 кг (у тридцатилетней женщины).

Кожа бледная, иногда бледно-синяя.

Ногти, особенно на руках, когтеобразные...

(Возможно, мы говорим об этом излишне подробно и чересчур долго, но это

потому, что непременно нужно понять, какова разница между прекрасной жизнью и жизнью неэстетичной и между прекрасной и неэстетичной смертью. Это очень важно. Ведь все, что произошло впоследствии — девятнадцатого апреля 1943 года,— было вызвано стремлением умереть прекрасной смертью.)

Отеки появляются прежде всего на лице в области век, на ступнях, наконец у некоторых наблюдается равномерная отечность всего тела. При уколе из подкожно-жировой клетчатки легко выделяется жидкость. Ранней осенью отмечена склонность к отморожению пальцев рук и ног.

Лицо лишено выражения, похоже на маску.

Наблюдается очень обильная растительность на всем теле, в особенности у женщин, на лице — в виде усов и бакенбардов, иногда происходит оволосение век. Кроме того, отмечен рост ресниц...

Психическое состояние характеризуется снижением интеллекта.

Из деятельных, энергичных люди превращаются в апатичных и вялых. Их почти все время клонит в сон. О голоде они не помнят, не осознают, что хотят есть, однако при виде хлеба, сладостей или мяса внезапно становятся агрессивны и с жадностью пожирают еду, несмотря на то что могут быть за это избиты, а спастись бегством не в состоянии.

Переход от жизни к смерти медленный, почти незаметный. Смерть подобна физиологической кончине от старости.

Материалы вскрытия. (Учтены случаи полного вскрытия в количестве 3282.)

Цвет кожи у людей, умерших от голода: бледный или мертвенно-бледный — 82,5 проц. случаев, темный или коричневый — 17 проц.

Отеки обнаружены у одной трети всех подвергнутых вскрытию, преимущественно на нижних конечностях. Туловище и верхние конечности отекают реже. В большинстве случаев отечность наблюдалась у людей с бледной кожей. Напрашивается вывод, что бледная кожа сопутствует отекам, а коричневая — сухому истощению.

Выдержки из протокола вскрытия (М. прот. вскр. 8613):

«Женщина, 16 лет. Клинический диагноз: Inanitio permagna. Питание оч. скудное. Мозг 1300 гр, очень мягкий, отекший. В брюшной полости ок. 2 литров желтоватой прозрачной жидкости. Сердце — меньше кулака покойной».

Часты случаи атрофии отдельных органов.

Как правило, атрофии подвергаются сердце, печень, почки и селезенка.

Атрофия сердца констатирована в 83 проц. случаев, атрофия печени — в 87 проц., атрофия селезенки и почек — в 82 проц. Атрофии подвергаются кости, которые становятся пористыми и мягкими.

Значительнее всего уменьшается печень — от примерно двух килограммов у здорового человека до пятидесяти четырех граммов.

Самый низкий вес сердца составлял сто десять граммов.

Только мозг почти не уменьшается и весит по-прежнему около тысячи трехсот граммов.

В это же самое время Профессор был хирургом в Радоме, в больнице св. Казимира. (Профессор — высокий, седоватый, элегантный. Очень красивые руки. Любит музыку, сам когда-то с удовольствием играл на скрипке. Знает кучу иностранных языков. Его прадед был наполеоновским офицером, а дед — повстанцем.)

В ту больницу каждый день привозили по крайней мере одного раненого партизана.

У партизан в основном были простреляны животы. Тех, кто получал ранения в голову, не всегда удавалось довезти. Так что Профессор оперировал желудки, селезенки, мочевые пузыри и толстые кишки, за день он мог прооперировать тридцать, сорок животов.

Летом сорок четвертого начали привозить грудные клетки, потому что в Варке был развернут плацдарм. Много привозили грудных клеток — развороченных шрапнелью, или осколком гранаты, или обломком фрамуги, вколоченной снарядом в грудь. Легкие и сердца вылезали наружу, надо было как-то их залатать и впихнуть на место.

Когда же январское наступление покатилось на запад — прибавились еще и головы: армия имела транспорт и раненых привозили вовремя.

— Хирург должен постоянно упражнять пальцы,— говорит Профессор.— Как пианист. А у меня была ранняя и богатая практика.

Война — великолепная школа для молодого хирурга. Профессор (благодаря партизанам) приобрел колоссальную сноровку в оперировании животов, благодаря фронту — в оперировании голов, но самую важную роль сыграла Варка.

Когда Варку превратили в плацдарм, Профессор впервые увидел открытое бьющееся сердце.

До войны никто не видел, как бьется сердце, разве что у животных, да и то не часто: кому захочется мучить животное, раз все равно медицине это никогда не пригодится. Только в сорок седьмом в Польше впервые была хирургическим путем вскрыта грудная клетка, и сделал это проф. Крафорд, специально прибывший из Стокгольма, но и он не вскрыл даже перикарда. Все тогда как зачарованные глядели на околосердечную сумку, которая ритмично пульсировала, словно в нее запрятался маленький живой зверек, и только Профессор — а вовсе не Крафорд,— только один он точно знал, как выглядит то, что беспокойно шевелится в сумке. Потому что только он, а не всемирно известный шведский гость, вытаскивал из крестьянских сердец обрывки тряпок, осколки пуль и обломки оконных фрамуг, благодаря чему,

кстати, всего пять лет спустя, двадцатого июня пятьдесят второго года, сумел вскрыть сердце некоей Геновефы Квапиш и прооперировать стеноз митрального клапана.

Существует тесная и закономерная связь между сердцами времен Варки и всеми прочими, которые он оперировал потом,— сюда, разумеется, относится и сердце пана Рудного, мастера по бассонным машинам, и сердце пани Бубнер (чей покойный супруг был активным членом иудейской общины, благодаря чему пани Бубнер сохраняла полное спокойствие перед операцией и даже успокаивала врачей. «Пожалуйста, не волнуйтесь,— говорила она им,— мой муж в прекрасных отношениях с Богом, уж он там наверняка все устроит как надо»), и сердце пана Жевуского, председателя Автоклуба, и еще много, много других сердец.

Рудному пересадили в сердце вену из ноги, чтобы расширить путь крови, когда у него начинался инфаркт. Жевускому пересадили такую вену, когда инфаркт уже произошел. Пани Бубнер изменили направление кровотока в сердце...

Страшно ли Профессору перед такой операцией?

О, да. Очень. Он чувствует страх здесь, вот тут, посередине.

И всякий раз надеется, что в последнюю минуту что-нибудь ему помешает: терапевты запретят, пациент передумает, может быть даже он сам убежит из кабинета...

Чего боится Профессор? Бога?

О, да, Бога он очень боится, но не больше всего на свете.

Боится, что пациент умрет?

Этого тоже, но он знает — и все знают,— что без операции больной все равно умрет, тут нет сомнений.

Так чего же он боится?

Он боится, что коллеги скажут: ОН ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕТ НА ЧЕЛОВЕКЕ. А это самое тяжкое обвинение из всех, какие могут быть предъявлены.

У врачей есть своя квалификационная комиссия, и Профессор рассказывает про одного хирурга, который когда-то сбил ребенка, тут же в своей машине отвез в свое отделение и вылечил. Малыш здоров, у матери нет претензий, однако комиссия сочла, что лечение ребенка в собственном отделении противоречит этике и врач заслуживает наказания. Хирург был лишен возможности работать по профессии и вскоре умер от сердечного приступа.

Профессор рассказывает об этом просто так. Вроде бы ни к селу, ни к городу. Ведь я спросила, чего боится врач.

С этой этикой все намного сложнее, чем я себе представляла.

Например, если б он не прооперировал Жевуского, Жевуский бы умер. Ничего особенного бы не произошло: столько людей умирает от инфаркта...

Но если бы Жевуский умер после операции — о, это уже совсем другое. Тогда кто-нибудь мог бы заметить, что ведь нигде на свете ничего похожего не делают. А кто-нибудь другой спросил бы, не слишком ли легкомыслен порой Профессор, и это уже могло б прозвучать как обобщение...

Итак, теперь нам будет гораздо легче понять, о чем думает Профессор, когда сидит перед операцией в своем кабинете, а в операционном блоке возле Жевуского начинает хлопотать анестезиолог.

Профессор уже давно сидит в этом кабинете, хотя, честно говоря, вовсе не обязательно, чтобы за стеной лежал именно Жевуский. В блоке теперь с равным успехом могут готовить к операции Рудного или пани Бубнер, надо, однако, признаться, что перед Жевуским Профессор больше всего волновался.

Дело в том, что Профессор очень не любит оперировать интеллигентские сердца. Интеллигент перед операцией слишком много думает, у него чересчур развито воображение, он беспрерывно задает себе и другим вопросы, а это потом неблагоприятно отражается на пульсе, давлении и вообще на ходе операции. А такой человек, как Рудный, с большим доверием отдается в руки хирургов, лишних вопросов у него не возникает, потому и оперировать его значительно легче.

Ну ладно, пускай это будет Жевуский, и пусть Профессор сидит в кабинете перед операцией, которую он должен провести на доставленном несколько часов назад реанимобилем из варшавской клиники интеллигентском сердце, пораженном острым инфарктом.

Профессор совершенно один.

Рядом, за дверью, сидит на стуле доктор Эдельман и курит сигарету за сигаретой.

В чем же, собственно, дело?

А вот в чем: это Эдельман сказал, что можно оперировать Жевуского, несмотря на инфаркт, и если б не его слова, не было бы всей этой истории.

Не было бы, впрочем, и Рудного, которого Профессор прооперировал, когда инфаркт должен был произойти с минуты на минуту, а все учебники кардиохирургии утверждают, что именно в этом состоянии оперировать нельзя.

Не было бы также идеи с изменением направления кровотока у пани Бубнер (а возможно, и самой пани Бубнер уже бы не было,— впрочем, в данный момент это к делу не относится).

Поскольку сцена в кабинете для нас, в конце концов, служит только камертоном, мы можем на секунду оставить Профессора за его письменным столом и объяснить, что же с этим кровотоком произошло.

Итак, во время какой-то операции у одного из ассистентов возникло сомнение, что Профессор пережал: артерию или вену — сосуды эти иногда бывают очень похожи; другие ассистенты говорят, все в порядке, артерию, только этот упорствует: «Вену, я уверен» — и Эдельман, вернувшись домой, начинает размышлять, что бы произошло, если б это в самом деле оказалась вена. И начинает набрасывать на листочке схему: кислородсодержащую кровь, которая, как из-

вестно из школьных учебников, течет по артериям, можно бы из аорты направить прямо в вены сердца, которые проходимы, поскольку не склерозируются и не могут быть причиной инфаркта. А дальше бы эта кровь потекла...

Эдельман пока еще точно не знает, куда бы потекла кровь. Но на следующий день показывает свой рисунок Профессору. Профессор смотрит на схему. «Можно бы прямо сюда, вот так, и тогда мышца будет снабжена кровью...» — говорит Эдельман, а Профессор вежливо кивает головой. «Да,— соглашается он,— это очень интересно». Впрочем, что еще, кроме вежливого внимания, можно проявить к человеку, который говорит, что кровь могла бы поступать в сердце не по артериям, а по венам?

Эдельман возвращается в свою больницу, а Профессор — вечером — домой и кладет эту схему на столик возле кровати. Профессор всегда спит при свете, чтобы быстро прийти в себя, если разбудят ночью, поэтому он и сейчас не гасит лампу, и когда просыпается через четыре часа, может сразу взять в руки листочек с рисунком Эдельмана.

Трудно сказать, когда Профессор перестает разглядывать схему и сам начинает что-то чертить на бумаге (а именно: мостик, соединяющий аорту с венами), однако точно известно, что в один прекрасный день он спрашивает: «Ну, а что будет с отдавшей кислород кровью, если вена возьмет на себя функцию артерии?»

Эдельман и Эльжбета Хентковская тогда ему отвечают, что некая пани Ратайчак-Пакальская как раз работает над диссертацией по анатомии сердечных вен и из ее наблюдений следует, что кровь сможет оттекать от сердца по другим венозным сосудам, Вьессанса и Тебезиуса.

Эдельман и Эльжбета проводят эксперимент на сердцах трупов — вводят в вены метиленовый синий, чтобы поглядеть, пойдет ли краситель дальше. Пошел.

Но Профессор говорит: ну и что с того? Ведь в вене не было давления.

Тогда они вводят этот краситель под давлением — и снова жидкость находит для себя выход.

Но Профессор говорит: и что с того? Ведь это всего лишь модель. А как поведет себя живое сердце?

Ну, на это ему уже никто не может ответить, потому что на живом сердце еще никто таких экспериментов не проводил. Чтобы знать, как будет себя вести живое сердце, нужно просто на живом сердце сделать операцию.

Чье же живое сердце теперь должен прооперировать Профессор?

Минутку, мы забыли про Агу, а Ага как раз пошла в библиотеку.

Ага Жуховская отправляется в библиотеку, когда возникает какая-нибудь новая идея. Прежде чем туда пойти, она говорит: «Э-э, чепуха». Например, Эдельман бросает: «Как знать, а вдруг можно оперировать с АИКом [1] в остром периоде?» И Ага говорит: «Э-э, чепуха», идет в библиотеку, приносит «Американ Харт Джорнэл» и торжествующе восклицает: «Здесь написано, что это нонсенс». После чего они проводят операцию с АИКом в остром периоде инфаркта и все великолепно получается.

Ага утверждает, что, когда скажешь пару раз: «Э-э, чепуха», а потом видишь, что твой оппонент, вопреки всяким авторитетам, оказывается прав, то в конце концов перестаешь пожимать плечами. Больше того, стараешься забыть, что пишут эти авторитеты, и, услыхав очередную идею, пробуешь перестроиться на новый образ мышления.

Но тогда еще доктор Жуховская, приговаривая: «Э-э, чепуха», пошла в библиотеку и принесла выдержку из «Энциклопедиа оф торасик сёрджери». Тридцать с лишним лет назад Клод Бек, американец, делал нечто подобное, но смертность среди его пациентов была так высока, что он прекратил эксперименты...

Ну так на чьем же живом сердце?..

Теперь необходимо сделать отступление и поговорить об инфаркте передней стенки сердца с блокадой правой ножки желудочкового пучка.

Это очень важно, потому что из такого инфаркта им еще никого не удавалось вытащить.

Люди в таких случаях умирают как-то по-особому: лежат спокойные, тихие и все тише становятся, все спокойнее, и все в них постепенно, мало-помалу умирает. Ноги — печень — почки — мозг... Пока, наконец, не останавливается сердце и человек не умирает окончательно, причем происходит это так тихонечко, незаметно, что даже соседи по палате не обратят внимания.

Когда в отделение привозят человека с инфарктом передней стенки и блокадой правой ножки желудочкового пучка, известно, что человек этот должен умереть.

Так вот, однажды привозят женщину с таким инфарктом. Эдельман звонит в клинику, Профессору. «Эта женщина через несколько дней умрет, спасти ее можно, только изменив направление кровотока». Но по этой женщине вовсе не видно, что она должна умереть.

Через несколько дней больная умирает.

Некоторое время спустя привозят мужчину с точно таким же инфарктом. Звонят Профессору: «Если вы не прооперируете этого человека...»

Через несколько дней больной умирает.

Потом опять мужчина. Потом молодой парень, потом две женщины...

Профессор всякий раз приходит в отделение. Он уже не говорит, что, возможно, эти люди выживут без операции. Он молча смотрит или спрашивает у Эдельмана: «Что вам, собственно, от меня нужно? Хотите, чтобы я сделал операцию, которая еще никому не удавалась?..» На что Эдельман отвечает: «Я только говорю, профессор, что мы не в состоянии вылечить этого человека, а

[1] Аппарат искусственного кровообращения.

никто, кроме вас, такой операции сделать не сумеет».

Так проходит год.

Умирает двенадцать или тринадцать человек.

На четырнадцатый раз Профессор говорит: «Хорошо. Попробуем».

Вернемся в кабинет.

Профессор, как мы помним, сидит один, на письменном столе перед ним лежат коронарограммы Жевуского, а Жевуский лежит в операционном блоке.

По другую сторону двери, на стуле, сидит доктор Эдельман и курит сигарету за сигаретой.

Самое скверное в эту минуту, что доктор Эдельман сидит там на стуле и, вне всяких сомнений, не собирается уходить.

Почему это так уж важно?

По очень простой причине.

Из кабинета есть один-единственный выход — заблокированный присутствием Эдельмана.

А разве не может Профессор сказать: «Простите, я только на секунду», торопливо пройти мимо Эдельмана и уйти восвояси?..

Разумеется, может. Один раз он уже так поступил. Перед Рудным. И что же? Сам вернулся, под вечер, Рудный все еще ждал его в операционном блоке, а Эдельман с Хентковской и Жуховской сидели на стульях в его приемной.

Да и куда, собственно, идти?

Домой? Его немедленно там найдут.

К кому-нибудь из детей? Найдут самое позднее завтра.

Уехать из города? Пожалуй... Но в конце концов все равно придется вернуться — и тогда он застанет здесь их всех: и Жевуского, и Эдельмана, и Жуховскую... Впрочем, Жевуского, может быть, уже не застанет.

Рудный, к которому он тогда, под вечер, вернулся — жив.

И пани Бубнер, та, с кровотоком, тоже.

Ах да, мы говорили о кровотоке.

«Хорошо, попробуем». На этом мы остановились, и Профессор приступает к операции. К другой, на сердце пани Бубнер, это разные вещи, не нужно их путать. Вполне логично, что Профессор вспоминает сейчас ту операцию: чтоб самого себя подбодрить.

(Тогда тоже все им говорили: «Это же абсурд, сердце захлебнется кровью...»)

В операционной тишина.

Профессор перевязывает главную вену сердца, чтобы воспрепятствовать оттоку крови и посмотреть, что произойдет...

(Клод Бек не перевязывал вены, что впоследствии вызывало правожелудочковую недостаточность, приводящую к смерти. И потому Профессор улучшает этот метод — нет, он не согласен со словом «улучшает»,— он лишь ИЗМЕНЯЕТ метод Клода Бека.)

Профессор ждет...

Сердце работает нормально. Теперь он соединяет аорту с венами специальным мостиком, и артериальная кровь начинает поступать в вены.

И опять ждет.

Сердце дрогнуло. Раз, другой. Потом еще несколько быстрых сокращений, и сердце начинает работать — медленно, ритмично. Голубые вены становятся красными от артериальной крови и начинают пульсировать, а кровь оттекает — никто точно не знает куда, но она отыскивает новый путь: по более мелким сосудам.

Еще четверть часа в тишине. Сердце по-прежнему работает без перебоев...

Профессор мысленно заканчивает ту операцию и еще раз с радостью осознает, что пани Бубнер жива.

Об успешной операции Рудного шумела вся пресса. Об изменении кровотока у Бубнер Профессор рассказал на съезде кардиохирургов в Бад-Наухайме, и все встали с мест и аплодировали ему. Профессора Борст и Гоффмайстер из ФРГ даже высказали предположение, что этот метод решит проблему склероза коронарных сосудов, а хирурги из Питсбурга начали, первыми в США, делать по его методу операции. Однако, если операция Жевуского окончится неудачей, скажет ли кто-нибудь: «Но ведь Рудный и Бубнер живы?»

Нет, такого никто не скажет.

Зато все скажут: «Он оперировал в острой стадии инфаркта, значит, Жевуский умер из-за него».

В этом месте может создаться впечатление, что Профессор слишком долго сидит в своем кабинете и что следовало бы сделать наш рассказ хоть немного динамичнее.

Увы, попытка убежать, которая безусловно здорово бы украсила всю эту историю, не удалась. Что же еще остается?

Как что? Остается еще Господь Бог.

Но не тот, с которым благочестивый еврей Бубнер договорился насчет успешного исхода операции своей жены.

Это тот Господь Бог, которому по воскресеньям, в одиннадцать утра, в обществе своей супруги, троих детей, зятьев, невестки и кучки внучат молится Профессор.

В данный момент Профессор мог бы помолиться даже у себя в кабинете — только о чем просить Бога?

— Да, действительно, о чем?

Чтобы Жевуский в последнюю минуту, уже на операционном столе, передумал и взял обратно свое согласие на операцию? Или чтобы вдруг отказалась его жена, плачущая сейчас в коридоре?

Да, об этом бы теперь Профессор с удовольствием помолился.

Только — минуточку! — отказавшись от операции, этот человек (о чем Профессору отлично известно) сам подписал бы себе смертный приговор. Так что же, Профессор должен просить для него верной смерти?

Таких операций до него не делали, это правда, а если и делали, то иначе. Но и сердец до Барнарда не пересаживали. Должен ведь, в конце концов, кто-то попробовать, чтоб эта медицина не стояла на месте. (Профессор, как мы видим, подключает социальную мотивировку.) А когда можно пробовать? Тогда, когда существует твердая уверенность, что опе-

рация имеет смысл. У Профессора такая уверенность есть. Ход операции он продумал в мельчайших подробностях, и все знания, какими он обладает, и опыт, и интуиция — все убеждает его в логичности и необходимости того, что он намеревается сделать. Вдобавок — терять тут нечего. Профессор знает, что без операции человек все равно умрет. (Это точно, что Жевуский умрет без операции?)

И Профессор зовет терапевтов.

— Жевуский умрет, если я его не прооперирую? — спрашивает он в сотый раз.

— Это второй инфаркт, профессор. Второй обширный инфаркт.

— В таком случае он и операции не выдержит... Зачем лишние мучения?

— Пан профессор. Его привезли из Варшавы не для того, чтоб он умер, а чтобы мы его спасли.

Это сказал доктор Эдельман. Хорошо доктору Эдельману говорить! В случае чего претензии будут предъявлены не к нему.

Эдельман свято убежден в своей правоте. Профессор тоже в ней убежден, но ведь не кому другому, а ему, Профессору, надо своими руками это доказать.

— Почему,— спрашиваю я,— ты был так уверен, что эти операции следует делать?

— Был уверен, и все. Потому что видел: они целесообразны и должны удаться.

— Послушай,— говорю я,— а не потому ли ты так легко принимаешь подобные решения, что освоился со смертью?.. Гораздо больше с ней свыкся, чем, например, Профессор?

— Нет,— отвечает он.— Надеюсь, что не поэтому. Только — чем ближе знаком со смертью, тем большую несешь ответственность за жизнь. Всякий, даже самый ничтожный, шанс сохранить жизнь становится чрезвычайно важен.

(Шанс умереть имелся в каждом из этих случаев. Речь шла о сохранении жизни.)

Внимание. Профессор вводит новый персонаж. Доцента Врубель.

— Попросите сюда доцента Врубель,— говорит он.

Все ясно.

Доцент Врубель — пожилая застенчивая осторожная дама, кардиолог из клиники Профессора. Уж она-то наверняка не посоветует ему ничего неподходящего, ничего мало-мальски рискованного. Профессор спросит: «Ну что, пани Зофья? Что вы мне советуете делать?» А пани Зофья скажет: «Лучше подождать, профессор, мы ведь не знаем, как поведет себя такое сердце...» И тогда Профессор обратится к Эдельману: «Видите, доктор. Мои кардиологи мне не позволяют!» (Слово «мои» он подчеркнет, поскольку доцент Врубель — сотрудник его клиники, а доктор Эдельман — городской больницы. Но может быть, мне так только кажется. Может быть, он просто это скажет, ничего не подчеркивая. И слово «мои» будет означать лишь то, что Профессор, как руководитель клиники, обязан считаться со своими врачами.)

И вот входит доцент Врубель. Смущается, краснеет, опускает глаза. И говорит тихонько:

— Надо оперировать, профессор.

Ну, нет. Это уж чересчур.

— Врубель! — кричит Профессор.— И ты против меня?!

Он делает вид, будто говорит шутливо, но у него возникает странное чувство, которое сегодня не покинет его уже до конца.

Он встанет, сгребет со стола коронарограммы, пойдет в блок, где его ждут спящий под наркозом Жевуский, и хирурги в голубых масках, и операционные сестры — и с первой до последней минуты ему будет казаться, что он совершенно один, несмотря на присутствие всех этих людей.

Один на один с сердцем, которое трепещет в своей сумке, как маленький испуганный зверек.

Все еще трепещет.

Я показывала то, что до сих пор написала, разным людям — а они не понимают. Почему я не рассказала, как он спасся? Еще неизвестно, как спасся, а уже сидит под дверью Профессора. Но ведь он должен там сидеть; если бы его не было, Профессор уже давно был бы дома, перед телевизором, на середине «Последних известий», расслабившийся и совершенно спокойный.

Так что он обязательно должен сидеть под этой дверью вместе с Агой и Эльжбетой Хентковской. Правда, Эльжбеты уже нет. То есть она там, покуда они сидят и ждут, но ее нет сейчас, когда я об этом пишу. Есть награда имени доктора Эльжбеты Хентковской, которая будет присуждаться за выдающиеся достижения в области кардиологии.

Фондом для этой награды стал гонорар за работу «Инфаркт сердца». В той работе — о голодной болезни — Эдельман не мог принимать участия, поскольку в больнице в гетто был всего лишь рассыльным, но в этой он описал все, что узнал о людях с сердечными заболеваниями. Тося Голиборская говорила ему, что в больнице догадывались о других его занятиях, про которые не следовало расспрашивать, и потому особенно не загружали, разве что ежедневно посылали на санэпидстанцию с кровью тифозных больных, после чего он мог занять место у входа на Умшлагплац, где и стоял изо дня в день в течение шести недель, пока все четыреста тысяч не прошли мимо него к вагонам.

В фильме «Реквием для 500 000» показано, как они идут. Видны даже буханки хлеба, которые они держат в руках. Немецкий кинооператор стоял в дверях вагона и оттуда снимал бегущую толпу, спотыкающихся старух, матерей, волокущих за собою детей. Люди бегут с этим хлебом на журналистов из Швеции, которые приехали собирать материалы о гетто, бегут прямо на Ингер, шведскую журналистку, которая смотрит на экран удивленными голубыми глазами, стараясь понять, почему столько

людей бежит к вагону,— и тут раздаются выстрелы. Насколько же всем стало легче, когда началась стрельба. Насколько стало легче, когда взметенная взрывом земля заслонила бегущих и их хлеб, а диктор сообщил о начале восстания, что уже можно было вразумительно объяснить Ингер (rising's broken out, April forty three [1])...

Я говорю Эдельману об этом — и еще говорю, что и вправду хорошо придумано с этой стрельбой. Хорошо, что фонтаны земли заслонили людей,— и тут он начинает кричать. Он кричит, что я, должно быть, считаю, будто бегущие в вагон люди хуже тех, которые стреляют. Ну конечно, я наверняка так считаю, ведь так считают все, даже тот американский профессор, который недавно его посетил и твердил ему: «Вы шли на смерть, как бараны». Американский профессор в свое время высадился на французском пляже, пробежал четыреста или пятьсот метров под смертоносным огнем, не пригибаясь и не падая, и был ранен, а теперь полагает, что если кто-то пробежал по такому пляжу, то потом имеет право говорить: «человек должен бежать», или «человек должен стрелять», или «вы шли на смерть, как бараны». Жена профессора добавила, что выстрелы нужны будущим поколениям. Смерть людей, погибающих молча,— ничто, поскольку они ничего после себя не оставляют, а те, что стреляют, оставляют легенду — ей и ее американским детям.

Он отлично понимал, что профессор, у которого есть рубцы от ран, есть ордена и кафедра, жаждет иметь в своей биографии еще и эти выстрелы, и все же пробовал объяснять ему разные вещи: что смерть в газовой камере не хуже, чем смерть в борьбе, и что недостойна смерть только тогда, когда пытаешься выжить за чужой счет,— но объяснить так ничего и не удалось, американец снова начал кричать, и одна женщина, которая при разговоре присутствовала, старалась его оправдать. «Простите его,— смущенно говорила она,— его нужно простить...»

— Детка,— говорит Эдельман,— ты должна наконец понять: эти люди шли на смерть с достоинством. Страшная штука — так идти навстречу смерти. Гораздо трудней, чем стрелять. Ведь куда легче умирать стреляя — куда легче было умирать нам, чем человеку, который идет к вагону, а потом едет в вагоне, а потом роет себе могилу, а потом раздевается донага... Теперь ты понимаешь? — спрашивает он.

— Да,— говорю я,— это да! — Ведь нам действительно гораздо легче смотреть на тех, кто умирает стреляя, чем на человека, который роет себе могилу.

— Я видел однажды на Желязной сборище. Люди столпились вокруг бочки — обыкновенной деревянной бочки, на которой стоял еврей. Старый, низкорослый, с длинной бородой.

Возле него стояли два немецких офицера. (Двое красивых рослых мужчин рядом с маленьким сгорбленным евреем.) И эти немцы большими портняжными ножницами обстригали еврею по кусочку его длинную бороду и хохотали до упаду.

Окружавшая их толпа тоже смеялась. Потому что объективно это и в самом деле было смешно: маленький человечек на деревянной бочке с остатками бороды, укорачивающейся с каждым взмахом портняжных ножниц. Прямо тебе «гэг» из фильма.

Гетто тогда еще не существовало, так что трагизма в этой сцене не чувствовалось. Ведь ничего страшного с евреем не происходило: разве что оказалось возможным безнаказанно загнать его на эту бочку, что люди уже начинали понимать безнаказанность подобных вещей и что он вызывал смех.

И знаешь что?

Тогда я понял, что самое главное — не позволить загнать себя на бочку. Никогда, никому. Понимаешь?

Все, что я делал потом,— я делал для того, чтобы не позволить себя никуда загнать.

— Но ведь война только началась, и ты еще мог уехать. Твои друзья переходили нелегально границу, убегали туда, где не было бочек...

— Это были другие люди. Блестящие юноши из культурных семей. Они прекрасно учились, в квартирах у них были телефоны и на стенах висели красивые картины. Не какие-нибудь там репродукции — подлинники. Рядом с ними я был никем. Я не принадлежал к обществу. Учился хуже, пел хуже, не умел ездить на велосипеде и не имел своего дома, потому что моя мать умерла, когда мне было четырнадцать лет (Colitis ulceroza, гнойное воспаление кишечника. Первый в моей жизни пациент, которого я лечил, страдал точно таким же заболеванием. Но тогда уже были энкортон и пенициллин, и он выздоровел за две недели).

О чем мы говорили?

— Что твои друзья уехали.

— Видишь ли, до войны я говорил евреям, что их место здесь, в Польше. Что здесь будет социализм и они должны остаться. Ну и когда они остались, и началась война, и с евреями стало происходить то, что в этой войне происходило,— имел я право уехать?

После войны мои друзья стали кто директором японского концерна, кто американским физиком-ядерщиком, кто профессором университета. Очень способные были люди, я тебе говорил.

— Но к тому времени и ты уже подтянулся. Уже считался героем. Они могли принять тебя в свое блестящее общество.

— Они меня звали. Но я проводил на Умшлагплац четыреста тысяч человек. Я сам, лично. Все проходили мимо меня, пока я стоял там у ворот...

Послушай: перестань наконец задавать дурацкие вопросы: «Почему остался?», «Почему остался?»

[1] Началось восстание, апрель сорок третьего (*англ.*).

— Да я вообще тебя об этом не спрашиваю.

— ...

— Ну?

— Что «ну»?

— Поговорим о цветах. Не все ли равно, о чем говорить. Вполне можно и о цветах. В каждую годовщину восстания ты, неизвестно от кого, получаешь цветы. Уже тридцать два букета.

— Тридцать один. В шестьдесят восьмом я цветов не получил. Обидно было, но уже на следующий год получил снова и получаю по сей день. Как-то раз это были калужницы, в прошлом году — розы, в этом — нарциссы, и всегда только желтые. Приносит их, не говоря ни слова, рассыльный из цветочного магазина.

— Не знаю, нужно ли нам об этом писать. Анонимные желтые цветы... Дешевая литература. К тебе вообще липнут банальные истории. Взять хотя бы этих проституток, которые каждый день кормили тебя булками. Да и стоит ли писать, что в гетто были проститутки?

— Не знаю. Наверно, не стоит. В гетто должны быть мученицы и Жанны д'Арк, верно? Но если хочешь знать, в бункере на Милой с группой Анелевича было несколько проституток и даже один альфонс. Такой, весь в татуировке, громадный, с бицепсами, он ими командовал. А девушки были хорошие, хозяйственные. Мы перебрались в их бункер, когда наш участок загорелся, там были все — Анелевич, Целина, Лютек, Юрек Вильнер,— и мы так радовались, что пока еще вместе... Девушки накормили нас, а у Гуты были сигареты «Юно». Это был один из лучших дней в гетто.

Когда мы потом пришли, и они уже это сделали, и не было больше ни Анелевича, ни Лютека, ни Юрека Вильнера,— девушек мы нашли в соседнем подвале.

На следующий день мы уходили каналами.

Спустились все, я был последним, и одна из девушек спросила, можно ли им выйти с нами на арийскую сторону. А я ответил: нет.

Вот видишь.

Очень тебя прошу, не заставляй меня сейчас объяснять, почему я тогда сказал «нет».

— А раньше, в гетто, у тебя была возможность перейти на арийскую сторону?

— Я выходил на арийскую сторону легально, каждый день. Как рассыльный больницы, носил кровь тифозных больных для исследования на санэпидстанцию на Новогрудской.

У меня был пропуск. В гетто было тогда всего несколько пропусков: в больнице на Чистой, в Общине, а в нашей больнице только один, у меня. Те, кто служил в Общине, чиновники, ходили по разным учреждениям и ездили на извозчиках. А я шагал со своей повязкой на рукаве по улицам, в толпе людей, и все на меня и на мою повязку смотрели. С любопытством, с сочувствием, иногда с насмешкой...

Так я ходил ежедневно, к восьми утра, не один год, и ничего со мной не случилось. Никто меня не задержал, не подозвал полицейского, даже не засмеялся. Люди только смотрели. Только смотрели на меня...

— Я спросила: почему ты не остался на арийской стороне?

— Не знаю. Сейчас на такой вопрос уже не ответить.

— До войны ты был никем. Как же случилось, что спустя всего три года ты стал членом штаба ЖОБа? Одним из пяти человек, выбранных из трехсот тысяч...

— Не я вовсе там должен был быть. Там должен был быть... Впрочем, неважно. Назовем его «Адам». Перед войной закончил офицерское училище, участвовал в сентябрьской кампании, в обороне Модлина. Все знали, какой он смелый. Для меня Адам много лет был сущим божеством.

А тут идем мы с ним раз по Лешно, на улице полно народу, и вдруг какие-то эсэсовцы начали стрелять.

Толпа бросилась бежать. Он тоже.

Знаешь, до того я вообще не представлял себе, что он может чего-нибудь испугаться. А он, мой кумир, удирал.

Дело в том, что он привык всегда иметь при себе оружие: в училище, в Варшаве в сентябре, в Модлине. У врага было оружие, и у него было, вот он и был смелый. А когда получилось, что враг стрелял, а он стрелять не мог,— превратился в другого человека.

Произошло это внезапно: просто в один прекрасный день, не говоря ни слова, он прекратил действовать. И когда было назначено первое заседание штаба, ему туда идти было уже незачем. Поэтому пошел я.

У него была девушка, Аня. Она попала в Павяк[1] — потом, правда, ей удалось оттуда вырваться, но когда ее забрали, он окончательно сломался. Пришел к нам, уперся руками в стол и стал говорить, что мы все равно обречены, что нас перережут, что мы молоды и должны бежать в лес, к партизанам...

Его выслушали не перебивая.

Когда он ушел, кто-то сказал: «Это потому, что ее забрали. Теперь ему уже незачем жить. Теперь он погибнет». Тогда это требовалось каждому: чтобы был кто-то, вокруг кого бы вертелась твоя жизнь, ради кого нужно было бы что-то делать. Пассивность означала верную смерть.

Только деятельный человек имел шансы выжить. Необходимо было чем-то заниматься, куда-то ходить.

В этой суете не было никакого смысла, потому что и так все погибали, но хотя бы человек не ждал своей очереди безучастно.

Полем моей деятельности был Умшлагплац — я должен был, с помощью наших людей из полиции, вызволять тех, в ком мы особенно нуждались. Однажды я вытащил парня с девушкой — он работал в типографии, а она была отлич-

[1] Тюрьма в Варшаве; в период оккупации одна из главных следственных тюрем немецкой полиции безопасности.

ной связной. Вскоре оба погибли, он во время восстания, но до того успел еще напечатать один номер подпольной газеты, а она — на Умшлагплаце, но прежде еще успела эту газету разнести.

Какой в этом был смысл, ты хочешь спросить?

Никакого. Благодаря этому человек не стоял на бочке. Вот и все.

Возле Умшлагплаца помещалась амбулатория. В ней работали девушки из школы медсестер,— кстати, это было единственное учебное заведение в гетто. Люба Блюм следила, чтобы все было так, как должно быть в настоящем солидном учебном заведении: белоснежные халаты, накрахмаленные шапочки и образцовая дисциплина... Чтобы выцарапать человека с Умшлагплаца, надо было доказать немцам, что он действительно болен. Больных на «скорой помощи» отправляли домой: немцы до последней минуты поддерживали в людях уверенность, что в этих вагонах их везут на работу, а работать, как известно, могут только здоровые. Ну вот, и эти девочки из амбулатории, эти медсестры, ломали ноги людям, которых следовало спасти. Клали ногу на деревянную чурку, а другой чуркой ударяли — в своих сверкающих халатиках образцовых учениц...

Погрузки в вагоны ждали в помещении школы. Выводили оттуда поочередно, сперва с одного этажа, потом с другого, так что люди с первого этажа удирали на второй, со второго на третий, но этажей было только четыре, поэтому на четвертом активность и энергия у всех иссякали — дальше идти было некуда. На четвертом этаже был большой физкультурный зал. Там на полу лежало несколько сот человек. Никто не вставал, не ходил, вообще никто не двигался, люди лежали, апатичные и безмолвные.

В зале была ниша. В нише несколько власовцев — шесть, а может быть, восемь — насиловали девушку. Стояли в очереди и насиловали, а когда очередь закончилась, девушка вышла из ниши, прошла через весь зал, спотыкаясь о лежащих, белая, голая, окровавленная, и села в углу. Толпа все видела, но никто не сказал ни слова. Никто даже не пошевелился, и в зале по-прежнему царило молчание.

— Ты это видел или тебе рассказывали?

— Видел. Я стоял в конце зала и все видел.

— Стоял в конце зала?

— Да. Как-то я рассказал эту историю Эльжбете. Она спросила: «А ты? Что ты тогда сделал?» «Ничего не сделал,— ответил я ей.— К тому же, я вижу, с тобой обо всем этом вообще бессмысленно говорить. Ты ничего не понимаешь».

— Странно, почему ты рассердился. Эльжбета прореагировала так, как прореагировал бы всякий нормальный человек.

— Знаю. И кроме того, я знаю, как нормальный человек должен поступать в таких ситуациях. Когда насилуют женщину, нормальный человек бросается на ее защиту, верно?

— Если б ты бросился один, тебя бы убили. Но если бы все, кто там были, поднялись с пола, вы бы запросто справились с власовцами.

— Никто не шевельнулся. Никто уже не в состоянии был подняться с пола. Люди были способны только ждать погрузки в вагоны. А почему, собственно, мы об этом заговорили?

— Не знаю. Перед тем мы говорили, что нужно было что-то делать.

— Я и делал — в районе Умшлагплаца. А та девушка жива, представляешь? Честное слово. У нее муж, двое детей, и она очень счастлива.

— Ты действовал в районе Умшлагплаца...

— ...и однажды вывел Полю Лифшиц. А назавтра Поля забежала домой, увидела, что матери нет — в это время мать уже гнали в колонне на Умшлагплац,— бросилась за колонной, бежала вдогонку за толпой от Лешно до Ставок — жених еще подвез ее на рикше, чтоб она успела их догнать,— и она успела. В последнюю минуту замешалась в толпу, чтобы вместе с матерью войти в вагон.

О Корчаке знают все, правда? Корчак — герой, потому что добровольно пошел с детьми на смерть.

А Поля Лифшиц — которая пошла со своей матерью? Кто знает о Поле Лифшиц?

А ведь эта самая Поля могла перейти на арийскую сторону, потому что была молода, красива, не похожа на еврейку и скорее, чем кто-либо другой, осталась бы в живых.

— Ты упоминал о талонах на жизнь. Кто их распределял?

— Было сорок тысяч талонов — такие листочки с печатью. Немцы отдали их Общине и сказали: «Распределяйте сами. Кто получит талон, останется в гетто. Все остальные пойдут на Умшлагплац».

Это было за два дня до окончания акции по уничтожению гетто, в сентябре. Главный врач нашей больницы, Геллер, получила десятка полтора талонов и сказала: «Я распределять не буду».

Талоны мог раздать кто-нибудь из врачей, но все считали, что она даст их тем, кто больше всего заслуживает.

Послушай: «кто заслуживает». Разве существует такое мерило, согласно которому можно решить, кто имеет право на жизнь? Нет такого мерила. Но к Геллер ходили делегации, упрашивали, чтобы она согласилась, и она начала распределять талоны.

Один талончик она дала Фране. А у Франи были еще сестра и мать. На углу улицы Заменгофа выстроили всех, у кого были талоны, а вокруг толпились люди, у которых талонов не было. И среди них стояла Франина мать. И мать ни за что не хотела от нее отойти, а Фране уже пора было становиться в шеренгу, и она говорила: «Мама, ну иди же,— и отстраняла ее рукой.— Ну иди же...»

Да, Франя выжила.

Потом она спасла человек двадцать, вынесла одного парня после разгрома

варшавского восстания, вообще вела себя потрясающе.

Такой же талон получила старшая медсестра Тененбаум. Она была приятельницей Беренсона, знаменитого адвоката, защитника на брестском процессе [1]. Ее дочери талона не дали. Тененбаум сунула свой талончик дочке, сказала: «Подержи минутку, я сейчас...» — пошла наверх и проглотила тюбик люминала.

Мы нашли ее назавтра, еще живую.

Ты считаешь, мы должны были ее спасать?

— А что случилось с дочкой, которой достался талон?

— Нет, ты мне скажи: мы должны были ее спасать?

— Знаешь, Тося Голиборская говорила мне, что ее мать тоже приняла яд. «А этот кретин, мой зять,— рассказывала Тося,— ее спас. Можете себе представить такого кретина? Спасти для того, чтобы через несколько дней ее погнали на Умшлагплац...»

Когда началась акция по уничтожению гетто и с первого этажа нашей больницы уже выволакивали людей, наверху одна женщина рожала. Возле нее стояли врач и сестра. Как только ребенок появился на свет, врач передал его сестре. Та положила его на подушку, сверху прикрыла другой. Ребенок попищал минутку и затих.

Матери было девятнадцать лет. Врач ничего ей не сказал, ни слова — она и без слов поняла, что нужно делать.

Хорошо, что ты не спрашиваешь: «А эта девушка жива?»— как спросила про врачиху, которая дала детям цианистый калий.

Да, она жива. Прекрасный педиатр.

— Так что же было с дочкой Тененбаум?

— Ничего. Тоже погибла. Но перед тем прожила несколько счастливых месяцев: у них была любовь с одним парнем, рядом с ним она всегда была спокойная, улыбающаяся. По-настоящему счастливые месяцы прожила, правда.

Француз из «Экспресса» спрашивал меня, влюблялись ли люди в гетто. Так вот...

— Прости. Ты тоже получил талон?

— Да. Я стоял в пятнадцатой пятерке, в той же колонне, где Франя и дочка Тененбаум, и вдруг увидел свою девушку и ее брата. Я поскорей втащил их в колонну, но так поступали и другие, поэтому в колонне оказалось уже не сорок, а сорок четыре тысячи человек.

Немцы пересчитали нас, последние четыре тысячи отделили и отослали на Умшлагплац. Но я попал в первые сорок тысяч.

— Значит, француз спросил у тебя...

— ...влюблялись ли люди. Так вот: выжить в гетто можно было, только если у тебя кто-то был. Человек забирался куда-нибудь с другим человеком — в постель, в подвал, куда попало — и до следующей акции уже не был один.

У того забрали мать, у этого застрелили на месте отца, увезли в эшелоне сестру, так что, если кому-то чудом удавалось убежать и остаться еще на какое-то время живым, он непременно должен был прильнуть к другому живому человеку.

Люди тогда тянулись друг к другу, как никогда прежде, как никогда в нормальной жизни. Во время последней акции пары бежали в Общину, отыскивали какого-нибудь раввина или кого угодно, кто бы мог их обвенчать, и отправлялись на Умшлагплац уже супругами.

Тосина племянница пошла со своим парнем на Павью — в доме номер один там жил раввин, он их обвенчал, и прямо оттуда их забрали оуновцы [1], а один приставил ей дуло к животу. Тогда он, ее муж, отвел дуло и заслонил живот своей рукой. Ее, правда, все равно отправили на Умшлагплац, а он, с оторванной кистью, убежал на арийскую сторону и погиб в варшавском восстании.

Вот в чем мы нуждались: в человеке, готовом, если понадобится, заслонить собственной рукою твой живот.

— Когда началась эта акция, и Умшлагплац, и прочее, вы — ты и твои товарищи — сразу поняли, что́ это означает?

— Да. Двадцать второго июля 1942 года были развешаны плакаты с распоряжением о «переселении населения на восток», и в ту же ночь мы расклеили листовки: «Переселение — это смерть».

Назавтра на Умшлагплац начали свозить заключенных из тюрьмы и стариков. Продолжалось это целый день, так как перевезти надо было шесть тысяч заключенных. Люди стояли на тротуарах и смотрели — и, знаешь, было абсолютно тихо. Все происходило в гробовой тишине...

Потом уже не осталось ни заключенных, ни стариков, ни бездомных нищих, а на Умшлагплац надо было каждый день доставлять десять тысяч человек. Заниматься этим надлежало еврейской полиции под надзором немцев, и немцы говорили: все будет спокойно и никто не станет стрелять, если ежедневно, не позже четырех часов, в вагоны будет погружено десять тысяч человек. (В четыре эшелон должен был быть отправлен.) Так что людям говорили: «Если мы наберем десять тысяч, остальные уцелеют». И полицейские сами задерживали людей — вначале на улице, потом окружали дом, потом выволакивали из квартир...

Кое-кому из полицейских мы вынесли смертные приговоры. Коменданту полиции Шеринскому, Лейкину и еще нескольким.

На второй день акции, 23 июля, собрались представители всех политических группировок и впервые заговорили о вооруженном сопротивлении. Все уже были настроены решительно и раздумывали, где бы достать оружие, но спустя несколько часов, не то в два, не то в три, кто-то пришел и сказал, что акция при-

[1] Политический процесс руководителей парламентской оппозиции (окт. 1931 — янв. 1932), устроенный санационным правительством.

[1] ОУН — организация украинских националистов, существовавшая в Польше и Западной Украине с 1929 по 1948—1950 гг.

остановлена и никого больше выселять не будут. Не все в это поверили, но атмосфера сразу разрядилась, и до конкретных решений дело не дошло.

Большинство все еще не верило, что это — смерть. «Разве можно,— говорили,— истребить целый народ?» И успокаивались. Нужно доставить сколько-то людей на площадь, чтобы спасти остальных...

Вечером в первый день акции покончил с собой глава Общины Черняков. Это был единственный дождливый день. А вообще от начала до конца акции стояла солнечная погода. В тот день, когда умер Черняков, закат был красный, и мы думали, это к дождю, но назавтра опять светило солнце.

— Для чего вам нужен был дождь?

— Ни для чего. Я просто рассказываю тебе, как было.

Что касается Чернякова, то мы были к нему в претензии. Мы считали, он не должен был...

— Знаю. Мы уже об этом говорили.

— Разве?

А знаешь, после войны мне кто-то сказал, что у Лейкина — полицейского, которого мы застрелили в гетто,— тогда, на восемнадцатом году супружеской жизни, родился первый ребенок, и он думал, что своим рвением его спасет.

— Хочешь еще что-нибудь рассказать об акции?

— Нет. Акция закончилась.

Я остался жив.

Так совпало, что у пана Рудного, и у пани Бубнер, и у пана Вильчковского, альпиниста, инфаркт случился либо в пятницу, либо в ночь с пятницы на субботу, поэтому суббота для каждого из них оказалась свободным от каких бы то ни было дел днем. В субботу все они лежали неподвижно, под капельницей с ксилокаином, и думали.

Инженер Вильчковский, например, думал о горах, а вернее, о позолоченной солнцем вершине (именно так, поэтически, выразился он потом), на которой наконец-то можно развязать веревки и присесть,— и вершина эта была не в каких-нибудь там Альпах, или в Эфиопии, или даже на Гиндукуше — просто вершина в Татрах, Менгушовецкий пик или, может быть, Жабий Мних, на который он както, в сентябре, проложил очень красивую дорогу по западному склону. Пану Рудному (первая пересадка вены в сердце в остром периоде) виделись, разумеется, басонные машины — только современные, импортные, английские или швейцарские, и все на ходу: не было такой, у которой бы недоставало частей. А у пани Бубнер (изменение направления кровотока) перед глазами маячил небольшой литьевой пресс. Пластмассовые детали на нем штамповал рабочий, но в кипящую краску потом их бросала уже она сама, так как это была самая ответственная часть работы. Затем она собирала всю авторучку (на швейцарские наконечники, которые перепали ей из посылок, у нее, разумеется, имелась таможенная квитанция), маркировала и укладывала в коробочку.

Вот о чем думали пациенты доктора Эдельмана, лежа под капельницей с ксилокаином.

Под капельницей обычно думают о самом важном.

Для главного врача Геллер самым важным было: кто заслуживает талон на жизнь. А для пана Рудного самое важное — запчасти к машинам. Так что, если бы Геллер дала талон пану Рудному, это был бы талон на машины, поскольку в них — жизнь пана Рудного, так же как жизнь пани Бубнер — шариковые ручки, а пана Вильчковского — Менгушовецкий хребет.

Что же касается пана Жевуского, то он ни о чем не думал.

Если бы пан Жевуский, подобно пани Бубнер или пану Рудному, вспоминал о том, что было лучшего в его жизни, он бы безусловно подумал о заводе, который ему доверили в двадцать восемь лет, а отобрали в сорок три. Он бы немедленно почувствовал запах металла, и услышал, как кто-то входит с чертежом в руке, и понял: что-то сейчас рождается, и это «что-то» можно увидеть, измерить, опробовать, и с нетерпением глядел бы на обрабатываемый металл — так бы ему хотелось прикоснуться к образцу, который он пять минут назад видел на чертеже...

(«Завод,— говорит пан Жевуский,— был для меня тем, чем для доктора Эдельмана гетто: самым важным в жизни. Действием. Возможностью испытать себя. НАСТОЯЩИМ МУЖСКИМ ДЕЛОМ».)

Обо всем этом пан Жевуский несомненно бы думал, лежа под капельницей, если б он вообще о чем-нибудь думал. Но, повторяю, он ни о чем не думал — ни тогда, когда Профессор еще сидел, погрузившись в свои мысли, у себя в кабинете, а возле пана Жевуского уже хлопотал анестезиолог, ни несколько часов спустя, когда Профессор, и Эдельман, и Хенткovская с радостью следили за скачущим по экрану монитора зайчиком,— ни о чем не думал, так как все время ощущал только одно — боль, и не было для него ничего важнее желания, чтобы боль хотя б на минуту утихла.

—

Это было первое восхождение по центральной части западного склона и, наверно, все же не в сентябре — так или иначе, уже на склоне было очень много солнца. Потом они увидели сверху Морское Око, а за спиной у себя — ущелья, нагромождения скал и Бабью Гору. Англичанин Мэллори, когда его спросили, почему он поднялся на Монт Эверест, ответил: «Because it exists». Потому что он существует. Тот позолоченный пик был далеко, целую субботу (к ксилокаину еще прибавился гидрокортизон) Вильчковский на него взбирался, прекрасно его видел, но не мог приблизиться даже на миллиметр и начал понимать, что уже никогда в жизни не доберется до этого залитого солнцем места.

И он стал размышлять о том, много ли у него шансов. В горах до сих пор обходилось без несчастных случаев, но этого было недостаточно, чтобы его успокоить,— неизвестно, кто еще мог оказаться на пути, предначертанном ему судьбой. Существуют же злые духи, которые навлекают несчастья на людей гор; перед экспедицией в Эфиопию, например, их злому духу (только потом выяснилось, что это был он сам) достался рюкзак с грузом под номером восемь, но он не захотел его брать, рюкзак взял кто-то другой, было их тогда восемь человек, и вышли они восьмого, и тот, кто взял восьмой рюкзак, соскользнул с автомобильного тента — как, по сей день непонятно: они все спали на этом брезенте, привязавшись веревками. В экспедиции Диренфурта на Монт Эверест один индус умер от истощения, и очередной злой дух был последним человеком, который его видел,— индус, кстати, шел в его куртке. В общем, всю ночь с субботы на воскресенье Вильчковский размышлял о своей судьбе и, хотя думать старался объективно, пришел к выводу, что его жизненная линия ни с чем особо опасным не пересекается, и это его сильно подбодрило.

Четыре барабана в английской машине нужно отрегулировать так, чтобы они работали синхронно, тогда не возникнет натяжения и товар не порвется. Регулировка производится через бесступенчатую коробку при помощи кольца на конусообразной шайбе, и когда товар на барабанах — тесьма для юбок, или резинка, или ремень — имеет необходимую влажность и скорость, а все барабаны идеально между собой синхронизованы, это прекрасно: человек тогда знает, что он полновластный хозяин машины.

Итак, машины были смазаны, барабаны, которые пану Рудному удалось точно отрегулировать, ритмично вращались, и теперь можно было хоть немного подумать о садовом участке, который нужно вскопать, да и хибарку какую-никакую тоже бы не мешало поставить.

Жена говорила ему, что, может, и вправду надо построить домик. Летнюю дачку, все теперь такие строят.

Жена ему говорила, что до сих пор им всегда удавалось получить то, чего больше всего в жизни хотелось: квартиру они обставили супермодной светлой мебелью, только дверцы в «стенке» черные, лакированные, талон на стиральную машину получили сразу, каждый год ездили всей семьей в отпуск, и случая не было, чтобы ей не досталось телятины без костей. Так что наверняка, если б они немножко подсуетились, и домиком бы обзавелись,— так говорила жена, которая до последней минуты, пока не увидела его издалека через приоткрытую дверь реанимационного блока, считала, будто они имеют все, что есть в жизни действительно ценного.

Авторучки принимали только в системе книготорговли. Ни газетные киоски, ни «Канцтовары» не имели права брать у них товар, поэтому они полностью зависели от книжных магазинов. Заведующий книжным магазином мог взять сразу и тысячу, и две тысячи штук, ну и пани Бубнер приходилось делать все, чтобы товар не залеживался.

Инфаркт ее хватил сразу по возвращении с судебного разбирательства (Бубнер осудили на год с заменой тремя годами условного заключения), во время которого, кстати, выяснилось, что ставки были установлены твердые: все производители авторучек давали заведующим магазинов ровно по шесть процентов, то есть примерно десять—двадцать тысяч с каждой партии товара.

В зале суда оказалось, что не только у тех, кто давал, больное сердце. Те, через которых передавались взятки, чувствовали себя еще хуже, один из посредников то и дело клал под язык нитроглицерин, и тогда судья (это была женщина) объявляла на минуту перерыв. «Надо чуть-чуть подождать, пока нитроглицерин рассосется, вы только не волнуйтесь»,— говорила она.

В самом же тяжелом состоянии были люди, которые брали,— заведующие книжными магазинами. Один уже перенес инфаркт, судебный врач разрешил ему давать показания только в течение часа, так что судье приходилось все время поглядывать на часы, и ровно через час она прерывала заседание. Надо сказать, что судья действительно очень подоброму и с пониманием относилась ко всем сердечникам — и к ремесленникам, и к посредникам, и к заведующим магазинами.

Что же касается ее, пани Бубнер, то она тогда еще в медицинской помощи не нуждалась. Инфаркт у нее случился уже после суда, дома, и она даже успела приподняться на носилках и попросить соседа, чтобы тот усыпил таксу, сделал ей самый лучший из возможных уколов.

— Доктор Эдельман потом подошел ко мне и говорит: «Только операция, пани Бубнер». А я заплакала и говорю: «Нет». А он говорит: «Соглашайтесь, пани Бубнер. Так нужно». (У пани Бубнер как раз и был тот случай инфаркта передней стенки сердца с блокадой правой ножки желудочкового пучка, при котором люди становятся все тише и все спокойнее, потому что все в них медленно, постепенно умирает. А пани Бубнер была той четырнадцатой пациенткой. Профессор уже не спрашивал: «Чего вы, собственно, от меня хотите?»— а только сказал: «Хорошо. Попробуем».) Эдельман, значит, говорит: «Соглашайтесь, так нужно...»

...и тут я подумала: ведь мой покойный муж был очень хороший, очень верующий человек. Он говорил: «Никуда не денешься, Маня, Бог есть» — и еврейской общине много помогал, и после собраний в артели никогда не ходил со всеми в «Малиновую», шел прямо домой, а если мне иной раз хотелось выпить рюмочку со своими, говорил: «Конечно, иди, Манюся, дай только твою сумочку, чтоб не потеряла». И наверно, если такой человек попросит о чем-нибудь своего Бога, Бог ему не откажет. Я пока сидела месяц перед судом, и то была спокойна:

знала, что рано или поздно двери передо мной откроются, не может быть, чтобы мой муж не сумел такого для меня устроить. И что вы думаете? Не устроил? Приехал бухгалтер из управления, внес залог и меня до суда освободили условно.

И тогда я сказала: «И не думайте беспокоиться, доктор, увидите, уж он там все устроит как надо».

(Вскоре после того, как это было сказано, Профессор перевязал главную вену сердца пани Бубнер, чтобы прекратить отток и направить артериальную кровь в вены, и, ко всеобщей радости, оказалось, что кровь нашла выход из сердца...)

Перед установкой новых, импортных, машин пана Рудного послали в Англию, в Ньюкасл, на практику. Тогда-то пан Рудный и заприметил, что английская контролерша бракует гораздо меньше изделий, чем у них на фабрике, и что там ни разу не случилось, чтобы машина простаивала из-за отсутствия запчастей.

Когда он вернулся в Лодзь, ему мечталось, чтоб машины у них работали, как в Ньюкасле. Увы! — можно было разбиться в лепешку и не добыть нужных деталей, процент брака по-прежнему оставался очень высок, и ко всему прочему пан Рудный не мог найти общий язык с молодыми рабочими.

Директор фабрики говорит, что раньше к начальству относились с бóльшим уважением, поскольку нелегко было найти работу. А сейчас дети рабочих получают образование — и хорошо, что получают, только потом работать некому, а если уж кто-нибудь приходит на предприятие, да еще с дипломом техникума, то немедленно, по любому поводу, начинает качать права, потому что отлично понимает выгоды своего положения.

Итак, когда пан Рудный вернулся из больницы после операции (это была та самая операция в остром периоде, когда речь шла о том, кто будет первым: инфаркт или врачи — врачи или Господь Бог,— та самая операция, перед которой Профессор пытался уйти из клиники и не возвращаться, но вернулся, еще в тот же день, под вечер. А если уж быть точным, то ушел не только Профессор. Эдельман тоже ушел, хотя именно он перед тем настаивал на операции. Эдельман сказал: «Пойду подумаю», поскольку тоже читал книги, в которых написано, что такие операции нельзя делать,— и вернулся спустя несколько часов. И тогда нашелся человек — это была Эльжбета Хентковская,— который закричал: «Куда вы все подевались? Не понимаете, что дорога каждая минута?!»)— ну так вот, когда пан Рудный вернулся после операции, о которой сразу подняла шум вся пресса, его с ходу перевели в более спокойный цех. Специально подыскали такой, где не будет ни импортных машин, ни дефицитных деталей, ни молодых образованных рабочих... «Здоровье, и только здоровье, пана Рудного было причиной перевода,— подчеркивает Директор, — а вовсе не то обстоятельство, как ошибочно полагал пан Рудный, что он пошел в отдел по технике безопасности и сказал, что Новак, который уже десять дней бюллетенит, не просто заболел, а получил производственную травму. Фабрика попадает в очень щекотливое положение, когда о производственной травме сообщается с десятидневным опозданием, но, повторяю, дело было вовсе не в этом и не потому пана Рудного перевели на более спокойный участок».

В новой своей должности пан Рудный занимался смазочными маслами. Что это была за работа! Осмотреть машину, составить протокол — вот и все. Пан Рудный прекрасно понимал, что участок ответственный: если скоростную машину хорошенько смазывать, она много лет не выйдет из строя, но чтоб видеть результат своей работы сейчас, немедленно — об этом не приходилось и мечтать.

Директор не понимает, с какой целью я интересуюсь состоянием здоровья пана Рудного.

Может быть, я, например, считаю, что фабрика несет ответственность за его болезнь? Нет, я вовсе так не считаю. Тогда Директор рассказывает, как после каждого посещения смежного предприятия, где ему приходится вымаливать запчасти и приличную пряжу, у него обостряется язва двенадцатиперстной кишки. А главный механик, непосредственный начальник пана Рудного (запчасти не для нескольких машин, а для всей фабрики!), уже дважды в предынфарктном состоянии попадал в больницу — если мне угодно, он может, не сходя с места, измерить себе давление, сейчас конец квартала и меньше чем сто восемьдесят на сто десять наверняка не будет.

У всех троих — пани Бубнер, инженера Вильчковского и пана Рудного — в ту субботу было много времени для размышлений. И они подумали: хватит, больше им инфаркт получать неохота!

Можно решить, что инфарктов больше не будет. Так же как, выбирая образ жизни, можно заведомо согласиться на инфаркт.

Короче, сразу по возвращении домой пани Бубнер ликвидировала мастерскую. Всю документацию полагается хранить пять лет, и у нее еще лежат ее авторучки, по штуке каждого образца. Время от времени можно их достать, почистить, оглядеть — блестящие, все до одной четырехцветные, маркированные и внесенные в накладные. Потом пани Бубнер складывает их обратно в коробку, прячет на место и неторопливо отправляется на прогулку.

Пан Рудный же, которого недавно перевели обратно в его цех, потому что опять прибыли новые машины, на этот раз из Швейцарии, сказал себе: «Только не волноваться. Даже если обнаружится отсутствие какой-нибудь детали, вовсе не обязательно самому чинить старую или из кожи лезть вон, чтоб добыть новую. Если не будет хватать частей, мое дело — подать официальную заявку, и дальше можно жить спокойно».

И действительно. Он подает письменную заявку и живет спокойно.

А если иногда нарушает данное себе обещание, то и вправду ненадолго. Достаточно почувствовать боль за грудиной, пойти к врачу и услышать: «Пан Рудный. Нужно радоваться жизни, а не огорчаться из-за машин» — и он снова начинает писать заявки.

И боли он тогда уже не чувствует, и приходит в больницу не как пациент, а просто в гости, пятого июня — в годовщину своей операции, и приносит три букета цветов. Один вручает Профессору, другой доктору Эдельману, а третий несет доктору Эльжбете Хентковской и кладет на ее могилу на кладбище.

— Закончилась акция, ты остался жив...

— В гетто уцелело шестьдесят тысяч евреев. Эти теперь уже понимали, что означает «выселение» и что ждать больше нельзя. Мы решили создать единую для всего гетто военную организацию, что, кстати, было не просто, так как никто друг другу не доверял: мы — сионистам, сионисты — нам, но теперь это, разумеется, уже не имело значения. И мы создали единую боевую организацию, ЖОБ.

Было нас в ней пятьсот. Но в январе немцы снова провели акцию, и из пятисот человек осталось восемьдесят. В той январской акции люди впервые отказывались идти на смерть добровольно. Мы застрелили пять или шесть немцев на Мурановской, Францисканской, Милой и Заменгофа, это были первые выстрелы в гетто, и они произвели сильное впечатление на арийской стороне: дело было еще до крупных вооруженных акций польского движения Сопротивления. Владислав Шленгель, поэт, который писал в гетто стихи и страдал комплексом покорной смерти, успел еще написать об этих выстрелах стихотворение. Называлось оно «Контратака». Послушай:

...Слышишь, немецкий бог,
как молятся в диких домах евреи,
сжимая в руках кто дубинку, кто жердь.
Пошли нам, о Боже, кровавую битву
и в битве кровавой внезапную смерть.
Пусть наши глаза перед самой кончиной
не видят, как рельсы уходят в ничто,
но нашим ладоням дай, Господи, силы...
Словно пурпурно-кровавые маки,
на Мурано́ве, на Низкой, на Милой
рдеют цветы нашей контратаки
в дулах бьющих без промаха ружей,
а в закоулках Островской и Дикой —
на тропках наших лесов партизанских —
хмель этой битвы нам головы кружит[1]...

Точности ради скажу тебе, что «дул», в которых рдели «цветы нашей контратаки», было тогда в гетто десять. Мы получили десять пистолетов от ГЛ [2].

Группа Анелевича, которую вели на Умшлагплац и у которой оружия не было, бросилась на немцев с голыми руками. Группа Пельца, восемнадцатилетнего паренька, печатника, которую привели на площадь, отказалась садиться в вагоны, и ван Оппен, комендант Треблинки, расстрелял их всех — шестьдесят человек — на месте. Радиостанция им. Костюшко, помню, тогда обращалась к народу с призывом к борьбе. Какая-то женщина кричала: «К оружию! К оружию!» — на фоне звуковых эффектов, воспроизводивших щелканье затворами. Мы гадали, чем они там щелкают, потому что на всех к тому времени у нас было шестьдесят пистолетов — от ППР и АК.

— А знаешь, кто кричал? Рыся Ханин [3].

На радиостанции в Куйбышеве Рышарда Ханин тогда читала сводки, стихи и призывы. Не исключено, что именно она призывала вас к оружию — это она мне сама сказала... Но настоящими затворами они там не щелкали. Рыся Ханин говорит, что по радио ничто не звучит так фальшиво, как подлинные звуки...

— Как-то Анелевичу захотелось раздобыть еще один револьвер. Он убил на Милой охранника с фабрики, а во второй половине того же дня приехали немцы и в отместку забрали всех с улицы Заменгофа — от Милой до Мурановской площади, несколько сот человек. Мы ужасно на него разозлились. Хотели даже... Впрочем, это неважно.

В том доме, с которого немцы начали, на углу Милой и Заменгофа, жил мой товарищ, Хеннох Рус. (Это ему, кстати, обязана своим созданием единая боевая организация в гетто: обсуждение затянулось на много часов и голосовали несколько раз, но все без толку, потому что каждый раз оказывалось столько же голосов «за», сколько «против». В конце концов именно Хеннох изменил свою точку зрения, поднял руку, и было принято решение создать ЖОБ.)

У Хенноха Руса был сынишка. В начале войны малыш заболел, потребовалось переливание крови, я дал ему свою кровь, но сразу после переливания ребенок умер. По всей вероятности, шок от чужеродной крови, такое иногда бывает. Хеннох смолчал, но с тех пор стал меня избегать: как-никак моя кровь убила его ребенка. И только когда началась акция, сказал: «Благодаря тебе мой сын умер дома, как человек. Спасибо тебе за это».

Мы тогда собирали оружие.

Тайком переправляли его с арийской стороны (силой вырывали деньги у разных организаций и частных лиц), а также выпускали подпольную газету — наши девушки-связные развозили листки по всей Польше...

— Сколько вы платили за револьвер?

— От трех до пятнадцати тысяч. Чем ближе к апрелю, тем дороже: спрос на рынке возрастал.

— А сколько платили за то, чтобы спрятать еврея на арийской стороне?

— Две, пять тысяч. По-разному. В зависимости от того, похож ли был человек на еврея, с акцентом говорил или без, мужчина или женщина.

— Значит, за один револьвер можно

[1] Стихи здесь и далее даются в переводе Н. Лютой.

[2] Гвардия Людова — военная организация, действовавшая в оккупированной Польше под руководством Польской рабочей партии (ППР); 1 января 1944 г. реорганизована в Армию Людову.

[3] Рышарда Ханин — известная польская драматическая актриса.

было целый месяц прятать одного человека. Или двоих. Или даже троих.

— За один револьвер еще можно было выкупить у шантажиста одного еврея.

— А если б вам тогда предложили выбирать: один револьвер или месяц жизни одного человека...

— Нам ничего такого не предлагали. Может, оно даже и хорошо, что выбирать не приходилось.

— Ваши связные развозили газеты по Польше...

— Одна девушка ездила с ними в Пётрков, в гетто. В Общине пётрковского гетто были наши люди, и там царил образцовый порядок: никакого жульничества, еда и работа распределялись по справедливости. Но мы тогда были молоды и бескомпромиссны и считали, что нельзя работать в Общине, что это коллаборационизм. В общем, мы приказали нашим оттуда бежать, и тогда в Варшаву приехали несколько человек, которых нужно было спрятать, потому что немцы всех пётрковских деятелей разыскивали. Мне поручили семью Келлерманов. За два дня до окончания акции по уничтожению, когда нас выводили с Умшлагплаца за талонами, я увидел Келлермана. Он стоял за входной дверью в больницу — когда-то дверь была застеклена, но стекла выбили, а дыры заделали досками; через щели между этими досками виднелось его лицо. Я дал ему рукой знак, что вижу его и что за ним приду,— и нас увели. Через несколько часов я вернулся, но за дверью никого не было.

Знаешь, я видел стольких людей, идущих на площадь, и до того, и после, но только перед Келлерманом с женой мне хотелось бы оправдаться, потому что я за них отвечал и сказал, что приду, и они до последней минуты меня ждали,— а я пришел слишком поздно.

— Что было со связной, которая ездила в пётрковское гетто?

— Ничего. Как-то на обратном пути ее схватили ауновцы и хотели застрелить, но наши люди успели сунуть им деньги; ее поставили на краю могилы, выстрелили холостыми, она для вида упала, а потом продолжала возить в Пётрков эти газеты.

Газеты мы размножали на стеклографе. Стеклограф у нас был на Валовой, и однажды понадобилось его оттуда перенести — идем, а нам навстречу еврейские полицейские. Мы с грузом, а они нас окружают и собираются вести на Умшлагплац. Старшим у них был один адвокат, который до этого дня вел себя безупречно, никого не бил и не замечал, когда люди убегали. Мы все-таки вырвались, я потом говорю ребятам: «Подумайте, надо же, какая свинья», а они стали мне объяснять, что он, видно, сломался, решил: все, конец — и нам и ему. То же самое мне говорил Маслянко, когда мы втроем ездили в ФРГ давать свидетельские показания. После войны я этому адвокату слова не сказал, а Маслянко говорит (мы в поезде немного выпили): «Какой смысл?» Зачем помнить о том, что было?

В самом деле. Зачем помнить?

Через несколько дней после того, как был застрелен охранник и немцы устроили резню, в апреле, мы шли по улице, Антек, Анелевич и я, и вдруг на Мурановской площади видим людей. День был теплый, солнечный, и люди вышли из подвалов на солнышко. «Господи,— сказал я.— Как они решились выйти? Зачем тут ходят?» А Антек: «Как же он их ненавидит, ему бы хотелось, чтоб они сидели в темноте...»— это он обо мне сказал. А я просто уже привык к тому, что люди имеют право выходить только по ночам. Когда выходят днем, когда их видно, это означает, что долго им не жить.

Антек, помню, первый сказал тогда, на заседании Штаба, что немцы подожгут гетто. Когда мы еще раздумывали, что делать, как погибнуть — броситься на стены, позволить расстрелять себя возле Цитадели или поджечь гетто и сгореть вместе с ним, Антек сказал: «А если они сами нас подожгут?» Мы сказали: «Не говори ерунды, не будут они жечь город». А они на второй день восстания взяли и подожгли. Мы сидели в укрытии, и кто-то вбежал с отчаянным криком: «Горим!» Поднялась паника. «Конец — с нами покончено»,— именно тогда мне пришлось залепить тому парню пощечину, чтобы он успокоился.

Мы вышли во двор, нас подожгли со всех сторон, но центральное гетто, к счастью, еще не горело, горел только наш участок, фабрика щеток, поэтому я сказал, что надо пробиваться сквозь огонь. Аня, подруга Адама, та, которая вырвалась из Павяка, сказала, что никуда не пойдет, что она должна остаться с матерью,— ну, мы ее оставили и бегом дворами. Добрались до стены на Францисканской, в стене был пролом, но его освещал прожектор. Люди снова в истерику — дальше они не пойдут, на свету нас всех перестреляют; и тогда я говорю: «Кто не хочет, оставайтесь»— и остались, человек, наверно, шесть, а Зигмунт выстрелил в прожектор из единственной винтовки, какая у нас была, и нам удалось быстро проскочить. (Это был тот самый Зигмунт, который сказал, что я выживу, а он нет, и чтобы я отыскал его дочку в Замосьце.)

Ну как, нравится тебе номер с прожектором? Я понимаю, это получше, чем смерть в подвале. Достойнее прыгать через стену, чем задыхаться в темноте, верно?

— Действительно.

— Могу тебе рассказать еще одну историю в том же духе. Перед восстанием, когда началась акция в малом гетто, кто-то мне сказал, что взяли Абрашу Блюма. Это был необыкновенного ума человек, еще довоенный наш вожак, и я пошел поглядеть, что с ним.

Я увидел людей, выстроенных четверками вдоль Теплой, а по обеим сторонам, через каждые пять-десять рядов, стояли ауновцы. И в начале и в конце улицы — кордоны. Чтобы отыскать Блюма, надо было пробраться вглубь, но сзади, за спиной ауновцев, проходить было ри-

скованно, и там, где стояла толпа, тоже, потому что так и меня могли б прихватить. И я пошел между оуновцами и толпой, у всех на виду. Шел быстрым энергичным шагом, словно имел право так идти. И знаешь что? Никто меня даже не зацепил.

— У меня создается впечатление, что тебе самому очень нравятся такие истории: как вы быстро, энергично шагали и стреляли в прожектор. Ты их предпочитаешь рассказам про подвалы.

— Нет.

— А я думаю — да.

— Я тебе это рассказал совсем по другой причине. Когда я вечером вернулся домой, на лестнице стояла Стася, у которой были длинные толстые косы, и плакала. «Чего ты плачешь?»— спросил я ее. «Я думала, тебя забрали».

Вот так, только и всего.

Все были заняты какими-то своими, важными, делами, а Стася целый день ждала, пока я вернусь.

— Мы потеряли нить на прожекторе. Хотя, честно говоря, я не уверена, что у нас вообще существует какая-то нить.

— Это нехорошо?

— Почему? Хорошо. Мы же не историю пишем. Мы пишем о памяти. Но вернемся все-таки к прожектору: Зигмунт его погасил — вы быстро проскочили... Погоди, а что с дочкой Зигмунта, которая была в Замосьце в монастыре?

— С Эльжуней? Я ее отыскал сразу после войны.

— И где ж она?

— Нет ее. Уехала в Америку. Какие-то богатые люди удочерили ее; они ее очень любили. Эльжуня была красивая и умная. А потом она покончила с собой.

— Почему?

— Не знаю. Когда я был в Америке, я пошел к этим приемным родителям. Они показали мне комнату Эльжуни. После ее смерти там все осталось как было. Но я так и не узнал, почему она это сделала.

— Все истории о людях, которые ты рассказываешь,— почти все — заканчиваются смертью.

— Да? Потому что это ТЕ истории. А эти, которые я тебе рассказываю про своих пациентов, заканчиваются жизнью.

— Зигмунт, отец Эльжуни, выстрелил в прожектор...

— ...мы перескочили через стену и побежали в центральное гетто, на Францисканскую, а там, во дворе, стоят Блюм (который в той акции все же уцелел) и Гепнер. Тот самый, у которого я стянул из чемодана красный джемпер. Очень красивый джемпер, из настоящей пушистой шерсти...

— Знаю. Тося недавно прислала тебе из Австралии точно такой. А про Гепнера я читала стихотворение: «Песнь об Абраме Гепнере, торговце железом». Там, кстати, говорится, что друзья с арийской стороны упрашивали его уйти из гетто, но он отказался и оставался там до конца. Ты заметил, как часто в рассказах о гетто повторяется этот мотив: возможность уйти и решение остаться? Корчак, Гепнер, вы... Быть может потому, что выбор между жизнью и смертью — последний шанс сохранить достоинство...

— Блюм рассказал нам (в том дворе на Францисканской), что группа АК устроила налет на стену в районе Бонифратерской, но из этого ничего не вышло и что Анелевич сломался, что оружия нет и нам уже не на что рассчитывать... Я говорю: «Ну ладно, ладно, только не будем так стоять». А они спрашивают: «А куда идти?» Нас человек тридцать пять, и Гепнер, и Блюм, и все остальные ждут каких-то приказов, а я сам понятия не имею, куда идти.

Пока что мы спустились в подвалы, а вечером Адам говорит, что хотел бы вернуться за Аней. Просит, чтобы я дал ему несколько человек, я спросил, кто хочет пойти, вызвалось двое или трое, пошли и потом рассказали, что убежище, где остались Аня с матерью, засыпало, и шестеро ребят, которые не захотели с нами идти, тоже погибли.

Может быть, ты хочешь спросить, испытываю ли я угрызения совести оттого, что их бросил?

— Не хочу.

— Не испытываю, нет. Но до сих пор о них думаю.

А на следующий день я встретил всех — Анелевича, Целину, Юрека Вильнера, и мы пошли к ним в убежище, те две девушки, проститутки, приготовили нам поесть, а Гута угощала сигаретами. Это был спокойный, хороший день.

Как ты считаешь, о таких вещах можно рассказывать людям?

— Не понимаю, что ты имеешь в виду.

— Например, про ребят, которых я оставил во дворе.

Должен ли врач рассказывать людям о таких вещах? Ведь в медицине на счету каждая жизнь — каждый малейший шанс спасения жизни.

— А нельзя ли поговорить о какомнибудь прожекторе, о том, как вы перелезли через стену,— о чем-нибудь в этом роде?

— Да ведь там было все вперемешку. Кто-то куда-то бежит, потом кто-то погибает, другие бегут дальше, потом Адам высовывает из подвала голову, а по стене скатывается граната, я кричу: «Адам, граната», и эта граната разрывается у него на голове. Потом я выскакиваю из подвала, во дворе стоят немцы, но у меня есть два пистолета — помнишь, те самые, на перекрещивающихся ремнях, я стреляю...

— И попадаешь из обоих?

— Какое там, ни из одного, но успеваю добежать до дома, немцы кидаются за мной, я бегу на крышу — это неплохая история?

— Великолепная.

— Ты считаешь, эффектнее бегать по крышам, чем сидеть в подвале?

— Я предпочитаю, чтобы ты бегал по крышам.

— А я тогда не чувствовал разницы. Почувствовал позднее, во время варшавского восстания, когда все происходило днем, при солнечном свете, в не огороженном стенами пространстве. Мы мог-

ли наступать, отступать, перебегать с места на место. Немцы стреляли, но и я стрелял, у меня была собственная винтовка, на рукаве бело-красная повязка, вокруг были другие люди с бело-красными повязками — много людей,— слушай, до чего ж это была прекрасная, комфортабельная борьба!

— Вернемся на крышу?

— Я пробежал по ней до соседнего дома. Все в том же красном джемпере, а такой красный джемпер на крыше — отличная мишень, но против солнца попасть было трудно. В соседнем доме, на шестом этаже, лежал на большом мешке с сухарями паренек.

Я остановился возле него — он дал мне сухарь, потом еще один и все, больше давать не захотел. Дело было в полдень, а часов в шесть парнишка умер, и в моем распоряжении оказался целый мешок сухарей. Но к сожалению, с мешком особенно не попрыгаешь, а мне нужно было вниз, когда же я спустился во двор, там лежало пятеро наших ребят, убитые. Одного из них звали Сташек. Утром этого дня он просил у меня какой-нибудь адрес на той стороне, а я сказал: «Еще не время, еще рано», потому что адресов на той стороне у меня не было. А он говорит: «Да ведь конец уже, дай адрес, прошу». А у меня не было адреса. Вскоре после этого он выскочил во двор, и вот теперь я его нашел.

Надо было этих ребят похоронить.

Мы вырыли могилу (во дворе дома номер 30 по Францисканской). Страшная работа — рыть могилу для пятерых. Похоронили мы их, а поскольку было первое мая, тихонько пропели над могилой первый куплет «Интернационала». Можешь в такое поверить? Кто из нормальных людей стал бы петь во дворе на Францисканской?

Потом мы где-то раздобыли сахар и пили подслащенную воду. У меня в группе несколько человек взбунтовались, они считали, я их затираю и даю мало оружия, и в знак протеста объявили голодовку: отказались пить воду.

Знаешь, что было самое скверное?

Что все больше людей ждало моих приказов.

— Как же закончилась голодовка? (Голодовка в гетто, о Боже!)

— Нормально. Их заставили выпить воды. Ты не знаешь, как заставляют людей во время войны?

Ну так вот, все больше людей, которые были старше меня и опытнее спрашивали, что им делать, а я сам не знал и чувствовал себя ужасно одиноким.

Целый день лежа рядом с умирающим пареньком на сухарях, я только над этим и ломал голову.

Шестого мая к нам пришли Анелевич с Мирой. Вроде бы на совещание, но говорить, собственно, было уже не о чем, и он лег спать, я тоже заснул, а назавтра предложил: «Оставайтесь, чего вам возвращаться», но он не захотел. Мы их проводили, а на следующий день, восьмого, пошли к ним в бункер, на Милую, 18, была уже ночь, мы зовем — никто не откликается, наконец какой-то парень сказал: «Нету их. Покончили самоубийством». Несколько человек еще остались, и с ними те две девушки, проститутки. Мы взяли их с собой, и как только вернулись, оказалось, что с арийской стороны уже пришел по каналам Казик с проводниками, и мы будем выходить. (Девушки спросили, можно ли им с нами. Я сказал: «Нет».) Проводников нам прислал Юзвяк — «Витольд» из ППР,— они привели нас к выходу на Простой, мы ждали там ночь, и день, и еще одну ночь, и десятого мая в десять утра открылся люк, наверху уже была машина, и наши люди, и Кшачек от «Витольда» — вокруг стояла толпа, люди смотрели на нас с ужасом, мы были черные, грязные, с оружием,— царила гробовая тишина, и мы выходили на такой ослепительный, майский свет.

Анджей Вайда задумал снять фильм о гетто. Он говорит, что использовал бы архивные фотографии, а рассказывать обо всем должен сам Эдельман.

Он бы рассказывал перед камерой в тех местах, где это происходило.

Например, перед бункером на Милой, 18 (сегодня там лежал снег и мальчишки съезжали сверху на санках).

Или у входа на Умшлагплац, возле ворот.

Ворот, правда, уже нет, старая каменная ограда обвалилась, когда строили микрорайон «Инфлянская». Теперь там выросли высокие серые корпуса — строг: вдоль железнодорожной платформы. В одном из них живет моя приятельница, Анна Стронская [1], я говорю ей, что у нее под окнами, со стороны кухни, стояли последние вагоны поезда — паровоз был там, где тополя. Стронская, у которой больное сердце, бледнеет.

— Слушай,— говорит она,— ведь я всегда к ним хорошо относилась, они мне не причинят зла?

— Конечно нет,— отвечаю я,— они еще будут тебя охранять, увидишь.

Итак, при строительстве микрорайона старая ограда обвалилась, но на ее месте тут же поставили новую, из целехонького белого кирпича. Прикрепили мемориальные доски и светильники, повесили зеленые ящички для цветов, посеяли кругом траву, и теперь там полный порядок, все аккуратное и новое.

Или — памятник.

Девятнадцатого апреля, в годовщину, сюда бы, как обычно, подъехали автобусы «Орбиса» с зарубежными гостями и из автобусов вылезли бы дамы в весенних костюмах и мужчины с фотоаппаратами. На скверике сидели б на скамейках старушки с колясками, разглядывая автобусы и делегации от предприятий, приехавшие для возложения венков. «У нас в подвале,— сказала бы какая-нибудь из старушек,— сидела одна под углем, еду ей подавали с улицы через окошко». (Кстати, вполне бы могло случиться, что та, которая сидела под углем, выходила бы теперь в весеннем

[1] Известная журналистка, автор популярных очерков и репортажей.

костюме из дверей экскурсионного автобуса.) Потом под барабанную дробь делегации с венками направились бы к памятнику, а следом за делегациями к нему стали бы подходить отдельные люди с маленькими букетиками, а то и одним-единственным нарциссом в руке, в самом же конце, после цветов и барабанов, из толпы неожиданно бы вышел седобородый старик и начал читать кадеш [1]. Встал бы у подножия памятника, под горящими лампадами, и дрожащим голосом затянул молитву — плач по мертвым. По шести миллионам мертвых. Такой одинокий старый человек с бородой, в длинном черном пальто.

Толпа бы перемешалась. «Марек,— кричал бы кто-нибудь,— привет!» «Марыся, ты все такая же молодая»,— ответил бы он радостно, потому что это была бы Марыся Савицкая, которая перед войной бегала на восемьсот метров за «Искру» вместе с сестрой Михала Клепфиша, а потом прятала у себя эту сестру-спортсменку, и жену Михала, и дочку...

Дочка и жена выжили, а Михал остался на Бонифратерской, на том чердаке, где он заслонил собою пулемет, чтобы другие могли пройти, а на еврейском кладбище есть символическая могила с надписью:

инж. Михал Клепфиш
17.IV.1913—20.IV.1943

И это было бы очередное место для съемок фильма.

Рядом — могила Юрека Блонеса, его двадцатилетней сестры Гуты и их двенадцатилетнего брата Люсека, и еще Файгеле Гольдштайн (какая она была? он даже ее лица не помнит), и Зигмунта Фридриха, отца Эльжуни, который сказал ему в первый день: «Ты останешься жив, так что помни — в Замосьце, в монастыре...»

Это уже не символическая могила.

Выйдя из каналов, они поехали в Зелёнку, где было подготовлено убежище, но десять минут спустя явились немцы. Похоронили их в Зелёнке, под забором, так что после войны нетрудно было отыскать тела.

Тех, что лежат в полусотне метров от этой могилы в глубине аллеи, привезли после войны с Буга. Выйдя из каналов, они решили идти на восток, переправиться через Буг и присоединиться к партизанам, но, когда были посередине реки, по ним открыли огонь. (Из каналов они вышли на Простой. Люк внезапно открылся, и Кшачек крикнул сверху: «Выходи!» — но восьми человек не досчитались: Эдельман приказал им перейти в более широкий канал, потому что, сидя под наглухо закрытой крышкой люка ночь, и день, и еще одну ночь, они начали задыхаться и умирать от воды с фекалиями и от метана. Теперь Эдельман велел их позвать, но никто не сдвинулся с места — никто не хотел отходить от люка, потому что крышка уже была открыта, уже был воздух и свет и слышны голоса людей, которые их ждали. Тогда Эдельман приказал Шлямеку Шустеру сбегать за теми восьмерыми, и Шлямек побежал. Наверху всем распоряжались Кшачек и Казик, они твердили, что надо ехать, что будет еще одна машина, и несмотря на то, что Целина выхватила револьвер и кричала: «Не подождете — буду стрелять», грузовик тронулся. Выход из каналов организовал Казик. Ему тогда было девятнадцать лет, и то, что он сделал, было поистине чудом, но теперь он время от времени звонит из города, находящегося в трех тысячах километров отсюда, и говорит, что во всем виноват, так как не заставил Кшачека подождать. На что Эдельман отвечает: ничего подобного, Казик вел себя безупречно, винить надо только его, ведь это он приказал восьмерым отойти от люка. В свою очередь Казик — все из того же, расположенного в трех тысячах километров от Варшавы, города — говорит: «Перестань, виноваты немцы.— И добавляет: — В чем дело, почему до сих пор никто ни разу не спросил у меня про тех, что остались живы? Всегда расспрашивают только о погибших». Люк, который находится на Простой, в микрорайоне «За железными воротами», тоже, разумеется, подошел бы для съемок.)

В самом конце аллеи, где за последними могилами начинается что-то вроде поля — ровного, поросшего высокой травой и тянущегося в направлении Повонзковской,— нет никаких мемориальных досок. Здесь хоронили тех, что умирали еще до ликвидации гетто — от голода, от тифа, от истощения, прямо на улице или в покинутых квартирах. Каждое утро служащие похоронного бюро «Вечность» выходили с ручными тележками, подбирали с улиц трупы и укладывали на тележки грудами, один на другой, потом пересекали мостовую на Окоповой, выезжали из гетто — кладбище было на арийской стороне — и шли вон туда, по этой аллее, к ограде.

Хоронили вначале у ограды, постепенно, по мере того, как число покойников увеличивалось, продвигаясь в глубь кладбища, пока не заняли все поле.

Над могилами Михала Клепфиша, Абраши Блюма и тех, из Зелёнки, стоит памятник. Выпрямившийся во весь рост мужчина с винтовкой в одной и гранатой в другой, поднятой вверх руке, на поясе у него патронташ, на боку — планшет с картами, через грудь — ремень. Никто никогда так не выглядел, не было у них ни винтовок, ни патронташей, ни карт, и сами они были черные, грязные, но на памятнике все так, как, наверно, и должно быть. Светло и красиво.

Рядом с Абрашей Блюмом лежит его жена Люба, та самая, которая в гетто заведовала школой медсестер. На всю школу получила пять талонов на жизнь, а учениц было шестьдесят, и она сказала: талоны получат те, у кого самые хорошие отметки по специальности,— и велела им ответить на вопрос: «Каковы обязанности медсестры по уходу за больными в первые дни после инфаркта». Ученицы, которые ответили лучше всех, получили талоны.

[1] Заупокойная молитва.

После войны Люба Блюм работала директором детского дома. В этот дом привозили детей, найденных в шкафах, в монастырях, в угольных ящиках и могильных склепах; их обривали наголо, одевали в юнрровские[1] вещи, учили играть на рояле и объясняли, что не надо чавкать во время еды. Одна девочка родилась после того, как ее мать изнасиловали немцы, поэтому дети дразнили ее швабкой. Другая была абсолютно лысая: волосы у нее вылезли из-за отсутствия витаминов, а третью, которая пряталась в деревне, воспитательница вынуждена была неоднократно просить никому не рассказывать о том, что мужики делали с ней на чердаке, поскольку воспитанные барышни в обществе о таких вещах не говорят.

Люба Блюм — которая в гетто следила, чтобы у будущих медсестер шапочки были белоснежные и жестко накрахмаленные, а в детском доме напоминала воспитанникам, что надо вежливо и полными фразами отвечать всем дядям, которые будут спрашивать, как погиб твой папа, потому что дяди эти вернутся в Америку и станут присылать оттуда посылки, много-много посылок с платьями и халвой,— так вот, Люба Блюм лежит на главной, ухоженной аллее кладбища. В стороне же от этой аллеи — непролазный кустарник, поваленные колонны, заросшие могилы, надгробные плиты — тысяча восемьсот... тысяча девятьсот тридцать... житель Праги[2]... доктор права... безутешная в печали...— следы мира, который когда-то, по-видимому, действительно существовал.

В боковой аллейке — «Инженер Адам Черняков, староста варшавского гетто, умер 23 июля 1942» — и отрывок из стихотворения Норвида, заканчивающийся словами: «Неважно, где урну с прахом твоим зароют, ибо еще раз могилу однажды откроют, по-иному прославят твои деянья...» («У нас к нему только одна претензия — зачем распорядился своей смертью как своим личным делом?»)

Похороны. Процессия движется по ухоженной, часто посещаемой аллее. Множество людей, венков, лент — от общества пенсионеров, от месткома... Какой-то старик подходит поочередно к каждому из присутствующих и тактичным шепотом спрашивает: «Простите, вы случайно не еврей? — И идет дальше: — Простите, вы...» Ему нужны десять евреев, чтобы прочитать над гробом кадеш, а он насчитал только семь.

— В такой толпе?

— Сами видите, я каждого спрашиваю, и все равно выходит семь.

И показывает добросовестно загнутые пальцы: семь на всем кладбище, даже кадеш прочитать нельзя.

Евреи — на Умшлагплаце, в квартире Стронской, на платформе.

Бородатые, в халатах, ермолках, кое-кто в отороченных рыжим лисьим мехом шапках, двое даже в солдатских фуражках... Толпы, буквально толпы евреев: на полках, на столиках, над диваном, вдоль стен...

Моя приятельница Анна Стронская собирает произведения народного творчества, а народные мастера охотно изображают своих довоенных соседей.

Стронская привозит своих евреев отовсюду, со всей Польши — из Пшемысля, где ей продают задешево самые красивые вещи, потому что ее отец до войны был тамошним старостой, из Келецкого воеводства, но лучше всех те, что куплены в Кракове. На второй день пасхи, перед костелом норбертанок на Сальваторе, разворачивается ярмарка, и только там еще можно найти евреев в черных халатах и белых атласных талесах, с тефилин[1] на голове — все на них солидное, сшитое по всем правилам, как следует быть.

Они стоят группами.

Одни беседуют, оживленно жестикулируя,— неподалеку кто-то читал газету, но очень уж громко рядом разговаривали, и он оторвал от газеты взгляд и прислушивается. Кое-кто молится. Двое, в рыжих халатах, до упаду над чем-то смеются; мимо проходит пожилой человек с палкой и маленьким чемоданчиком — не врач ли?

Все чем-то заняты, чем-то увлечены — ведь это ПРЕЖНИЕ евреи, до всего, что случилось потом. И я привожу Эдельмана к Стронской, чтобы он поглядел на тех, нормальных, евреев, а когда мы уже собираемся уходить, Стронская говорит, что соседка, которая живет через несколько домов отсюда, на Милой, рассказала ей странный сон.

Сон у соседки всегда один и тот же — с первого дня, как только она вселилась в новую квартиру. Собственно, трудно даже сказать, сон ли это, так как ей снится, что она не спит и лежит в своей комнате, которая вовсе даже не ее комната. Там стоит старая мебель, в углу большая кафельная печь, в глухой стене окно, а поскольку она проводит здесь каждую ночь, то уже привыкла к обстановке и начинает узнавать мелочи, оставленные в креслах и на буфете. Иногда ей кажется, что кто-то притаился за дверью,— ощущение чьего-то присутствия за стеной бывает таким реальным, что она встает с постели и проверяет, не забрался ли в квартиру вор, но нет, никого нету.

Однажды ночью она опять видит себя в этой своей — не своей комнате. Все на обычных местах — печка, безделушки на буфете,— и вдруг открывается дверь, и в комнату входит молодая девушка, еврейка.

Приближается к кровати.

Останавливается.

Женщины внимательно разглядывают друг друга. Ни одна не произносит ни слова, но и так понятно, что они хотят сказать. Девушка смотрит: «Ага, значит, это вы здесь...» — а та начинает оправ-

[1] ЮНРРА — Администрация Объединенных Наций по вопросам помощи и восстановления.

[2] Прага — район правобережной Варшавы.

[1] Талес — ритуальное покрывало, надеваемое во время молитвы поверх одежды; тефилин — две кожаные коробочки, содержащие пергаментные свитки с цитатами из Библии; при помощи ремешков надеваются набожными евреями на лоб и левое предплечье во время молитвы.

дываться, что дом новый, что ей эту квартиру дали... Девушка жестом успокаивает ее — все в порядке, просто захотелось посмотреть, кто тут теперь живет, обыкновенное любопытство... после чего подходит к окну, открывает его и выпрыгивает с пятого этажа на улицу.

Вот в таких и еще во многих других местах Вайда мог бы снимать свой фильм, но Эдельман заявляет, что перед камерой ничего говорить не будет, потому что все это он мог рассказать только один раз.

И уже рассказал.

— Почему ты стал врачом?

— Чтобы и дальше делать то, что делал тогда. То, что делал в гетто. В гетто мы приняли решение за сорок тысяч человек — столько их было в апреле 1943 года. Мы решили, что они не пойдут добровольно на смерть. Как врач, я смог бы отвечать за жизнь по крайней мере одного человека — и я стал врачом.

Хочется тебе, чтоб я так ответил, верно? Это бы хорошо прозвучало? Но все было совсем по-другому. Было так: окончилась война. Для всех она окончилась победой. Для всех, но не для меня: мне по-прежнему казалось, что я обязан еще что-то сделать, куда-то пойти, что меня кто-то ждет — человек, которого необходимо спасти. Меня носило из города в город, из страны в страну, но, куда б я ни приезжал, всюду оказывалось, что никто меня не ждет, и помогать уже некому, и вообще делать нечего, поэтому я вернулся (мне говорили: «И ты сможешь смотреть на эти стены, на мостовые, на пустые улицы?» — а я знал: я должен быть здесь, чтобы на это смотреть) — вернулся, лег на кровать и лежал не вставая. Спал. Сутками, неделями. Иногда меня будили и говорили: надо что-то с собою сделать,— мелькнула мысль насчет экономики, не помню уже почему; в конце концов Аля записала меня на медицинский. И я пошел учиться на врача.

Аля тогда уже была моей женой. Мы познакомились, когда она пришла с патрулем — по распоряжению доктора Свиталя из АК,— чтобы вывести нас из бункера на Жолибоже. Мы застряли там, на улице Промыка, после варшавского восстания — Антек, Целина, Тося Голиборская, я и другие,— и в ноябре за нами прислали этот патруль. (Улица Промыка идет по самому берегу Вислы, это была еще линия фронта, все заминировано, Аля сняла туфли и прошла через минное поле босиком: она думала, если идти по минам босиком — они не взорвутся.)

Аля записала меня на медицинский, и я стал ходить на занятия, но меня это ничуть не интересовало, и когда мы возвращались домой, я снова ложился в постель. Все усердно учились, а я продолжал лежать лицом к стене — и тогда мне начали рисовать на этой стене разные вещи, чтобы я хоть чего-нибудь запомнил. То печень нарисуют, то сердце, очень, кстати, старательно, с желудочками, предсердиями, аортой...

Так продолжалось два года — и в течение этих двух лет меня время от времени усаживали в какой-нибудь президиум...

— Ты считался героем?

— Вроде бы. Или просили: «Расскажите, расскажите же, как все это было». Но я разговорчивостью не отличался и в президиумах этих выглядел слабовато.

Знаешь, что я лучше всего из того периода помню?

Смерть Миколая. Он был членом «Жеготы» (Совета помощи евреям), как представитель нашей подпольной организации.

Миколай заболел и умер.

Умер, понимаешь? Обыкновенно, в больнице, на кровати! Первый из известных мне людей умер, а не был убит. Накануне я навестил его в больнице, и он сказал: «Пан Марек, если со мной что-нибудь случится, здесь, под подушкой, тетрадь, там все сосчитано, все до копейки. Вдруг когда-нибудь спросят, так что не забудьте: сальдо сходится и даже кое-что осталось».

Знаешь, что это было?

Такая толстая тетрадь в черной обложке — он всю войну в нее записывал, на что мы расходуем деньги. Сброшенные с самолетов доллары, которые нам давали для покупки оружия. С полсотни еще осталось, и они тоже лежали в этой тетради.

— И ты вручил остаток и тетрадь профсоюзным боссам, которые со слезами на глазах принимали тебя в Америке в шестьдесят третьем году?

— Представь — я вообще не взял тетрадь из больницы. Рассказал про нее Антеку и Целине, и — помню — мы страшно над этой историей смеялись. Над тетрадью и над тем, что Миколай как-то чудно умирает — в кровати, на чистых простынях. Буквально подыхали со смеха, пока Целина не напомнила нам, что это довольно-таки неуместно.

— А сердца на стене — их тебе перестали в конце концов рисовать?

— Да.

Однажды я забежал на какую-то лекцию — наверно, только чтобы подписать зачетку — и услышал слова профессора: «Если врач знает, как выглядит глаз больного, как выглядит его кожа, его язык, то ему должно быть понятно, чем человек болен». Мне это понравилось. Я подумал, что болезнь человека похожа на рассыпанную мозаику: если правильно такую мозаику собрать, узнаешь, что у человека внутри.

С тех пор я занялся медициной, и дальше уже можно говорить о том, с чего ты хотела начать, а я понял гораздо-гораздо позже: что как врач я могу и впредь отвечать за человеческую жизнь.

— А почему, собственно, ты должен отвечать за человеческую жизнь?

— Наверно, потому, что все остальное мне кажется менее важным.

— Может быть, дело в том, что тебе тогда было двадцать лет? Если самые важные в жизни минуты переживаешь в

двадцатилетнем возрасте, потом довольно трудно найти равноценное занятие...

— Знаешь, в клинике, где я потом работал, была большая пальма. Иногда я стоял под ней и видел палаты, в которых лежали мои больные. Это было давно, мы не имели ни теперешних лекарств, ни методик, ни аппаратуры, и многие в этих палатах были обречены. Моя задача заключалась в том, чтобы как можно больше из них спасти,— и однажды, стоя под пальмой, я вдруг понял: ведь это, собственно, та же задача, какая была у меня там. На Умшлагплаце. Тогда я тоже стоял у ворот и вытаскивал отдельных людей из толпы обреченных на смерть.

— И так ты стоишь у ворот всю жизнь?

— Фактически, да. А когда уже ничего не могу сделать — остается одно: обеспечить им комфортабельную смерть. Чтоб они ничего не подозревали, не страдали, не боялись. Чтобы не унижались.

Надо дать им возможность умереть так, чтобы не уподобиться ТЕМ. Тем, с четвертого этажа на Умшлагплаце.

— Мне говорили, что в обычных, не особенно опасных случаях ты лечишь больных словно бы по обязанности, а по-настоящему оживляешься, только когда начинается игра. Когда начинаются гонки со смертью.

— В этом-то и состоит моя роль.

Бог уже собирается погасить свечу, а я должен очень быстро, воспользовавшись Его минутным невниманием, заслонить пламя. Пусть погорит хоть немного дольше, чем Он того желает.

Это важно: Бог не так уж справедлив. И к тому же приятно: если что-нибудь получится, значит, худо-бедно, ты Его обставил...

— Гонки со Всевышним? Ну и гордыня!

— Знаешь, когда человек провожает других людей в вагоны, скорее всего ему потом понадобится свести с Богом кое-какие счеты. А мимо меня проходили все, потому что я стоял у ворот с первого до последнего дня. Все четыреста тысяч прошли мимо меня.

Конечно, любая жизнь все равно заканчивается одинаково, но речь идет об отсрочке приговора, о восьми, десяти, пятнадцати годах. Это не так уж мало. Дочка Тененбаум благодаря талончику прожила три месяца — я считаю, это много: ведь за эти три месяца она успела узнать, что такое любовь. А девочки, которых мы лечили от стеноза и недостаточности митрального клапана, успели вырасти, и полюбить, и родить детей, то есть гораздо больше, чем дочка Тененбаум.

Была у меня такая девятилетняя пациентка, Уршуля, с сужением легочной артерии, она отхаркивала розовую пенистую мокроту и задыхалась — но тогда мы еще не оперировали детей. Вообще в Польше только начинали оперировать пороки сердца, но Уршуля уже умирала, и я позвонил Профессору, что девочка сейчас задохнется. Он прилетел через два часа на самолете и в тот же день ее прооперировал. Она быстро поправилась, вышла из больницы, закончила школу... Иногда заходит к нам, то с мужем, то одна (развелась) — красивая, высокая, черноволосая; раньше она косила, и это ее немного портило, но мы нашли очень хорошего окулиста, он сделал ей операцию, и теперь с глазами у нее тоже все в порядке.

Потом у нас лежала Тереса с пороком сердца, толстая от отеков, умирающая. Как только отеки спали, она потребовала: «Выпишите меня домой» — а все это время из дома к ней никто не приходил. Я туда пошел; это оказалась комната с бетонным полом в подсобке магазина. Тереса жила там с больной матерью и двумя младшими сестренками; она сказала: мне надо домой, некому присматривать за сестрами — ей тогда было десять лет,— и ушла. Потом она родила, после родов снова пришлось ее спасать от отека легких, но едва она почувствовала, что может дышать, попросилась домой, к ребенку. Иногда она к нам заходит и говорит, что у нее есть все, чего ей хотелось: дом, ребенок, муж, а самое главное говорит, что удалось выбраться из этой каморки за магазином.

Потом у нас была Гражина из детского дома, ее отец, алкоголик, умер в психиатрической больнице, мать тоже умерла — от туберкулеза. Я предупреждал, что ей нельзя рожать, но она родила и вернулась к нам с недостаточностью кровообращения. С каждым днем силы ее уходят, она уже не может работать, не может взять сына на руки, но возит его гулять в коляске и гордится, что у нее, как у всякой нормальной женщины, есть ребенок. Муж очень ее любит и не дает согласия на операцию, а у нас не хватает мужества настаивать, и Гражина потихоньку угасает.

Может быть, я нескладно рассказываю, но теперь я уже довольно плохо их помню. Это странно. Когда они у тебя лежат, когда им худо и они нуждаются в твоей помощи — ближе их нет никого на свете, и ты знаешь про них все. Знаешь, у кого дома каменный пол, у кого отец пьет, а мать психически больна, знаешь, что одной в школе не дается математика, а у другой совершенно неподходящий муж, а в институте как раз началась сессия, так что нужно взять такси и отправить ее на экзамен вместе с медсестрой и запасом лекарств, и еще тебе известно все про ее сердце: что у нее слишком узкое или слишком широкое предсердно-желудочковое отверстие (когда слишком узкое — возникает местное малокровие, а когда чересчур широкое — кровь застаивается и не поступает в систему кровообращения), ты смотришь на нее — и, если она такая красивая, хрупкая, с розовой кожей, это означает, что произошел застой крови и расширение мелких подкожных сосудов, а если бледная и сосуды на шее пульсируют — у нее слишком широкое устье аорты... Ты все про них знаешь, и в эти дни смертельной опасности нет для тебя людей более близких. Но потом они поправляются, уходят домой, ты забываешь их лица, а тут привозят новую больную, и теперь уже только эта новенькая важнее всех.

Несколько дней назад привезли семидесятилетнюю старушку с острой сердечно-сосудистой недостаточностью. Профессор ее прооперировал, это была действительно рискованная операция. Засыпая, больная молилась. «Господи,— говорила,— благослови руки профессора и мысли врачей из Пироговки». («Врачи из Пироговки» — это как раз мы, я и Ага Жуховская.)

Ну скажи, кому еще, кроме моей пациентки-старушки, пришло бы в голову молиться за мои мысли?

Не пора ли уже, наконец, навести мало-мальский порядок? Ведь люди будут ждать от нас каких-то цифр, дат, сведений о количестве войск и вооружении. Люди придают большое значение историческим фактам и хронологии.

Например, повстанцев — 220, немцев — 2090.

У немцев авиация, артиллерия, бронемашины, минометы, 82 пулемета, 135 автоматов и 1358 винтовок, а на одного повстанца (по донесению заместителя начальника штаба восстания) приходится 1 револьвер, 5 гранат и 5 бутылок с зажигательной смесью. На каждый участок — 3 винтовки. Во всем гетто — две мины и один автомат.

Немцы вступают в гетто 19 апреля в четыре утра. Первые бои: Мурановская площадь, улица Заменгофа, Гусиная. В два часа дня немцы убираются, не вывеля на Умшлагплац ни одного человека... («Нам тогда это еще казалось очень важным: что в тот день никого не вывезли. Мы даже считали это победой».)

20 апреля: с утра немцев нет (целых двадцать четыре часа в гетто нет ни единого немца!), они возвращаются в два. Подходят к фабрике щеток. Пытаются открыть ворота. Взрывается мина, немцы отступают. (Это была одна из двух мин, имевшихся в гетто. Вторая, на Новолипье, не взорвалась.) Они — их группа — взбираются на чердак. Михал Клепфиш закрывает своим телом немецкий пулемет, остальные прорываются — радиостанция «Рассвет» потом сообщает, что Михал пал смертью храбрых; тогда же зачитывается приказ Сикорского о его награждении орденом Виртути Милитари V класса.

Теперь сцена с тремя офицерами СС. Белые банты, опущенный дулом вниз автомат. Офицеры предлагают заключить перемирие и вынести раненых. Повстанцы стреляют в них, но ни в одного не попадают.

В книге американского писателя Джона Херси «The Wall»[1] эта сцена описана очень подробно.

Феликс, один из вымышленных героев, рассказывал о происходившем с некоторым смущением. «В его душе еще теплилось,— пишет автор,— весьма характерное для западноевропейской традиции стремление соблюдать правила военной игры и принципы fair play[2] в смертельной схватке...»

В эсэсовцев выстрелил Зигмунт. У них была только одна винтовка, а Зигмунт стрелял лучше всех, так как успел до войны отслужить в армии. Эдельман, увидев приближающихся офицеров с белыми бантами, сказал: «Стреляй» — и Зигмунт выстрелил.

Эдельман — единственный оставшийся в живых участник этой сцены — по крайней мере со стороны повстанцев. Я спрашиваю, испытывал ли он смущение, нарушая характерные для западноевропейской традиции правила военной fair play.

Он говорит, что смущения не испытывал, поскольку эти трое были те же самые немцы, которые отправили в Треблинку четыреста тысяч человек, разве что нацепившие на себя белые банты...

Штроop в своем донесении упомянул об этих парламентерах и о «бандитах», открывших по ним огонь.

Вскоре после войны Эдельман увидел Штроопа.

Прокуратура и Комиссия по расследованию преступлений попросили его на очной ставке с Штроопом уточнить некоторые подробности — где была стена, где были ворота, в общем, всякие топографические детали.

Они сидели за столом — прокурор, представитель Комиссии и он... В комнату ввели высокого мужчину, тщательно выбритого, в начищенных башмаках. Он встал перед нами во фронт — я тоже встал. Прокурор сказал Штроопу, кто я такой, Штроop еще больше вытянулся, щелкнул каблуками и повернул голову в мою сторону. В армии это называется «отдача воинских почестей» или что-то в этом роде. Меня спросили, видел ли я, как он убивал людей. Я сказал, что в глаза не видел этого человека, встречаюсь с ним в первый раз. Потом меня стали спрашивать, возможно ли, что ворота в этом месте, а танки шли оттуда — Штроop дает такие показания, а у них там чего-то не сходится. Я сказал: «Да, возможно, что ворота были в этом месте, а танки шли оттуда». Мне было не по себе. Этот человек стоял передо мной навытяжку, без пояса и уже имел один смертный приговор. Какая разница, где была стена, а где ворота — мне хотелось поскорее смыться из этой комнаты.

Парламентеры ушли (Зигмунт, к сожалению, промазал), а вечером все спустились в подвалы.

Ночью прибегает паренек с криком «Горим!». Поднимается паника...

Прошу прощения. «Прибегает паренек с криком...» — это нельзя считать серьезным историческим свидетельством. Как и тот факт, что в подвале при его словах несколько тысяч человек в панике срываются с мест, вздымая тучей песок, от чего гаснут свечи, и паренька надо спешно призвать к порядку. Истории не нужны такие подробности... Через минуту люди успокаиваются: увидели, что кто-то ими командует. («Люди непременно должны думать, что среди них есть кому командовать».)

Итак, немцы поджигают гетто. Район фабрики щеток уже охвачен пламенем,

---

[1] «Стена» *(англ.)*.
[2] Честная игра *(англ.)*.

надо сквозь это пламя продраться в центральное гетто.

Когда горит дом, сперва выгорают полы, а потом сверху начинают падать горящие балки, но между одной и другой балками проходит несколько минут, и вот тогда-то нужно проскочить. Чудовищно жарко, осколки стекла и асфальт плавятся под ногами. Они бегут в огне среди этих падающих балок. Стена. Пролом в стене, возле него прожектор. «Мы не пойдем».— «Что ж, оставайтесь...» Выстрел по прожектору, они бегут. Двор, шестеро ребят, выстрелы, они бегут. Пятеро ребят, могила, Сташек, Адам, «Интернационал»...

И еще: в тот же день, когда вырыли могилу и тихонько пропели первый куплет, нужно было пробраться подвалами из одного дома в другой. Четверо пошли пробивать проход, а наверху стояли немцы и кидали в подвал гранаты. Туда начал проникать дым, чад, и он велел немедленно засыпать лаз. Внутри еще оставался один парень, но люди начали задыхаться, поэтому ждать его было уже нельзя.

Вот тебе и точная хронология. Теперь мы уже знаем, что первым погиб Михал Клепфиш, потом шестеро ребят, потом пятеро, а потом Сташек, а потом Адам, а потом парень, которого пришлось засыпать. И еще несколько сотен в убежище, но это уже позже, когда гетто горело целиком и все перебрались в подвалы. Там было ужасно жарко, и какая-то женщина на минутку выпустила ребенка на воздух. Немцы дали ему конфетку, спросили: «А где твоя мама?» — ребенок показал, и немцы взорвали убежище, несколько сот человек. «Мы потом говорили: надо было этого малыша, как только он вышел, застрелить. Но и это бы не помогло: у немцев были подслушивающие аппараты, и с их помощью они обнаруживали людей в подвалах».

Вот это она и есть: хронология событий.

Историческая последовательность оказывается всего лишь последовательностью смертей.

История творится по другую сторону стен, там, где пишутся донесения, рассылаются по всему миру радиосводки и призывы о помощи. Любому специалисту сейчас известны тексты депеш и правительственных нот. Но кто знает про парня, которого пришлось засыпать, потому что в подвал просачивался чад? Кому сегодня известно об этом парне?

Рапорты о происходящем в гетто составляет на арийской стороне «Вацлав». Например сводка № 3. Вац. А/9. 21 апреля: «Еврейская боевая организация, руководящая борьбой варшавского гетто, отвергла немецкий ультиматум, в котором содержалось требование сложить оружие во вторник до 10 часов утра... Немцы ввели в бой полевую артиллерию, танки и бронемашины. Осада гетто и борьба еврейских повстанцев — чуть ли не единственная тема разговоров в миллионном городе...»

До того «Вацлав» передавал донесения об акции по уничтожению гетто — именно от него мир узнал о существовании Умшлагплаца, об эшелонах, газовых камерах и Треблинке. Упоминание о «Вацлаве» — Генрике Волинском — есть в каждой книжке, в каждой научной работе о гетто. Он руководил еврейским сектором при штабе Главного командования АК, был посредником между ЖОБом и штабом, в частности, передал главнокомандующему, генералу Грот-Ровецкому, первое сообщение о создании ЖОБа, а Юреку Вильнеру — приказ генерала о подчинении ЖОБа Армии Крайовой. Он же связал подпольщиков с полковником Монтером и офицерами, которые впоследствии снабжали их оружием и обучали им пользоваться. Чаще всего занятия проводил Збигнев Левандовский, «Рельс», руководитель Отдела технических исследований АК. Он рассказывает, что на «уроки» к нему приходили из гетто всего два человека, женщина и мужчина, и вначале его это огорчало, но оказалось, что мужчина был химиком, схватывал все на лету и инструкции «Рельса» передавал своим товарищам в гетто. Кроме инструкций они получили хлорат калия и, добавляя к нему серную кислоту, бензин, бумагу, сахар и клей, сами изготовляли бутылки с зажигательной смесью. «Коктейли Молотова?» — уточняю я, но доцент Левандовский возмущается: «Никакого сравнения! Наши бутылки были небольшие, изящные, обложенные хлоратом и обклеенные бумагой, и фитили у них располагались по всей поверхности. Филигранная работа — честное слово. Новейшее достижение Отдела технических исследований АК. Вообще все, что мы давали ЖОБу,— говорит «Рельс»,— и бутылки, и люди, и оружие, было самым лучшим из того, что мы тогда могли дать».

Доцент Левандовский по сей день не знает фимилии мужчины, который приходил на Маршалковскую, 62 (первый этаж, во дворе налево). «Высокий худой шатен,— говорит он.— Не из этих боевиков-«пистолетов», наоборот: тихий, спокойный. Хотя,— добавляет доцент,— в особо опасных акциях лучше всех себя проявляли отнюдь не «пистолеты», а вот такие тихони».

После чего я говорю доценту, что человека, которого он обучал, звали Михал Клепфиш.

Вместе со Станиславом Гербстом «Вацлав» описал ход первой крупной акции по уничтожению гетто, и донесение это в виде микрофильма курьер перевез через Париж и Лиссабон (на рождество 1942 года, перед самым сочельником генерал Сикорский подтвердил получение донесения). Юрек Вильнер, представитель ЖОБа на арийской стороне, приносил известия из гетто ежедневно, благодаря чему донесения всегда отражали текущие события и передавались в Лондон систематически. Например:

...Настроение паническое: в 6.30 начинается акция, каждый готов к тому, что его могут взять в любую минуту, в любом месте...

...Последний этап ликвидации начался в воскресенье. В этот день всем евреям было приказано в 10 часов собраться возле правления Общины. Началась раздача талонов на жизнь; каждый получивший талон обязан носить его на груди. Это желтые листочки с написанным от руки номером, снабженные печатью Общины и подписью. Все талоны безымянные...

На прошлой неделе на Умшлагплаце платили за 1 кг хлеба 1000 (тысяча) злотых, за одну сигарету — 3 злотых.

...Северин Майде, когда за ним пришли жандармы, бросил в одного из них тяжелую пепельницу и разбил ему голову. Майде, конечно, расстреляли. Это единственный известный случай сознательной самообороны...

...Пассажиры, проезжающие через Треблинку, утверждают, что на этой станции поезда не останавливаются.

И так изо дня в день: Вильнер приносит из гетто информацию — «Вацлав» составляет донесения — радисты передают их в Лондон, а лондонское радио, вопреки сложившейся практике, в своих передачах ничего об этом не сообщает. Радисты по поручению своего руководства запрашивают, в чем причина, но Би-би-си продолжает молчать. Только месяц спустя в разделе текущей информации передают первое сообщение об Умшлагплаце и ежедневно вывозимых оттуда десяти тысячах. Оказывается — как выяснилось впоследствии,— Лондон все это время не верил донесениям «Вацлава». «Мы думали, вы чересчур увлеклись антинемецкой пропагандой...» — объяснили лондонцы, когда получили подтверждение уже из собственных источников... Итак, Юрек Вильнер приносил из гетто кроме последних новостей также тексты депеш — например, обращение к Еврейскому конгрессу в США, заканчивавшееся словами: «Братья! Остатки евреев в Польше живут с сознанием того, что в самые страшные дни нашей истории вы не оказали нам помощи. Откликнитесь. Это наш последний к вам призыв».

В апреле 1943 года «Вацлав» вручает Антеку из штаба ЖОБа приказ полковника Монтера, в котором «приветствуется вооруженное выступление варшавских евреев», а затем сообщается, что АК будет пытаться форсировать стены гетто со стороны Бонифратерской и Повонзок.

«Вацлав» до сих пор не знает, попал ли этот последний приказ в гетто, но, видимо, попал — ведь Анелевич говорил что-то о предполагаемой атаке, и на ту сторону даже послали одного парня, который не дошел (его сожгли на Милой, целый день слышно было, как он кричал), да и когда Анелевич получил этот приказ, к нему на мгновенье вернулась надежда, хотя остальные сразу сказали, что ничего из этого не выйдет, там никому не прорваться.

На Милой кричал обожженный парень, а с другой стороны стены, на мостовой, лежали трупы двоих ребят, которые должны были подложить 50 килограммов взрывчатки под стену гетто. Збигнев Млынарский — подпольная кличка «Крот» — говорит, что именно это сыграло роковую роль. Что погибли сразу оба, и больше некому было подобраться с взрывчаткой к стене.

— Улица была пуста, немцы стреляли в нас со всех сторон, пулемет, прежде обстреливавший гетто с крыши больницы, перенес огонь на нас; за нами, на площади Красинских, стояла рота СС, так что пришлось взорвать мину, которая должна была разворотить стену,— мина разорвалась на улице и разнесла в клочья тела этих наших двоих ребят,— и мы стали отходить.

— Сейчас,— говорит Млынарский,— я знаю, как следовало поступить: надо было войти в гетто, поджечь взрывчатку изнутри, а наши люди ждали бы с другой стороны и выводили повстанцев.

Только — если хорошенько подумать — сколько бы их вышло? Десятка полтора, не больше. Да и вообще, захотели ли бы они выйти?

— Для них,— продолжает Млынарский,— это было делом чести. Хоть и поздно, но все же они совершили этот печальный акт. И правильно поступили — так по крайней мере честь была спасена.

Абсолютно то же самое говорит Генрик Грабовский, в квартире которого Юрек Вильнер прятал оружие и который потом вызволил Юрека из гестапо:

— Эти люди отнюдь не стремились остаться в живых, и надо поставить им в заслугу, что они способны были здраво рассуждать и решили погибнуть в борьбе. Все равно и так смерть, и эдак, уж лучше умереть с оружием в руках, чем в унизительной покорности.

Грабовский сам это понял — что лучше погибнуть в борьбе,— когда его задержали возле гетто, откуда он выходил с пачкой писем от Мордки[1]. («Простите,— поправляется пан Генрик,— от Мордехая, как-никак звание и выполняемые обязанности заслуживают уважения».) Да, когда его поставили к стене и дуло было перед ним... примерно вот так, на высоте той хрустальной вазы в серванте, он подумал: «Укусить, что ли, этого шваба или выцарапать глаза...» (К счастью, среди немцев был «синий»[2], Вислоцкий, которому он сказал: «Хорошо, пан Вислоцкий, делайте свое дело, но знайте: я не один, как бы у вас потом не вышло неприятностей...» — и Вислоцкий мгновенно все понял, и Грабовского отпустили.)

Мордку Грабовский знал давно, еще с довоенных времен. «Это ж наш парень, с Повисльа. В одной компании были, если требовалось кому-нибудь рожу набить или посчитаться с ребятами с Воли или Верхнего Мокотова — всегда ходили вместе».

Что мать Анелевича, что мать Грабовского — одинаково бедствовали, одна торговала рыбой, другая — хлебом, и хорошо, если за день удавалось продать

---

[1] Мордка, или Мордехай,— Анелевич.

[2] «Синяя полиция» — бытовое название полиции в период оккупации.

десять буханок, сорок булочек да пару пучков петрушки.

Еще тогда, на Повислье, видно было, что Мордка умеет драться, поэтому Грабовский нисколько не удивился, встретив его в гетто уже как Мордехая,— наоборот, ему это показалось совершенно естественным: кому ж другому быть вожаком, как не их человеку, парню с Повислья. (Мордехай сказал ему тогда, что передать ребятам в Вильно: пусть собирают деньги, оружие и здоровых, решительных молодых ребят.)

Грабовский был до войны харцером, его товарищей из старшей группы расстреляли в Пальмирах[1], пятьдесят человек, всех до единого, а он остался жив и теперь получил от своего харцерского руководства приказ ехать в Вильно и подымать евреев на борьбу.

В Колонии Виленской Грабовский познакомился с Юреком Вильнером. Там был монастырь доминиканок, настоятельница прятала у себя нескольких евреев. (Я сказала своим монахиням: «Помните, Христос говорил: нет выше любви к Богу, чем тогда, когда отдаешь жизнь свою за друзей своих». И они это поняли...)

Юрек Вильнер был любимцем настоятельницы — голубоглазый блондин, он напоминал ей угнанного в неволю брата. Они часто беседовали — она ему говорила о Боге, он ей — о Марксе, и, уезжая в Варшаву, в гетто, откуда ему уже не суждено было вернуться, Юрек оставил ей самое дорогое, что имел: тетрадь со стихами. Он записывал туда все самое любимое и самое, как ему казалось, важное, и эту тетрадь в коричневой клеенчатой обложке, с пожелтевшими страницами, исписанными рукой Юрека (это она придумала ему такое имя), настоятельница сохранила до сегодняшнего дня. «Много чего испытала эта книжка. Налет гестапо, лагерь, тюрьму — мне бы хотелось перед смертью отдать ее в достойные руки».

Из тетради Юрека Вильнера

Брось — брось — брось — брось — видеть то, что впереди,
(Пыль — пыль — пыль — пыль — от шагающих сапог!)
Все — все — все — все — от нее сойдут с ума,
И отпуска нет на войне!
Ты — ты — ты — ты — пробуй думать о другом,
Бог — мой — дай — сил — обезуметь не совсем!
(Пыль—пыль—пыль—пыль—от шагающих сапог!)
Отпуска нет на войне!
Для—нас—все—вздор—голод, жажда, длинный путь,
Но—нет—нет—нет—хуже, чем всегда одно—
(Пыль—пыль—пыль—пыль—от шагающих сапог!)
Отпуска нет на войне! [2]

Итак, Грабовский познакомился с Юреком в Колонии, и когда Юрек приехал в Варшаву, он поселился у Грабовского на улице Подхорунжих. Все евреи из Вильно, приезжая в Варшаву, поначалу останавливались у Грабовского, и он первым делом отправлялся с ними на базар, чтобы купить более или менее подходящую одежду. Тогда были в моде лыжные шапочки с маленьким козырьком и наушниками, но они не годились — каким-то странным образом подчеркивали носы — и поэтому Грабовский говорил: «Кепки — пожалуйста, шляпы — пожалуйста, но эти лыжные — ни в коем случае!» И еще учил их, как себя вести, даже походку исправлял, чтоб ходили «без еврейского акцента».

Грабовский тогда сделал любопытное наблюдение: чем больше человек боялся, тем некрасивее становился — черты его как-то искажались. А вот те, что не боялись — например, Вильнер, Анелевич,— были по-настоящему красивые ребята, и выражение лица у них было совсем другое.

Как представитель ЖОБа на арийской стороне (Грабовский только потом, уже после войны, узнал, какую Вильнер выполнял миссию; в то время люди предпочитали знать как можно меньше, чтобы не проговориться на допросе), Юрек поддерживал постоянный контакт с «Вацлавом» и офицерами и, если не мог всего, что от них получал, забрать в гетто, оставлял часть у Грабовского или у босых кармелиток на Вольской: то револьверы, то ножи, то немного тротила. Монастырский устав у кармелиток тогда еще не был таким строгим, как сейчас, и им разрешалось показывать посторонним лица; Юрек, натаскавшись тяжестей, отдыхал у них на раскладушке за ширмочкой в исповедальне. Теперь я сижу в этой же исповедальне по одну сторону черной железной решетки, а мать настоятельница — в нише, в полутьме — по другую, и мы говорим о том, как почти целый год через их монастырь перебрасывали оружие для гетто. Не вызывало ли это каких-нибудь колебаний, сомнений? Мать настоятельница не понимает...

— В конце концов, оружие — в таком месте?!

— Может, вы насчет того, что оружие служит для убиения людей? — спрашивает мать настоятельница. Нет, это ей не приходило в голову. Она только думала, что хорошо бы Юрек, когда уже использует это оружие и настанет его последний час, успел раскаяться и помириться с Богом. Даже просила, чтоб он ей это пообещал, и сейчас спрашивает у меня, как я считаю, он помнил о своем обещании, когда выстрелил в себя в бункере на Милой, 18?

Когда Юрек и его товарищи наконец использовали оружие, небо в той части города стало сплошь красным и отсвет достиг даже привратницкой монастыря. Поэтому именно там, а не в часовне собирались по вечерам босые кармелитки и читали псалмы (Но за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, о б р е ч е н н ы х на заклание. Восстань, что спишь, Господи!) и настоятельница просила Бога, чтобы Юрек Вильнер принял свою смерть без страха.

Итак, Юрек собирал оружие, а Грабовский, со своей стороны, энергично помогал ему пополнять запасы. Однажды он раздобыл несколько сот килограммов селитры и древесного угля для взрывчатки

[1] Пальмиры — местность под Варшавой, где производились массовые расстрелы.

[2] Из стихотворения Р. Киплинга «Пыль» в переводе А. Оношкович-Яцыны.

(купил у Стефана Оскробы, владельца аптекарского магазина на площади Нарутовича), а в другой раз — 200 граммов цианистого калия, который евреи хотели иметь при себе на случай ареста. Цианистый калий — такие маленькие серо-голубые таблетки — пан Генрик сперва испробовал на кошке. Соскоблил чуть-чуть, насыпал на кусок колбасы, кошка мгновенно сдохла, так что пан Генрик со спокойной душой отдал таблетки Вильнеру. У пана Генрика было свое профессиональное честолюбие (он держал лавчонку с салом и мясом), и он не мог продать товарищу недоброкачественный товар.

Генек-«Сало» — такая была у Грабовского подпольная кличка — и Юрек Вильнер очень дружили. О чем только они не разговаривали, лежа на одном тюфяке (на кровати спала жена пана Генрика с дочкой, а под кроватью лежали свертки с ножами и гранатами). О том, что холодно, что хочется есть, что кругом убивают и риск все растет. «Что же касается интеллекта,— вспоминает пан Генрик,— то у Юрека был философский склад ума, и мы часто рассуждали, зачем это всё, и взгляд на жизнь у него был широкий, общечеловеческий».

Из тетради Юрека Вильнера

А через день —
мы уже не встретимся
А через неделю —
не поздороваемся
А через месяц — забудем друг друга
А через год —
мы друг друга уже не узнаем
А сегодня ночи крик взмыл над черной рекой
Как будто я гроб приоткрыл рукой
Слушай — спаси меня
Слушай — люблю тебя
Слышишь...
Слишком уже далеко

В самом начале марта 1943 года Юрека Вильнера арестовало гестапо.

— Утром в тот день,— говорит адвокат Волинский,— я был у него на Вспульной, а в два немцы окружили дом и взяли его с документами и оружием.

У нас существовал неписаный закон: кто попадется, должен молчать по крайней мере три дня. Если потом сломается — никаких прентензий не будет. Юрека Вильнера мучили целый месяц, но он никого не выдал, не назвал ни контактов, ни адресов, хотя знал множество — и на той стороне, и на арийской.

В конце марта он чудом бежал, но вернулся в гетто. Ни для какой работы Юрек уже не годился: у него были отбиты ступни, и он не мог ходить.

Чудо-побег, о котором рассказал адвокат Волинский, организовал Генек-«Сало». Он узнал, что Юрек в лагере в Грохове, прокрался туда болотами, вызволил друга и забрал к себе домой.

У Юрека были изуродованы ногти, отбиты почки и ступни, его пытали каждый день, и однажды он замешался в группу приговоренных к расстрелу в надежде на скорый конец. Но группу отвезли на работу в Грохов; там его и отыскал Грабовский.

Выхаживали Юрека все — Грабовский, его мать, его жена; смазывали чем-то ногти, отслаивающиеся от пальцев, и давали порошки, от которых моча становилась синей, и наконец Юрек окреп, и тут он заявляет, что хочет вернуться в гетто. А Грабовский ему говорит: «Юрек, зачем, я тебя увезу в деревню...» А Юрек твердит, что должен вернуться. А Грабовский ему на это: «Я тебя там так спрячу, увидишь: до конца войны не найдут...»

Они даже не попрощались. Когда товарищи пришли за Юреком, Грабовского, как нарочно, не было дома. А едва в гетто вспыхнуло восстание, пан Генрик сразу понял, что для Юрека это конец. Что из этой переделки ему уже не выкарабкаться. Не из переделки, вернее, а из той трагедии, которая произошла.

И в самом деле, так оно и случилось,— а из одного из последних донесений ЖОБа можно узнать, что именно Юрек дал сигнал к самоубийству 8 мая в бункере на Милой, 18.

«В связи с безнадежностью положения, чтобы не попасть к немцам в руки живыми, Арье Вильнер призвал повстанцев покончить жизнь самоубийством. Первым Лютек Ротблат застрелил сначала свою мать, а потом себя. В убежище погибло большинство членов Боевой еврейской организации с ее руководителем Мордехаем Анелевичем во главе».

После войны пан Генрик (сперва у него была авторемонтная мастерская, потом такси, а потом он работал в транспортной системе в должности инженера) часто размышлял о том, правильно ли он поступил, позволив другу уйти. В деревне Юрек бы наверняка подлечился, набрался сил... «Но опять же, если б выжил, не был ли бы он на меня в обиде? Скорей всего не мог бы мне простить, что остался жив, и вышло б еще хуже...»

Из тетради Юрека Вильнера

Ну что ж, придется еще немного...
Вечно мне кто-нибудь все испортит,
петлю перережет.
Вчера уже смерть у меня побывала,
сердце стучало все реже,
кровь остывала.
Мне ложку подносят,
ложечку жизни.
А я не хочу, не могу это пить,
меня сейчас будет тошнить.
Я знаю, что жизнь — это полная чаша,
а мир наш прекрасен и добр,
но жизнь больше кровь мою не согревает,
она только в голову мне ударяет.
Спасает других, а меня убивает...

— Я написал ему в гетто письмо,— говорит «Вацлав», адвокат Волинский.— Что писал, уже не помню, но слова были теплые. Такие, которые страшно трудно писать.

Я очень тяжело пережил его смерть. Так же, как и смерть каждого из этих людей.

Таких достойных.

Таких героических.

Таких польских.

После Юрека Вильнера представителем ЖОБа на арийской стороне стал Антек.

— Очень был славный и толковый малый,— рассказывает Волинский,—

только имел ужасную привычку: вечно таскал с собой сумку гранат. Мне это несколько мешало с ним разговаривать: я боялся, как бы гранаты не взорвались.

Одна из первых депеш, которые «Вацлав» отправил в Лондон, касалась денег. Деньги нужны были его подопечным для покупки оружия, и сначала поступило пять тысяч долларов из тех, что сбрасывали с самолетов.

— Я дал их Миколаю из «Бунда», и тут ко мне прибегает Боровский, сионист, с жалобой. Пан Вацлав, говорит, он все забрал и мне ничего не хочет давать, скажите ему сами...

Но Миколай уже отдал эти деньги Эдельману, а Эдельман — Тосе, а Тося спрятала их под полотер и, как они вскоре смогли убедиться, здорово придумала, потому что во время обыска у нее перерыли всю квартиру, но никому не пришло в голову заглянуть под полотер. За эти деньги на арийской стороне было куплено оружие.

Тося впоследствии выкупила «Вацлава» из гестапо: кто-то ей сообщил, что его арестовали, и она сразу подумала: «А что, если попробовать пустить в ход мой персидский ковер?» И действительно, благодаря ковру «Вацлава» выпустили на свободу. «Но ковер был, правда, прекрасный,— говорит Тося.— Знаешь, такой бежевый, гладкий, с бордюром по краям и медальоном посередине».

Тося — доктор Теодозия Голиборская — последняя из врачей, занимавшихся в гетто исследованием голода, приехала на несколько дней из Австралии, так что у адвоката Волинского сегодня многолюдно, оживленно, шумно и все наперебой рассказывают разные забавные истории. Например: сколько было хлопот у «Вацлава» с ребятами из ЖОБа, которые чересчур поспешно расправлялись с агентами. Сперва полагалось вынести приговор, а уж потом приводить его в исполнение, а они являются и говорят: «Пан Вацлав, мы его уже убрали». Что тут было делать? Пришлось писать в группу «стрелков», чтоб хоть задним числом составили этот приговор.

Или помните историю с тем большим сбросом? Пришло сто двадцать тысяч долларов...

— Погодите,— вмешивается Эдельман,— разве там было сто двадцать тысяч? Мы получили только половину.

— Пан Марек,— говорит «Вацлав»,— вы получили всё и купили себе пистолеты.

— Те пятьдесят?

— Нет, что вы. Пятьдесят пистолетов вы не купили, а получили от нас, от АК. Хотя нет, один попал в Ченстохову, и тот еврей из него выстрелил, помните? А двадцать пошло в Понятов...

Вот так они болтают, а Тося еще вспоминает про красный джемпер, в котором Марек тогда носился по крышам, и говорит, что это была сущая тряпка по сравнению с джемпером, который она сразу же вышлет ему из Австралии,— а когда мы уже возвращаемся домой, Эдельман вдруг оборачивается и говорит: «Нет, месяц это не продолжалось. Несколько дней, от силы — неделю».

Речь идет о Юреке Вильнере. Что он выдержал неделю пыток в гестапо, а не месяц.

Ну как же, минуточку. «Вацлав» говорил — месяц, Грабовский — две недели...

«Я точно помню, он там пробыл неделю».

Его упрямство уже начинает вызывать раздражение.

Если «Вацлав» сказал — месяц, он, наверно, знал, что говорит.

Так что же теперь получается? Оказывается, нам всем очень важно, чтобы Юрек Вильнер как можно дольше выдержал пытки в гестапо. Это ведь большая разница — молчать неделю или месяц. Нам бы, правда, очень хотелось, чтобы Юрек Вильнер целый месяц молчал.

«Ну хорошо,— говорит Эдельман,— Антеку хочется, чтобы нас было пятьсот, литератору С. хочется, чтобы рыбу раскрашивала мать, а вы хотите, чтобы Юрек сидел месяц. Ладно, пусть будет месяц, это ведь уже не имеет никакого значения».

То же самое с флагами.

Они висели над гетто с первого дня восстания: бело-красный и бело-голубой. На арийской стороне на них смотрели с глубоким волнением, а немцы с превеликим трудом торжественно сняли их как военные трофеи.

Эдельман говорит, что если флаги были, то повесить их не мог никто, кроме его людей, а они флагов не вешали. Они бы повесили с радостью, будь у них хоть немного красной и белой ткани, но ее не было.

— Значит, кто-то другой повесил, не все ли равно кто.

— Да? — говорит Эдельман.— Вполне возможно.— Но лично он вообще никаких флагов не видел. Только после войны узнал, что они были.

— Как же так? Ведь все люди видели!

— Ну, раз все люди видели, стало быть, флаги наверняка были. А впрочем,— говорит он,— какое это имеет значение? Важно, что люди видели.

Вот что самое скверное: он со всем в конце концов соглашается. Даже бессмысленно его убеждать.

«Какое это сейчас имеет значение?» — говорит он и больше не спорит.

«Мы должны еще кое-что дописать»,— говорит он.

Почему он остался жив.

Когда пришел первый солдат-освободитель, он остановил его и спросил: «Ты еврей? Почему ж ты живой?» В этих словах прозвучало подозрение: может, он кого-нибудь выдал? Может быть, отнимал у кого-то хлеб? Так что теперь я должна у него спросить, не выжил ли он случайно за чужой счет, а если нет — то почему, собственно, выжил.

Тогда он попробует оправдаться. Например, расскажет, как шел в дом номер семь на Новолипках, где они обычно собирались, чтобы сообщить, что Ирка, врач из больницы на Лешно, лежит без сознания в пустой квартире напротив. Когда больницу переводили на Умшлагплац, Ирка проглотила тюбик люминала, надела ночную сорочку и легла в постель. Он ее перенес — как нашел, в розовой ночной сорочке,— через улицу, в дом, из которого уже всех выволокли, и теперь шел сказать, чтоб ее оттуда забрали, если она останется жива.

Поперек мостовой на Новолипках тянулась стена — дальше была уже арийская сторона. Из-за этой стены вдруг высунулся эсэсовец и начал стрелять. Выстрелил раз пятнадцать — и всякий раз пули пролетали в каком-нибудь полуметре от него, правее. Может быть, у немца был астигматизм — это такой дефект зрения, который можно компенсировать очками, но у немца, видно, был нескомпенсированный астигматизм, и он промазал.

— И это все? — спрашиваю я.— Только потому, что немец не обзавелся подходящими очками?

Нет, есть еще одна история, про Метека Домба.

Как-то для комплекта — для тех десяти тысяч на Умшлагплаце — не добрали сколько-то там человек, и Эдельмана взяли прямо на улице и посадили на подводу, которая свозила всех на площадь. Подвода была запряжена двумя лошадьми, рядом с возницей сидел еврейский полицейский, а сзади немец.

Уже подъехали к Новолипкам, и вдруг он увидел, что по улице идет Метек Домб. Метек был членом ППС [1], его направили на службу в полицию, жил он на Новолипках и теперь как раз возвращался с дежурства домой.

Эдельман крикнул: «Метек, меня загребли». Метек подбежал, сказал полицейскому, что это его брат, и ему разрешили спрыгнуть.

Они пошли к Метеку домой.

Дома был его отец, маленький, худой, голодный. Он посмотрел на них с неприязнью:

— Опять Метек кого-то снял с телеги, да? И опять не взял ни гроша?

Он бы мог за это иметь тысячи.

Он бы мог за это хотя бы выкупить по карточкам хлеб.

А он что делает? Снимает с телеги задарма.

— Папа,— сказал Метек.— Не огорчайся. Мне это зачтется, и я попаду в рай.

— Какой рай? Какой Бог?! Ты не видишь, что творится? Не видишь, что Бога здесь уже давно нет? А даже если и есть,— понизил старичок голос,— то он на ИХ стороне.

На следующий день папу Метека забрали — Метек не успел снять его с телеги и сразу же ушел в лес, к партизанам.

Это второй пример: тут уж он обязательно должен был погибнуть, но опять его спас случай. Тогда его спас астигматизм эсэсовца, а сейчас то обстоятельство, что по улице шел Метек Домб, как раз возвращавшийся с дежурства домой.

У девочек, которых привозили с розовой пеной на губах (у тех, что успели вырасти, и полюбить, и родить детей, то есть гораздо больше, чем дочка Тененбаум), были сужены сердечные клапаны; клапаны — это как бы лепестки, ритмично пульсирующие и пропускающие кровь. Когда они сужаются, через них проходит слишком мало крови, может произойти отек легких, сердце, чтобы получить больше крови, вынуждено работать быстрее, но очень уж быстро биться оно тоже не может, так как желудочек не успевает наполняться кровью... Оптимальный режим работы: четыре тысячи двести ударов в час, в сутки — более ста тысяч раз, за это время перекачивается семь тысяч литров крови, то есть пять тонн... Это я узнала от инженера Сейдака, который говорит, что сердце — самый обыкновенный механизм и, подобно другим механизмам, имеет свои характерные особенности: обладает большими резервами производительности и довольно мало изнашивается, так как способно регенерировать вышедшие из строя части, то есть проводить текущий ремонт.

Если сердце не в состоянии успешно осуществить ремонт, оно заболевает. Чаще всего отказывают именно клапаны, что, впрочем, понятно, говорит инженер Сейдак, в любом механизме клапаны портятся легче всего, взять хотя бы автомобиль.

Понять принципы работы сердца инженеру Сейдаку поэтому труда не составляло, и он сумел за полтора года сконструировать для Профессора аппаратуру, заменяющую настоящее сердце во время проведения ремонта, то есть во время операции.

Расходы на новое искусственное сердце составили четыреста тысяч злотых. Это было уникальное изобретение мирового масштаба, и инженер Сейдак получил на него патент, но, уже по окончании работы, на предприятие «Меринотекс» приехал ревизор, который заявил, что затраченная сумма не оформлена как полагается, из чего следует, что инженер Сейдак нанес предприятию материальный ущерб, иначе говоря, совершил хозяйственное преступление.

К счастью, инженер Сейдак нашел нужные ходы, и обвинение в преступной деятельности с него сняли, ревизор же оказался настолько великодушен, что даже протокола не стал составлять.

Теперь инженер работает над новым аппаратом. Он будет помогать сердцу проталкивать кровь через суженные сосуды и позволит инфарктным больным продержаться до операции. Большинство умирает сразу после инфаркта, операции не дождавшись. Если аппарат действительно получится хороший, он многим людям сохранит жизнь или по крайней

[1] Польская социалистическая партия.

мере (как говорит Эдельман) еще на минуту заслонит пламя свечи.

Не нужно, разумеется, связывать с этим чрезмерные надежды. Ведь Он очень внимательно наблюдает и за Сейдаком, и за Профессором, и за всеми их стараниями и может нанести самый что ни на есть неожиданный удар. Однажды, например, они думали, что все окончилось благополучно и им ничто не угрожает, а Стефан, брат Марыси Савицкой, наверно, чувствовал себя самым из них счастливым, потому что ему было семнадцать лет и он получил первый в жизни револьвер: Марыся Савицкая — та самая, что перед войной бегала вместе с сестрой Михала Клепфиша на восемьсот метров за «Искру»; так вот, Стефану тогда было семнадцать лет, ему впервые дали оружие, и радость от сознания, что он участвовал в акции (он был в группе, прикрывавшей их выход из каналов), буквально его распирала. Он не мог усидеть дома и побежал вниз, в кондитерскую, а в эту минуту в кондитерскую вошел немец, заметил в кармане у Стефана револьвер, вывел его наружу и застрелил на месте, перед домом, под Марысиным окном.

Иногда это настоящие гонки, и Он до самого конца не скупится на мелкие пакости. Взять хотя бы Рудного: не было специалиста по коронарографии — перегорела лампочка в рентгеновском кабинете — операционный блок оказался заперт — не было операционных сестер... Боли с каждой минутой усиливались, каждый приступ мог стать последним, а они все искали машины, врачей, лампочки, медсестер. И все же Его опередили. В три часа ночи, когда они поблагодарили Профессора, а Профессор — их, когда в сердце Рудного кровь текла уже по новому руслу, расширенному за счет кусочка вены, и сердце работало нормально, они подумали про себя, что, похоже, успели. И на этот раз успели.

В случае Рудного у Эдельмана не было полной уверенности, что можно оперировать в острой стадии, ведь он тоже читал книги, в которых написано, что нельзя,— и он ушел из больницы, чтобы еще раз спокойно все обдумать. Тут ему встретилась доктор Задрожная. Он спросил у нее: «Оперировать? Как ты считаешь?» — а доктор Задрожная очень удивилась. «Ну, знаешь! — сказала она.— В вашей ситуации?» У них как раз были на работе мелкие неприятности, вернее, неприятности были у него — его собирались уволить, а Эльжбета Хентковская и Ага Жуховская решили в знак солидарности уйти вместе с ним,— это все, конечно, ерунда, хотя доктор Задорожная имела право удивиться: неудачная рискованная операция не облегчила бы им поиски работы. Но когда он услышал: «Ну, знаешь...» — то сразу понял, что больше раздумывать нечего. Решение было принято, причем как бы без его участия,— так что он вернулся в больницу и сказал: «Оперируем», а Эльжбета еще на него прикрикнула: где его носит, когда он прекрасно знает, что дорога каждая минута.

Или: привозят больную, и все говорят, что у нее кататонический ступор — это такая форма шизофрении, когда человек не ест, не двигается и беспробудно спит. Ее лечат от шизофрении уже пятнадцать лет, а они, пока больная спит, берут у нее на исследование кровь, и оказывается, что сахара там — тридцать с лишним милиграмм-процентов, и тогда им приходит в голову, что это вовсе не шизофрения, а что-то с поджелудочной железой. Делают операцию поджелудочной, и вдруг начинается: сразу после операции сахара — сто тридцать, это многовато, через два часа — шестьдесят, маловато. Они страшно нервничают: почему сахар так быстро падает, но спустя еще четыре часа уровень прежний — шестьдесят, значит, возможно, все же наступила стабилизация.

Заканчивается эпопея с поджелудочной железой. Начинается повседневность — но тут происходит загадочная история с кальцием, количество которого у почечного больного вдруг начинает стремительно возрастать. Это означает, что надо спросить у коллег, каковы клинические проявления начальной гиперфункции паращитовидных желез; разумеется, никто этого не знает, поскольку такое случается раз в сто лет, и они звонят в Париж, профессору Руайюксу, в его институте есть специалисты по кальцию, те предлагают прислать им для исследования гормон в контейнере при температуре минус тридцать два градуса, но у пациента кальция уже шестнадцать, а при двадцати умирают, и его везут на операцию в Варшаву — может, в дороге больше не увеличится; и в ту минуту, когда его кладут на стол, содержание кальция достигает двадцати, и больной теряет сознание...

Заканчивается история с паращитовидными железами. Начинается повседневность.

Я рассказываю все это Збигневу Млынарскому, подпольная кличка «Крот», тому самому, который пытался взорвать стену на Бонифратерской и готовился выстрелить именно в тот момент, когда по другую сторону стены, у Эдельмана, поджигали свою единственную мину. (Млынарский прицеливался, собираясь выстрелить,— и то же самое делал жандарм, но, к счастью, Млынарский на долю секунды его опередил.) Итак, я спрашиваю Млынарского, понятно ли ему поведение Эдельмана, а он говорит: да, конечно, понятно. Он сам, к примеру, был после войны председателем скорняжной артели — сейчас об этом вспомнить приятно, ведь приходилось быстро действовать и принимать рискованные решения. Однажды, скажем, он из оборотных средств покрыл крышу, так как меха заливало, ему пригрозили судом, он заявил: «Пожалуйста, можете меня судить, я незаконно истратил два миллиона, но спас тридцать». В результате все обошлось, но такое решение требовало настоящего мужества: подумать только, в те годы пустить оборотные средства на ремонт крыши. Это и есть

главное в жизни, заключает Млынарский. Быстрые, мужские решения.

Уйдя из артели, Млынарский завел собственную мастерскую, где обрабатывал меха для государственных фирм; обязанности между четырьмя своими работниками он распределил четко, чтоб не цеплялся финотдел. Один растягивал шкурки, второй резал, третий подравнивал края, четвертый заделывал, а у пана Збигнева была самая ответственная работа — подгонка. Ибо главное в скорняжном деле — чтобы шкурки подходили одна к другой.

Полнокровной жизнью Млынарский жил, собственно, только во время войны: «Как мужчина я неказистый, шестьдесят килограммов, метр шестьдесят три росту, а был храбрее иных по метр восемьдесят». А потом подгонял меховые шкурки. «Разве к этому можно относиться серьезно? — спрашивает он.— После того, что было, подгонка каракулевых шкурок?» Оттого он так хорошо понимает доктора Эдельмана.

Итак, речь идет только о том, чтобы заслонить пламя.

Но Он — как мы говорили — внимательно следит за всеми попытками и может так ловко нанести удар, что уже ничего не удастся сделать: когда, например, берут кровь и оказывается, что это был глимит, тут уж ничем нельзя помочь. Почему она приняла глимит? Ведь это могла быть всего лишь гематома в области задней черепной ямы. Она путала слова, не запоминала простейших вещей, может быть, даже забыла свой адрес или как зажигается свет, что-нибудь в этом роде... А у той было все: любящие родители комната с дорогими игрушками, а потом блестящий диплом и красивый жених, но однажды она приняла сотворное, и опустела эта прекрасная салатово-белая комната, в которой ее симпатичный американский отец не разрешает переставлять ни одной вещи и говорит, что сохранит все как есть навсегда. Американский отец спрашивал у доктора Эдельмана, почему она это сделала, но Эдельман не сумел ответить, хотя это была Эльжуня, дочь Зигмунта, который говорил: «Я живым не останусь, а ты останешься, так что помни: в Замосье, в монастыре, моя дочка...» Зигмунт потом выстрелил в прожектор, благодаря чему они смогли перескочить через стену, а Эльжуню Эдельман отыскал сразу после войны, но ни одной из них он уже не сумел помочь, ни Эльжуне, которая умирала в Нью-Йорке, ни той, которая умирала здесь...

Итак, никогда нельзя знать, кто кого провел. Иногда радуешься своей удаче, потому что ты все тщательно проверил, и подготовил, и убедил людей, и уверен, что ничего плохого случиться уже не должно, а Стефан, брат Марыси Савицкой, погибает оттого, что его распирала радость, и Целина, которая вышла с ними из каналов на Простой, тоже умирает, он же перед смертью может только ей обещать, что она умрет достойно и без страха.

(Он был потом на похоронах Целины, и было там их — из канала на Простой — трое: он, Маша и Пнина, и Маша, едва его увидела, шепнула: «Знаешь, я сегодня опять его слышала». «Кого?» — спросил он. «Не прикидывайся, что не понимаешь,— рассердилась Маша,— только не прикидывайся». Ему объяснили, что Маша опять слышала крик того парня, который пошел узнать, что означает указание «ждать в северной части гетто». Его сожгли на Милой, он кричал целый день, и Маша, которая тогда сидела неподалеку в бункере, сейчас останавливается на улице, ждет, пока Пнина зайдет в магазин за покупками — в городе, находящемся в трех тысячах километров от Милой и от бункера,— и шепчет: «Послушай, сегодня опять. На редкость явственно».) Или: к хозяйке Абраши Блюма стучится дворник, говорит: «У вас еврей», запирает дверь снаружи и идет к телефону (дворнику аковцы впоследствии вынесли смертный приговор, а Абраша выпрыгнул из окна на крышу, сломал ноги и лежал, пока не приехало гестапо); или: человек умирает на операционном столе, потому что у него был циркулярный инфаркт, которого не показала ни коронарограмма, ни ЭКГ. Ты отлично помнишь обо всех этих номерах и даже, когда операция заканчивается успешно,— ждешь.

Наступают долгие дни ожидания, потому что лишь теперь видно будет, приспособится ли сердце к залатанным венам, к новым артериям и лекарствам. Потом ты помалу успокаиваешься, набираешься уверенности... И когда напряжение совсем спадет и радость схлынет — тогда, только тогда ты осознаешь, что это за пропорция: один к четыремстам тысячам.

1 : 400 000.

Просто смешно.

Но собственная жизнь для каждого составляет целых сто процентов, так что, может быть, какой-то смысл в этом есть.

◆

Ложечка жизни

Ганна Кралль — великая женщина-скульптор, вылепившая из дыма газовых камер живых людей. Этой книгой можно проверять людей. Если кто-то не содрогнется, читая ее, не задохнется от комка слез, застрявшего в горле, не ощутит позора за то, что такое могло позволить себе человечество, то этот читатель неизлечимо болен страшной античеловеческой болезнью — равнодушием. Но есть и другая категория людей, к сожалению многочисленная, — люди, которые не дочитают эту книгу. Не оттого, что им станет скучно, а оттого, что им станет страшно. От нежелания страдать чужими страданиями. От дискомфорта сопереживания. Боюсь тех, кто боится сострадать. Именно они и породили концентрационные лагеря тем, что отворачивались от них. Не хотели видеть колючей проволоки, не хотели знать страшного мира, где умирающая от голода еврейская мать, сошедшая с ума, откусила кусочек своего мертвого ребенка, где вес загнанных в варшавское гетто смертников составлял в среднем 30—40 килограммов, и ногти были похожи на когти. Какие там к черту метафоры, когда кровь в жилах замораживает простое, будничное: «Аля сняла туфли и пошла через минное поле босиком, она думала: если идти по минам босиком, они не взорвутся». Или горький упрек покончившему жизнь самоубийством главе варшавского гетто Адаму Чернякову: «У нас к нему только одна претензия — зачем он распорядился своей смертью как своим личным делом?»

Но не все люди сдавались. Некоторые находили последнее счастье в том, чтобы прижаться друг к другу и умереть вместе. Некоторые все же находили в себе силы, чтобы в ослабшие руки взять оружие. Борьба с оружием в руках выглядела, по горькому ироничному выражению, как «прекрасная комфортабельная борьба». Каждая лишняя ложечка жизни была драгоценна, но и эту ложечку умели делить. Вспоминая карикатурное зрелище, когда гогочущие антисемиты издевательски выстригали волосы загнанного на бочку еврея, герой книги заключает свой рассказ так: «Самое главное — не позволить загнать себя на бочку». Страшней самоубийства желание затоптанного унижениями человека — «не иметь лица». Но лишь знание бессердечности ведет к знанию человеческих сердец. Через трагический опыт стольких ежедневно наблюдаемых убийств твоих ближних — к рискованным экспериментам в деле спасения человеческих жизней на операционном столе. Читая эту книгу, я впервые задумался о том, почему так много врачей-евреев. Гены преследования смешались с генами врачевания. Лагеря, где мучили людей, были первыми безъядерными Хиросимами. Нравственные последствия лагерей не менее долгосрочны и губительны, чем лучевая болезнь. Но пока существуют такие люди, как Ганна Кралль, не позволяющие нам забывать ни одну историческую вину человечества, есть надежда на то, что человечество избегнет и физического, и духовного самоуничтожения.

Одна из самых сильнейших антифашистских книг.

Я бы давал эту книгу антисемитам, а потом мне хотелось бы посмотреть им в глаза. Насильственные желтые звезды на рукавах стали антипутеводными звездами, ибо путь самовозвеличивания одного народа за счет уничижения другого гибелен.

ЕВГ. ЕВТУШЕНКО

■

Критика

ВЛАДИМИР ОГНЕВ

«НАМ НЕЧЕГО СКРЫВАТЬ ДРУГ ОТ ДРУГА»

Литературный процесс в социалистических странах и новое мышление

В газете «Советская культура» от 9 января этого года я прочитал статью Владислава Клячиньского, советника по печати посольства ПНР в Москве. Называлась она так: «Правда еще никогда не мешала!» Автор подымает наболевший вопрос о поистине «застойных явлениях» в характере взаимоотношений между социалистическими странами. Он начинает с констатации ограниченности наших знаний друг о друге. Знания эти на уровне поверхностной информации, как правило, лишены аналитичности, прогнозов, комментариев, не говоря уже о дискуссионности. Названа и причина, по которой мы сами себя ограничивали в понимании истинного положения вещей: «Встает вопрос: как писать о социалистических странах? Кого учитывать? Противника, которого мы долго не желали посвящать в наши трудности, или читателя, который переживал их вместе с нами, но не находил в нашей печати не только ответов, но и намеков на них?»

Вопрос риторический. И В. Клячиньский понимает это. Ответ определенен: «Нам нечего скрывать друг от друга».

...А я вспоминаю вечер в Варшаве. Огни за окном кафе, на которые я смотрел не потому, что они интересовали меня, а потому, что не хотел смотреть на своего собеседника, продолжавшего свой длинный монолог, который казался мне излишне нервным и пафосным. Мой знакомый поляк, видный экономист, доказывал мне, что его сородичам не приносит выгоды участие в разделении труда в рамках СЭВ, что «многие и многие» считают, что русские «выкачивают» из Польши экономическую кровь, и хотя он лично так не думает, но и обратное доказать ему, мол, не просто. Мне было обидно, горько, и досадовал я на то, что из вежливости не могу подыскать достаточно твердых, а может — и резких возражений. Да и знал я мало. Я смотрел на запотевшее окно и вспоминал далекие голоса своих отечественных критиков: «Ты вот все их защищаешь (и х — означало в разное время разное: поляков, югославов, чехов...), а русские никогда себя не жалели, последнюю рубаху снимаем, а они все капризничают...» Я думал о том, что надо бы выяснить раз и навсегда и про этот СЭВ, и про «обиды», если они существуют не на одном обывательском уровне, а под ними есть какое-то основание, и про то, что выяснить это почему-то невозможно, так как с давних пор тянется традиция официального расшаркивания, глянцевых коммюнике, натянутых улыбок и ритуальных пожатий рук, за которыми ничего реального в культуре не увидеть, не представить...

И вот — перестройка. Гласность. Читаю и чувствую, что ежусь от непривычки: «Мы в большом неведении и насчет многих статей нашего госбюджета. Вдруг Шмелев сообщает в «Новом мире», что страны социалистического лагеря должны нам 30 миллиардов. Знали мы это из статистических сборников? Ни сном ни духом» (Ю. Черниченко, «Литературное обозрение», 1987, № 12.) Поневоле приходит мысль: а может, знай эту цифру, нашел бы и я какие-то слова, кроме эмоциональной реакции обиды, в тот далекий теперь вечер в Варшаве? Да что моя обида! Может, начнись гласность пораньше, в самой Польше дела обстояли бы более благополучно? Не утаение ли, не ложь ли, не парадность ли, когда вглубь уходят и маскируются трения или несогласия сторон — главный источник тех процессов массового сознания, которые мы уклончиво именуем и сегодня «негативны-

ми явлениями» или того благодушнее — «противоречиями роста»? Противоречия-то существуют, не в том суть, но противоречия имеют конкретные и реальные причины, а их опознавать следует вовремя. Я не экономист и вполне допускаю, что и мы должны кому-то что-то. Не в шмелевских данных дело. А в принципе. «Нам нечего скрывать друг от друга».

Это относится не только ко дню сегодняшнему. К истории тоже. Владислав Ляччиньский упоминает январское восстание 1863 года, ссылку поляков-повстанцев в Сибирь. «Кто и когда счел необходимым набросить на них (страницы истории.— *Вл. О.*) покров молчания?» Ну какой же тут секрет! Мы знаем и кому это было нужно до революции и после нее. И нынче читаем мы порой такое от имени «патриотов России», то бишь «подлинных патриотов», что уши вянут. Как это должно отозваться в той же Польше? Не задумывались авторы? А не мешало бы. Так что — замолчать и это «белое пятно» в истории русско-польских отношений? Почему же! Просто писать надо правду, чье бы самолюбие это ни задевало. У истории не бывает «обид» на истину, а лжецов она не опасается — рано или поздно правда всплывает. На то она и История — у нее «в запасе вечность».

Интернационализм тем и отличается от векового рабства национальной узости и национального самоупоения, что идея братства народов требует правды, а всякий национализм — лжи. Не поняв этого, ничего не поймешь в интернационализме. Помню, как, еще не читая, а следовательно, имея в виду авторство не мое, а Льва Николаевича, стучал кулаком один начальник, когда ему положили на стол мой киносценарий «Хаджи-Мурат»: «Я не позволю делать антирусский фильм!» Война царизма с Шамилем была, это начальник понимал. Но ее как бы и не было для «зрителей», то есть для народа. «Антирусской» оказывалась историческая правда, а «русской» по этой нехитрой логике была бы ложь, было бы восславление, скажем, графа Паскевича или Воронцова. Диалектика прогресса и национального престижа как-то не укладывается в некоторых головах. Прогресс стараются во что бы то ни стало столкнуть с чувством первородства, патриотизма, любовью к своему отечеству. Но ведь все это мы уже проходили в школе Революции, не правда ли?

Взять ту же Польшу. Разве ее «дела» в 1863 году были только ее делами? Мятежный дух свободы давили и в России. В 1825 задушено декабристское движение, в 1830-м — польское, через два года раскрыт и подавлен бунт грузинских дворян, мечтавших о парламентской республике. Есть прямая зависимость и между разными очагами восстаний. И в Дагестане — в том числе.

И почему, кстати, в условиях русской монархии и Герцен, и Достоевский, и Чернышевский как-то оценивали «польские» или «венгерские» события, а мы в условиях революции... замалчиваем их?..

Так мы подходим к еще одному узловому пункту наших рассуждений. Знание, знание в самом широком смысле. Культура. Прекрасное чувство любознательности, открытия нового, готовность это новое принять как свое достояние. Нельзя ни о чем писать «вообще», говорит В. Ляччиньский. Поймет ли такой нелюбопытный, случайный вояжер в ту же Польшу «особенности польского характера, не зная подчас трагической истории государства, оказавшегося на перекрестке европейских и мировых катаклизмов? Страна может быть большой, может быть маленькой, но простой страны на карте мира не сыщешь... Проблемы существовали всегда. Только мы раньше делали вид, что их не видим».

Вот именно.

Скажем, и такая — в сфере культуры. Пора понять, например, что только подлинные дарования, художники, имеющие вес и авторитет в национальной литературе, могут представить серьезный интерес для перевода. Тут вовсе не решает дела, как тот или иной талантливый писатель высказался по поводу той или иной политической акции. Более того, не однажды наблюдали мы как раз обратное: неполное согласие с официальной точкой зрения в иные годы означало более зоркое зрение и прозрение будущих перемен в нужном направлении. И в отечественной литературе мы встречались с таким поворотом событий, не были исключением тут и зарубежные писатели: правда всегда дается трудно и не сразу всем. А вот чему отдали мы щедрую дань, так это как раз пропаганде и переводу авторов неавторитетных, слабых дарований, которые легче соглашались с конъюнктурой и всегда являли пример послушания любым «указаниям» момента. Ошибки в этой области дорого нам стоили. Книготорг теперь боится книг и хороших писателей из социалистических стран. Он-то знает, сколько таких томов скопилось на полках магазинов. Грустно и больно говорить об этом. А ничего не поделаешь. Доколе же нам играть в молчанку?

Привлечение подлинных национальных сил к активной защите социалистических идеалов означает снятие бесконечных табу на имена и произведения, которые существуют и в отношении наших друзей, не только культуры Запада. Опора на мощный интеллектуальный потенциал национальной культуры — задача перестройки, и здесь требуется решительный слом привычных стереотипов и отказ от перестраховки.

При этом придется отрешиться от поверхностного, утешительного представления о том, что литературы социалистических стран якобы являют собой некий идейный монолит, что вообще работать с писателями социалистического содружества «легче», нежели с писателями Запада. Нет, увы, тут есть собственные сложности, свое напряжение, внутренние конфликты. Успех в работе может принести только трезвый реалистический подход к состоянию той или иной действительности, ее культуры. На априорных представлениях далеко не уедешь.

Можно, скажем, просто посетовать на слова венгерского публициста Ласло Шандора: «Мне уже приходилось писать в одном будапештском журнале о том, что порой смотришь хороший искренний советский фильм в полупустом зале. Иной раз от-

личная советская книга малоизвестного автора пылится на книжном складе». Можно просто посетовать. А можно и задаться вопросом: а почему? Ласло Шандор дает свой ответ: «От чего это зависит, почему произведения советской культуры порой не находят у нас дороги к более широкой аудитории? По-моему, виновата прежде всего «уравниловка» минувших лет. Рецензенты годами расточали комплименты произведениям весьма средним, словно опасаясь нарушить правила протокола. Такая критика, потеряв доверие, не может сегодня правильно ориентировать аудиторию... Впрочем, виноваты не только рецензии на страницах печати. Более глубокий, критичный и самокритичный подход необходим уже тогда, когда мы рекомендуем партнерам те или иные произведения, отбираем и закупаем новинки». И продолжает: «У нас с вами столько общего в недавнем историческом прошлом. И хорошего и плохого. И произведения венгерской литературы и искусства, которые глубоко и откровенно рассказывают об этом, отнюдь не всегда доходят до советской публики». И Ласло Шандор называет эти произведения — колючие, правдивые, в том числе... давно известные на Западе. Вот и получается, что шила в мешке все равно не утаишь. Да и надо ли утаивать?

Странно, но почему-то мы никак не комментируем такие факты, как отставание на многие десятилетия с публикацией ряда ведущих художников социалистических стран от стран Запада? Почему мы идем вслед за событиями? Почему Васко Попа, изданный во всем мире, удостоился такой чести у нас в последнюю очередь? Почему десятилетиями надо было уговаривать издателей найти место в плане классикам — Милошу Црнянскому, Мирославу Крлеже, Дюле Ийешу? Эти «почему» можно продолжать еще долго.

Одним из самых существенных «почему» является вопрос, который для многих из нас все еще представляется щепетильным. Почему на волне каждого этапа, когда суровые политические обстоятельства сопровождаются ужесточением в сфере культурной политики, на поверхности появляются конъюнктурщики и посредственности, с удовольствием занимающие места талантливых людей? Тут обнаруживаются и «лессинги» серости и конъюнктуры, крикливо заявляющие о своей лояльности и готовности «соответствовать». А не пора ли серьезно проанализировать и этот процесс? И дать ему однозначную отрицательную оценку в интересах престижа национальной культуры, в интересах подлинного единства социалистических литератур. Революционные процессы всегда драматичны. И не на всех ступенях развития культуры находятся свои Луначарские. Но выводы из истории делать приходится ясные и определенные: многих бед мы могли бы избежать, многие судьбы крупных художников сложились бы более благополучно, если бы мы научились различать честное смятение великого ума, даже исторические его заблуждения,— и угодливое поддакивание приспособленцев к любой идее. В первом случае перед нами — трудные пути становления таланта и, быть может, нелегкого прозрения. Во-втором — профанация социализма, длительный ущерб социалистической культуре.

Недавно состоялся Десятый съезд писателей ГДР. Я присутствовал на нем в составе советской делегации. Выступления участников свидетельствовали: перестройка мышления — общий процесс. И направление этой перестройки внушает добрые надежды. Уже во вступительном слове одного из старейших писателей ГДР Стефана Хермлина прозвучала тревожная нота: он, может быть, впервые так определенно сказал о том, что «утечка умов», «утечка талантов»— процесс не такой уж безболезненный для нашей культуры. И впервые, столь же определенно, возложил вину за эмиграцию ряда видных художников на бюрократов, создавших невыносимые условия для творчества. Правда, он тут же добавил, что вина запретителей не однозначна —«поэзия требует терпения», и те, кто его не проявил, тоже не безгрешны. Так, во всяком случае, я его понял.

В докладе Германа Канта звучала критика в адрес сектантов, он ратовал за выход в большой мир, отвергал распространенное мнение (у нас оно тоже имеет место), что позитивная оценка на Западе произведения писателя социалистической страны всегда заставляет насторожиться. «Почему мы должны чураться своего успеха?»— воскликнул Кант.

Резко и бескомпромиссно говорил в своем выступлении о политике запретов и «уничтожений» Стефан Хермлин, назвав ее пережитком «военного коммунизма». О чистоте идеалов, непримиримости к деформациям революционных надежд, о XX съезде КПСС, который возвратил доверие к ним, говорила Рут Вернер. Горячо выступила в защиту интернационализма, против расизма, который не исчез с фашизмом немецким, Роземари Шудер. Протестовал против запретов на талантливые и правдивые фильмы Эберхард Паниц. О праве на «самоответственность» писателя, о необходимости законов, «гарантирующих права писателей», говорил Гюнтер де Бройн. Многие в своих речах касались вопросов качества литературы социализма, ее художественных достижений и поражений. «Упрощения не в интересах широких масс. Ценно сложное, выраженное ясным хорошим языком»,— это слова Райнера Кирша. А Герман Кант не без иронии заметил: «Время от времени надо напоминать, что есть люди неталантливые. Талант же не пострадает от критики». В защиту художественной самобытности выступила Хельга Кёнигсдорф.

И по реакции зала можно было почувствовать, что отдельные выступления в духе старого времени — общесловные и в дурном смысле официальные — уже не проходят, не имеют успеха.

Живой ветер перемен всколыхнул интеллигенцию.

Когда я задал вопрос Герману Канту, в чем, по его мнению, должно прежде всего проявиться новое мышление в отношениях художников братских стран между собой, он ответил так: «Прежде всего в том, что мы просто обязаны отказаться от снисходительности и скидок». Мне понравилось это слово —«снисходительность». На пер-

вый взгляд оно не очень уместно в таком контексте. Но оно необычайно к месту. Дважды к месту, сказал бы я. Снисхождение — то есть унижение друга — обратная сторона скидок, то есть неуважительного незамечания недостатков. И кроме того, в снисходительности есть высокомерие, высокая мера неподтвержденного самоуважения, которая и недостатки друга не хочет видеть потому, что заведомо считает его особой второго сорта по сравнению с собственной персоной. Подставьте вместо «друга» народ, страну — и вам станет ясна глубоко порочная, чуждая подлинному интернационализму позиция.

Прав, прав Владислав Клячиньский: «Правда еще никогда не мешала!» А говоря друг другу одну лишь правду, делясь с ним, другом, своей радостью, печалью, надеждами и сомнениями, ничего не утаивая и в честных, откровенных спорах выясняя истину, мы будем по-настоящему уважать и друзей, и самих себя.

И давайте поддерживать друг друга в том, что мы назвали рабочим термином — п е р е с т р о й к а. Признавая различия национальные и исторические каждого народа, каждой нации, будем вместе идти к общей цели: преодолению напыщенной болтовни, неискреннего оптимизма, где бездумность и хуторские амбиции национального и социального сектантства мешают исторической миссии социалистической культуры — отстоять мир на земле, сделать жизнь справедливой, свободной и творческой.

Особое внимание в наши дни приковано к проблемам общечеловеческой судьбы, рода человеческого. Как нельзя представить благом узконациональный эгоизм, трудно понять и тех, кто под прикрытием левой фразы продолжает проповедовать сектантство, как якобы средство единства социалистической культуры (во всем передовой и во всем правой!) против насквозь, разумеется, прогнившего Запада. Будто и проходят, да не совсем прошли времена, когда какой-нибудь ловкач от конъюнктуры спешил «с догадкой плоской» «всюду слышать отголоски недозволенных идей».

И с его лихой ухваткой
Подводить издалека —
От ущерба и упадка
Прямо к мельнице врага.

Прошли как будто и времена, когда лишь «загробактив», как невежливо определил так называемую номенклатуру бессмертный Теркин, побывавший на том свете бюрократизма, «по особым пропускам» мог через стереотрубу видеть, «до какого разложенья докатился их тот свет». Ныне как будто с открытостью нашего общества и со знакомством с чужими краями проблем все меньше в международном масштабе. А нет-нет и забубнит старательно заученную молитву некий отрок уже из нынешних недорослей:

Наш тот свет в загробном мире —
Лучший и передовой
Тут — наука, там — дурман...
Там у них устои шатки,
Здесь фундамент нерушим...
Тут — колонна, там — толпа.

Не так примитивно, конечно, как раньше, но достаточно навязчиво подменяя действительную борьбу за идеи революционной перестройки общества на справедливых основаниях ни к чему не обязывающей демагогией, скрывающей в тумане общих слов незнание как собственных, так и западных реалий жизни.

Новое мышление в ядерно-космический век состоит и в том, что мы обязаны ломать и с к у с с т в е н н ы е перегородки регионов, когда речь идет о проблемах общечеловеческих. Социалистические литературы не теряют первородства, не уступают идейных позиций, когда возглавляют общечеловеческий фронт борьбы с угрозой мировой катастрофы. Напротив, они способствуют притягательности социализма как самой м и р н о й системы общественного строя на земле.

Иногда мы слишком изолированно выделяем те или иные темы. Война исследуется нами, мне кажется, не по всем ее параметрам. Удаляясь от второй мировой войны, литература, конечно, расширяет угол зрения, однако, как теперь принято говорить, «резервы» тут остаются, и значительные. Чтобы не быть голословным, обратимся к примеру классики XX века — примеру из Иво Андрича.

Война с фашизмом для Андрича редко становилась прямым материалом произведений. Но она существует как подпочва многих коллизий психологического свойства, как подпочва жизненных драм. «Книга» — рассказ о нравственной травме бедного, одинокого мальчика, насилу дождавшегося времени, когда он, достигнув третьего класса гимназии, может получить доступ в школьную библиотеку. В первый день он, получив книгу, нечаянно роняет ее и отрывает переплет от корешка. Мальчик в страхе прячет книгу, живет в полуобморочном сознании два месяца — весь срок, который он может не сдавать книгу. И когда все заканчивается благополучно, он неподвижно сидит, «как взрослый усталый человек, который всем своим существом отдается коротким минутам отдыха и затишья». И хотя в эпиграфы к рассказу вынесены слова из Джакомо Леопарди («Я без конца спрашиваю: почему так несчастлива юность?») и слова о страхе (точнее — школе страха) из народной песни, война дала этот страх, а не юность сама по себе, юность, совпавшая с войной. А детство — лишь ретроспекция страха, более глубокая, потому что «юность — это Возмездие», как писал Блок, и страх, идущий из детства, остается на всю жизнь.

И еще один пример из Андрича.

«Письмо, датированное 1920 годом» — послано во все времена. В письме-монологе доктора Макса, покинувшего Боснию потому, что она воспринималась им как родина всеобщей ненависти, место, где ненависть традиционно разрушительна для всех, говорится: «В этой страшной войне (имеется в виду — первая мировая.— *Вл. О.*) не было, так сказать, противных сторон, они смешивались, сливались друг с другом... Страдания отняли у него (Макса.— *Вл. О.*) способность видеть и понимать все остальное...» Он говорил также, что «побежденные яснее видят то, к чему они пришли и что им нужно делать, а победители даже и не подозревают, что их ожидает впереди».

Но и здесь, воюя с ненавистью, Макс признает: «...ненависть, так же как и гнев, несет определенную функцию в общественном развитии, ибо ненависть вливает силы, а гнев побуждает к действию. Немало есть застарелых, глубоко укоренившихся несправедливостей и злоупотреблений, которые могут быть уничтожены только гневом и ненавистью. Потоки гнева и ненависти, схлынув, очищают место свободе, строительству лучшей жизни. Современникам видятся в первую очередь гнев и ненависть, причиняющие им страдания, но зато потомки видят результаты сдвигов». Но видит Макс и другую сторону ненависти: «Верующие и любящие смертельно ненавидят неверующих и тех, кто верует иначе или любит по-другому. И к сожалению, часто расходуют на эту ненависть основной запас своей веры и любви».

Мировое значение Андрича именно в этой мысли, рожденной пониманием универсальности закона, открытого его героем в родном краю: «Этой отсталой и бедной стране, в которой, теснясь, живут четыре разных религии, нужно в четыре раза больше любви, взаимопонимания, терпимости, чем другим».

Так можно сказать и о мире, о XX веке человечества, назвавшего свой век «новой эрой».

Мировая культура, по сути дела, только сегодня становится фактом почти непреложным и, так сказать, непосредственно представимым. Все неделимо на этой земле. И все взаимосвязано. И все меньше остается поводов для отталкивания чужого опыта. А уж о незнании его и речи быть не может — нельзя, невозможно не знать!

Мир постепенно должен переходить от конфронтации к пониманию и сотрудничеству. Можно ли этого достичь, брезгливо отшвыривая «не свое», не желая не только понимать, но и слышать другой голос? Нельзя. А «свое» останется своим, между прочим, только тогда, когда на весах опыта перетянет чужое, удостоверит свое превосходство и ценность. Мы еще часто бродим между тремя соснами привычных формул, забыв о первоначальном их смысле. И в хорошей статье того же Владислава Ключиньского я нашел такое высказывание: «Кто до сих пор был поставщиком критических фактов? Различные зарубежные «голоса». Надо так иммунизировать общественное мнение, чтобы, даже слушая «голос из-за бугра», наши люди были убеждены, что большая, главная правда за нами, за нашим общим делом». По-моему, не совсем точно. «Иммунизировать» общественное мнение способна только правда, гласность, личный опыт, который, как известно, имеет дело не только с «главной правдой», «большой» правдой, но и с тысячами фактов, в том числе и «малых». Если человек нашего общества сам знает, что почем, его не охмурит никакой зарубежный «ксендз», тем более не понадобится ему наша с Владиславом Ключиньским «иммунизация». Разумеется, при том, что и мы не останемся в стороне от ответственности за этот «выбор».

Мне кажется, что и слово «выбор» не самое подходящее. Выбор в пользу социализма аксиоматичен для народов социалистических стран. Сомневаться в этом, бояться «заразы» Запада, пугать себя самих жупелами — удел тех, кто не верит в собственный народ. К счастью, эта подозрительность, это неверие в самих себя — вчерашний день. Мы становимся хозяевами в своей стране, уверенными в себе и твердости нашей веры. Мы становимся трезвее, но это не означает быть прагматиками. Просто мы понимаем, что, как сказал М. С. Горбачев, не все работающее на прогресс принадлежит одному социализму. И с данью уважения обращаемся ко всем народам, вносящим посильный вклад в общее дело цивилизации и мира на земле.

Академик Д. С. Лихачев обратил наше внимание на то, что «взгляд на русскую историю как на часть мировой и чувство ответственности за весь мир стали также отличительной особенностью всех восточнославянских литератур». Они всегда были литературами «с открытыми границами». Это соображение весьма важно. Мы привыкаем говорить об атомном веке, видя в нем *начало* общечеловеческого мировоззрения, вызванного опасностью конца человеческого рода, что само по себе имеет основание. Однако такой подход к истории *культуры* все же не совсем верен. Культура *никогда не была и не могла быть* прибежищем ограниченности и сектантства. Речь сегодня может идти не о начале, а о торжестве идей единства мировой культуры. Можно сказать и так: идеи эти ослабели с течением времени, теперь же они становятся главными, определяющими. И иными просто уже быть не могут.

А вот то, что изоляция от мира, якобы продиктованная благими намерениями национального ли, идеологического ли первородства, ничего общего с этим первородством не имеет,— это пора уже сказать в полный голос.

Перестройка означает больше социализма. А то, что мешает ей, стоит на пути перестройки, ведет к деформациям социализма. В том числе и в области культурной политики.

◆

Критика

Рассказывают итальянские писатели

ЛУИДЖИ МАЛЕРБА:

Луиджи Малерба принадлежит к числу наиболее известных у нас, в Советском Союзе, современных итальянских писателей. Повесть «Сальто-мортале», повесть-сказка «Моццикони», ряд рассказов из сборника «После акулы», сказки — вот далеко не полный перечень опубликованных в нашей стране произведений Малербы [1].

Между тем, когда автор этих строк во время беседы в Риме сказал Малербе: «Знаешь, журнал «Иностранная литература» публикует твою повесть «Сальто-мортале», тот воскликнул: «Быть того не может! Ее и в Италии многие считают чересчур элитарной».

Да, Малерба — писатель сложный, склонный к парадоксу, гиперболе, к словесной новации, ретроспекции. Но, как он сам говорит, «мои истории и сказки всегда современны, а современность корнями уходит в историю». Человек поистине неуемной энергии, он сотрудничает на телевидении, пишет киносценарии и пьесы, участвует в литературно-общественных диспутах, много и охотно путешествует.

И все же из всех своих поездок он выделяет поездку в Советский Союз, а встречу с Москвой воспринимает, по его собственным словам, как свидание с другом, не очень пока понятным, но дорогим и близким.

Естественно, что у участников встречи с ним в редакции журнала тут же возник вопрос, почему «не очень понятным».

— О, тут и объяснять нечего! — с обычной для него живостью воскликнул Малерба.— У вас всегда что-нибудь меняется, если даже внешне не меняется ничего. Ну, а сейчас у вас идет перестройка, и наши газеты и журналы полны статей о ней, доброжелательных и не слишком. Люди разбились на два лагеря. Одни говорят: «Там, в СССР, ничего не происходит», другие: «Там происходит все». Я, как вы понимаете, принадлежу ко второму лагерю,— улыбается Малерба. И тут же добавляет: — Мы слышим имена многих и многих неизвестных нам молодых писателей, но пока не в состоянии прочитать ни одной их книги.

Участники встречи недоуменно, почти хором: «Как так?»

— Знаете, отчего труднее всего избавиться? — задает встречный вопрос Малерба. И сам же отвечает: — От стереотипов. У нас, в Италии, печатали, да и сейчас еще продолжают печатать в основном диссидентскую литературу. Ведь вовсе не секрет, что для большинства наших издателей главное — коммерческий успех. А предпосылкой успеха для русских авторов у нас до последнего времени был громкий политический скандал, то что мы, итальянцы, называем «иль казо». Скандал, сенсационное происшествие — лучшая реклама для книги. Без такой рекламы не обходится почти ни одно произведение американских и западноевропейских авторов. Но для тех писателей, которые по разным причинам покинули вашу страну, это обязательное, главнейшее условие издания книги.

После короткой паузы Малерба добавляет убежденно, твердо:

— Так вот, сейчас, по-моему, настало время для широкой публикации советских писателей, которых мы только-только открываем для себя. Ведь с чего для нас, итальянских писателей, и для меня тоже, начинается знакомство с русской литературой? С Толстого, Чехова, Достоевского, Горького. Раньше в плохих переводах с французского, теперь в довольно добротных, насколько я могу судить, с самого подлинника. А из современных... — Он задумывается.— Ну многие читали Айтматова, Трифонова, Распутина, еще... сильно напрягшись, Арсеньева «Дерсу Узала». Тогда шел фильм Куросава, и это очень помогло книге. А ведь сейчас, повторяю, у вас в литературе появилось так много новых имен... Знаете, я думаю: возможно, настала пора создать советско-итальянскую комиссию по литературному сотрудничеству. Как вы к этому относитесь?

[1] Повесть «Сальто-мортале» в переводе Л. Вершинина и с послесловием Ц. Кин опубликована в «ИЛ», 1976, № 5; рассказы Л. Малербы «ИЛ» печатала в 1980, № 1 и 4, а также в 1984, № 8. *(Прим. ред.)*

Понятно, предложение Малербы было воспринято участниками встречи как многообещающее.

— Впрочем, тут есть одно «но»,— придал неожиданный оборот разговору сам же Малерба.— Я бы не хотел, чтобы наши литературные связи постепенно увязли в бюрократических путах. Своих, итальянских, бюрократов я знаю отлично, и если ваши на них похожи, что весьма вероятно, добра от их вмешательства не жди. Все благие начинания могут уйти в песок. А уж к отбору книг для перевода их нельзя подпускать ни в коем случае. По моему глубокому убеждению, это дело самих писателей.

Настало время спросить у нашего гостя, что бы он сам порекомендовал для перевода на русский язык из книг, выпущенных в последнее время в Италии.

— Да, да, что у вас печатают интересного, что больше всего читают, словом, что «гремит»?

Малерба сокрушенно развел руками:

— Печатают много, читают мало, ну а широкую известность получают не писатели, а ведущие телепередач, мнящие себя еще и писателями. Впрочем, почему только мнящие? Благодаря рекламе и Маурицио Костанцо, и Серджо Дзаволи издают свои творения тиражом в сорок-пятьдесят тысяч — для нас это колоссальный тираж. Короче, процветает рекламная псевдолитература. Да еще всякого рода воспоминания популярных политических деятелей и звезд киноэкрана. Им — зеленая улица. Дошло до того что такое солидное, уважаемое издательство, как «Мондадори», печатает насквозь лживые, полные ностальгии по «старым добрым временам» воспоминания «исторического лидера» неофашистов Джорджо Альмиранте.

— Луиджи, что же получается, интересных, высокохудожественных книг у нас вообще не печатают? — вступает в разговор его жена, Анна Малерба.

— Нет, это уже было бы слишком,— улыбаясь отвечает Малерба.— К счастью, хорошие писатели в Италии все громче о себе заявляют. Да и молодые не перевелись. Кого же вам порекомендовать для перевода? — Он на секунду задумывается.— Я бы выделил книги двух писателей нового поколения: сборник рассказов Антонио Дебенедетти «Дерзкие и странные» и роман Альдо Бузи с довольно необычным названием «Временная жизнь продавца колготок». В книге много метких наблюдений, она остросюжетна.

— А еще в прошлом году вышел роман присутствующего здесь Малербы «Голубая планета»,— вставляет Анна

— Да, я писал его целых шесть лет,— говорит Малерба.— Задумал же еще раньше, до моего первого приезда в Москву в 1983 году Но тогда я об этом умолчал. Я вообще не люблю рассказывать о своих планах, убежден, что устное слово убивает слово письменное. Теперь же когда книга опубликована, могу сказать. роман — о том, как ненависть становится доминантой поведения героя моего повествования Деметрио. Однако это не трактат о ненависти, и меньше всего я стремился ее оправдать. По-моему, ненависть всегда в конечном счете — проявление морального бессилия человека перед лицом событий. Ну, а слепая ненависть вообще вызывает у меня чувство возмущения.

Вот у нас зашел разговор об отношении на Западе к вашей перестройке. Кстати, слова «перестройка» и «гласность» вошли в наш итальянский язык, и мы их понимаем теперь без перевода. Отношение, как я уже сказал, весьма неоднозначное, от полного неприятия до выражения самых радужных надежд. И тут нет ничего удивительного. А вот первая реакция ряда писателей-диссидентов на перестройку меня, не скрою, откровенно удивила. Недавно я встречался с Александром Зиновьевым, имел с ним долгую и для меня лично поучительную беседу. Потом опубликовал в газете «Репубблика» статью. Какую? На это, пожалуй, лучше всего ответит само ее заглавие: «Господин Зиновьев, вы очень меня разочаровали». Речь среди прочего шла о «письме десяти» [1]. Мне оно показалось письмом «эмигрантов по профессии». Только в таком случае можно, простите за резкость, провокационно сравнивать военно-патриотическую подготовку в ваших школах с дрессировкой гитлеровской молодежи. Здесь, похоже, и дали себя знать слепая ненависть и, что самое печальное, полное нежелание расстаться с багажом закоснелых предрассудков и предубеждений, вопреки фактам. Однако больше всего меня поразило несогласие Зиновьева с остальными авторами письма по одному-единственному пункту, на мой взгляд весьма характерному. Зиновьев возражал против требования опубликовать в вашей печати «письмо десяти», что, по словам его авторов, было бы реальным доказательством происходящих в СССР перемен. Я сказал Зиновьеву, что на его месте был бы такой публикации крайне рад. Разве это — не зримый знак подлинной гласности? Но для Зиновьева все — сплошная пропаганда, фикция.

Теперь, думаю, вы поняли, почему я так озаглавил свою статью. Между тем наиболее честные и дальновидные из писателей-диссидентов готовы встречаться с советскими писателями и спорить с ними. Да, спорить, но конструктивно.— От волнения Малерба даже пристукнул кулаком по ручке кресла.— За примерами ходить недалеко. Не так уж давно в Вашингтоне на международном симпозиуме за одним столом вели дискуссию американские, итальянские и ваши писатели, Андрей Битов и Олег Чухонцев, а также ваш диссидент Синявский.

Словом, сейчас, как никогда, нужны взаимные контакты не только политиков, но и деятелей искусства, писателей. Да, ваши предложения далеко не всегда совпадают с нашими. Что скрывать, и у вас, и у нас имеются серьезные опасения, налицо и определенное взаимное предубеждение. Но лучше обо всем этом открыто говорить. чем обрушивать друг на друга потоки обвинений Я за диалог хотя бы уже потому что только диалог может приблизить нас к истине. Очень надеюсь. что мой второй приезд к вам поможет преодолеть столь нелепое положение, когда мы много слышим о ваших писателях, но не можем

[1] Речь идет о письме диссидентов, напечатанном в газете «Московские новости», № 13, 29.III.1987.

прочитать самих этих писателей. Ну, и хотелось бы, конечно, чтобы, в свою очередь, лучшее в нашей, итальянской, литературе полнее отражалось в ваших изданиях. Да, на этом пути еще немало препятствий. Но как сказано в моей книге «Маленькие истории»: «За долгие века человек научился читать и писать, кататься на велосипеде. Написал много книг по истории, подлинной и выдуманной. После велосипеда и книг он изобрел автомобиль, самолет и атомную бомбу. Мир стал невыносимым, и человек решил снова превратиться в рыбу, в треску...»

Хочется верить, что эта моя шутка-фантазия никогда не станет явью. Но для этого мы должны научиться еще одной вещи: умению выслушивать друг друга, внимательно, непредвзято. И тогда мы сумеем добиться главного — взаимопонимания, взаимотерпимости, а значит, и лучшего для всех нас мира.

Беседу записал Л. ВЕРШИНИН

МАРИО ГРАССО, МИЛО ДЕ АНДЖЕЛИС, ДЖУЗЕППЕ КОНТЕ, МАУРИЦИО КУККИ, ВАЛЕРИО МАГРЕЛЛИ, ГРЕГОРИО СКАЛИЗЕ, САЛЬВАТОРЕ СКАЛИЯ:

— Если бы у нас, в Италии, выходило издание, подобное вашему,— говорит Маурицио Кукки, перелистывая один из последних номеров «Иностранной литературы»,— я следил бы за ним с большим интересом, чем за двумя тысячами итальянских журналов, предлагающих преимущественно стихи, рассказы, статьи собственных редакторов...

Этот комплимент прозвучит в середине беседы, а начинается она традиционно: гостей знакомят с историей журнала, с его тиражом и распространением, с именами писателей, чьи произведения печатала «Иностранная литература» Естественно итальянцам хочется услышать, как представлена на страницах журнала итальянская литература. Сотрудники редакции перечисляют ряд имен: Моравиа, Витторини, Кальвино, Пратолини, Ландольфи, Шаша, Паризе, Малерба, Сольдати (проза), Саба, Унгаретти, Монтале, Квазимодо, Луци, Серени, Джудичи, Порта (поэзия); называются также имена Висконти, сценарий которого «Рокко и его братья» был опубликован в журнале, Феллини (фрагменты из книги «Делать фильм» и сценарии), Антониони (фрагменты из книги «Тот кегельбан над Тибром» и сценарии).

Пора, однако, представить наших собеседников. Это делает Марио Грассо, поэт и прозаик из Сицилии, редактор журнала «Лунарионуово».

— Нам приятно чувствовать себя желанными гостями в «Иностранной литературе», и мы благодарны за приглашение посетить редакцию. Мы — это группа поэтов, приехавших в СССР по соглашению между Союзом писателей и журналом «Лунарионуово» для встреч с советскими коллегами и для участия в поэтических вечерах. На страницах «Лунарионуово» периодически появляются произведения советской поэзии и прозы, и понятно наше желание привезти в СССР поэтов известных, определяющих лицо молодой итальянской поэзии. Джузеппе Конте живет и работает в Генуе, Маурицио Кукки — из Милана, как и Мило Де Анджелис, Валерио Магрелли живет в Риме, Грегорио Скализе — в Болонье. Все эти поэты представлены в недавно изданном на русском языке сборнике «Вернисаж». С нами приехал журналист Сальваторе Скалия.

Кстати, журнал откликнулся на «Вернисаж» доброжелательной рецензией[1], а несколькими годами раньше имена некоторых из сегодняшних гостей редакции прозвучали на встрече итальянистов — «круглом столе», организованном редакцией[2]. Одно из выступлений на «круглом столе» отмечало оживление в Италии интереса к поэзии в семидесятых годах. А как обстоит дело теперь?

— Средний тираж поэтической книги в Италии,— говорит Джузеппе Конте,— две тысячи экземпляров. («Даже не средний, а высокий»,— уточняет Маурицио Кукки.) И расходится этот тираж лет за десять. Тиражи прозы намного выше — хорошей прозы. Максимальный тираж для романа — двадцать тысяч, но это редкость. Традиционная в Италии лирическая поэзия — ведущий жанр, определяющий развитие литературного языка. В последние годы итальянская поэзия дала значительные произведения — как молодых поэтов, работающих над обновлением поэтического языка, так и представителей старшего поколения — Капрони, Бертолуччи, Луци и Дзандзотто. Называя эти имена, я высказываю свое мнение, с которым, быть может, не согласятся остальные.

Разговор продолжает Валерио Магрелли:

— Чтобы полнее показать богатство итальянской поэзии последних пятидесяти лет, к именам, которые мы услышали от Конте, я бы добавил Карло Бетокки — поэта, чья известность, к сожалению, всегда ограничивалась литературными кругами. С выходом полного собрания его стихотворений Бетокки предстал перед нами во весь рост. Общеизвестно, что «из него» вышел Марио Луци.

— Мне бы хотелось назвать Витторио Серени, которого я считаю одним из крупнейших итальянских поэтов нашего века,— говорит Маурицио Кукки.— И повторить имя Джованни Джудичи (вы печатали его). Достойны внимания и те наши поэты, что пишут на диалектах,— например, Делио Тесса. От наших советских собеседников мы чаще всего слышали в эти дни имена Монтале, Унгаретти и Квазимодо. Кстати,

[1] См. «ИЛ», 1986, № 11.
[2] См. «ИЛ», 1980, № 3.

интерес к Квазимодо в Италии сегодня значительно меньше, чем двадцать-тридцать лет назад. А вот популярность таких мастеров, как Саба, Кампана, Ребора, возросла.

Если говорить о читателях поэзии, то их число остается в наши дни тем же, что всегда, хотя в нынешнем контексте массовых зрелищ с поэтическим посланием конкурируют другие формы обращения к аудитории, пользующиеся определенным спросом. Разнообразие и многочисленность этих форм отодвигают поэзию на второй план, как бы загоняют ее в «подполье». Мне не хочется быть пессимистом, но я не вижу больших возможностей изменения этой картины. Думаю, что мы имеем дело с необратимым процессом. Общество, заинтересованное в зрелищах и в информации, нуждается в таких посланиях, которые обеспечивают немедленное «потребление», тогда как поэзия стремится к долговечности и на этом протяженном пути у нее могут быть в разное время взлеты и падения. Для меня важно, чтобы люди читали стихи, не обязательно именно мои, а стихи вообще. Нас же, если мы действительно поэты, будут читать, возможно, после нашей смерти. Ничего не поделаешь...

Марио Грассо — сицилиец, и естественно, что к «списку», начатому Конте и продолженному Магрелли и Кукки, он прибавляет имена двух поэтов с Юга: Бартоло Каттафи и Лучо Пикколо, которого в свое время открыл и напутствовал Эудженио Монтале.

— Что касается интереса к поэзии,— продолжает Грассо,— то он за последнее время, пожалуй, возрос. Произошло это по мере увеличения числа пишущих стихи: ведь читателями поэзии остаются главным образом сами поэты. Обладая незаурядными организаторскими способностями, многие из них выступают в роли устроителей поэтических фестивалей, которые проводятся сегодня едва ли не во всех итальянских городах. Быть может, это — одно из проявлений кризиса, переживаемого поэзией, своего рода соломинка для утопающего, лебединая песня. При этом остается реальностью кризис книги, поэтические сборники не распродаются; правда и то, что их издается слишком много...

Эстафету подхватывает Грегорио Скализе, называя имена еще двух поэтов, заслуживающих внимания: Сандро Пенна и Пьер Паоло Пазолини. Последний, по мнению Скализе, особенно интересен поэмой «Прах Грамши».

— Италия — страна небольшая,— продолжает поэт из Болоньи,— и любое микрособытие приобретает в ней, я бы сказал, макроскопическое значение. Вот почему с точки зрения микроистории итальянской литературы можно считать, что между 1975 и 1980 годами в поэзии произошел взрыв. Даты, разумеется, произвольные, так же, как и остальное сказанное мной. Но мне думается, поэзия в эти годы сделала шаг вперед по сравнению с другими литературными жанрами, стимулировав со временем и прозу. И еще одно наблюдение: судьба поэзии, ее микроистория, оказалась обусловлена неверием ряда поэтов в творческое воображение читателей.

Эту тему развивает Мило Де Анджелис:

— Если не ошибаюсь, выступления поэтов с чтением своих стихов вошли в моду в 1977 году, затем стали расти в геометрической прогрессии. Хорошо это или плохо? Печатный текст несет в себе возможность множественной интерпретации, тогда как текст звучащий предлагает лишь голос поэта, сужая восприятие, ограничивая варианты толкования. Я несколько упрощаю проблему, однако с ней нельзя не считаться.

Но может быть, слушатели поэта, заинтересовавшись его стихами, найдут их потом и прочтут? На этот вопрос отвечает Маурицио Кукки:

— Наша практика показывает, что слушателям, если речь не идет о друзьях или знакомых, хватает услышанного. Кажется, Сбарбаро говорил, что защищенный диплом филолога освобождает от чтения книг. Люди, побывавшие на поэтическом вечере, убеждены, что отдали дань поэзии, выполнили свой культурный долг. Допускаю, что в этом виноваты мы, наши стихи, которые недостаточно интересны.

А что думают гости о современной итальянской прозе? О ней говорят Конте, автор недавно вышедшего и хорошо принятого критикой романа «Осеннее равноденствие», Де Анджелис, Кукки, Грассо, Скалия. Они называют имена наиболее интересных, с их точки зрения, прозаиков: Итало Кальвино, Джорджо Манганелли, Стефано Д'Арриго, Марио Сольдати, Федерико Тоцци (которого, по словам Кукки, «воспринимают как представителя грубого реализма и как регионального писателя, а между тем это величина европейского масштаба, один из крупнейших прозаиков Европы XX века»), Коррадо Альваро, Витальяно Бранкати, Франческо Йовине, Паоло Вольпони.

— В итальянской литературе,— говорит Конте,— нет романной традиции, сопоставимой с такой традицией в Англии, России, Франции. В итальянской прозе исконно главенствует жанр рассказа, новеллы, жанр, в котором мы имеем большие достижения в XX веке. Серьезное внимание уделяется у нас самому процессу письма, качеству страницы, качеству прозы. Роман как таковой, не являясь органичным для итальянской традиции, скорее связан у нас с поиском...

В тот день гостями журнала были поэты. И закончить запись беседы с ними хочется на поэтической ноте — строками Джузеппе Конте:

Хризантемные замки,
гигантские георгины,
ирисы-великаны
встают, украшая глубины.

Штормы глухих безмолвий
покоятся в кронах и купах
с шумом, в котором дышат
боги, драконы, змеи.

«Раскрываются все дружнее
там и тут — ты слышишь? — цветы».

Беседу записал Е. СОЛОНОВИЧ

ПЬЕТРО ЧИТАТИ:

Пьетро Читати — маститый итальянский литературовед, автор книг о жизни и творчестве Гёте, Алессандро Мандзони, Кэтрин Мэнсфилд, Льва Толстого (за монографию о русском классике он получил в 1984 году премию Стрега — одну из самых престижных в стране).

Мы просим гостя рассказать о последней его большой работе, посвященной австрийскому писателю Францу Кафке.

— Книга только что вышла в свет, судить о ней — читателям, но я с удовольствием скажу несколько слов. Кафка — замечательный прозаик именно потому, что в своих произведениях-притчах он передал, в характерном преломлении, приметы XX века — тягу искусства к абсурду, гротескной фантастике, безнадежность человеческого существования, если хотите,— его обыденный трагизм. Я рассматриваю в основном романы Кафки — «Америку» (1927)[1], «Процесс» (1925)[2] и «Замок» (1926)[3]: в них, на мой взгляд, наиболее четко сфокусированы проблемы, вставшие перед писателем. Сейчас на Западе интерес к Кафке велик, часто переиздается не только его художественная проза, но и дневники, письма, выходят книги о нем самом и близких ему людях.

— Помимо классического наследия вас интересует также современное состояние, живое кипение литературной жизни — вы постоянно выступаете с рецензиями на страницах солидной газеты «Коррьере делла сера». Чем живут итальянские писатели, какие имена, по вашему мнению, наиболее интересны?

— Прежде всего — о «Коррьере». Да, газета действительно имеет общенациональную значимость, влияние на широкую читающую публику, но не является специальным литературным органом. Справедливости ради надо заметить, что в Италии почти нет хороших, весомых литературных журналов. Ну, если не говорить о «Нуови аргоменти», возглавляемом Альберто Моравиа, Леонардо Шашей и Энцо Сичилиано,— это издание авторитетное. А в общем литературные новости, рецензии, публикации «расползаются» по разворотам ежедневных газет. Я поддерживаю постоянные контакты с французскими коллегами и вижу, что у них все по-другому: есть несколько крупных литературных органов, в которых сосредоточено самое главное; газетные же статьи носят более случайный и поверхностный характер. Не так в Италии — не стало крупных писателей: Томмазо Ландольфи, Дино Буццати, Итало Кальвино,— и сейчас в наших газетах и журналах вы не найдете рассказов, отрывков из прозаических произведений. Печатаются лишь путевые заметки, мемуары, искусствоведческие обзоры, рецензии на новые книги.

Что касается имен, из авторов старшего поколения назову еще трех прекрасных поэтов — Джорджо Капрони, Аттилио Бертолуччи, Витторио Серени. Из недавно вышедших книг нужно отметить «Осеннее равноденствие» генуэзца Джузеппе Конте. Безусловно интересен загадочный мир прозаика Джорджо Манганелли, однако перевод его книг — задача достаточно сложная. Знаю, что в серии «Библиотека журнала «Иностранная литература» появился роман Джузеппе Понтиджи «Луч тени». Но лучшая его книга, удостоенная в свое время нескольких литературных премий, бесспорно, «Невидимый игрок» (1978). Хочется, чтобы и ее перевели на русский язык. Есть в Италии и совсем молодые писатели, тем не менее сразу уверенно заявившие о себе,— например, Даниэле Дель Джудиче (он опубликовал уже несколько книг, они переведены и на языки стран Европы) и Марта Мораццони (ее сборник новелл на исторические темы «Девушка в тюрбане» имел прямо-таки сенсационный успех[1]).

— Вы прекрасно осведомлены обо всех значительных событиях в литературе Италии и часто откликаетесь на них со страниц «Коррьере делла сера». Но газетный лист недолговечен, и серьезно аргументированные статьи могут ускользнуть от завтрашнего читателя...

— Именно поэтому я и решил собрать свои рецензии последних четырех-пяти лет под одной обложкой. Подготовленный к печати сборник будет называться «Красный терем», ибо в него вошло эссе, посвященное литературе Китая, и отдельная статья о китайском романе XVII века «Сон в красном тереме»[2]. А по возвращении на родину меня ждут новые книги — и новая работа. Разговор об этом, надеюсь, впереди.

Беседу записала И. ИСТРАТОВА

---

[1] Первоначальное название — «Пропавший без вести». *(Здесь и далее прим. авт.)*

[2] Роман опубликован в 1965 году в переводе Р. Райт-Ковалевой (М., «Прогресс»).

[3] Печатается в «ИЛ», 1988, № 1—3, см. о нем также статью А. Гулыги «В призрачном мире бюрократии», «ИЛ», 1988, № 3.

[1] См. «ИЛ», 1986, № 11, с. 253.

[2] Роман классика китайской литературы Цао Сюэциня (ок. 1715—1762).

Письма из-за рубежа

Зарубежные писатели о советской литературе

РАЛЬФ ДЕ БУАССЬЕР (Австралия)

Дорогие друзья!

Я не могу согласиться с теми, кто хотел бы, чтобы советские писатели позабыли о войне: достаточно, мол, о ней написано, нам понятны ваши чувства, но давайте сменим тему. Они не говорят: перестаньте писать о любви, нам все на этот счет известно, каждый из нас сам пережил это чувство. Война, тема неприятная, выводит их из чувства равновесия. Они не видят того, что кроется за описаниями сражений и смертей, которые до неузнаваемости меняли людей, так что их внутренний облик становился чужим для них самих. Всю остальную жизнь они несли на себе этот груз, от которого отделаться было невозможно. Между этими людьми и последующими поколениями — зияющая пропасть. Чтобы перекинуть мост через эту пропасть и показать новым поколениям, что социализм нельзя преподнести готовым на тарелочке, безусловно необходимо писать о том, что пережила страна, пройдя через войну — даже через две войны — одну, ту, которую вел агрессор с его болезненной, изломанной психикой, пришедший затем, чтобы украсть чужую землю, уничтожить мировую культуру и превратить людей в зверей, и другую войну — оборонительную, в которой дух гуманизма редко терпел поражение, а наоборот, закалялся. Это очень хорошо показывает в своих произведениях «Волчья стая», «Пойти и не вернуться», «Карьер» Василь Быков, глубокий и проницательный писатель. Именно в ситуации крайнего внутреннего конфликта характер развивается или дегенерирует, действуя совершенно неожиданным для вас образом, герой становится реальной личностью, цельным существом, состоящим из множества противоречий, человеком, которого вы словно бы знаете.

Много лет назад я был в Сталинграде, на Мамаевом кургане, который девять раз переходил из рук в руки, пока, наконец, нацисты не были окружены и вышиблены оттуда. Николай, крепко скроенный человек средних лет с развевающимися на ветру седыми волосами, просто, без гордости или фальшивых улыбок, рассказал нам о гигантской битве, которая бушевала здесь несколько месяцев. Я могу себе мысленно представить весь ужас того, что тут творилось. Цветущие, уже подросшие деревья, отсутствие каких-либо признаков смерти вокруг меня, моя неопытность в делах войны и свойственный мне идеализм делали его рассказ в моих глазах еще более величественным. И все же, глядя на отрешенное выражение лица этого пятидесятилетнего мужчины, лица, на котором не было ни малейшего признака экзальтации, я сознавал: мне не понять того, что отпечаталось на всю жизнь в его душе. Мы на Мамаевом кургане не одни. Вокруг нас собрались рабочие, дети. Они молча, внимательно смотрят в лицо Николая. Они следят за его рукой — он жестом указывает в сторону Волги и степей за ней. Войны они не знали, но тем не менее это — их война. Она сформировала их дух. Для них она слишком реальна, чтобы нагнуться, как это сделал я, и подобрать с земли осколки гранат, снарядов и бомб. Они слышат, что после битвы за этот курган здесь было захоронено 149 тысяч немцев и 50 тысяч советских людей — и это не считая тех, кто был погребен во время самого сражения.

Страны наши действительно разные, но мы живем в эпоху, когда наука подтверждает: мы можем познать счастье лишь при условии, если будем ощущать себя единым народом и чужие раны будут нашими ранами.

ПАТРИК СМИТ (США)

Я только что кончил читать прекрасно написанную повесть, которая навсегда ос-

Эти письма известных зарубежных писателей были получены журналом «Советская литература», выходящим на иностранных языках. Публикуем их с согласия журнала.

танется в моей памяти. Она была опубликована в английском переводе в литературном ежемесячнике «Советская литература». Автор ее — неизвестная мне русская писательница Валерия Перуанская; называется повесть — «Кикимора».

Когда я начал ее читать, подумал, зевая: «Еще одна типичная история про старую незамужнюю женщину, которая уходит на пенсию и не знает, что с собой делать. Скучно, наверное, до смерти». Но по мере того как я читал, от повести становилось, что называется, невозможно оторваться — она целиком поглощает внимание читателя. Вы смакуете каждое слово, каждую фразу, каждое выражение, каждое описание, и вам хочется еще и еще. Вы *узнаете*, что это за люди — действующие лица,— и вас начинает *глубоко волновать* их судьба.

Если пересказать повесть коротко, то это — история Анны Константиновны и Антона Николаевича. Анна, никогда не бывшая замужем, непривлекательная, имеющая мало друзей, уходит с работы в издательстве, и перед ней открывается перспектива одинокой и однообразной жизни. Но тут случайно она встречает Антона, который тоже в отставке, вдовец, на десять лет ее старше. Дружба между ними крепнет, им нравится вместе гулять в парке, ездить в московском метро, ходить в театр, совершать загородные прогулки, вместе зайти поесть и выпить стакан вина, вести долгие разговоры — то есть те простые вещи, которые избавляют от боли старения в одиночку, от одиночества и поддерживают в них энергию и активность.

Наконец Антон приглашает Анну посмотреть его дачу под Москвой и просит ее переселиться к нему, с тем чтобы остаток жизни прожить вместе. В этот момент являются дети Антона, в частности дочь Таня, которая решает положить конец этим отношениям, дабы не пришлось делиться наследством с Анной (которой, кстати, оно совершенно не нужно).

Кульминация повести — появление на даче Тани в тот самый момент, когда Антон и Анна устроили там пикник. Происходит грубое столкновение. Обращаясь к отцу, она кричит по поводу его дружбы с Анной: «Ты меня прости, но это просто старческое слабоумие. Тебе 70 лет, люди будут смеяться над тобой... И где ты только выкопал этакую... этакую кикимору? У тебя, что — глаз нет?..»

С Антоном происходит припадок, который оказывается несерьезным. Анна, слышавшая злобные слова Тани о ней, уходит. У повести нет конца: читателю представляется возможность самому решить, увидятся ли Антон и Анна когда-нибудь, какая судьба ждет этих, по-видимому, потерпевших поражение старых людей.

Если бы не было литературных произведений типа «Кикиморы», то каким образом читатели, не имеющие опыта личного общения с русским народом, могли бы узнать, что одинокие старые люди в России сталкиваются с теми же проблемами, что и одинокие старые люди в США, Англии, Франции, Испании, Бразилии или любой другой стране?

Кому бы пришло в голову, что русские дети могут поставить алчные соображения, связанные с ожидаемым наследством, выше счастья своих живых родителей?

Чтобы так могли поступить русские? Русские?!

Да, русские. Эта повесть доказывает, что ни один народ на земле не обладает исключительным правом на такие вещи, как любовь, ненависть, алчность, счастье, одиночество, желание, надежды, мечты или жестокое разочарование. Анна Константиновна и Антон Николаевич не принадлежат исключительно русской литературе или какой-либо другой литературе — они принадлежат всему миру. Их история — это история каждого из нас. Это история человечества, и всякий, прочитавший ее, станет нравственно лучше. Именно в этом заключается одна из главных ее ценностей — она обладает способностью универсальной доходчивости — от человека к человеку.

«Кикимора» достигает двух результатов: она демонстрирует высокий уровень большей части современной русской литературы, и, что еще более важно, она проникает в сердце каждого человека, рассеивая миф о том, что рядовые, повседневно окружающие нас люди во всем мире радикально отличаются друг от друга в зависимости от политической ориентации и идеологии.

Повесть, подобная «Кикиморе», может оказаться лучшим «послом доброй воли», нежели любые опытные политические деятели, которых способно направить за границу любое правительство. Она говорит на языке, на котором ни одно правительство говорить не способно; она задевает сердечные струны, которых ни одно правительство коснуться не может; она рассеивает недоразумения и устраняет недоверие, и, что самое главное, она заставляет нас понять, что все мы — люди, у которых одни и те же радости, разочарования и горести в жизни.

Именно такой и должна быть литература — великим уравнителем, представляющим людские эмоции в какой-то общей универсальной форме, напоминая нам о бренности жизни, уча нас тому, что люди остаются людьми, что жизнь есть жизнь, а смерть — это смерть и что все мы сотворены по одному подобию.

В глубине души люди — просто люди, и только.

Быть может, путь к миру — это путь, который устилает дружба, соединяющая людей. Если это так, то творческие люди во всем мире обладают орудиями для создания «плит», которыми будет покрыт этот путь. Поэты, прозаики, художники, музыканты, танцоры — все эти разнообразные таланты — должны быть достоянием всего мира, и они должны говорить на универсальном языке, доступном всем. Обмен литературными произведениями и другая культурная деятельность могут разрушить кажущиеся неприступными стены, непробиваемые даже пушечными снарядами.

Валерия Перуанская пробила такую стену и позволила нам заглянуть в самое сердце каждого из нас.

Перевод с английского В. ИСАКОВИЧ

◆

Антирубрика

ПАТРИК КАВАНАХ

С английского

Вешний день

Эй вы, поэты-трагики, оставьте хмурый нрав,
Задвиньте Эзру Паунда и Элиота в шкаф,
И Вильяма, и Батлера, что навевают сплин,
Идемте с песнями гулять по тропкам Стивенз-Грин!

Взгляните на студенточек — они пышней цветов,
В шелках своих и штапелях — как розы всех сортов:
Они, гордясь, обгонят нас щебечущей толпой,
И ваше заикание пройдет само собой.

Ученья философские — могильный пыльный хлам,
О смысле жизни рассуждать пристало мертвецам.
Пусть Кафку мучит страх и бред. Эй, хмурики, скорей
Подальше от чернильных брызг и толстых словарей!

Эй вы, поэты милые, повеселей чуть-чуть!
Расправьте плечи хилые, вдохните во всю грудь.
Забудьте Фрейда вещего и все, что вы прочли,
Втяните собственной ноздрей пьянящий дух земли!

Новорожденный мир блестит, кружится голова,
Как в первый день творения, свежи, вкусны слова.
Любовью дышит каждый миг — не прожит, не воспет,
До психоаналитиков — еще сто тысяч лет!

Эй вы, поэты юные, решайтесь поскорей
Довериться без нудных схем фантазии своей.
Обычное — всего чудней, смешна павлинья спесь;
Не бойтесь в чем-то быть людьми, ведь все мы люди здесь.

Перевод ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА

Рождественские скоморохи

Вместо объяснения

Я сшит из доморощенных рогож,
Из ткани, именуемой дерюгой,
Из этой простоватости с натугой —
Поденщик, неуч, к ремеслу не гож.
В нас искренности истинной — ни грош,
И нам не натянуть струны упругой,
Чтоб разнеслась над сонною округой
Гармоний очистительная дрожь.
Мы с гор взывали громко, но впустую;
Как быть? на нашу простоту святую
Всевышний подивиться не спешит;
Невежеству не писаны законы,
И вот — мы нарядились в балахоны,
Бравадой шумной маскируя стыд.

Зазывала

Эй, расступись, народ честной, очисть-ка место ряженым!
Мы представленье первый сорт в честь Рождества покажем вам!
Мы к вам изнанкой обернем искусство и политику —
Представим вам борца, дельца, и простака, и критика,
Богатого сенатора, гнусавого оратора,
Актера знаменитого, поэта бородатого...
А если вы не верите сейчас моим словам —
Пусть выйдет Шеймас Донаван и растолкует вам!

Шеймас Донаван

Я — доблестный О'Донаван, до пенсии я дожил,
А был я парень вырви-гвоздь, когда был помоложе:
Я дрался с англосаксами за Остров Изумрудный,
За гэльский ратовал язык — хоть он чертовски трудный!
В сороковых, когда гроза так близко прогремела,
Что даже нас — спаси Господь! — чуть было не задело,
Я снова со стены мушкет сорвал на страх врагам
И с молодыми — марш вперед, к чинам и орденам!
Мое лицо расскажет вам, как честное зерцало,
Что я — католик, либерал, простой, веселый малый.
Пусть поседел и поредел мой волос — но заметь,
Что настоящий патриот не может облысеть!
За честь Ирландии родной я горячо радею
И не завидую ничуть купцу и богатею.
А если вы не верите сейчас моим словам —
Пусть выйдет Крупный Деятель и растолкует вам!

Крупный Деятель

Я — очень Крупный Деятель, корнями весь в народе я:
Отец, бывало, мне певал фольклорные мелодии;
От матери я получил именье родовое
И должный страх пред Господом, трудом и нищетою.
В колледже с иезуитами молились неустанно мы
За матушку Ирландию, распятую тиранами;
Уже тогда в борьбе я роль заметную играл:
За округ свой играл в футбол — медаль завоевал!
Поэты наши мне близки — люблю их, дерзновенных:
Беднягу Роу и других, невинно убиенных...
А если вы не верите сейчас моим словам —
Пусть выйдет юный Шон О'Гам и растолкует вам!

Юный Шон О'Гам

Я — Шон О'Гам, я ваш поэт! Имею от правительства
По семь с полтиною за каждый приступ сочинительства.
Пою бродяг, пою цыган — в пивнушке, на пирушке,
Мне души их видны насквозь, как портерные кружки!
Здесь, на холмах Ирландии, поросших мятежом,
Мы косим песни, чтоб издать приличным тиражом.
Мы налегаем на перо — и плачет разум бедный,
Мы слово ставим на ребро, как рыжий грошик медный,
Поем да пьем — нам нипочем заморский дух зловредный!
Вперед, вперед, моя ладья, ветрило домотканое,
За молчаливых земляков сам распеваю рьяно я!..
А если вы не верите сейчас моим словам —
Пусть выйдет Признанный Артист и растолкует вам!

Признанный Артист

Я — самый Признанный Артист, но этим не хвалюсь я,
Поскольку сам — крестьянский сын и вырос в захолустье.
Я с вами всюду и везде, в кино и на эстраде я,
Шедевры Шона и других читаю вам по радио...

А впрочем, расширять пора нам вкусы популярные!
Я по-английски записал кой-что неординарное
И, кстати, был позавчера в жюри на фестивале —
Там Элиот шел на ура, а наших заплевали!
В селе, где рос я, вонь и грязь, но с детства шел я к цели,
И вот — женат на дочери сенатора О'Келли.
А если вы не верите сейчас моим словам —
Пусть выйдет сам О'Келли и растолкует вам!

Сенатор О'Келли

О'Келли я, сенатор и скромный бизнесмен,
В искусстве ни бельмеса не смыслю, кроме цен.
И все ж по выставкам хожу, выкладываю денежки:
Таланты нужно поощрять, тут никуда не денешься!
Но отравляет жизнь мою писак народец вздорный,
Готовый заклевать таких, как ваш слуга покорный,—
Кто доллары стране дает, культуру нашу славит,
Сбывая за море холсты, что в грош у нас не ставят.
Спасибо, хоть пока еще влиятельная пресса
Не публикует всякий бред нахального балбеса!
А если вы не верите сейчас моим словам —
Пусть выйдет сам Газетный Босс и растолкует вам!

Газетный Босс

Я — нынешний Газетный Босс, я выражаю Чаянья
И допускаю Мнения и даже Замечания:
Вот, либералы сетуют — кругом одни тонзуры;
Хрен дорожает; авторы страдают от цензуры...
Вы говорите, мелочи? Нет! Это — демократия,
Сиречь свободная печать, дискуссии по радио,
Не лилипутские щипки — а прочные позиции
Родной, законной нашей Либеральной Оппозиции!
А если вы не верите сейчас моим словам —
Ну вас в болото, в Маунтджой [1] или ко всем чертям!

Перевод МАРИНЫ БОРОДИЦКОЙ

■ ■ ■

Кто убил Джеймса Джойса

Кто убил Джеймса Джойса? —
Я, сказал комментатор,
Я — тот интерпретатор,
Что убил Джеймса Джойса.

От дубинки ли варварской
Пал Улисс хитроумный? —
От статейки заумной,
Диссертации гарвардской.

Где его закопали? —
В толстом, скучном журнале.
Там его мы отпели
И, отпев, закопали.

Как его хоронили? —
Старых кляч было шестеро,
А церемониймейстером
Выступал Роджерс Вилли [2].

Кто сказал над усопшим
Поминальное слово? —
Поп — а что тут такого?
Разве был он безбожник?

Кто кромсал Финнегана? —
Я, сказал йельский лектор,
Я — тот самый прозектор,
Вскрывший труп Финнегана.

И чего вы добились,
Все обстряпав так шустро? —
Степеней бакалавра
И магистра искусства.

И какую же плату
Вы стяжали за это? —
Стал я стипендиатом
И большим джойсоведом.

[1] Центральная дублинская тюрьма.
[2] Ирландский критик, современник Кованаха.

Я прошел путем Блума [1],
Как владелец диплома,
От Мартелловской Башни [2]
До веселого дома.

Иллюстрация Дж. Райана к «Улиссу».

К чертям здравый смысл!

У здравого смысла
Все — пресно и кисло.
Идя к нему в гости,
Надежду отбросьте.
С восторгами — глухо!
Чек от Святого Духа
Вам тут не оплатят.
И черт с ними! Хватит
Стихов слишком трезвых —
И тяжеловесных
Лежачих камней,
Зарастающих мхом
И лопухом.
Валяйтесь, каменья!
Но знайте, что все умозренья
Не стоят паренья!
Пусть доводы вески и вязки,
Но что уцелеет при встряске
От храма рассудка,
Когда протрубит нам Большая Побудка?
Не знаю,
Но предполагаю,
Что можно сквозь фортку дерзанья
К высотам познанья
Взлететь, как и прежде,
Без всяких колледжей.

Перевод ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА

◆

[1] Один из героев романа Джеймса Джойса «Улисс» (1922).
[2] Башня Мартелло — место действия первого эпизода «Улисса», ныне в ней находится мемориальный музей Джеймса Джойса.

Наша почта

Из ответов на анкету «ИЛ»

В предыдущем номере журнала началась публикация ответов на анкету «Иностранной литературы», обращенную к читателям. Мы повторили вопросы анкеты — не скроем, в надежде на то, что получим новые отклики. Сегодня мы продолжаем знакомить с поступившими в редакцию письмами. Продолжаем знакомить читателей с ответами на анкету «ИЛ». Для этой публикации мы выбрали отрывки из писем с предложениями и советами. Как и предыдущая подборка, они демонстрируют разнообразие читательских вкусов и мнений, не претендуя на отражение статистической модели нашей почты.

Уважаемые товарищи!

Пишу вам не впервые, но доселе не пытался писать обстоятельно и о многом. Видимо, назрела какая-то необходимость высказаться, поделиться своим мнением о вашем журнале (скажу сразу — одном из самых любимых) в целом.

Нельзя сказать, что читаю его регулярно: наша семья выписывала его лишь в 64—65-м годах, а затем довольствоваться приходилось либо купленными, либо взятыми в библиотеке номерами. Что ни говори, а подписка с ограничением — довольно крепкое препятствие.

Хотя я учусь на филологическом факультете, но языками, к стыду своему, владею плохо: более или менее сносно — немецким, сейчас самостоятельно занимаюсь французским; так что ваш журнал, по сути,— главный канал, по которому идет мое знакомство с зарубежной литературой. Вкусы у меня, можно сказать, устоявшиеся: меня притягивает проза (будем говорить пока лишь о ней) сложная, нетрадиционно построенная, как правило, тяготеющая к символике, притче, параболе; кроме того, в литературе модернизма я нахожу нечто созвучное моим собственным взглядам и настроениям.

Естественно, многое из вашего журнала у меня стоит на полке: рассказы Кафки, «Кентавр» и «Давай поженимся» Апдайка (до чего разнокалиберные вещи! хотя если подумать, то и тот же «Кентавр» не так уж и глубоко использует возможности мифологизации прозы), «Миссис Дэллоуэй» В. Вулф (ах, какой аппетитный — другого слова не подберу — перевод Е. Суриц, справедливо отмеченный), «Портрет художника в юности» Джойса, «Степной волк» Гессе, «Шум и ярость» Фолкнера, «Объяли меня воды до души моей...» и «Записки пинчраннера» Оэ, «Носорог» Ионеско, «Смерть в Риме» Кёппена, «Черный принц» Мердок, сборник Фриша (все ваши публикации).

Несколько мыслей по поводу последних лет. 1986 год был удачным, хотя и неровным. «Малый Не Промах» Воннегута наглядно демонстрирует его явную эволюцию в сторону большей «классичности», строгости, если можно так выразиться, может быть, даже некоей сухости, так что жаль его прежнего «молодого» буйства в «Колыбели для кошки» или «Бойне номер пять». Несомненное событие — «Вошедшие в ковчег» Кобо Абэ, книга, так явно перекликающаяся с «Объяли меня воды до души моей...» и так резко отличающаяся от романа Оэ— не только фантастичностью и «черным юмором» (Оэ до «Записок пинчраннера», по-моему, вообще не умел смеяться), но и идейным содержанием (хотя бы тот момент, что «ковчег» Оэ гибнет в основном из-за вмешательства извне, а ковчег Абэ сам несет в себе зародыши гибели, будучи одновременно и микромиром, гротескной моделью общества, и замкнутой системой — аналогом юпкетчера, что и приводит его к краху), за исключением самого главного, того, о чем говорил хемингуэевский Гарри Морган — «человек один не может ни черта»... «Женатый мужчина» Рида — очень добротно написано, но мне чуждо. Блестящее «Детство» Натали Саррот: по-моему, механизм писательского сознания Саррот, основанный на постоянном «подбирании ключей к предмету изображения, своего рода ощупывании его», нашел в жанре мемуаров (насколько тут подходит это обозначение) совершенно адекватное применение.

А вот год 1987-й не очень радует. Конечно, «Сила и слава» Грина, писателя, в общем, мне далекого; это по-настоящему крупная вещь, возможно, лучшая его книга, тяготеющая к почти притчевой обобщенности, но и плотно привязанная к времени и месту, еще раз — и с особой силой — подчеркивающая весьма неортодоксальный католицизм Грина.

«Сон Бруно» меня разочаровал: это та разновидность философского романа, которая строится на нескрываемой сконструированности сюжета, его подгонке под идейный каркас, в данном случае — не весьма оригинальный. Роман интересен разве что как иллюстрация движения Мердок от Кьеркегора к Платону.

Роман Гейнса «И сошлись старики» интересен необычной фабулой, но форма слишком откровенно фолкнеровская, да и многие ходы явно искусственны.

Начало «Дальнего умысла» читается с интересом, Шарп явный мастер-комедиограф, но не мелковата ли сатира?

Можно было бы еще много сказать, но, желая сэкономить ваше время, перейду-ка к планам на 1988-й.

Безусловно — праздник. Честно говоря, в прошлом году ваш журнал, как мне кажется, сильно отстал от других. А вот план-88 вселяет надежду. Конечно, в центре внимания — «Замок» Кафки, но вот вопрос: как было объявлено, «Замок» публикуется в 1-м номере «Невы». Неужели две публикации? Хорошо, если в разных переводах... [1]

С удовлетворением вижу, что мы наконец-то открываем для себя Олдоса Хаксли (после новелл и «Желтого Крома» — самая известная его вещь).

О романе Бёлля «Заботливая осада» высказывались полярные мнения — от уничтожительного (В. Стеженский и Л. Черная) до в целом одобряющего (Д. Затонский, Т. Мотылева). Тем интереснее прочесть.

Как и международный бестселлер «Имя Роза» Эко, который Ц. И. Кин назвала не так давно шедевром.

Давно не читал прозу Дюрренматта. Вы верны своему принципу — давать разнообразный набор, вот и Д. Хэммет, думаю, придется по вкусу любителям детективов, тем паче что это — классика жанра.

Одним словом, если вы и в дальнейшем постараетесь сохранять заявленный уровень, то можно надеяться, что журнал станет не хуже, чем в 60-е годы. А возможностей для этого сколько угодно. Посмотрите, сколько еще «белых пятен» в литературе нашего века (а он ведь близится к концу!).

Э. Берджесс нам совершенно не известен. Как и представители американского «абсурдистского романа» — Д. Барт, Хоукс, Пинчон, Бартельм. Настало время, думается, ознакомить нас с ними. Ну, «Улисса» вы, конечно, не сможете напечатать — объем велик. Жаль, конечно, Ганс Генни Янн ждет своего часа. Андре Мальро совершенно несправедливо забыт, да и прозу Сартра пора знать не только по «Словам». Почему бы вам не продолжить начинание издательства «Детская литература» (кстати, уже шестилетней давности) и не напечатать следующие книги «Властелина колец» Толкиена? Может быть, настало время вернуть нам А. Жида — хотя бы «Фальшивомонетчиков». А вот еще интереснейшая проблема: как считать Набокова? Вы напечатали два его перевода и прекрасную, лучшую на сегодняшний день статью о нем Н. Анастасьева. Почему бы не напечатать ну хотя бы «Бледный конь»? Или — даже страшно сказать — «Лолиту»?

Заканчивая письмо, хочу сказать еще вот о чем (так и не коснувшись ни поэзии, ни драматургии): в последнее время в нашей духовной жизни усилились явно националистические настроения, сказывающиеся в том числе и в пренебрежительных отзывах о зарубежной литературе. Взять хотя бы выступления М. Лобанова и А. Байгушева в № 1 и 6 «Молодой гвардии». Разумеется, трудно говорить о сколько-нибудь аргументированной и продуманной концепции, но азарт велик, а средства крайне разнообразны. Конечно, в вашу компетенцию не входит полемика по подобным вопросам, но, думается, при случае вы могли бы и затронуть эту тему: все-таки подобные настроения недооценивать опасно.

Желаю вашему журналу еще большей смелости и большей требовательности в отборе произведений.

С уважением, снова преданный вам читатель
Игорь Ратке, студент РГУ

* * *

Уважаемая редакция!

В связи с нехваткой места для ответов в анкете решила кое-что разъяснить в прилагаемой записке.

Журнал, с краткими перерывами, читаю уже лет 15. Благодаря журналу узнала и полюбила писателей Ж. Амаду, Г. Грина, Ф. Саган, А. Моруа, А. Хейли и т. д. Список еще можно продолжать.

Но в последние годы, по-моему, с журналом что-то случилось, такое впечатление, что редакция в спячке. Нет или очень мало искрометных, захватывающих художественных произведений. Поймите меня правильно, я вовсе не призываю к детективам или порнографии, ведь кроме этого есть произведения, которые можно читать с большим увлечением, дающие пищу уму и сердцу. В этой связи хотелось бы остановиться на рубрике «Литературное наследие». Неужели мы знаем все произведения зарубежных классиков? Думаю, что нет. Поэтому предлагаю количество критических статей уменьшить, а произведения классиков — печатать.

Я не причисляю себя к разряду высокоинтеллектуальных людей и поэтому не могу взять на себя смелость критиковать те вещи, которые уже напечатаны, но большинство из них меня ничем не тронули за последний год.

Все, что написала, — перечитала и пришла к выводу, что получилось резковато.

Но в душе я продолжаю любить ваш журнал, буду и дальше читать, за 15 лет очень привыкла. Несмотря на такую высокую цену для моего семейного бюджета, продолжаю выписывать и думаю, что в дальнейшем мы не расстанемся.

С уважением
Бирюкова О. Г.,
38 лет, инженер-строитель

* * *

Уважаемая редакция!

С 1955 года являюсь подписчиком журнала. Он интересен, знакомит действительно с «иностранной» литературой (хотя с отбором иной раз можно и поспорить) и служит делу укрепления взаимопонимания между народами. Вспоминается довоенная «Интернациональная литература», познакомившая с «Изгнанием» Л. Фейхтвангера, другими произведениями. Что ж, традиции остаются, приумножаются. И это хорошо.

Вопросы в анкете поставлены широко. И на все вопросы, пожалуй, не ответить. Ведь

[1] Роман опубликован в «ИЛ» № 1—3 в переводе Р. Райт-Ковалевой.

даже за два последних года трудно подобрать номера — передаю их другим читателям (цена возросла, и не все еще могут выписывать издание). Если вспомнить более ранние годы, то удач было немало: романы Амаду, Хейли, Видала, Олдриджа, Маркеса... Вспомним год 1977-й — «Нежелательные элементы», «Последний магнат»... Вспомним год 1979-й — «Тетушка Хулия и писака»... Вспомним, наконец, «Мертвую зону», «Богач, бедняк...».

В этом году нужно отметить А. Гуляшки «Чудак» — вещь написана очень актуально, прямо-таки перекликается с нашей действительностью. Понравились «Остров сегодня» Питера Абрахамса, роман-памфлет плутовского характера Т. Шарпа «Дальний умысел»; ранее — роман чешского писателя...

Но вот что обидно. Не в укор будет сказано, но почему-то другие «толстые» журналы успевают «перехватить» именно те произведения, которые ожидалось встретить на страницах «Иностранной литературы» — того же «Крестного отца», печатаемого в «Знамени». А разве небезынтересны переводы в «Неве», «Звезде» «Москве»? Ведь многие даже у нас затем экранизировались...

Словом, читатель (это личное мнение) ждет не только широкой палитры всех жанров из всех частей света — публицистика это отражает действительно емко и широко, — но и «читабельных» вещей, о которых сообщает сам журнал в обзорах, в хорошей рубрике «Из месяца в месяц», но не торопится знакомить, ожидая чего-то, предпочитая «круглые столы», уместные скорее в газете...

Сказывается, наверное, и прошлое «торможение». Ругали «Челюсти», а первооснова оказалась добротно написанной. То же с «Крестным отцом». Наверное, ждут очереди многие из названных вами произведений, читаемых в мире и пользующихся популярностью. Напрасно избегать с таким постоянством детективного жанра. Мы же печатаем Юлиана Семенова, так почему делать столь большое исключение для «той» литературы? Ведь романы Райнова, Гуляшки, Чейза и других писателей, причем даже более «маститых», говорят в пользу этого жанра, широко читаемого всеми — от студента до академика...

Традиционные рубрики нужно сохранить. За счет сокращения анкет, отчетов о встречах можно было бы если уж не увеличить общий объем, то хотя бы сократить число публикаций, печатаемых мелким шрифтом. Надо пожалеть и читательские глаза...

За последнее время исчезла рубрика «Наша почта». То ли места нет, то ли пишут мало. А ведь она — барометр, пульс читателя.

Журнал интересный и нужный. Спасибо за это. И хочется видеть его еще лучшим. Ведь сейчас все мы стремимся к лучшему. Успехов вам, дорогая редакция!

П. Г. Родина, участник войны,
г. Ленинград

* * *

Уважаемая редколлегия!

Посылаю свои ответы на вашу анкету, опубликованную в № 11 за 1987 год.

1. За 1986 год хотел бы выделить следующие произведения: Р. Стоун «Флаг на заре», Г. Видал «1876», Курт Воннегут «Малый Не Промах», Пирс Пол Рид «Женатый мужчина», Г. Грин «Десятый»...

За 1987 (№ 1—10): Р. Ас-Саид «Комната на втором этаже», Макс Фриш «Стенограмма одного несчастья», Т. Шарп «Дальний умысел». За десять книжек этого года, по-моему, маловато. Публикации авторов стран социализма — это зеркальное отражение всей нашей литературы периода застоя.

2. Практически никогда не читаю.

3. За 1986 год: Гюнтер Вальраф и Ф. Феллини. За 1987 год: Л. Питер «Еще раз о принципе Питера», Б. Шнайдер «Золотой треугольник», Р. Капусцинский «Император», А. Кемпинский и др. «Кто есть кто в Польше», А. Керести «Чэлленджер...»

4... 5. Расположение рубрик устраивает. Правда, некоторые рубрики постепенно теряют свое лицо. В частности, «Из месяца в месяц» — мельчает на глазах. Всегда с удовольствием слежу за рубрикой «Советская литература за рубежом». В этом году был приятный сюрприз, блок фантастики. Такие же блоки можно было бы посвятить и детективу, произведениям на исторические темы, взять хотя бы историю Древнего Рима, Греции, Египта и т. д. Про Египет еще кое-что и можно почитать, зато про Рим, кроме «Спартака», затрудняюсь что-либо назвать. Нет романов-биографий о «звездах» зарубежного искусства и науки. А ведь такая литература там, по вашим же сообщениям, пользуется заслуженным интересом. Огорчило ваше сообщение о новом произведении Ф. Саган, которое мы, как и предыдущее (см. № 9 за 1986 год), тоже не увидим. Опять же Ирвин Шоу, чьи произведения вы не публикуете уже десять лет. Печальный юбилей... Мне 33 года, врач. Если мои соображения вам понравились — используйте, если не понравились — используйте тоже.

В целом, хотелось бы вас поблагодарить за ваш труд. Всего вам хорошего.

С уважением
Е. Дмитриев,
Молдавская ССР.

P.S.
Анкета должна быть ежегодной.

* * *

Являюсь постоянным подписчиком «ИЛ». Почти все публикации вашего журнала мне по душе. В нем печатаются очень интересные романы, повести, рассказы.

Мне и нашим районным читателям очень нравится публикуемая вами «Антирубрика». Некоторые из этих рассказов я перевел на азербайджанский язык и опубликовал в нашей агдашской районной газете «ЭМЭК» («Труд»), они были с интересом встречены читателями, например, рассказы индийского писателя Харишанкара Парсаи «Ад в раю», «По инстанции» («ИЛ», 1985, № 10), миниатюры китайских писателей Сюй Цзяньцзюань «Глаза феникса», Юй Сунъянь «Нуль» («ИЛ», 1987, № 5).

Отвечаю только на вопрос 5.

Традиционные рубрики и расположение материалов устраивают меня. Желательно,

чтобы в журнале открылась новая рубрика: «Сатира и юмор». В ней хотелось бы прочесть короткие сатирические и юмористические рассказы, новеллы, притчи, миниатюры зарубежных писателей всех государств. С помощью вашего журнала мы переводили бы некоторые из них, имели бы возможность опубликовать их в нашей районной газете. Ибо очень длинные рассказы, как бы они ни были интересны, в райгазете, которая издается полформатом «Правды», напечатать невозможно. Итак, ждем вашей новой рубрики «Сатира и юмор».

Мне 61 год, литератор, образование высшее, юридическое.

С глубоким уважением
Али Аргашлы,
Азербайджанская ССР,
Аргашский район, Абад.

* * *

Уважаемая редакция!

Был очень обрадован, получив очередной номер вашего журнала с анкетой, хотя совсем не уверен в искренности желания сделать журнал «более содержательным и интересным» — не поздно ли перестраиваться; например, «Огонек» быстрее пошел навстречу переменам, и теперь читать его одно удовольствие, буквально глотаешь от корки до корки. Но раз пишу вам,— значит, надеюсь.

Ваш журнал выписываю давно — 10 лет. Запомнилось следующее: роман про акулу-людоеда, про ясновидящего, который нашел убийцу и покушался на будущего американского Гитлера, «Бумага Мэтлока», «Дальний умысел». С большим интересом читал рассказы современных китайских писателей, переводы из древней китайской поэзии, в этом году понравилась повесть «Кассандра», рассказы Ван Мэна, Ясуси Иноуэ. Были в журнале и такие публикации, серьезность и основательность которых я понимаю, но не читаю — они требуют большого напряжения: Веркор, М. Фриш, Г. Грин, Г. Видал.

2. Отражают ли ваши поэтические публикации действительную поэтическую картину мира? Есть ли мировые поэты? Увы, я так не думаю, поэтому мне нравятся старинные стихи: Ли Бо, Бо Цзю И, Гао Ци, Ронсар...

3. Запомнилось: Г. Вальраф и «Золотой треугольник».

4. Критику читаю не часто, запомнилась статья Ю. Каграманова о маркизе де Саде— очень интересная и познавательная.

5. Трудно сказать, наверное, нет. Посмотрите, как изменились «Огонек», «Литературная учеба», «Знание — сила», даже «Роман-газета». Думаю, что стоит искать.

Пожелания:

1. Можно ли сделать так, чтобы весь номер был посвящен литературе одной страны? Причем были бы представлены проза, поэзия, драматургия; прошлое и настоящее; авангард и классика?

2. Всегда ли нужно обязательно печатать прогрессивных писателей? Ведь прекрасная идея часто не имеет адекватного художественного воплощения. Может, стоит печатать и не очень прогрессивных, зато которых интересно читать? Подумайте.

3. Всегда нравились ваши цветные обложки, но фотографии оставляют желать лучшего.

И последнее: НЕ БОЙТЕСЬ СДЕЛАТЬ ВАШ ЖУРНАЛ ИНТЕРЕСНЫМ И КРАСИВЫМ!

О себе. Мне 32 года, образование высшее, учитель.

Желаю успеха!

А. Сутормин,
Тульская обл.

* * *

Уважаемая редакция!

Я не филолог, не литературовед; просто человек, любящий литературу, как занимательное и поучительное времяпровождение. Поэтому буду, конечно, субъективен и предвзято подойду к вашим публикациям. Заодно прошу простить за отступление от пунктов анкеты.

Во-первых, жанровая бедность, кстати, характерная не только для наших журналов, но и вообще для советских наших издательств.

Представьте себе, что в музыке мы оставили лишь симфонии, как высокочувственную, содержательную, серьезную и т. д. музыку, а отказались от жанра оперетты, эстрады, балета и т. д. Мы обокрали бы себя, свой духовный мир. Искусство прекрасно тем, что многогранно, и бессмысленно отдавать предпочтение тому или иному жанру — они должны постоянно и равноправно сосуществовать, и только в этом случае будут рады искусству люди.

В литературе наряду с глубокими психологическими произведениями Достоевского и т. п. необходимы и братья Вайнеры и Стругацкие. Только в том случае откроется перед читателем огромный, заставляющий задумываться и смеяться, мечтать и стремиться сделать что-то самому, многогранный мир литературы. Пренебрежение любым жанром делает литературу слабее, и лишь все жанры вместе составляют ее могущество.

Во-вторых, я в н а я политико-социальная направленность печатаемых произведений. Нет неклассовой и аполитичной литературы, но плохо, когда читателю прямо пальцем указывают, что плохо, что хорошо. Это ведет к примитивизму и искусственности. Неужели наш образованнейший читатель нуждается в разжевывании нашего социального бытия на уровне американских комиксов?

Я люблю Золя. Но он нигде не выделяет особо социалистов и профсоюзы — он умеет показать в романах ту часть жизни человека и общества, что с а м читатель начинает вспоминать сущность коммунистической морали, сам начинает видеть все преимущества строя, в котором мы живем, ужасаясь тому, что было, что так без искусственности, но так классово показал Золя.

Мне бы хотелось, чтоб критика, публикуемая в журнале, была не вообще, а наоборот, после публикуемого произведения давались бы критические анализы с обобщением на этом конкретном примере, и на всю современную направленность зарубежной литературы.

Может, все изложенное мной — подобие известного «Письма к ученому соседу», но меня несколько успокаивает мое дилетантство.

Просто рабочий-шахтер.

Желаю успехов в вашей нужной работе.

Минаков И.

37 лет. Образование среднее.

Подземный электрослесарь.

P.S.

Увы, из стихов зарубежных поэтов самое большое впечатление осталось от Лонгфелло. Эти и другие недостатки от малоосведомленности отношу за счет небывалой упаднической ситуации в нашей книгоиздательской и книготорговой деятельности. Практически все чтение только в журналах. Книг нет ни в магазинах, ни в библиотеках. Министерство культуры, видно, не очень волнует книжная отрасль. Как же воспитывать молодежь с широким кругозором? А. Горький говорил, что всем хорошим в себе он обязан именно книгам... Целиком его поддерживаю.

Диалог с читателем

Добрый день!

Весной я написал вам письмо и вскоре, даже с некоторым удивлением, прочитал его уже напечатанным в вашем журнале в рубрике «Наша почта». Под письмом еще стояла подпись Сергей — как псевдоним подпольщика. С интересом прочитал ответ, но вопросы я ставил такие, что ответить на них полностью невозможно. Прошло полгода — и вот я опять пишу к вам, надеясь на ответ и на то, что вы прочтете до конца это не очень короткое письмо.

В общем-то меня волнует тот же вопрос культурного облика — ведь в печати первая роль у вас. Я упоминал статью Ю. Кагарманова «Кто и почему воскрешает де Сада?» № 8 за 1986 год.

Как найти грань между патологией и «здоровым инстинктом»? Садизм и мазохизм, сексуальные извращения, мании преследования и величия, комплекс неполноценности и вера в свою исключительность, стремление к одиночеству и человек — душа компании, любвеобильный и себялюбец... Это крайности; как очертить границу между большой страстью, приверженностью идее и патологией («психологической болезнью»)? Просто количество, пресыщаясь, переходит в другое качество?

Раньше в бога верили все, но большинство относилось к вере спокойно, не вникая в суть, служители веры хорошо ее знали и кормились ею, кто-то основывал на вере свою жизнь, все свои помыслы, горя за них на костре. (Что значит серенькие люди, в них все цвета перемешаны, так что они становятся и в душе цвета грязи. А молодежь любит все яркое.) Значит, и в нас всех живут зачатки комплекса неполноценности рядом с манией величия, садизм, всепрощение...

В определенных условиях нам приятна боль как физическое ощущение. Удар — это то же поглаживание, хотя одно нам приятно, а другое — наоборот, но физическая природа та же — раздражение нервов кожи, и если гладить интенсивнее, то станет больно, бить легче и теоретически может стать приятным (как в массаже). Сильный укус — выражение ненависти, а слабое покусывание — один из видов ласки.

Может, и де Сад лишь отразил душу человека, зажатую в определенных условиях, доминанту мозга довел до максимального развития, «чуть ли» не абсурда, так что теперь трудно отличить: обычное ли это проявление человеческой натуры или просто невменяемость — болезнь?

Сумасшедшим его посчитали намного позже того, как он написал свои книги — в 60 лет. Может, агрессивность — здоровое чувство? А складывается оно из чувства собственного достоинства и здорового самолюбия? Защитная реакция, возможность дать отпор. А как известно, нападение — лучшая защита: нападение — агрессия — агрессивность.

Контактность, любовь, всепрощение — противоположная черта агрессивности. А ее крайность — любовь, обращенная наружу — не только на себя и близких, а на всех людей, весь мир.

Проявление агрессивности? Да они везде: тяжелый рок и крики фанатиков, танцы и рев мотоциклов, чувство локтя у толпы и выход бешенства в драке, да и в невинном спорте.

Семейная ссора без повода — это желание выхода отрицательных эмоций, щекотка нервов, разминка инстинкта агрессивности.

В иностранной культуре: будь то литература, кино, музыка — эти проявления ярко выделяются. Так что же это такое в комплексе? На сцене это — металлический рок. Стоило им появиться у нас — и они стали самыми популярными, а ведь это не только стиль исполнения песен, музыка и способ поведения на сцене. Глубже — это стиль жизни, отношения между людьми «своими» (друзья, ребята одного круга) и «чужими» (фанаты другой команды, музыки...).

Кто сомневается, что стоит пустить на экран фильмы ужасов и насилия, а на

книжные полки «де Сада» — и молодежь потянется к ним?

Это естественно? Молодая кровь горячее. Даже маленькому щенку дают погрызть полку, чтобы он поточил зубы. Вот что такое все наши модные группы «Черный кофе», «Мастер» «Круиз», спортивные клубы (болельщики, культуристы...).

Как посмотреть на все это с точки зрения выбора культурного облика хотя бы «Иностранной литературы»? Мы уже не замалчиваем? Вопрос-то не надуманный и не маленький.

Сергей Грачев

P. S. У любимого мной произведения Дж. Лондона «Зов предков» — красивый эпиграф; по-моему, он и тут к месту:

Древние бродячие инстинкты
Перетирают цепь привычки и веков,
И, просыпаясь от глубокой спячки,
Вновь дикий зверь выходит из оков.

* * *

Письмо Сергея Грачева примечательно тем, что автор откровенно поведал о некоем искушении, одолевающем его самого и многих его сверстников и одновременно попытался разобраться: а в чем тут дело?

В старину в подобных случаях говаривали: «Лукавый смущает». Вот и здесь между строк письма встает образ, фигурально выражаясь, Лукавого, который нашептывает: «преступи», сделай то, о чем говорят, что это «нельзя», что это «нехорошо». Агрессивность надо сдерживать? Ерунда, это нормальное чувство. Оглянись вокруг: «металлисты», разного рода «фанаты», «рокеры» могут кое-что тебе об этом сказать. А если позволено, например, дать кому-нибудь по физиономии, то почему нельзя позволить себе чего-то большего, гораздо большего? Кто вообще сказал, что «досюда» можно, а дальше нельзя?

Вон там, на Западе, этот самый Лукавый такое вытворяет — закачаешься! И «кто сомневается (цитирую Сергея Грачева), что стоит пустить на экран фильмы ужасов и насилия, а на книжные полки «де Сада» — и молодежь потянется к ним?».

Пускать не стоит. У человека есть болевые точки — бить по ним даже как-то нечестно. Те фильмы и та литература, о которых здесь идет речь, как правило, выбрасываются на рынок людьми, которым нужно зашибить деньгу, а до всего остального нет дела.

Но откуда возникает тяга? Сейчас многие упрекают молодежь за ее вкусы, увлечения и наклонности. И удивляются: откуда что берется! А так ли уж трудно догадаться откуда? Молодежь выдыхает общий для всех и знакомый каждому «на вкус» воздух, и если то, что она выдыхает, зачастую оказывается сомнительным, а то и явно предосудительным с точки зрения нравственной и эстетической, то в этом не вина ее, а беда.

Слишком долго культивировался у нас образ некоего примерного нашего соотечественника, завзятого оптимиста, ничего не знающего и знать не желающего о темной, назовем ее так, стороне человеческой души. Можно ли эту сторону просто взять да отсечь? Даже во времена общественного подъема, обычно «мобилизующие» в человеке лучшие качества, не только высоты его влекут, но и склоны тоже. И если держать перед его глазами портрет Идеального гражданина и без конца твердить, что вот таким, дескать, надлежит тебе быть, то он в конце концов начнет, тайно или явно, строить этому портрету рожи.

Всякое действие рождает противодействие: если постоянно напирать на доброе и «правильное» в человеке, другая, прямо противоположная сторона непременно даст о себе знать. В прошлом тому было немало примеров. Возьмем таких писателей, как де Сад или Джек Лондон (ограничиваюсь теми примерами, которые приведены автором письма). Во времена де Сада, в канун Великой французской революции широким общественным кредитом пользовалась вера в человеческий разум и в естественную доброту человека. Наперекор этому господствующему умонастроению де Сад вывел в своих романах не просто людей злонравных, но каких-то несусветных монстров, проповедующих такое «возвращение к природе», о каком не помышляли даже каннибалы.

Джек Лондон в ряде произведений, и в частности в упомянутой повести «Зов предков», по-своему отреагировал на то упоение успехами цивилизации, какое было характерно для начинающегося XX столетия. Цивилизация принесла человеку множество благ, но взяла за них определенную цену, превратив его в существо чересчур рациональное и в какой-то мере «тепличное». Джек Лондон (так же, впрочем, как и некоторые другие современные ему писатели) напомнил о полузабытом: о причастности его, человека то есть, к миру природы с ее извечными «жестокими законами».

Но между двумя писателями (в том

плане, о каком здесь идет речь) есть принципиальная разница. Джек Лондон в обустроенном, более или менее уютном мире как бы распахнул окно в облитый лунным светом первобытный лес с его дразнящими ароматами, никого, однако, не призывая в это окно выпрыгивать. Нетрудно заметить, что «чувства добрые» оказываются у него все-таки сильнее, чем «зов предков» (понятый как «зов природы»). Де Сад же, можно сказать, отворил люк в некий подпол, где копошатся какие-то человекообразные гады, и выдал всю эту патологическую мерзость за «последнюю истину» о роде человеческом.

Автор письма задается вопросом: где проходит грань между здоровым инстинктом и патологией? Достаточно прислушаться к здоровому инстинкту: он сам подскажет, где начинается патология.

Но так или иначе, есть, повторяю, в человеческой душе темная сторона и ее нельзя игнорировать. Она особенно настойчиво заявляет о себе тогда, когда естественное стремление к истинному, доброму и просто нормальному не получает достаточного подкрепления в реальной жизни. А если общество прошло через длительный период напряженного идеализма (в хорошем смысле этого слова), то последующие срывы в цинизм могут оказаться особенно опасными. Не буду касаться вопроса о том, почему с некоторых пор подобная ситуация сложилась и у нас — сейчас об этом много пишут в газетах и журналах.

Приходим к тому же, о чем тоже много говорят и пишут: нелегко сегодня быть молодым! Где же выход? Очевидно, ответ может быть дан как на уровне, так сказать, индивидуальном, так и на уровне общественном. На индивидуальном уровне надо отдавать себе отчет в ситуации человека, открытого, как говорит у Достоевского Иван Карамазов, двум безднам: верхней и нижней. Чем лучше это понимаешь, тем острее чувство ответственности за собственную «линию жизни». Хорошо бы принимать самого себя не просто как «данность», но как нечто, что еще подлежит доработке и усовершенствованию. (Взгляд де Сада был прямо противоположный: фиксировать малейшие свои дурные побуждения и давать им волю; то есть это была «провокация» снизу.) Иначе будет не душа, а слякоть. Нужен «командный пункт», заставляющий трудиться над собой. Или, если угодно, точка роста.

Стремится все в божественной отваге
Себя перерасти...

А если и не перерасти, то хотя бы не соскользнуть в низкое, грязное и жестокое.

Но главный ответ, конечно, следует искать на уровне общественном. Автор письма говорит о максимализме (хотя и не употребляет этого слова), присущем молодежи. Это нормальное для данного возраста свойство, к сожалению, слишком часто не находит себе достойного применения. Так, группы «фанатов» нередко выбирают себе какой-нибудь нехитрый, а то прямо смехотворный девиз и отстаивают его с пылом, подобному девизу совершенно не эквивалентным. Или взять рок-музыку: для многих молодых людей она стала чем-то вроде религии. Может, я тут чего-то не понимаю, но, право, со стороны это явление кажется, мягко говоря, грустным.

Должно быть ясно, по крайней мере, что чуть ли не повальное увлечение молодежи рок-музыкой (зачастую — худшего пошиба) не есть результат невоспитанности музыкального вкуса или чего-то еще в этом роде, но отражение именно общественной ситуации. Таков нынче жизненный «материал», что он не поддается сколько-нибудь эффективной гармонизации — отсюда попытка художественно «организовать» его посредством «голого» ритма. Проще говоря, рок-музыка — пляска среди обломков вчерашнего дня. Долго ли можно плясать среди обломков? Рано или поздно неизбежно придет усталость (похоже, она ощущается уже сегодня, даже на Западе). Но это не значит, что гармония[1] сама дастся в руки. К ней пробиваться надо. И не через строй аккордов и септаккордов, а через завалы практических, сугубо житейских, «грубых», необходимых и не терпящих отлагательства вопросов.

Обратил ли внимание автор письма, что в его любимой, как он говорит, повести «Зов предков» есть такой сюжетный поворот: ожесточившиеся от дурного обращения собаки, когда их запрягают в одну упряжку, забывают о взаимной грызне и целиком отдаются делу. Появляется цель — появляются увлеченность и спайка. И это собаки! В отличие от любых животных человек способен трудиться осмысленно. Поэтому радость труда знакома ему в несравненно большей степени, как и чувство «упряжки», в смысле твор-

[1] Это звучное греческое слово вовсе не обязательно означает нечто, что может быть достигнуто непременно где-то на моцартовских высотах. Самое нехитрое благозвучие, дающее душе настрой,— уже гармония или хотя бы скромный отблеск ее. *(Прим. авт.)*

ческого (хотя бы и в самом скромном понимании этого слова) единения с другими.

Те «смущения», о которых здесь говорилось,— от пустоты, от топтания на месте. А в конечном счете — от общественного застоя, наблюдавшегося у нас на протяжении длительного времени. Сейчас стрелка политического барометра резко качнулась: страна вступила в пору революционных перемен. Самое время, закатав рукава, делать дело. И среди прочих неотложных дел — заняться расчисткой всем хорошо известных, простых и высоких слов: отодрать все налипшее, «отколупнуть» верхний, аляповатый слой краски, чтобы слова эти окончательно ожили и стали доходить до ума и сердца.

Что касается того, что к нам приходит с Запада, тут лучше проявлять элементарную разборчивость. Следует заметить, что недифференцированный или недостаточно дифференцированный подход к явлениям чужой жизни — вещь вообще более распространенная, чем это обычно думают. Сказанное относится и к тому, как у нас воспринимают Запад.

Сто с лишком лет назад Герцен писал: «Наши отношения к Западу до сих пор были очень похожи на отношения деревенского мальчика к городской ярмарке»[1]. К сожалению эти строки и сегодня не устарели. Да, на западной «ярмарке» есть на что поглядеть и есть чему позавидовать (что душой кривить!). Но немало там и такого, к чему можно отнестись спокойно, чтобы не сказать — равнодушно. А рядом — нечто вообще недостойное внимания. Похоже, однако, что у некоторых молодых и не только молодых людей глаза разбегаются на весь западный «товар» чохом. Включая сюда и такие вещи, как фильмы или книги, содержащие картины насилия и порнографию. Раз, дескать, «там» это любят, почему бы и нам, грешным, не отведать?

Во-первых, «там» к этому относятся очень по-разному. В США, например, на протяжении 80-х годов развернулось мощное движение, направленное против подобного рода фильмов и книг. Правда, это очень неоднородное движение — оно включает и явных мракобесов неоконсервативного толка, которые борьбу с безнравственностью понимают настолько «широко», что требуют изымать из библиотек, в числе других книг, Хемингуэя и даже «Гекльберри Финна». (Неоднородность движения, вероятно, причиной тому, что в нашей печати о нем сообщалось чрезмерно скупо.) Как бы то ни было, сейчас наше внимание привлекает тот факт, что культ насилия и порнографии вызывает протесты с разных сторон и протесты эти не бесплодны — кое-какие результаты (и в США, и в некоторых других западных странах) они уже дали.

Но как бы ни смотрели на подобные вещи на Западе, просто повторять что-то вслед за другими нам не к лицу. Надо иметь свою голову на плечах. Живем в великой стране, породившей изумивших мир гигантов мысли и дела, и надо стремиться быть достойными их в той скромной мере, в какой нам это по силам.

Ю. КАГРАМАНОВ

[1] Собр. соч. в 9-ти томах, т. 7. М., 1958, с. 289. (Статья «Концы и начала»).

◆

Среди книг

Издано в СССР

«МОЯ ВЕРА В ЧЕЛОВЕКА БЕЗГРАНИЧНА...»

Уильям Фолкнер. Собрание сочинений в шести томах. Москва, «Художественная литература», 1985—1987.

В 1987 году исполнилось 90 лет со дня рождения Уильяма Фолкнера, дата, к которой издательство «Художественная литература» завершило выпуск шеститомного собрания сочинений великого американского писателя. Из девятнадцати его романов в собрание сочинений вошло одиннадцать (еще четыре печатались в журналах: «Солдатская награда», «Когда я умирала», «Святилище», «Реквием по монахине»). Издательство «Радуга» выпустило том статей и писем Фолкнера. На полувековом пути американского романиста к сердцу русского читателя обозначился некий рубеж: иностранный писатель, получивший в нашей стране собрание сочинений, бесспорно, становится классиком.

Когда держишь в руках черные с золотым тиснением тома первого советского собрания сочинений Фолкнера, возвращаешься мыслью к нелегкой судьбе его произведений в Советском Союзе. Хотя несколько его рассказов было переведено еще в середине 30-х годов, едва ли можно назвать другого великого писателя-реалиста XX века, чьи романы стали достоянием русских читателей только через 30—40 лет после их создания. Книги Фолкнера не укладывались в привычные рамки реализма, и критики относились к нему настороженно, с затаенным подозрением. Признание пришло поздно, но тем заинтересованнее воспринимают Фолкнера сегодняшние советские читатели и критики.

Собрание сочинений снабжено полезным историко-литературным комментарием, что выгодно отличает его от четырехтомного собрания сочинений Хемингуэя. Будем надеяться, что, когда дело дойдет до более полного издания Фолкнера, включающего все его крупнейшие романы, каждый том будет сопровождаться литературно-критической статьей, как было сделано в остающемся до сих пор образцовым двенадцатитомном собрании сочинений Марка Твена, увидевшем свет в том же издательстве.

И еще вот о чем следует сказать в связи с собранием сочинений Фолкнера, хотя относится это не только и не столько к нему. Издавна сложилась в наших издательствах не слишком удачная практика печатать иных зарубежных классиков с сокращениями. Что касается американской литературы, то именно так издавали у нас романы Г. Мелвилла («Белый бушлат») и Э. Хемингуэя («По ком звонит колокол»), книги Уитмена, Драйзера и почти всех современных писателей США. Не избежал этой печальной участи и Фолкнер в нынешнем собрании сочинений.

Конечно, издательство имеет право печатать одно и не печатать другое, однако представляется более правомерным, когда такой отбор производится на уровне отдельных произведений, включаемых или не включаемых в собрание сочинений, а не касается отдельных фраз или абзацев. К сожалению, встречающиеся и в новом издании Фолкнера сокращения не отмечены даже спасительными отточиями.

Может быть, Фолкнер действительно написал нечто крамольное, оскорбляющее чувство нашего читателя, нечто такое, что он, читатель, не в силах перенести даже в эпоху гласности и перестройки? Судите сами.

В конце романа «Шум и ярость» Джейсон, не получив помощи шерифа в поимке бежавшей племянницы, грозит ему: «Вы об этом еще пожалеете. Я найду защиту. Это вам не Россия. Нацепил бля-

ху и думает, что на него уже управы нет». Слова о России кого-то смутили и были убраны из текста. Думается, однако, что такой персонаж, как Джейсон, и по мнению писателя, самый отталкивающий в своей жадности и жестокости, мог бы сказать о Советской России и похлеще.

Другой вид сокращений связан с сексом, о котором в недавнем прошлом советская участница женского телемоста с Америкой сказала, что у нас его нет. Очевидно, по этому принципу изъяты соответствующие места из романов (их, правда, немного), хотя никто не решился бы назвать Фолкнера порнографом.

В былые времена печатали книги ad usum delphini (для наследного принца.— лат.), где фривольные места пропускались, а в конце книги печатались мелким шрифтом для взрослых. Мы не станем здесь следовать этому благому примеру и перечислять пропуски разного характера, допущенные в трех романах о Сноупсах и в других произведениях.

Но до каких пор мы будет редактировать и сокращать классиков, как зарубежных, так и русских?! Каждая строка писателя должна быть неприкосновенна, тем более если мы называем его классиком. Раньше ссылались на цензуру, теперь остался лишь «автоцензор», который может быть неумолимее внешнего. Сокращая классиков, мы не столько оскорбляем их, которых и оскорбить-то нельзя, сколько самих себя. Мы уйдем — они останутся.

Нет смысла гадать о будущем литературного наследия Фолкнера (в Америке собрание его сочинений и доныне еще не издано) — книги имеют свою судьбу, говорили древние. Сегодня можно слышать противоположные суждения наших критиков. Одни говорят, что Фолкнер тяготел к модернизму, другие — что он, напротив, крупнейший реалист XX века.

Ни о каком ином зарубежном художнике слова не услышишь столь противоречивых мнений. Чем же это вызвано? Только ли разницей эстетических вкусов и позиций? Думается, причина глубже — она в художественной многозначности фолкнеровских книг (именно многозначности, а не противоречивости).

Есть писатели, чей художественно-эстетический статус определился сразу и надолго. Такова судьба Хемингуэя в нашей стране. Иное дело — Фолкнер. Отношение к нему еще не устоялось. Хотя после смерти писателя минуло четверть века, споры вокруг его книг продолжаются. И это доказывает актуальность его наследия для современного мира.

Нашего современника привлекает в книгах Фолкнера вера писателя в способность человека не только противостоять злу, но и выстоять в этом поединке. «Я всегда писал о чести, правде, сострадании, уважении, способности вынести горе, несчастье и несправедливость и выстоять; изображал людей, которые поступали так не ради наград, а ради самой добродетели, лишь для того, чтобы до конца своих дней оставаться верным себе»,— заявил Фолкнер в трагические дни вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз.

Прошло уже четверть века, как журнал «Иностранная литература» публикацией романа «Особняк» ввел Фолкнера в сознание самых широких кругов советских читателей. С тех пор поток переводов и критических работ о нем нарастал у нас с невиданной быстротой.

Собрание сочинений шло как бы по пятам появлявшихся переводов и по сути дела уже не открывало нам нового Фолкнера, а представляло в собранном виде известные произведения, иногда в новых, более совершенных переводах («Непобежденные», частично «Поселок», «Сойди, Моисей»). Бесспорная польза для читателей — иметь собранными более половины романов писателя. Но ценность собрания сочинений, особенно зарубежного классика, определяется числом новых публикаций. И здесь шеститомник Фолкнера, к сожалению, не радует (первоначально предполагалось выпустить собрание сочинений в восьми томах). В нем нет ни одного произведения, которое ранее не было бы известно русскому читателю по журнальным публикациям.

Но может быть, все лучшее уже переведено и издано? Отнюдь. К тому же, в собрание сочинений не вошли даже некоторые из лучших книг Фолкнера, уже печатавшиеся у нас в журналах. Такова, например, дилогия о Темпл Дрейк («Святилище» и «Реквием по монахине»). В беседах с преподавателями и студентами, которые вел Фолкнер в Японии, он вспоминал, что «Святилище» означало для него обращение к тем кардинальным вопросам человеческого бытия, о которых говорил он в речи при получении Нобелевской премии, критикуя молодых писателей, пишущих не о любви, но о пороке и поражении человека.

Фолкнер создал в этом романе картину обыденной жизни американского общества, которую тогда и много позднее объявляли карикатурой на Америку. «Святилище» — это крик боли человека, увидевшего, что нет такой подлости, такого цинизма, на которые не был бы способен американский торгаш. Мир «Святилища» — это Америка в миниатюре, где существуют все виды преступлений, все степени жестокости, все формы бесчеловечности.

Когда рукопись «Святилища» была послана издателю, тот написал автору: «Видит бог, я не могу напечатать это. Иначе мы оба окажемся за решеткой». Но как всегда у Фолкнера, картина жестокости и ханжества, царящих в «этом старом и трагическом мире», не определяет конечного отношения автора к человеку. Писатель утверждал, что художник должен изображать зло не ради него самого, а для того, чтобы победить его.

Не вошел, к сожалению, в собрание сочинений Фолкнера и остающийся неизвестным доныне русскому читателю роман «Притча» (хотя перевод книги давно сделан Д. Вознякевичем).

«Притча» — сложный роман, вызывающий неоднозначные оценки. Поэтому необходимо сказать о нем несколько подробнее. Писатель работал над ним во вре-

мя второй мировой войны и опубликовал в 1954 году.

Антимилитаристская проблематика «Притчи» проступала уже в замысле книги. В январе 1944 года Фолкнер писал своему издателю: «Содержание притчи в том, что в разгар войны вновь появляется Христос (стремление людей навсегда покончить с войной) и снова его распинают. И теперь, в нынешней войне, мы опять повторяем то же. Если Христос явится еще раз, мы снова распнем его, и, может быть, уже в последний раз... Мы совершили это в 1918 году, теперь, в 1944 году, это не должно повториться».

Фолкнер видел в религиозном обрамлении «Притчи» некий традиционный литературный маскарад: его интересовала не религиозная сторона дела, а изображение человеческих характеров. «Я просто-напросто использовал старую историю, которая близка и понятна всем людям нашей западной культуры, чтобы сказать то, что я хотел».

Роман о Страстной неделе лишен и налета религиозности. «Христианская религия никогда не беспокоила меня, и я никогда не беспокоил ее»,— с присущим ему юмором говорил писатель вскоре после издания «Притчи». Хотя в основу романа положена история Страстной недели, упоминания бога или Христа крайне редки. Что же касается служителей церкви, то они изображены столь безжалостно, что англо-американская церковная критика, естественно обратившая на роман внимание, сочла его даже «богохульным», несмотря на то, что автор далек от антирелигиозного скептицизма.

В отличие от христианской легенды в «Притче» отсутствует сюжет воскрешения Христа. Вместо этого в заключительной главе происходят «неслыханные перемены», та переоценка ценностей, которая сопутствует концу всякой эпохи. Тело расстрелянного капрала Стефана как останки Неизвестного солдата торжественно переносится в Париж... Отвергнутый властью и людьми при жизни, он становится национальным героем после смерти. Такова трагикомедия истории человечества.

В предисловии к роману Фолкнер говорил, что «Притча» не только не пацифистская книга, но прямое выступление против пацифизма, который неприемлем для писателя, как и сама война, ибо «пацифизм бессилен, он не способен противостоять силам, вызывающим войну. Собственно говоря, если в моей книге есть идея, мораль... то состоит она в том, чтобы показать средствами поэтической аналогии, аллегории бессилие пацифизма; положить конец войне человек может, либо отыскав, изобретя нечто более сильное, чем война, воинственные устремления и жажда власти любой ценой, либо прибегнув к огню ради уничтожения огня».

Народ в «Притче» впервые у Фолкнера выступает как сила, от которой зависит решение больших вопросов, судеб войны и мира. Характерно эпическое начало романа, передающее движение народных масс, «одного безмолвного огромного братства». Это уже не группа фермеров-бедняков, которые, сидя на корточках возле лавки Билла Варнера во Французовой Балке, обмениваются последними местными новостями. Иная мера исторического и нравственного отсчета вступает в действие в «Притче».

Тема распятой правды проходит через все творчество писателя, ее встречаем мы в «Свете в августе» и в «Реквиеме по монахине», в рассказах и повестях, о ней говорит Фолкнер в своих выступлениях и интервью. «Рано или поздно, конечно, человеку приходится делать выбор между добром и злом»,— сказал он в интервью Джин Стайн. Человек не только свободен в своем выборе, но и ответствен за него, «ужасно ответствен» за сделанный выбор. «Моя вера в человека безгранична, несмотря на всю его ограниченность, все его недостатки. Человек преодолеет все ужасы, связанные с опасностью ядерной войны: он никогда не истребит человечества».

Еще при жизни Фолкнера известный английский социолог и критик Филип Тойнби на вопрос, кто лучший писатель Америки, отвечал: «Увы, Фолкнер!» Почему же «увы»? Когда-то Андре Жида спросили, кто лучший поэт Франции, и он сказал: «Увы, Виктор Гюго!» Общественно-политическая позиция Гюго явно не устраивала мэтра французского модернизма, так же как этическая и гуманистическая позиция Фолкнера, проявляющаяся во всех его произведениях («мораль», по терминологии Ф. Тойнби), претит консервативно-эстетскому мировоззрению английского социолога.

Автор вступительной статьи к первому советскому собранию сочинений Фолкнера П. Палиевский имеет все основания утверждать, что «сейчас это наиболее авторитетный у нас американский писатель». Именно потому Фолкнер должен быть полнее представлен в нашей стране.

А. НИКОЛЮКИН

«...В МОЕЙ РУКЕ ЦВЕТОК НЕ ОТЦВЕТЕТ»

Ярослав Сейферт. Прощание с весной. Избранная лирика. Перевод с чешского. Составление и предисловие С. Шерлаимовой. Москва, «Радуга», 1987.

Название предлагаемого читателю сборника избранной лирики Ярослава Сейферта символично. Слова «прощание с весной» воспринимаются сегодня, когда поэта уже нет с нами, как итог прожитой жизни. Но так же называлась и вышедшая в 1937 году поэтическая книга, в которой «лирик чешской земли и природы» прощался с уходящей молодостью.

Ярослав Сейферт вступил на поэтический путь очень рано. В 1921 году, когда ему было всего двадцать лет, вышел первый сборник его стихов — «Город в слезах», в

котором была определена главная тема последующей поэзии: человек — самый прекрасный цветок из всех существующих на нашей планете. Он хрупок и уязвим, и к нему надо относиться очень бережно:

Ведь человек страдает, как цветы.
Не мни его, не мучай, не топчи!

(«Вступление», перев. И. Гуровой)

Сейферт был одним из немногих европейских поэтов, кто в то бурное и одновременно раздробленное первой мировой войной время интуитивно стремился поднять авторитет человеческой личности, противостоять хаосу распадающегося мира, закономерно поэтому обращение поэта к «вечной теме» любви. Но традиционно понимаемая любовь к женщине как к недостижимому идеалу у Сейферта носила характер активной жизненной позиции. Это была любовь к подруге, понимающей и разделяющей все помыслы и устремления поэта, любовь, озаренная светом близкой, как тогда казалось, социальной революции, несущей освобождение от «черного дыма» «сотен грозных снарядов», от убогой нищеты «миллионов рабочих», чей труд обессмыслила прошедшая война.

Дай мне руку, моя дорогая,
дай мне обе твои руки!
Стяг любви пронесу до конца я
сквозь года революций, беде вопреки...

(«Любовные строфы», перев. Ю. Денисова)

Но Сейферт сборников «Только любовь» (1923), «Свадебное путешествие» (1925), конечно, еще не был тем творцом поэтического слова, кого в будущем назовут «волшебником стиха» и кто впоследствии придет к простоте, которая возникает не под действием упрощенного и бедного гаммой чувства, мысли, техники слова, но становится сладким соком поспевшего плода, именуемого совершенством зрелости. Эта неуловимая простота сменит эксперименты в области «чистого лиризма». Им он увлекался вместе со многими чешскими поэтами, входившими в 20-х годах в объединение «Деветсил», где творческим кредо являлась программа «поэтизма» — чешского варианта европейского авангардизма,— подчинение внутреннего и внешнего мира поискам новой, неожиданной формы, которая единственно должна выразить материальную и образную гармонию окружающего мира.

Поэтические сборники Сейферта конца 20-х годов — «Соловей поет плохо» (1926), и «Почтовый голубь» (1929) — наглядно раскрыли самобытность литературного дара их автора. В них поэт обратился к теме Родины, осознал себя поэтом национальным, неразрывно связанным со своим народом, со своей землей, пусть не ярко экзотической, зато глубоко любимой и родной.

Приобщение Сейферта к национальным истокам, обостренный интерес к обыденной жизни заметны как в форме, выбранной поэтом,— чаще всего это стихотворения-песни, в которых ощущается задушевная камерность, порой переходящая в особого рода исповедальность,— так и в существе его поэзии, где за внешне неброскими сюжетами угадывается грустная улыбка всепонимающего философа:

С вербных сережек пыльца облетает,
сила весенняя льдины ломает.
Вместе с хохлатой наседкой бежит
стая голодных цыплят — и пищит.

Господи, пусть от весенних щедрот
зернышко маленький птенчик склюет.
Лишь человек под твоими громами
может питаться пустыми мечтами.

(«Песня вербной дудочки», перев. Ю. Кузнецова)

Творчество Сейферта 30-х годов было отмечено предчувствием надвигающейся неотвратимой беды. «Время надежд» кончилось, наступило время кризиса, предшествующее фашистской агрессии. Как и в поэзии другого чешского поэта, Витезслава Незвала, в стихах Ярослава Сейферта невольно начинает звучать ностальгическая нота по прошлому, по ушедшему детству, которое представлялось ему светлым и почти беззаботным. Беззаботным в той мере, в какой его мог помнить человек, всеми органами чувств воспринимающий наполненное тяжелой, давящей тревогой настоящее:

То, что хотел сказать вам без затей,—
все стерло время в памяти жестоко.
Струится дождь. Он — счастье для детей,
Шумящих весело у водостока.

...Дождь отшумит. И очень нужно мне
Сказать тому, кто рядом ждал упрямо,
Что будут капли падать в тишине:
С листвы — чуть-чуть
и долго — с крыши храма.

(«Песня о дожде», перев. Л. Дымовой)

Угнетенное положение, в котором в период гитлеровской оккупации оказалась чешская культура, заставило Ярослава Сейферта сосредоточиться на традициях мировой и национальной литературы и истории, поскольку именно в них, на взгляд поэта, можно было черпать силу, способную помочь пережить бесчеловечность фашистского миропорядка. Символом «вечной культуры» для Сейферта стал образ знаменитого Карлова моста в Праге. Это был мост, который не только соединял в пространстве два берега Влтавы, но мост, связывающий древнее прошлое с далеким будущим через сиюминутное кошмарное. Мост, каждый камень которого выдержал испытание веками, а значит, выживет и теперь. В 1944 году поэт выпустил сборник, который так и назывался — «Каменный мост»:

Река и времени приливы,
Еще? Наверно, майский ливень
и легконогий ветер счастья.

Шел по мосту я без заботы,
сказал «прощай» в одних воротах,
в других воротах попрощался.

(«Река и времени приливы...», перев. Л. Дымовой)

Одним из самых сильных стихотворений во всей лирике Сейферта того времени было стихотворение «Мертвые в Лидицах», посвященное жертвам трагедии, произошедшей в июне 1942 года в чешской деревушке название которой первым вошло в историю второй мировой войны как свидетельство изощренной жестокости и варварства фашизма. Этот поэтический реквием несет в себе общечеловеческий пафос такой проникновенной силы и боли, который

сродни пафосу лучших антифашистских произведений искусства и литературы, созданных в XX веке, таких как «Герника» Пабло Пикассо или «Ленинградская» (блокадная) 7-я симфония Дмитрия Шостаковича:

В этот мрак лишь птичий звон струится:
жаворонки ближе к вам, чем мы.
Может быть, когда щебечет птица,
слышите и вы на пашнях тьмы,

как в тиши, печально и напевно
ваши имена твердят поля;
как на ваших ртах, что сжаты гневно,
все еще кричит, поет земля...

(Перев. В. Корчагина)

После освобождения Чехословакии и победы советского народа в войне с гитлеровской Германией Ярослав Сейферт выпускает сборник «Каска глины» (1945), в котором от всего исстрадавшегося за время оккупации сердца приветствует освободителей:

И вновь слежу я взором восхищенным,
как чиркнули штыки по голым кронам,
и, вспыхнув от холодного металла,
моя земля цветущим садом стала.

(«Тот день внезапно полыхнул, как пламя...», перев. Ю. Стефанова)

Тональность послевоенной лирики Ярослава Сейферта можно было бы точнее всего охарактеризовать строкой его стихотворения «Поэт и другие ремесла»: «...поет поэт во славу жизни».

В поэтических сборниках 40—50-х годов — «Шел бедный художник по свету» (1949), «Из песни о Викторке» (1950), «Мама» (1954), «Мальчик и звезды» (1956), «Прага» (1958) — он возвращается к таким традиционным темам и понятиям, как народность культуры, уникальность личности человека, неповторимость его отношения к своим близким — матери, отцу, любимой. В искалеченном войной человеческом сознании он мягко и ненавязчиво утверждает достоинство и самоценность личности.

Последние сборники поэта, лауреата Нобелевской премии 1984 года, наполнены философским переосмыслением многих жизненных впечатлений, надежд, воспоминаний. Они написаны человеком, для которого каждая новая книга могла стать жизненным итогом. Долгие годы болезни приучили Сейферта относиться к очередному сборнику как к последнему. Но в них нет и намека на какую бы то ни было мрачность. Наоборот, они несут печать удивительной просветленности и духовности. Подобно своему любимому композитору, Вольфгангу Амадею Моцарту, он писал о светлой гармонии, которая должна быть в душе у каждого живого существа. Он учил чувствовать и понимать этот свет и эту звучащую в душе музыку. И о нем можно сказать то же, что он сам сказал в стихотворении, посвященном Моцарту:

...он ушел от нас,
И через черную земную дверь вернулся
туда, откуда к нам пришел.
Здесь от него остались только кудри
и то еще,
что делает прекрасней
нашу жизнь.

(«На вилле «Бертрамка», перев. М. Павловой)

Е. ГАВРОН

ЕСЛИ ПЕРЕВОД—ИСКУССТВО

Перевод — средство взаимного сближения народов. Художественная публицистика. Составитель А. А. Клышко. Предисловие С. К. Апта. Москва, «Прогресс», 1987.

Выход в свет книги о художественном переводе — событие по нынешним временам редкое. А если эта книга значительна по объему, тщательно прокомментирована, снабжена удобными указателями и богато оформлена, то событие это переходит и вообще в разряд уникальных. Ну, а уж если принять во внимание тот факт, что составитель книги является издателем зарубежной художественной литературы на русском языке и сам время от времени выступает как переводчик, то для специалиста открывается завидная возможность проанализировать теоретические, так сказать, основы этого сложного вида творческой деятельности и его практику сразу в двух измерениях. Но книга предназначена не только специалистам, поэтому рискнем внимательно прочитать ее с точки зрения рядового читателя.

Какой же вывод может сделать вдумчивый читатель о художественном переводе, ознакомившись с соображениями литераторов разных стран, живших в XVIII, XIX и XX веках? Собранные в книге суждения на разные лады убеждают его, что перевод — художественное творчество безо всяких скидок.

И. С. Тургеневу («...талант, творческий дар, необходим переводчику; самая взыскательная добросовестность тут недостаточна», с. 71 рецензируемого труда) вторит Н. С. Гумилев («...переводчик поэта должен быть сам поэтом...», с. 82). Мнения отечественные на сей счет («Перевод — искусство. Эту аксиому человек, посвящающий себя художественному переводу, должен принять со всеми, как говорится, вытекающими из нее последствиями», Н. М. Любимов, с. 141) дополняются мнениями иноземными («Переводчик — это писатель, художник, и его надо считать таковым со всеми вытекающими отсюда последствиями», А. Курелла (ГДР), с. 109).

Тезис этот находит подтверждение и на практике. Переводили практически все корифеи русской литературы XIX и начала XX века: Карамзин, Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Достоевский, Тютчев, Фет, Толстой, Бунин. И не только переводили, но и писали о переводах.

Нынешние корифеи, во всяком случае прозаики, не в пример прошлым, к зарубежной литературе переводческого интереса не проявляют. Они, пользуясь словами Н. А. Добролюбова, держат «публику в неведении о всем, что сделано и делается на этом гниющем Западе» (с. 57).

Творческий характер перевода с необходимостью приводит к тому, что «один и тот же литературно-художественный текст можно по-разному, хоть и одинаково полноценно, перевести на один и тот же язык» (А. Курелла, с. 118). Или, говоря иначе,

«всякий перевод является в какой-то степени вымыслом и в этом качестве представляет собой уникальный текст» (Октавио Пас, с. 161).

Читателю становится ясно, что оригинальное произведение и его перевод суть две разные вещи, что, например, стихи Гейне на его родном, немецком, и в переводе на русский язык могут сильно отличаться: «...к несчастью, русский Гейне совершенно не похож на немецкого» (Д. Д. Минаев, с. 261).

Многие деятели нашей культуры сознавали это отличие и потому всегда специально оговаривали, о чем идет речь. Вот, к примеру, названия статей из рецензируемого сборника:

Н. Г. Чернышевский. «Шиллер в переводе русских поэтов»;

В. Г. Белинский. «Гамлет, принц датский». Драматическое представление. Сочинение Виллиама Шекспира. Перевод с английского Николая Полевого»;

Н. А. Добролюбов. «Библиотека римских писателей в русском переводе».

Ныне, как легко убедится читатель, таких статей уже не пишут. Статей-то много (достаточно указать на почти обязательные предисловия к книгам), но авторы их пишут не о переводе, а об оригинале, легко перелетают мыслью от книги еще не переведенной к уже переведенной и обратно. И никто не берется объяснить читателю, чем русский Гейне отличается от немецкого. Да и современные издатели не только изгнали творцов художественного перевода с обложек и переплетов, но зачастую приводят их имена чуть ли не в выходных данных. Беспокойство здесь вызывает не слава переводчика, а намеренное создание иллюзии, что читатель держит в руках Дж. Лондона, Э. Золя, Г. Гессе, а не его более или менее удачную русскоязычную версию, созданную не Лондоном, Золя и т. д., а загнанным в оглавление или на оборот титула литератором на основе, а то и по мотивам произведений поименованных выше зарубежных писателей.

Читатель, скорее всего, обратит внимание и на то, что ныне канули в Лету статьи, подобные уже упоминавшейся «Библиотеке римских писателей в русском переводе». Обратит внимание и спросит себя:

Почему наши крупнейшие критики не жалуют зарубежную литературу? Римских писателей не любят? Латынь забыли? Недосуг?

Почему даже наши специалисты-зарубежники так долго скрывают свои мысли о нынешнем состоянии, скажем, русского Шекспира, русского Вийона или русского Г. Канта? Неужели у нас все прекрасно и более не публикуются переводы, говоря слогом XIX века, «лиц с заднего двора нашей литературы» (А. В. Дружинин, с. 55)?

Но в рецензируемой книге ответов на эти вопросы читатель не найдет, хотя «народы сближает» перевод далеко не любого качества.

Поскольку сборник построен хронологически, читателю, наверное, бросится в глаза и то, как с годами менялась требовательность к рассматриваемому виду творчества.

Вот год 1791: «...кто так переводит, тот портит и безобразит книги и недостоин никакой пощады со стороны критики» (Н. М. Карамзин, с. 219).

Год 1849: «Нельзя не пожалеть о том, что с недавнего времени хорошие переводы сделались редкостью и самое занятие переводчика словно унизилось в глазах наших литераторов» (А. В. Дружинин, с. 50).

Год 1877: «...почти все те из серьезных ученых книг, которые переведены на русский язык, более или менее изуродованы в переводе» (Н. Г. Чернышевский, с. 67).

Год 1930: «Вполне своевременно переизданная книжка об «Искусстве перевода», очевидно, не влияет на переводчиков, они свирепствуют, как привыкли...» (А. М. Горький, с. 302).

После 1954 года, когда И. А. Кашкин в статье «Вопросы перевода» наставительно пожурил двоих современных переводчиков, наступает благостный период. Критика переводов последнего тридцатилетия в сборнике отсутствует. То ли ее нет в природе, то ли ее не любит составитель, впору недоумевать читателю.

Зато хорошо представлен относительно новый жанр, который можно назвать «демонстрацией достижений и возможностей художественного перевода на примере собственного творчества». Чтобы доказать, что перевод — искусство, известному переводчику Н. М. Любимову потребовалось несколько десятков примеров... И почти все они нашлись в его собственных переводах... (с. 141—158).

Жанр короткой рецензии не дает возможности перечислить все вопросы, которые могут возникнуть у вдумчивого читателя, но из сказанного, смеем надеяться, ясно, что он получил книгу интересную и весьма поучительную.

Ю. ЗДОРОВОВ

Издано за рубежом

РОМАНЫ О ПЕРЕСТРОЙКЕ В КИТАЕ

Кэ Юньлу. Новая звезда. Пекин, «Жэньминь вэньсюе чубаньшэ», 1985, 1986.
Кэ Юньлу. Ночь и день. Пекин, «Дандай», № 1—2, 1986.

Весной 1986 года в течение почти двух недель по вечерам улицы китайских городов и деревень непривычно пустели: по телевидению демонстрировался сериал «Новая звезда», снятый по одноименному роману Кэ Юньлу.

Роман Кэ Юньлу привлек читателя точным, почти документальным описанием

современной китайской действительности, реальных процессов, происходящих в общественном сознании после третьего пленума ЦК КПК XI созыва (декабрь 1978 года), своего рода китайского XX съезда. В нем верно обозначены узловые моменты развернувшихся в партии и обществе дискуссий, споров, связанных с претворением в жизнь экономической реформы. По существу это роман о перестройке, о борьбе сторонников реформы против ее противников.

В статьях, посвященных «Новой звезде», главный герой, Ли Сяньнянь, был назван реформатором, партийным руководителем нового типа. Именно в этом секрет популярности романа в Китае, именно поэтому он выдержал несколько изданий.

Кэ Юньлу описывает жизнь типичного китайского уезда в течение одного месяца 1982 года. Уезд расположен на реке Хуанхэ и по местным понятиям небольшой — в нем проживает около полумиллиона человек. В центре повествования — образ 32-летнего первого секретаря укома партии Ли Сяньняня, недавно приступившего к своим обязанностям. За его плечами — Пекинский университет, тяжелая школа «культурной революции», работа в партийных органах после нее.

Ли Сяньнянь видит свою цель в том, чтобы превратить уезд в богатый, процветающий район. Он считает возможным достичь ее, решив три проблемы — экономическую, кадровую и организационную. Ли Сяньнянь пытается в корне изменить стиль работы партийных организаций и кадровых работников. Он призывает их быть ближе к народу, быстро решать насущные вопросы повседневной жизни крестьян. Сам Ли Сяньнянь старается вникать буквально во все дела, касающиеся производства, быта, настроения людей. Приехав в одну из деревень, он видит школу, находящуюся в ужасном состоянии — дырявая крыша, покосившиеся стены. Здесь же, на месте, он переселяет школу в здание парткома, где в двадцати пяти комнатах работало семь человек. А посетив местное электроуправление, Ли Сяньнянь сталкивается с тем, что руководство устраивает застолья для вышестоящего начальства за счет уездных органов. Ли Сяньнянь налагает на начальника электроуправления начет в сумме трехмесячного оклада.

Чтобы выяснить, чем живет народ, по инициативе первого секретаря партии организуется специальное собрание уезда, на котором каждый из присутствующих получает возможность откровенно высказать свои критические замечания и предложения. Борясь за перестройку работы уездной партийной организации, Ли Сяньнянь выступает против «избиения кадров», освобождаться надо лишь от тех, считает он, кто не может или не хочет перестроиться.

Антиподом Ли Сяньняня в романе является Гу Жун — председатель уездного народного комитета. Он — опытный политик, многие годы работал в партийных органах, пройдя путь от низового работника до второго человека в уезде. Ему не по душе нововведения Ли Сяньняня, его демократический стиль общения с людьми, стремление решать вопросы коллективно. Гу Жун привык работать по старинке, авторитарными методами. Не в силах открыто выступить против Ли Сяньняня, он действует исподтишка, используя налаженные связи и знакомства. Блестяще показан весь набор приемов, к которым прибегает Гу Жун: здесь и лесть, интриги, намеки, запугивания. Трудно избавиться от впечатления, что конфликт двух главных героев представляет китайский вариант конфликта двух методов партийного руководства, о котором когда-то писал В. Овечкин в «Районных буднях». Конечно, любые аналогии условны, тем более когда речь идет о разных исторических и национальных особенностях. Но в обеих книгах описываются в какой-то мере схожие реалии социалистического общества.

Ли Сяньнянь, как и Мартынов, воплощает черты руководителя, привыкшего за производственными вопросами видеть конкретных людей с их будничными заботами. Что же касается Гу Жуна, то для него, как и для Борзова, какой-нибудь Ван или Чжан всего лишь «винтик», который можно вертеть ради собственной карьеры.

Поддержка Ли Сяньняня рядовыми членами партии, большинством партийных работников, населением уезда объясняется тем, что он выдвинул четкую и ясную программу перестройки и наметил практические меры по ее реализации. Для превращения уезда в богатый и процветающий необходимо всестороннее развитие сельскохозяйственного производства, подсобных промыслов, местной промышленности. С этой целью по его поручению составляется специальный «Комплексный план экономических преобразований с учетом природных ресурсов, географических условий и народонаселения». Но Ли Сяньнянь не замыкается в рамках чисто хозяйственных задач: «Мы все — китайцы. Китайцы отличаются от иностранцев своим отношением к жизни, мы не стремимся лишь к обогащению. Даже если от меня будут требовать поехать жить за границу — туда, где все живут богато,— я не захочу, всем сердцем не захочу. Тамошнее общество полно хаоса, оно пустое, эгоистичное, бесчеловечное. Когда умирает старый человек, соседи только через несколько лет узнают об этом. Какой смысл строить такое общество?»

Ли Сяньнянь не раз говорит о том, что проводить реформы следует, сообразуясь с китайскими особенностями, китайским национальным духом, он — сторонник идеи «социализма с китайской спецификой». Реформа должна проводиться решительно и быстро, говорит он в одной из бесед, вместо административных методов необходимо использовать экономические, смело идти на сокращение управленческого аппарата, стремиться к тому, чтобы кадры были профессионально подготовленные, знающие, молодые. На предприятиях следует сокращать количество рабочих; повышать производительность труда; больше вкладывать средств в просвещение; укреплять законность; расширять отношения с внешним миром; привлекать иностранный капитал; наконец, в деревне сделать ставку на крупные хозяйства.

В 1986 году литературно-художественный журнал «Дандай» («Современность») опуб-

ликовал первую часть нового романа Кэ Юньлу «Столица». Она называется «Ночь и день» и является по сути продолжением «Новой звезды». Действие развертывается в Пекине, куда приезжает Ли Сяньянь в поисках первого секретаря провинциального комитета партии. Читатель вновь встречается со старыми героями, появляются и новые персонажи, преимущественно из кругов столичной интеллигенции. Широкими мазками Кэ Юньлу рисует картину жизни артистов и журналистов, ученых, студентов, воссоздает мир их переживаний и чувств, стремлений, поисков своего места в сегодняшней китайской действительности.

В новом романе очевиден рост художественного мастерства Кэ Юньлу — психологически убедительнее образы героев, достоверное описания житейских проблем, с которыми им приходится сталкиваться. В отличие от традиционного для романов прошлых лет схематичного «лобового» изображения отношений между молодыми людьми в книге подробно описываются чувства и любовные переживания героев.

Роман «Ночь и день» оставляет впечатление незавершенности, в нем многое еще недосказано, непрояснено, видимо, читателю следует ждать его продолжения.

В. БУРОВ

МИР НАБЕКРЕНЬ, ИЛИ ДОСТОВЕРНЫЕ НЕВЕРОЯТНОСТИ ХЕРМАНА ПИТЕРА ДЕ БУРА

Herman Piter de Boer. De Motorengel en andere Verhalen. Amsterdam, Manteau, 1985.

Херман Питер де Бур. Мотоциклетный ангел и другие рассказы. Амстердам, Манто, 1985.

И так, что же делает человек, когда он не просто уверен, но совершенно доподлинно знает, что у него есть ни более ни менее, как свой ангел-хранитель? И ангел этот, невидимый для чужих глаз, всегда появляется рядом в трудную минуту? Скорее всего, предполагает Херман Питер де Бур, человек этот, подталкиваемый растущей уверенностью в себе — а уверенность подобного рода, санкционированная не как-нибудь, но вполне метафизически, обладает таинственной способностью приобретать размеры неимоверные,— в конце концов начнет позволять себе такое, ТАКОЕ... о чем в старину люди говорили, сокрушенно покачивая головами: «Он искушает судьбу».

Ну, а если человек этот — Джек, и он страстно влюблен... в свой мотоцикл, на заднем сиденье которого — стоит лишь завести мотор,— откуда ни возьмись, появляется безмолвная рыжеволосая девица в туго обтягивающем ее бесплотность кожаном небесно-синем комбинезоне и ковбойских сапогах? (Необходимость изменения обличья в соответствии с изменением жизненных запросов известна достаточно широко.) Даже неискушенный в искушениях читатель легко может себе представить, что то, что древние, да и не слишком древние именовали «искушением судьбы», превратится у Джека в головокружительные прогулки на ревущем и сияющем хромированной сталью скакуне по узеньким, извилистым тропинкам, по ветхим мостикам, шатающимся под тяжестью одинокой козы, и даже — у-у-ух! — сквозь лесную чащобу, да еще — эй, не подведи, ангел мой! — с зажмуренными глазами! И — лишь победно рычит мотор, унося нашего гонщика вдаль по шоссе, да сломанные веточки, застрявшие в клапанах и карманах мотоциклетной робы; а как же иначе, ведь рядом — оглянись! — сидит, вперив немые, спокойные глаза сквозь тебя в горизонт, твой ангел... Но вдруг, когда уже, казалось бы, последние сомнения испарились под лучами веры в того, кто сидит позади, вдруг — слякоть под колесом, стеклянный всплеск осколков разбитой витрины, замерший мотоцикл, пойманным шмелем жужжащий под слоем сосисок, макарон и виноградных гроздьев, соседка, в слезах склонившаяся над полным собранием переломов рьяного любителя скорости... Ангел-хранитель оказался не очень-то хранителем... А может быть — о ужас!— не совсем и ангелом...

Но как бы то ни было, рыжеволосая красавица с бесстрастным лицом сжимает ковбойскими сапогами мотоциклетные бока, сидя за спиной другого парня. Тот направляется в Б. по каким-то своим делам. Ему не хочется вывернуть рукоятку газа до предела. Он поспешает не торопясь. Он еще не оглянулся.

Рассказом «Мотоциклетный ангел» открывается сборник прозы Хермана Питера де Бура. Это имя широко известно нидерландскому читателю, да и не только читателю — кроме прозы де Бур пишет также стихи, тексты для программы театра-кабаре, сценарии телевизионных передач, радиопостановки, занимается журналистикой, песни на его слова звучат с эстрады в исполнении известных нидерландских шансонье.

Херман Питер де Бур родился 9 февраля 1928 года в Роттердаме. Предками его по отцовской линии были гронингские мореходы, по материнской — потомственные торговцы сукном из Фландрии. Однако такое смешение традиционных «семейных» профессий дало несколько необычный результат: Херман Питер, сын банковского служащего, уже в девятилетнем возрасте дебютирует как новеллист, публикуя на страницах роттердамской газеты для юношества рассказ «Пересмешник и зимородок». Закончив школу, Херман Питер испытал свои силы в самых разнообразных профессиях: он был матросом, играл в труппе пантомимы, служил в военно-воздушных силах, руководил сбытом фирмы керамических изделий — и то тут, то там на страницах периодики мелькало его имя. С 1954 года де Бур становится свободным писателем. За тридцать лет помимо многочисленных текстов для радио, телевидения, эстрады и кабаре писатель опубликовал научно-фантастический роман «Белая Партия» (1955), повесть-бестселлер «Булки, пули и мишура» (1968), биографи-

ческую повесть о певце и гитаристе Эдди Кристиани «Звезды судьбы» (1969) и шестнадцать сборников рассказов и новелл, среди которых критика особо отмечает такие, как «Женщина в лунном свете и другие странные рассказы» (1973), «Гардероб Талии» (1974), «Справочник нидерландских жестов» (1979), «Бумажный купальник» (1980) и сборник стихов и рассказов «Чары» (1984).

Уже более двадцати лет книги де Бура, выходящие в различных издательствах, иллюстрирует известный нидерландский график Пат Андреа. Сотрудничество оказалось взаимообогащающим для обоих мастеров: художник, разрабатывающий в графике роскошные темы «странных рассказов» де Бура, сам вошел в их действие, став приятелем снедаемого «священным огнем» персонажа в рассказе с тем же названием — фанатичного собирателя образцов «кич-искусства» в сверхнатуральную величину, обладателя диковинной коллекции «Гигантика». Герой этот — Алоис Тэбоди — был очарован колоссальных размеров муляжом человеческой ступни, выставленным в витрине педикюрных дел мастера и после неудавшейся попытки присоединить вожделенный предмет к своей коллекции законным путем решился его похитить. Пат Андреа после также неудавшейся попытки убедить Алоиса остаться на тернистом пути законопослушания увековечил этого непонятного человека удирающим от владельца в обнимку со своей путем неправедным обретенной драгоценностью. Однако такая дорожка привела коллекционера «Гигантики» на скамью подсудимых, а впоследствии — и за решетку, несмотря на страстные речи адвоката о «священном огне» и «мученичестве творческого пути». И хотя в камеру Тэбоди принесли громадный хлебец — в утешение, от некоего духовного лица, выйдя через некоторое время на свободу, неудачливый гигантоман купил авиабилет в Австралию и бесследно там сгинул. «Жаль, жаль,— отмечает де Бур, заканчивая свое повествование,— ведь как раз такие люди и вносят в наше общество хоть какую-то красочность».

Подобных фигур, «мини-мюнхгаузенов», самих себя выдергивающих из привычных житейских взаимосвязей, в «странных рассказах» де Бура — предостаточно. Их персонажи одержимы какими-то диковинными «пунктиками», которым они, несмотря на очевидную нелепость, следуют неуклонно, хотя это отнюдь не облегчает им существования: достаточно вспомнить, как жалуются друг другу на жизнь человек, панически боящийся острых углов, и другой — маниакальный убийца,— оказавшиеся во власти третьего, светского сноба, «пунктиком» которого стало коллекционирование людей с «пунктиками» («Кирилов»); либо супружескую пару — Адама и Лени,— стремящуюся к единению ни более ни менее, как с Универсумом — в Великой Неподвижности («Неподвижное»); либо, например, ни к чему не годного лентяя Рафаэля, который не желает ни работать, ни развлекаться, но способен приподнять и пронести по воздуху своего хлопотливого (и преуспевающего) папашу — одним взглядом («Ленивый сын»).

Среди обычных, ничем не примечательных людей, в болотце серенькой, будничной реальности разворачиваются ситуации других рассказов де Бура, и диву даешься, сколь же тонка и непрочна пленка всевозможных «привычностей», едва-едва прикрывающая бушующий гротеск нашей жизни. Мрачный химерический фантазм не исключает обыденности — они прогуливаются рука об руку. После пятидесятилетнего молчания Отто Хаахен открывает тайну эксперимента, который был произведен над ним в загадочном институте «Энигма»: при помощи особой аппаратуры с «астрального тела» Отто была удалена светящаяся аура — и человек, лишенный этого ореола, из заурядного хомо сапиенс превратился в рычащее животное. Даже после того, как аура снова была «вживлена» на прежнее место, вернуться в хомо-сапиенсову действительность Отто так и не смог («Таинственный свет»).

Острая сатира на стереотипность мышления мещанского «среднего уровня» звучит в рассказе «Мужская компания» — некое ученое симультанологическое общество исследует проблемы синхронности возникновения всевозможных новаций в культурной жизни: без непосредственного взаимовлияния одни и те же мысли появляются в головах разных людей в разных странах — от страсти к покорению горных вершин до таких пиков в любительской фотографии, как снимки плюшевых мишек, сидящих верхом на собачках...

Под кажущейся «просто-занимательностью» двадцати двух лапидарных по манере письма и весьма замысловатых по сюжетному действию рассказов, собранных в книге «Мотоциклетный ангел», кроется более чем серьезная провокация — своеобразный вызов серости, воинствующей будничности, засасывающей стереотипности. Спасет ли сумасбродство наш старый и скучный мир? Бог весть. Но расцветить его радужными красками оно вполне в состоянии.

Так что же делать, если ботинки просят каши, а новых купить не на что? Если разодрались единственные брюки, если почтовый ящик приносит все новые неоплаченные счета, если неудачи уже который день преследуют на каждом шагу, если появляются первые грозные симптомы надвигающейся «нищетофобии», как это случилось с Алмаром в рассказе «Странный недуг»? Нет ничего проще — улыбается Херман Питер де Бур,— просто-напросто, ближний, дела которого идут хорошо, должен сообщить заболевшему «нищетофобией» положительный заряд своей везучести, «импульс удачи», дав ему хотя бы взаймы, скажем, двадцатипятигульденовую бумажку. И дела у таким образом излеченного больного живо пойдут на лад. Только и всего.

И. ЛАНИН

◆

Из месяца в месяц

Болгария

ПЕРВЫЕ ШАГИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА

Всего два года назад, в канун своего столетия, Софийский университет имени Климента Охридского получил прекрасный подарок — собственное издательство, пишет еженедельник «АБВ». Казалось бы, прошло совсем немного времени, но уже к Московской международной книжной выставке-ярмарке (1987) издательство подготовило самостоятельную экспозицию, в основном посвященную истории Болгарии. В университетском издательстве увидели свет первые книги серий «За и против» (эта серия рассказывает о научных дискуссиях, гипотезах, освещает нетрадиционные взгляды на спорные научные проблемы), «Дебаты» (первые книги молодых ученых), «Ключ к университету» (литература для абитуриентов), «Выдающиеся университетские ученые» (рассказывает о замечательных преподавателях Софийского университета).

Издательство планирует также выпуск собственных журналов и ежегодников. В его ближайшие планы, по сообщению корреспондента «АБВ», входит издание «Истории Софийского университета имени Климента Охридского», книги Цв. Тодорова «Демократическая и антифашистская борьба студенчества в 1918—1944 гг.» и некоторых других. Издательство Софийского университета, призванное выпускать литературу по различным отраслям науки, уже активно сотрудничает с аналогичными издательствами других стран. Одним из главных его партнеров является «Издательство МГУ».

Великобритания

НОВЫЙ МУЗЕЙ НА БЕРЕГУ ТЕМЗЫ

«Кажется невероятным, что на родине Шекспира до недавнего времени не было музея, посвященного истории английского театра, — пишет обозреватель журнала «Пэрейд». — Все реликвии, все вещи и предметы, представляющие драматургическое искусство Британских островов, все, что хранит память об английском театре разных веков, долгое время экспонировалось, а точнее, просто находилось в одном из флигелей музея Виктории и Альберта».

И вот недавно, продолжает обозреватель журнала, неподалеку от оперного театра «Ковент-Гарден» был открыт музей английского сценического искусства. В нем со вкусом использованы предметы обстановки старых театров — старинные ложи, скульптуры, бра, декоративные украшения.

Среди экспонатов (часть из них подарена музею любителями - коллекционерами) — рукопись комедии Р. Б. Шеридана «Школа злословия», рапира Дэвида Гаррика, знаменитого актера XVIII века, исполнителя многих шекспировских ролей, сценарий Жана Кокто к одному из балетов дягилевской труппы, гитара Питера Тауншенда, розовый веер из страусовых перьев, принадлежавший французской певице Мистенгетт, которая покоряла и шокировала посетителей «Мулен Руж» в 20—30-е годы.

Один из экспонатов лондонского музея истории театра — эскиз костюма, выполненный Пикассо к балету дягилевской труппы «Парад» (музыка Эрика Сати).

(Журнал «Пэрейд»)

«СОВРЕМЕННЫЕ СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»

В Великобритании опубликованы новый роман известной английской писательницы Фэй Уэлдон «Людские судьбы и сердца» и повесть «Правила жизни». Эти произведения анализирует на страницах газеты «Таймс литерари сапплмент» писательница и критик Шена Мэкей.

Сама Фэй Уэлдон называет свой роман «современной сказкой для взрослых», в которой перед читателем по ходу сложного и запутанного повествования предстают самые разные виды социального зла. Рецензент Шена Мэкей отмечает, что автор романа довольно много морализирует, постоянно оценивает мысли и поступки своих героев, делая при этом такой вывод: «Если настоящая аморальность действительно существует, по-моему, она состоит в том, что имущие имеют слишком много, а неимущие — слишком мало».

Имущие в романе — это Хелен, «властвующая над людскими судьбами и сердцами», и Клиффорд — оба люди искусства. Их доброй и хорошей дочке, Крошке Нелл, суждено стать главным действующим лицом всей книги и пройти через множество испытаний. В ее колыбель заглянула «злая фея» — гадкая Энджи, которая влюблена в Клиффорда и хочет разрушить его семью. Однако она жестоко поплатится за все свои проделки и после всевозможных унижений и мучений умрет. Добро и любовь восторжествуют, но прежде Крошке Нелл предстоит пережить похищение и авиакатастрофу; ее продают престарелой супружеской чете французов, превративших свой замок в преисподнюю, она попадает в жестокий мир приюта для бездомных детей и страшный мир воров и наркоманов... Именно

в описаниях злоключений Крошки Нелл, считает «Таймс литерари сапплмент», проявляется «и писательское мастерство Фэй Уэлдон, и ее чисто человеческое сострадание».

В жутковатой фантастической повести «Правила жизни» Крошка Нелл могла бы предстать перед нами уже совсем взрослой — действие происходит в Англии 2004 года, где священники Великой Новой Литературной Религии поклоняются Великому Небесному Сценаристу и пытаются черпать мудрость у умерших, записывая на магнитофон их голоса, звучащие по ночам из могил. Главного персонажа (служителя новой религии) особенно интересуют высказывания умершей от рака гордой красавицы Габриелы Сампттер, которая поведала ему о своих Правилах жизни. Он уже почти влюбился в понравившуюся ему «перемотку» (так называют здесь умерших), однако ее жизнь, полная любовных приключений, кажется ему пустой и бессмысленной: «Любовь заполняет собой все существование женщины. Для мужчин же это — лишь часть жизни».

«Фэй Уэлдон, — заключает автор рецензии Шена Мэкей, — с угрожающей правдоподобностью предсказывает не столь далекое будущее...»

Венгрия

«ДНЕВНИК ДЛЯ МОИХ ЛЮБИМЫХ»

«Я очень ждал, мы все очень ждали выхода этого фильма. Предшествующая, предваряющая кинолента Марты Месарош — «Дневник для моих детей» — взбудоражила и потрясла многих из нас»,— так начинает свою рецензию на новый фильм М. Месарош, опубликованную в журнале «Фильм, синхаз, мюжика», кинокритик Андраш Герваи. «Я не могу забыть,— продолжает он,— неповторимую, фантастическую атмосферу того вечера, когда несколько лет назад на фестивале венгерских фильмов в кинотеатре «Вёрёш чиллаг» я впервые смотрел этот фильм. В зале сидели коллеги — кинорежиссеры, актеры, кинокритики; сколько лент они уже видели на своем веку, выжать слезу у такой публики нелегко. И что же? В зале хлюпали и шмыгали носами, зрители были прямотаки поглощены фильмом, они горячо, всем сердцем — так бывает на представлениях детских театров или в театре кукол — «болели» за героев, включившись в борьбу добра со злом. Тогда, в том кинотеатре — какое редкое чудо самоотречения,— мы тоже превратились в детей, аплодировали, громкими возгласами выражали свое одобрение. Мы

Жужа Цинкоци и Ян Новицки в фильме М. Месарош «Дневник для моих любимых».

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

узнавали себя в героях, отождествляли себя с ними. Это было освобождение и очищение... Следя за судьбой главной героини Юлии — с тревогой за нее и за тех, кого она любила,— мы словно пережили (кое-кто — вновь) времена культа личности, пережили человеческие трагедии, страдания, немыслимые противоречия тех лет. Среди многих фильмов, воссоздающих тот или иной период нашей истории, фильм «Дневник для моих детей» сказал мне о 50-х годах больше, позволил понять их лучше, чем какой-либо другой фильм».

Вот почему — и это совершенно понятно, отмечает далее критик, продолжить рассказ о том времени, снять о нем второй фильм для автора картины — совсем не простая задача. После огромного успеха фильма «Дневник для моих детей» — на родине и за рубежом — оправдать ожидания зрителей, по крайней мере приблизиться к уже взятой высоте очень нелегко.

Андраш Герваи подробно анализирует новый фильм М. Месарош, отмечает высокое мастерство режиссера, значительность, уникальность материала — «волнующих свидетельств времени», собранных ею, пишет и о недостатках киноленты — о растянутости отдельных эпизодов, мозаичности документальных фрагментов, которые безусловно дают информацию об общественных событиях той поры, но не всегда органично входят в художественную ткань повествования. Жесты, манера поведения героев, их поступки иногда вызывают вопрос: а могло ли так быть на самом деле? Трудно сейчас, к примеру, представить себе, размышляет критик, что Юлия, юная студентка ВГИКа, была настолько независима в своих художественных воззрениях, что смогла противостоять господствующей тогда «ждановской эстетике» и вопреки широко распространенной в те годы лакировке действительности снимала такие смелые документальные ленты.

И все же, заключает А. Герваи, эта картина талантлива, в ней есть своя атмосфера, свой стиль. Хотелось бы убедить Марту Месарош претворить в жизнь задуманное — снять третий фильм о судьбе Юлии, завершить «Дневник»-трилогию.

ГДР

НОВАЯ ПОВЕСТЬ ГЕРМАНА КАНТА

В издательстве «Рютген унд Лёнинг» вышла в свет новая повесть Германа Канта. Название ее довольно трудно перевести. Одно из значений слова «Summe» — итог, сумма — вряд ли передает содержание книги, ее смысл.

Герой книги, Курт Шлееде (от его лица ведется повествование), едет в Будапешт на встречу, в которой участвуют представители 35 стран. Они должны создать некий международный культурный центр. На самом деле рассказ об этой встрече — пародия на многие ненужные, непродуманные мероприятия, которые отнимают много сил и времени у людей. Писатель иногда с иронией, а иногда гротескно-сатирически повествует о нелепых, комических ситуациях, показывает самых разных людей, чаще всего ему несимпатичных.

«Курт Шлееде попадает в странные, запутанные истории,— пишет в газете «Нойес Дойчланд» Клаус Ярмац.— Он напоминает нам героя сборника рассказов Канта «Бронзовый век» Фарсмана. Шлееде так же,

как Фарсман, может показаться очень наивным, даже смешным, но это «один из нас», человек, в уста которого Кант вложил размышления о нашей действительности, о ее проблемах. Шутливый тон повествования, как всегда, сочетается у писателя с глубиной и серьезностью».

«Повесть Канта — это особая проза,— отмечает рецензент газеты «Берлинер цайтунг».— Она необычна по форме, своеобразна по содержанию и, несомненно, весьма актуальна».

«Мастером сатирической прозы» назвал Германа Канта бюллетень издательства «Ауфбау» — «Биненшток».

Как сообщает пресса Германской Демократической Республики, недавно Герману Канту вручена высшая награда Берлина — премия имени Гёте — «за достижения в области культуры, искусства и литературы» в год 750-летия столицы.

Дания

Живописец и график Кирстен Рут Бьерре Миккельсен — выпускница Ютландской академии искусств. Ее работы часто экспонируются в Дании и за пределами страны. Для творчества Бьерре Миккельсен характерны интерес к традициям народного искусства, полет фантазии, колористическая точность, пишет рецензент газеты «Ланд ог фольк». Обращаясь к событиям скандинавской истории, художница ищет в них драматические коллизии, воспроизводит реалии, рассказывает о конкретных человеческих судьбах. Новый вернисаж ее произведений представлен вниманию читателей газеты «Ланд ог фольк». Эти работы выполнены в технике линогравюры.

На снимке: К. Р. Бьерре Миккельсен. «Апология поэта-тунна».

(Газета «Ланд ог фольк»)

Испания

НОВОЕ ОБ ИМПЕРИИ ИНКОВ

До сих пор были известны лишь первые 18 глав «Истории и сказаний инков» испанца Хуана де Betансоса. Газета «Паис» сообщает, что в одной из библиотек города Пальма (о-в Мальорка) случайно обнаружен манускрипт, представляющий собой полный текст произведения, который с начала XVII века считался окончательно утерянным.

О жизни Хуана де Betансоса ученые знают немного. Он прибыл в Перу с первыми конкистадорами, был свидетелем покорения этой страны, затем шестнадцать лет прожил в Санто-Доминго и вновь вернулся в Перу, уже прекрасно владея языком инков — кечуа. С этого времени в обязанности Betансоса входят запись и перевод на испанский язык сведений, которые он получает от капукамайок — официальных знатоков и хранителей устных исторических хроник, законов и поэтических произведений инков. На основе этих записей по поручению вице-короля Антонио де Мендосы в 1551 году Betансос пишет свои хроники. Газета подчеркивает, что капукамайоки, с которыми имел контакты испанский хронист, были последними в своем роде, на них волей трагических обстоятельств оборвалась эта традиция. Таким образом, Хуан де Betансос фактически стал их единственным наследником — «на нем замкнулась историческая память народа инков». Поэтому большое значение ученые придают тому факту, что варианты сказаний и мифов инков, изложенные в недавно найденных хрониках, существенно отличаются от публиковавшихся до сих пор.

В произведении Betансоса есть не только обширная информация о всех сторонах жизни государства инков. Автором подробно изложена история завоевания этой могущественной империи испанцами, высказана оригинальная точка зрения на деятельность их предводителя Франсиско Писарро, включен в рукопись рассказ о восстании индейцев, о коварном убийстве последнего Верховного Инки Атауальпы. Многие факты, содержащиеся в хрониках, до сих пор не были известны историкам, отмечает «Паис».

Испанская исследовательница Мари Кармен Мартин Рубио, которой принадлежит честь обнаружения манускрипта, подчеркивает, что некоторые обстоятельства биографии Betансоса особенно значительно повлияли на характер его произведения. Он был женат на племяннице одного из правителей империи инков, много лет прожил при дворе, вращался в кругу местной знати. «Одно из главных достоинств этого произведения и его уникальность состоят в том, что в нем излагается точка зрения инков на историю и на современные им события,— говорит М. К. Мартин Рубио. — Это единственный пример такого рода».

Хуан де Betансос в своем труде стремится сохранить объективность и бесстрастность, приличествующие летописцу, — он, как правило, воздерживается от личных оценок и суждений, отмечает газета. Но когда речь заходит о том, как варварски, безжалостно уничтожались памятники культуры легендарного народа, автор дает волю своему гневу и возмущению.

Мартиника

КНИГА ОБ ИСТОРИИ НАРОДА

В своей новой книге «Махагони» (издательство «Сёй») известный франкоязычный прозаик Эдуард Глиссан (см. о нем «ИЛ», 1986, № 2), пытаясь «по живым человеческим судьбам» проследить историю родной Мартиники, погружает читателя в бездонный «хаос времен». «Не стоит ждать, что автор поведет вас проторенными дорогами привычной хронологии событий,— отмечает рецензент журнала «Кензен литтерер» Жаклин Форни.— Нет, он предоставляет слово самим героям — рабам с антильских плантаций, но скоро читателю уже становится трудно различать их голоса: не ясно, кто именно говорит, с кем, о каком времени...»

В бездонной же пучине страдания захлебываются и три главных героя романа — одаренный подросток Гани, «избранник богов», безумец-надсмотрщик Махо и юноша Марни-Мани, бежавший из тюрьмы Фор-де-Франс. 1831-й, 1936-й и, наконец, 1978 год — вот «редкие вехи» их жизненных путей, единственные «точки опоры», которые дал читателям Глиссан, подчеркивает литературный обозреватель журнала «Магазин литтерер» Надин Сотель. Ведь в общих очертаниях эти судьбы схожи между собой, и в памяти народа лики «беглецов-мучеников» сливаются в один собирательный образ.

«Из столетия в столетие передаются рассказы и легенды, сплавленные теперь в единое повествование, — как бы подхватывает слова Н. Сотель Жаклин Форни.— Народ слышит его из уст сказителей — то мужчин, то женщин, говорящих на причудливом франко-креольском диалекте. В его броской лексике, нарочито «хромающей» авторской орфографии, странных для современного французского языка синтаксических конструкциях заключается едва

Эдуард Глиссан.

(Журнал «Кензен литтерер»)

ли не главное очарование книги Эдуарда Глиссана».

Писателю прекрасно удалось и изображение природы Антильских островов, прежде всего — тропического леса, чащи его громадных деревьев. «Дерево — это уже целая страна, целый край», — пишет Глиссан. «Махогани» (красное дерево) — кряжистый великан, гордо вздымающий к небу великолепную крону, — не только символ страданий антильцев, их вековой боли, это и символ протеста рабов против угнетения: так, идя за мыслью автора, поясняет необычное название романа Ж. Форни на страницах «Кензен литтерер».

Нигерия

«ТЕРМИТНИКИ САВАННЫ»

Нигерийская литература пополнилась еще одним интересным произведением. «Термитники саванны» — так называется роман Чинуа Ачебе, анализу которого посвящает свою статью рецензент еженедельника «Таймс литерари сапплмент» Дэвид Прайс-Джоунс.

Идейная направленность романа — критика монархической формы правления и порождаемой ею политической и социальной коррупции. Главные герои книги, действие которой происходит в одной из западноафриканских стран, — это Его Величество, глава государства. Кристофер Орико — начальник информационной службы и Икем Осоди — редактор «Нэшнл газетт». Когда-то все трое учились в одном колледже, где по инициативе будущего правителя и создали свой тройственный союз. Но впоследствии Его Величество отходит от провозглашенных в молодости принципов и, установив единоличную власть, превращается в безжалостного, самовлюбленного тирана. Под стать «императору» и его слуги: солдаты и полиция призваны жестоко подавлять народ.

Многие эпизоды борьбы между деспотичным правителем и его бывшими друзьями представлены весьма выразительно. Таково, например, описание публичной казни, устроенной как развлекательное зрелище. Икем, пораженный увиденным, пишет об этом в своей газете. Выступление его перед студентами университета означает уже полный разрыв с Его Величеством. Но эта речь, как считает рецензент Д. Прайс-Джоунс, «столь же безупречна, сколь и неуместна».

В конце романа все главные герои погибают: Икем и Кристофер расстреляны по приказу властей, а Его Величество в это же время становится жертвой других заговорщиков. Нравственное же падение Его Величества не получает в романе никакого обоснования. Возможно, просто трудно, слишком трудно «быть большим человеком», иронически перефразирует рецензент высказывание одного из второстепенных персонажей — выразителя народной мудрости и основной идеи романа: «Быть «большим человеком» нетрудно, а вот бедным — непросто».

Идея «восстановления прочных внутренних связей с бедными слоями населения» сама по себе не лишена здравого смысла, отмечает Д. Прайс-Джоунс, но ее реализация, предложенная в конце романа, чисто условна: вдовы и старухи поют африканские колыбельные песни новорожденному ребенку Икема. «Нет, подобному голливудскому рецепту «установления внутренней связи» вряд ли суждено стать помехой для Его Величества или спасением для независимых икемов в этой несчастной жизни», — заключает «Таймс литерари сапплмент».

Никарагуа

«РЕВИЗОР» В МАНАГУА

В народном театре Рубена Дарио театральной труппой «Хусто Руфино Гарай» осуществлена постановка комедии Н. В. Гоголя «Ревизор», сообщает газета «Барикада».

На вопрос корреспондента о том, чем труппу привлекла классическая русская пьеса, сатира, написанная почти полтора столетия назад, главный режиссер ответил: «Нами руководила одна мысль — театр должен прежде всего иметь социальную направленность, а содержание пьесы актуально и сегодня». Авторский текст произведения был полностью сохранен.

Почти год труппа напряженно работала над постановкой спектакля, понимая всю ответственность выступления на подмостках одного из самых популярных театров страны.

Правда, при работе над спектаклем возникали и трудности; одна из них — обилие действующих лиц в гоголевской пьесе. По ходу действия на сцене появляется 21 персонаж, причем почти все роли — мужские. В спектакле же «Хусто Руфино Гарай» занято всего 12 актеров и многие роли исполняют женщины.

Появление гоголевской комедии на сцене никарагуанского театра, отмечает рецензент, стало значительным событием в культурной жизни страны.

Польша

«ХУДОЖНИК ВЕРЫ И БОЛИ»

Так назвал Ежи Дуду-Грача еженедельник «Политика», опубликовавший большую статью о его творчестве. Ежи Дуда-Грач (род. в 1941 г.) — один из самых смелых мастеров польского изобразительного искусства. Он живописец, график, занимается книжной иллюстрацией и плакатом, сотрудничает с театрами как сценограф, известен и как автор эссе об искусстве. Путь его к признанию был нелегок, критика нередко принимала его искусство в «штыки». Ныне же он — заслуженный деятель культуры ПНР, член-учредитель Союза польских живописцев и графиков, член Национального совета по культуре и Польского комитета защиты мира, лауреат многочисленных польских и зарубежных дипломов и премий, удостоен государственных наград ПНР.

Искусство Дуды-Грача публицистично, полно иронии и горечи. Как пишет обозреватель «Политики», это «обличение пороков, социальной патологии и политических деформаций». Главная тема творчества Дуды-Грача — время, в котором мы живем, с его трагедиями и противоречиями. В своих живописных циклах «Польские мотивы» («Воспоминание о профилактории», «Всадники Апокалипсиса», «Врата рая», «Польские диалоги», «Польская школа верховой езды»),

Ежи Дуда-Грач и его работы.

(Журнал «Панорама»)

«Триумфальное шествие глупости», «Триумфальное шествие хамства» и других работах художник безжалостно высмеивает людскую корысть, злобу, самодовольство, двуличие, ханжество, характерные для эпохи общественно-политического кризиса в его стране. Подобно своим учителям в искусстве — Брейгелю Старшему, Гойе, Оноре Домье, Яцеку Мальчевскому, Бронславу Войцеху Линке, — он воспринимает зло как антиэстетику и «вскрывает социальные нарывы без наркоза, давая душе очищение». У художника нет намерения унизить человека, и зрителю ясно, на чьей стороне сам художник: в гротескной сатире Дуды-Грача скрыт оптимизм надежды. Художник хочет «помочь добру, указав на зло». В последние годы Дуда-Грач стал писать мягче, чаще обращаться к портретам, пейзажам, но все же его социальная сатира так же остра и в то же время пронизана «дыханием вечности». Дуда-Грач постоянно обращается к языку вечных символов и аллегорий, активно использует в своих произведениях цитаты из старых мастеров, стремится не просто создать настроение, а убедить зрителя.

Картины Ежи Дуды-Грача, отмечает «Политика», хранятся в собраниях многих польских и зарубежных (в том числе советских) музеев. Постоянная экспозиция его работ находится в авторской галерее художника при Верхнесилезском музее в Бытоме. Дуда-Грач — участник более полусотни коллективных выставок в Польше и за рубежом, состоялось также свыше 80 его персональных выставок, в том числе в Швейцарии, ФРГ, ГДР, Великобритании, Венгрии, Франции, Австрии, Швеции. Крупнейшая выставка Ежи Дуды-Грача в СССР — на ней было представлено более 230 полотен 70—80-х годов — прошла в минувшем году в Центральном Доме художника в Москве.

Румыния

БАРБУ ФУНДОЯНУ И БЕНЖАМЕН ФОНДАН

В популярной серии «Введение в творчество...», выпускаемой издательством «Минерва», опубликована книга Мирчи Мартина о творческом пути Барбу Фундояну (1898—1944), сообщает газета «Ромыния литерарэ».

«Имя и наследие Фундояну, в возрасте 25 лет покинувшего родной край, равно принадлежат двум литературам, румынской и французской», — утверждает в своей книге М. Мартин. Как его соотечественники — Т. Тцара, П. Истрати, Э. Ионеско, Э. Чоран, — Фундояну «писал на двух языках и прожил две жизни в искусстве». Франкоязычной читающей публике хорошо известен Бенжамен Фондан — замечательный поэт, в годы Сопротивления печатавшийся под псевдонимом «Исаак Лакедем», эссеист, философ, погибший в газовых печах Биркенау. «Но западному читателю не следует забывать, что мировоззрение Фондана сформировалось именно в интеллектуальной атмосфере Восточной Европы», — подчеркивает обозреватель английской газеты «Таймс литерари сапплмент» Вирджил Немояну, откликнувшийся на выход книги Мирчи Мартина в свет.

Обложка книги М. Мартина «Введение в творчество Б. Фундояну», *издательство «Минерва»*.

Румыноязычные произведения Фондана составят солидный двухтомник, сообщает В. Немояну. Выпустив книгу эссе «Образы и книги из Франции» (1922), автор продолжал сотрудничать с бухарестскими литературными журналами до середины 30-х годов. Кроме того, он переводил на румынский французских символистов, немецких романтиков, поэтов, писавших на идиш, а в сборнике «Ландшафты» (1930) объединил свои ранние стихотворения, публиковавшиеся в румынской прессе 1914—1922 гг. Подготовкой двухтомника к печати занят Поль Даниэль, брат жены писателя. Его стараниями, замечает английский рецензент, не только переиздан дополненный новыми текстами томик «Ландшафтов» (1974), им проведена и кропотливая работа по разысканию других редких материалов — философских эссе и критических заметок.

«Значение румынского периода в творчестве Фундояну. — сетует «Ромыния литерарэ», — не было в достаточной мере оценено до настоящего времени. Тем весомее представляется нам концепция Мартина». «По мнению Мирчи Мартина, одного из самых компетентных румынских литературоведов среднего поколения, культурологическая позиция Фундояну, с ее опорой на уникальную «душу народа», — как бы поясняет эту мысль Вирджил Немояну на страницах «Таймс литерари сапплмент», — это своего рода развитие взглядов группы «Жунимя», еще в прошлом веке провозглашавшей необходимость равновесия между тягой искусства к современным формам и национальной традицией».

КАКОЙ БЫТЬ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЕ?

Новая книга известного румынского поэта и эссеиста Флорина Мугура «Эскизы о счастье» послужила поводом для дискуссии о позиции литературного критика в печати СРР. Дав на страницах журнала «Ромыния литерарэ» в целом положительную оценку этому сборнику эссе и литературных портретов, Н. Манолеску отмечает, что со многими концептуальными положениями автора он согласиться не может.

«Сколь глубоко укоренилось у нас мнение,— пишет Ф. Мугур,— что рецензия, в которой никого не ругают,— дань конъюнктуре, что критик обязан критиковать! Согласен, чрезмерные восторги могут навеять скуку, но только если они не подкрепляются конкретным анализом, точными оценками. Критика-убийцу я не признаю!»

Флорин Мугур превозносит творчество почти всех своих собратьев по перу. Такой подход имеет свои корни в истории румынской литературы. Известный критик межвоенного периода Перпессичиус (Д. Панаитеску) завоевал репутацию «любезного» комментатора, ибо не жалел похвал, считая, что задача критика — «обнаружить в литературной глине жемчужные зерна таланта». «Но возможно ли любить все произведения? — спрашивает Н. Манолеску. — И если причины, побудившие Ф. Мугура занять такую позицию, находятся вне поля нашего зрения, то исследовать ее практические следствия мы обязаны. Неумеренное восхищение неизбежно ведет к апологетичности, и тогда уже объективность суждений критика вызывает сомнение. Аффектация стиля порождает, с одной стороны, некое эстетическое «удовольствие», а с другой — «интеллектуальное раздражение». Ведь Флорин Мугур, продолжает Н. Манолеску, обладает слишком искушенным поэтическим слухом, чтобы его не раздражали безвкусица и какофония. Вовсе не убедительна и его мысль о том, что «подлинные творцы всегда найдут общий язык, несмотря на разницу во вкусах».

«В действительности у поэтов много других, более серьезных причин для расхождений во мнениях, нежели различия в литературных

вкусах, — заключает критик, — к чему закрывать глаза на это? Я не знаю лучшего способа поощрить посредственных литераторов, чем позволить им вообразить себя гениальными».

Сирия

М. БУЛГАКОВ И А. ПЛАТОНОВ НА АРАБСКОМ

Все возрастающей популярностью пользуются на арабском Востоке три литературных серии, к выпуску которых не так давно приступило министерство культуры и информации Сирии, — «Зарубежный роман», «Зарубежный рассказ» и «Зарубежная драматургия».

Составители этих серий большое внимание уделяют русской классической и советской литературе. Как правило, произведения русских и советских авторов переводятся непосредственно с оригинала.

Недавно в серии «Зарубежный роман» вышел в двух томах роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» со вступительной статьей советского критика Е. Сидорова. На арабский язык роман перевел Юсуф Халляк, много делающий для ознакомления арабских читателей с русской и советской литературой (в той же серии вышли в его переводах «Поединок» и «Молох» А. Куприна, «Деньги для Марии» В. Распутина). Почти одновременно с романом «Мастер и Маргарита» в Дамаске был опубликован роман И. А. Гончарова «Обломов» (перевод Ю. Сальмана).

В серии «Зарубежный рассказ» вышел сборник избранных произведений Андрея Платонова «Цветок на земле» с предисловием Ф. Сучкова и И. Мотяшова, переведенный на арабский Акрамом Сулейманом. Сборник А. Платонова — шестой в этой серии, за ним последуют «Избранные рассказы» Ивана Бунина в переводе Махмуда Абд аль-Вахида.

В серии «Зарубежная драматургия» вышла комедия Александра Вампилова «Старший сын», которую перевел на арабский Дайфулла Мурад.

США

ТРЕВОГИ ГЕРОЕВ АПДАЙКА

Новый сборник рассказов известного американского писателя Джона Апдайка написан в привычной, устоявшейся манере, начинает свою рецензию обозреватель газеты «Таймс литерари сапплмент» Майкл Вуд. Мир Апдайка населяют хорошо знакомые читателям персонажи — адвокаты, учителя, сотрудники страховых компаний, налоговых ведомств и бирж, их жены и отпрыски — то есть «средние американцы». Все они — добрые, приятные, дружелюбные люди, но при этом поглощены собой и независимо от возраста напоминают избалованных детей. Они с легкостью отказываются от своих привязанностей и симпатий, поистине не ведая, что творят. Они уверены, что их ожидает счастье, а вовсе не его поиски, и это заблуждение приносит много бед им самим и их близким.

Сборник озаглавлен «Верь мне», и в рассказе, давшем ему название, продолжает М. Вуд, отражены тревоги героев Апдайка — перед читателем проходят, по сути, варианты ситуации, где ключевой является фраза «Верь мне». Отец уговаривает сына прыгнуть в бассейн, обещая подхватить его в воде; другой отец хочет сам надеть своей дочке пластинку для выправления зубов; парень предлагает своей подружке съехать на лыжах с крутой горки; пилот самолета, возвращающегося в аэропорт из-за поломки двигателя, успокаивает пассажиров. Но исходы неудачны: этот отец не смог подхватить сына, другой причинил дочке сильную боль, горка оказалась слишком крутой, а самолет разбился...

Основная мысль, замечает Майкл Вуд, — «нужно доверять друг другу». Но гарантий доверия нет, и так трудно доверять, когда знаешь, что обман — дело повседневное, простое и привычное. Даже вера в бога (рассказ «Сделанс в раю») становится причиной глубокого конфликта между набожной женой и новообращенным мужем, который лишает ее этого утешения, «забирая себе всю веру без остатка». В рассказе «Милые напуганные дочери наших дружных семей» молодые девушки думают о будущем замужестве с недоверием и страхом, насмотревшись на жизнь своих родителей. «Таймс литерари сапплмент» проводит параллель между отношением Ф. С. Фицджеральда к «беззаботным богачам» и Апдайка — к чете состоятельных молодоженов, с удовольствием громящих убранство своего старинного дома вместе с веселой компанией друзей (рассказ «Входя в свой круг»).

Говоря о достоинствах нового сборника, о писательском мастерстве Апдайка, Майкл Вуд отмечает необыкновенную точность описаний, способность тонко улавливать настроения людей в определенный период истории общества. «У Апдайка есть и удивительное свойство угадывать самые невероятные тайники счастья... Он просит нас не любить, а простить его героев и сам не предъявляет им никаких обвинений».

В рассказе «Сезон листьев», завершает рецензию М. Вуд, есть эпизод: женщина показывает детям разноцветные осенние листья и объясняет, что осенью листья всегда меняют цвет и опадают, но никто не видит, как это происходит. Так и человек, словно листок, говорит Апдайк, незаметно отделяется от прежней опоры и переходит в иную форму бытия.

КНИГА «ЧУДЕС ЖИВОПИСИ»

В специальной литературе по истории искусства картины и скульптуры представительниц прекрасного пола зачастую оставались на заднем плане. Подобное положение пытается исправить искусствовед Нэнси Хеллер в обзорном труде «Художницы», пишет газета «Санди таймс».

Период, освещенный в книге, охватывает около пяти веков, то есть от Ренессанса до наших дней. Это, конечно, не означает, что до эпохи Возрождения не было талантливых художниц. Причина в другом — в отсутствии документальных сведений, в скудости или же фрагментарности информации, поясняет рецензент газеты «Обсервер» в статье «Чудеса живописи». В своем стремлении доказать «равноценность по силе и таланту» произведений, созданных женщинами, Нэнси Хеллер опирается исключительно на объективные факты и приводит конкретные примеры. Так, она пишет об итальянской художнице начала XVII века Артемизии Джентилески (ее картина «Юдифь, убивающая Олоферна» по выразительности не уступает «мужским» интерпретациям этого сюжета), о ряде скульпторов XIX века — и среди них о Винни Рим Хонси, получившей заказ на изготовление статуи президента Линкольна для Капитолия; о нашей современнице — живописце Джорджии О'Кифф, сложной натуре, женщине обидчивой, упрямой, нелюдимой. Но более привлекательны, замечает «Обсервер», пожалуй, художницы, избравшие иную, мягкую и спокойную манеру

Мари Виже-Лебрен. Портрет графини Головиной.

(Газета «Санди таймс»)

письма. Это можно сказать о натюрмортах итальянских и голландских художниц, особенно о натюрморте с персиками Фиды Галиции, о портрете русской графини Головиной работы Мари Виже-Лебрен. Примечательно, что этот портрет романтического стиля написан уже немолодой художницей, находившейся в тот момент (1800) за пределами Франции. О высоком признании достижений художниц свидетельствует и тот факт, что одну из картин кисти Мари Бенуа приобрел император Наполеон.

Книга Нэнси Хеллер, полагает «Обсервер», «заслуживает не менее высокого признания — хотя бы за включенную в нее репродукцию замечательного полотна Гвен Джон «Уголок моей комнаты в Париже. 1907 г.».

КРИСТАЛЬНАЯ ЯСНОСТЬ «ВОРОНОВА КРЫЛА»

Странные люди и их странные, дикие поступки, жуткие сцены и зловещие символы, трагедии и роковые судьбы, словом, «истории ужасов» — таков излюбленный жанр известной американской писательницы Джойс Кэрол Оутс, пишет газета «Санди таймс». И название нового сборника рассказов — «Вороново крыло» — вполне соответствует характеру этого жанра.

Вороново крыло — кличка жеребенка, которому не суждено стать резвым скакуном: споткнувшись, он повредил себе ногу. «Спотыкаются», мучаются и попадают в беду и герои других рассказов. Трагедиям у Оутс, отмечает рецензент «Санди таймс» Питер Кемп, несть числа: муж изменяет жене, а их сын, глубоко страдавший от отсутствия родительской заботы, кончает жизнь самоубийством; девушка склоняет к измене мужа своей сестры, пока та находится в хирургической клинике после тяжелейшей операции (рассказ «Двойное одиночество»); девочки-подростки, попав в уличную компанию, терпят издевательства и унижения от новых знакомых — одна из них становится «общей женой» группы хулиганов (рассказ «Женушка»), другая умирает, замученная садистом-наркоманом (рассказ «Свидетель»).

Становится ясно, констатирует Питер Кемп, что Дж. К. Оутс верна своей теме. Здесь, как и в других ее произведениях, люди неизбежно оказываются жертвами обстоятельств или пагубной страсти других. «Превратности судьбы разрушают характеры, природу людей, нравственные устои. Слепой случай может исковеркать всю жизнь. Людьми правит измена», — таков подтекст рассказов, полагает рецензент «Санди таймс».

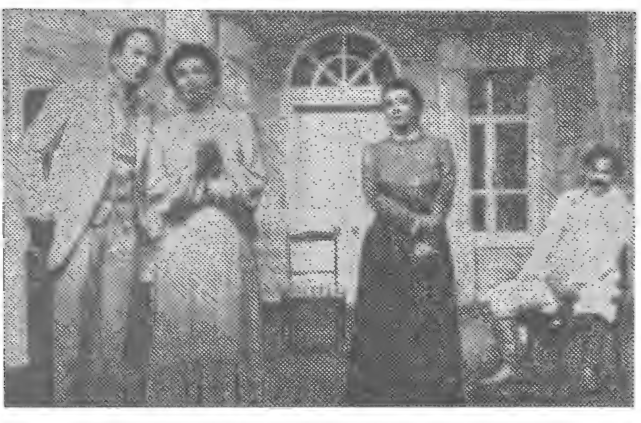
Почему же именно эти стороны жизни привлекают внимание писательницы и в чем сила ее таланта? По мнению рецензента, суть мастерства Джойс Кэрол Оутс составляет «умение заглянуть в тайники человеческой души, а также талант повествовательницы». Богатое воображение новеллистки неустанно влечет ее к странным личностям. «Но герои ее рассказов, судорожно бьющиеся в лихорадочных приступах ревности, ненависти, навязчивых идей,— подытоживает П. Кемп, — изображены с кристальной ясностью».

Турция

Постановка двух пьес Чехова стала заметным явлением культурной жизни Турции в сезоне 1986/87 годов. В государственном театре «Таксим» режиссер Юджель Эртем показал свою версию «Чайки», а муниципальный театр «Харбие» для воссоздания на сцене «Вишневого сада» пригласил советского режиссера Владимира Хейфица. Газета «Джумхуриет», отмечая глубину режиссерского проникновения в поэтику чеховской драматургии, поместила большое интервью с В. Хейфицем.

На снимке: сцена из спектакля по пьесе «Вишневый сад» в стамбульском театре «Харбие».

(Журнал «Нокта»)



Уганда

ВОЗРОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

В первой декаде ноября 1987 года в киноконцертном зале «Эксельсиор» г. Кампалы прошли выступления фольклорной группы «Ндере», сообщает газета «Телекаст». Задача группы — возродить культурное наследие народов Уганды, собрать, обработать образцы музыкального, песенного и танцевального фольклора. Руководителю «Ндере» Висенту Кабандизе удалось собрать много талантливых исполнителей, и всего лишь за год своего существования группа превратилась в один из ведущих профессиональных коллективов Уганды.

Ноябрьские выступления группы «Ндере» были приурочены к празднованию 70-летней годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, отмечает «Телекаст». Выступивший на заключительном концерте министр по делам молодежи, культуры и спорта Уганды С. Окурут подчеркнул огромную важность уже проделанной артистами работы по сохранению фольклора. Интерес к культуре разных народов, населяющих Уганду, является, по мнению министра, необходимой составной частью процесса национальной консолидации.

Франция

ФЕСТИВАЛЬ ФРАНЦУЗСКОЙ ПЕСНИ

В городе Иври (департамент Валь-де-Марн) состоялся первый фестиваль французской песни, организованный по инициативе Генерального совета департамента в связи с двадцатой годовщиной его образования. Обозреватель газеты «Юманите» отмечает, что фестиваль явился «уникальным культурным событием, которое заинтересовало все слои населения».

В фестивале, продлившемся три дня, участвовало около 80 популярных композиторов, авторов и исполнителей, среди них — Даниель Лавуа, Рашид Бари, Изабель Обре, Жиль Лангуро, Пьер Перре, «новый дуэт-импровизация двух старых друзей — Пьера Бару и Франсиса Лея». В рамках фестиваля, помимо трех основных концертов, состоялись музыкальные представления, спектакли, встречи, было открыто «Музыкальное кафе», в котором выступали как профессиональные певцы, так и любители.

В дальнейшем подобные фестивали будут регулярно проводиться не только в Иври, но и в других городах департамента Валь-де-Марн. О поддержке этой идеи объявили такие известные шансонье, как Жан Ферра, Жильбер Беко и Шарль Азнавур. Газета «Юманите» подчеркивает демократический характер и огромное значение этих фестивалей сейчас, когда в условиях англоязычного музыкального засилья на эстраде, радио, телевидении и в студиях грамзаписи популярная французская песня переживает немалые трудности. «Поэтому, — заключает газета, — все те, кто хочет способствовать развитию, распространению и признанию французской песни, должны объединиться, ибо французская песня должна и будет жить».

Эмиль Золя со своими детьми.

(Газета «Интернэшнл геральд трибюн»)

ЭМИЛЬ ЗОЛЯ — ФОТОГРАФ

В Париже прошла выставка фотографий, сделанных в разные годы Эмилем Золя, сообщает американская газета «Интернэшнл геральд трибюн».

Известно, что писатель был страстным фотолюбителем, имел 10 фотоаппаратов, сам проявлял пленки и печатал снимки. Он даже придумал приспособление, позволявшее снимать самого себя.

По мнению рецензента «Интернэшнл геральд трибюн» Мэри Блюм, фоторабо-ты Золя отличаются «техническим совершенством и остротой видения мира». В то же время по своей «тональности» они скорее контрастируют с литературными произведениями писателя, «являя картину добропорядочной мелкобуржуазной жизни,— перед нами аккуратно подстриженные газоны, смеющиеся дети, пухленькие девушки с банджо на коленях...».

«Естественно было бы предположить, — пишет М. Блюм,— что Золя при помощи фотоаппарата собирал дополнительный материал для своих романов. Однако в действительности увлечение писателя фотографией относится к периоду, когда все его основные произведения были уже написаны. Для Золя фотосъемка стала просто хобби, своего рода способом приятного времяпровождения».

Аллея в Верпейле. Снимок Э. Золя.

(Газета «Интернэшнл геральд трибюн»)

САМАЯ ПОЛНАЯ БИОГРАФИЯ БОДЛЕРА

В 1987 году парижское издательство «Жюльяр» выпустило книгу «Бодлер. Биография». Ее авторы Клод Пишуа и Жан Зиглер задались целью создать по возможности полное и точное жизнеописание великого поэта. Такая попытка предпринимается впервые за последние восемь десятков лет — до сих пор наиболее авторитетной и подробной считалась изданная в 1906 году биография Бодлера, написанная Эженом и Жаком Крепе. Естественно, что появление нового фундаментального труда, посвященного классику французской литературы, предтече новаторской поэзии XX века, вызвало заинтересованные отклики прессы.

«Бодлер без комментариев» — так озаглавлена посвященная монографии К. Пишуа и Ж. Зиглера статья Жана-Жозе Маршана в журнале «Кензен литтерер». «Авторы книги, — говорится в статье, — словно бы зареклись судить об идейном и эстетическом содержании творчества Бодлера, о его особой роли в истории мировой поэзии. Факты, факты, ничего кроме фактов, тщательно проверенных и систематизированных». Иными словами, это своего рода бодлеровская энциклопедия, на семистах страницах которой собраны сведения о поэте и его окружении. Причем исследователи не только обобщили все известное ранее, но и обнаружили кое-что новое.

Несмотря на предельную насыщенность информацией, книга Пишуа и Зиглера не просто сухой справочник. По свидетельству критиков, она написана весьма увлекательно и потому доступна широкому кругу читателей. «Отныне всякий, кто пожелает говорить или писать о Бодлере, — заключает Ж.-Ж. Маршан, — должен будет в первую очередь ознакомиться с этой книгой».

Шарль Бодлер. Редкая фотография.

(Журнал «Магазин литтерер»)

ФРГ

МЕМУАРЫ ГОЛО МАННА

«Детство человека есть истина, все позднейшее — лишь отход от нее»,— эта мысль Антонио Мачадо, пишет рецензент ежемесячного журнала «Швайрцер монатсхефте», задает тон автобиографической книге Голо Манна «Воспоминания и размыш-

ления. Юность в Германии», вышедшей в западногерманском издательстве «Фишер». Подзаголовок книги мемуаров известного историка, политолога, прозаика и эссеиста, живущего сейчас в Цюрихе, четко ограничивает время действия: картина становления личности молодого человека разворачивается на фоне одного из самых трагичных периодов немецкой истории — первая мировая война, Веймарская республика, ее упадок, появление нацистов на политической арене, зловещая тень «коричневой диктатуры».

Начальные главы книги — рассказ о детстве в доме отца, на улице Франца Иосифа в баварской столице, — зачастую (в плане событийном) параллельны страницам автобиографической прозы Томаса Манна, отмечает обозреватель газеты «Вельт», хотя, разумеется, никому не придет в голову сравнивать заметки историка и произведение беллетриста. В свое повествование Г. Манн мастерски вписывает выразительные портреты матери — Кати Манн, сестры Эрики и брата Клауса, посетителей дома. Ценны заметки о взаимоотношениях детей и родителей, о круге семейного чтения. Очень лаконично, почти скупо характеризует мемуарист самого Томаса Манна. «Швайцер монатсхефте» объясняет это холодностью отца по отношению к своему второму сыну. По известному свидетельству Клауса Манна, Ангелус Готфрид, прозванный Голо, не был любимым ребенком.

Годы отрочества, проведенные в стенах привилегированной залемской школы, отмечены для Г. Манна влиянием личности выдающегося немецкого педагога Курта Хана. Ход повествования о 20-х годах прерывают портретные характеристики друзей Г. Манна — Макса фон Бадена, Леопольда Шварцшильда, философа Кайзерлинга, германиста Фридриха Гундольфа, Альфреда Вебера, социолога Марианны Вебер. Огромное впечатление на Голо Манна, переехавшего летом 1929 года в Гейдельберг, произвело знакомство с Карлом Ясперсом (в книге ему посвящена отдельная глава). Подробно останавливается мемуарист на истории возникновения замечательного труда К. Ясперса «О духовной ситуации нашего времени». «Чему я научился у Ясперса? — спрашивает в этой связи Г. Манн. — Тому, что человек всегда больше своего знания о себе, поэтому его нередко удивляют собственные поступки. Тому, что есть вопросы, которые только как таковые имеют смысл и ценность. Тому, что есть неразрешимые парадоксы мышления. Тому, что всякое утверждение о полном, всеобъемлющем знании — лживо и даже вредно...» Под руководством Ясперса историк пишет свою докторскую диссертацию и защищает ее в 1932 году.

Зима 1932—1933 годов принесла немало тревог семье Маннов, которая была вынуждена покинуть Германию. В последних главах книги Голо Манн, описывая «одичание политических нравов» в стране, проводит тщательный анализ обстоятельств, способствовавших приходу Гитлера к власти. 1933 годом, эмиграцией Голо Манна во Францию, завершается эта книга — «одно из немногих мемуарных произведений, вобравших в себя множество примет времени», как оценил ее обозреватель газеты «Вельт».

СОСТЯЗАНИЕ МОЛОДЫХ В ДАРМШТАДТЕ

Газета «Франкфуртер альгемайне» информирует читателей о конкурсе молодых поэтов, который проводится в Дармштадте уже в пятый раз. В «поэтических состязаниях» 1987 года приняли участие более тысячи ста поэтов, пишущих на немецком языке. «Франкфуртер альгемайне» излагает условия кончурса: участники должны быть не старше тридцати пяти лет, но при этом иметь хотя бы один опубликованный сборник лирики.

На конкурсе прозвучало около тринадцати тысяч стихотворений. Победителем состязания поэтов единодушно был признан двадцатисемилетний дармштадтец Ян Конеффке. Жюри состязания, в которое входили маститые западногерманские поэты и критики: Элизабет Борхерс, Юрген Беккер, Вальтер-Хельмут Фриц, Марсель Райх-Раницкий,— присудило ему главную награду конкурса — «Премию Леонса и Лены».

Яна Конеффке, с 1981 года живущего в Западном Берлине, рецензент «Франкфуртер альгемайне» Ф.-Й. Герц характеризует как «остроумного и оригинального лирика, жонглирующего смелыми образами и дерзкими мотивами». Стихи Яна Конеффке, который, «переворачивая мир вверх ногами и затем ставя его обратно, добивается новых, неожиданных ракурсов», по мнению Ф.-Й. Герца, во многом сродни лирике известного поэта Петера Рюмкорфа.

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

Иоханнес Марио Зиммель — популярнейший в ФРГ автор. Его книги изданы на многих языках мира общим тиражом более 65 миллионов экземпляров. Тем не менее серьезная литературная критика до самого последнего времени не принимала его всерьез, относя Зиммеля к поставщикам «тривиальной литературы».

Гораздо с большим интересом был встречен новый роман Зиммеля «Ведь клоуны приносили слезы», также ставший бестселлером. В романе речь идет об исследованиях в области генной инженерии, внушающих многим нашим современникам серьезные опасения. Ученые, работающие в этой области, неожиданно для себя получают «дьявольский вирус, способный снижать природную человеческую агрессивность до нуля и превращать пораженных им людей в безвольных рабов». За этим вирусом сразу начинают охотиться секретные службы: ведь его можно использовать как изощренное оружие вместо атомных и водородных бомб, применение которых, как убедились военные политики, в наше время вряд ли возможно.

Премию имени Макса Офюльса, ежегодно присуждаемую городом Саарбрюккеном, получила режиссер из ФРГ Верена Рудольф за фильм «Франческа», сообщает журнал «Культурхроник». Картина, «полная выдумки, очарования и поэзии», рассказывает о судьбе актрисы, о ее работе в Германии 20-х годов и в Италии времен неореализма.

На снимке: кадр из фильма «Франческа».

(Журнал «Культурхроник»)

«Так закручивается романная карусель, где есть и любовь, и убийства, благородство и низость, — пишет в еженедельнике «Цайт» критик Ульрих Грайнер.— Зиммелю удалось донести до читателя сложную научную проблематику и одновременно развить целое «адское действо», за которым мы следим, затаив дыхание».

Именно острота проблематики в первую очередь побудила многих авторитетных критиков пересмотреть свое отношение к Зиммелю. «Иоханнес Мария Зиммель всегда оказывается немного впереди общественного сознания», — пишет во «Франкфуртер альгемайне» Франк Ширрмахер, а Магиас Греффрат вторит ему в «Цайт»: «Изображать то, что представляет широкий интерес, согласно Дидро, всегда было задачей большого искусства... Современная литература зачастую этим пренебрегает. Зиммель — один из немногих, кто продолжает эту традицию реалистического романа». Генрих Гёрц в «Тагесшпигель» называет роман «трогательной книгой» и «предостережением».

Ульрих Грайнер, напротив, видит в такой переоценке критиками ценностей «слишком поспешное подчинение духу времени — не поспеть за ним якобы хуже, чем предать прежние принципы». «Предательство», по его мнению, заключается в отказе рецензентов от эстетического критерия. «Значит, перед нами все-таки плохой роман, — делает вывод Ульрих Грайнер, — ибо автор довольно откровенно спекулирует на апокалипсических настроениях наших современников и мазохистски щекочет нервы. В конце концов, надо исходить из того, что тривиальная литература не может служить истине».

Югославия

БИТЕФ-87

21-й Белградский международный театральный фестиваль (БИТЕФ) в 1987 году прошел под девизом «Театр синтеза». «На стадии подбора участников, — сообщила в интервью газете «Политика» Мира Траилович, директор БИТЕФ, — организаторы фестиваля стремились познакомиться со всеми интересными постановками театров разных стран с тем, чтобы белградская публика могла увидеть наиболее значительные из них». Среди приглашенных были представители различных сценических направлений, и на конкурсном просмотре, по словам Слободана Глумаца, председателя Совета БИТЕФ, было показано «все возможное сегодня в театре: «игра на грани театра» и «театр на грани игры», магия, трансавангард и поставангард, классический театр».

В результате двухнедельного смотра победили постановки «классического» направления — Большого приза БИТЕФ были удостоены спектакли «Преступление и наказание» Старого театра из Кракова в постановке Анджея Вайды и «Три сестры» будапештского Театра имени Йожефа Катоны в постановке Томаша Ашера.

Режиссерское прочтение «Преступления и наказания» А. Вайды весьма оригинально и своеобразно, отмечает обозреватель газеты «Политика» М. Радошевич. «У Вайды основной стержень спектакля — противостояние героев, подобное «игре в кошки-мышки», а стиль его постановки близок к тому, что может быть названо «апокалипсическим натурализмом».

Большой интерес у зрителей вызвала работа известного венгерского режиссера Т. Ашера. «Начальные мизансцены спектакля «Три сестры» напоминают первую легендарную постановку К. С. Станиславского — это, очевидно, сделано умышленно, — однако постепенно в трактовке темы все больше утверждается мироощущение восьмидесятых годов нашего века», — пишет М. Радошевич.

Жюри БИТЕФ решило не присуждать Специальную премию, которой предполагалось отметить «спектакль, решенный в нетрадиционных формах художественной выразительности». Ни одна из трех постановок, претендовавших на эту премию («Современное шоу» Джорджа Коутса из США, «Боги сегодня» Майкла Кларка из Великобритании и «Калевала» Йормы Уотинена из Финляндии), не стала, по мнению жюри, «новым словом» в театральном искусстве, поскольку «при эффектном использовании современной электроники, компьютеров, элементов оперы, балета, а также рок-музыки в них отсутствовало главное — идея, мысль».

Газета «Политика», широко освещавшая БИТЕФ-87, отметила своим призом работу молодого режиссера Хариса Пашовича «Пробуждение весны» (труппа Югославского драматического театра из Белграда) как «вобравшую все лучшее из показанного за историю фестиваля». Ранее этой награды были удостоены спектакли Ингмара Бергмана, Роберта Джули, Анатолия Эфроса.

Сцена из спектакля Т. Ашера по пьесе Чехова «Три сестры».

(Газета «Политика»)

◆

Коротко об авторах

ГЮНТЕР ГРАСС (GÜNTER GRASS; род. в 1927 г.) — немецкий писатель (ФРГ). Лауреат литературных премий. Автор романов «Жестяной барабан» («Blechtrommel», 1959), «Собачьи годы» («Hundejahre», 1963), «Под местным наркозом» («Örtlich betäubt», 1969), «Из дневника улитки» («Aus dem Tagebuch einer Schnecke», 1972), «Камбала» («Der Butt», 1977), «Крысиха» («Die Rättin», 1986), а также сборников стихов и др. произведений.
В «Иностранной литературе» напечатаны повести Г. Грасса «Кошка и мышь» (1968, № 5) и «Встреча в Тельгте» (1983, № 5), стихи из сборника «Избранные стихи» (1983, № 10).

ХЛЕБНИКОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1943 г.)— советский поэт-переводчик. В его переводах публиковались немецкие народные песни и баллады, песни Ж. Брассанса (Франция), стихи У. Дж. Смита и Р. Фроста (США), Х. Вадера, П. Рюмкорфа, Г. Бёлля, Г. Айха, Г. Грасса (ФРГ), В. Ткачика и М. Штройбеля (ГДР) и др. поэтов.

ОЛДОС ХАКСЛИ (ALDOUS HUXLEY; 1894—1963) — английский писатель. Окончил Оксфордский университет. Литературную деятельность начинал как поэт в 1916 году; был литературным и театральным критиком. Многие годы жил в Италии и США. Автор романов «Шутовской хоровод» (рус. пер. М., 1936), «Контрапункт» (рус. пер. М., 1936), «Желтый Кром» (рус. пер. М., 1976), «Слепой в газе» («Eyeless in Gaza», 1936), «После многих лет умирает лебедь» («After Many a Summer Dies the Swan», 1939), «Гений и богиня» («The Genius and the Goddess», 1955), «Остров» («Island», 1962), сборника рассказов («Collected Short Stories», 1957), сборников эссе («Collected Essays», 1959), «Литература и наука» («Literature and Science», 1963) и др. Перевод романа «О дивный новый мир» («Brave New World», 1932) выполнен по изданию New York, Harper & Row, 1969.

СОРОКА ОСИЯ ПЕТРОВИЧ (род. в 1927 г.)— советский филолог, переводчик англо-американской прозы. В его переводе публиковались романы С. Чаплина «Соглядатаи и поднадзорные», Дж. Ле Карре «Убийство по-джентльменски», У. Фолкнера «Шум и ярость» («ИЛ», 1972, № 1, 2), Дж. Олдриджа «Горы и оружие» («ИЛ», 1975, № 1—3), Ф. Скотта Фицджеральда «Последний магнат» («ИЛ», 1977, № 1, 2) и др.

ХУСТО ХОРХЕ ПАДРОН (JUSTO JORGE PADRÓN; род. в 1943 г.) — испанский поэт, лауреат нескольких литературных премий, в том числе Европейской премии по литературе, присужденной в 1987 году в Югославии. Автор сборников стихов «Темные огни» («Los oscuros fuegos», 1970), «Ночное море» («Mar de la noche», 1972), «Круги ада» («Los círculos del Infierno», 1976), «Береза в огне» («El abedúl en llamas», 1978) и других. На русский язык переводится впервые. Публикуемые стихи взяты из книг «Стихотворения» («Obra poética». Barcelona, Plaza y Janes, 1980) и «В гостях у моря» («La visita del mar». Madrid: Espasa-Calpe, 1984).

ВАНХАНЕН НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА — советский поэт-переводчик. В ее переводах публиковались стихи испанских и латиноамериканских поэтов — А. Мачадо, Х. Р. Хименеса, Ф. Гарсиа Лорки, Г. А. Беккера, Л. Сернуды, А. Сторни и др.

МИОДРАГ БУЛАТОВИЧ (род. в 1930 г.) — югославский писатель. Учился на философском факультете Белградского университета. Его первая книга рассказов «Черти явились» была издана в 1955 году. Автор романов «Красный петух взлетает в небо» (1959), «Герой на осле» (1964), «Четырехпалые» (1975) и др. произведений. Вышло шеститомное собрание сочинений писателя. В 1986—1987 годах М. Булатович избирался председателем Общества писателей Сербии. Публикуемые рассказы взяты из сборника «Волк и колокольный звон» (Титоград, Графички завод, 1964).

ВИРТА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА — советский переводчик югославской литературы. В ее переводе публиковались романы И. Андрича «Мост на Дрине», М. Крлежи «На грани рассудка» и «Знамена» (3-й том), М. Лалича «Лелейская гора» и «Свадьба», Э. Коша «Большой Мак», «Сети», «Снег и лед», рассказы Б. Чопича, В. Калеба, Р. Трифковича и др. В 1977 г. Т. Вирте присуждена литературная премия «ПЕН-клуба» Сербии.

ГАННА КРАЛЛЬ (HANNA KRALL) — польская журналистка. Окончила факультет журналистики Варшавского университета. В шестидесятые годы была корреспондентом польского еженедельника «Политика» в Москве. Автор книг «К востоку от Арбата» («Na wschód od Arbatu», 1972), «Шесть оттенков белизны» («Sześć odcieni bieli», 1978) и статей в польской периодической печати.
Книга «Опередить Господа Бога» вышла в 1977 году («Zdążyć przed Panem Bogiem». Kraków, Wydawnictwo liiterackie, 1977).

СТАРОСЕЛЬСКАЯ КСЕНИЯ ЯКОВЛЕВНА — советский переводчик с польского. В ее переводе публиковались произведения Г. Сенкевича, Я. Ивашкевича, М. Домбровской, романы Т. Новака «Черти» («ИЛ», 1975, № 3, 4), «Пророк» (М., 1980), В. Мысливского «Камень на камень» («ИЛ», 1986, № 7—9), повесть Я. Парандовского «Сентябрьская ночь» (М., 1981) и др.

МОТЫЛЕВА ТАМАРА ЛАЗАРЕВНА — советский литературовед, доктор филологических наук, профессор. Автор книг «О мировом значении Л. Н. Толстого» (1957), «Иностранная литература и современность» (1961), «Зарубежный роман сегодня» (1966), «Ромен Роллан» (ЖЗЛ, 1969), «Роман Анны Зегерс «Седьмой крест» (1970), «Достояние современного реализма» (1973), «Первый антифашистский роман» (1974), «Война и мир» за рубежом. Переводы. Критика. Влияние» (1978), «Роман — свободная форма» (1982), «Анна Зегерс — личность и творчество» (1984), «Литература и фашизм» (1987).

ОГНЕВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ (род. в 1923 г.) — советский писатель, критик. Автор тридцати книг по проблемам поэзии — отечественной и зарубежной, в том числе «Семь тетрадей. Этюды о литературе социалистических стран Европы» (1987), «Горизонты поэзии» (избранные работы в 2-х томах; 1975), «Югославский дневник» (1975, 1986). Заслуженный деятель культуры ПНР. Председатель Совета по литературам социалистических стран при Правлении Союза писателей СССР; главный редактор литературно-художественного альманаха «Горизонт».

ПАТРИК КАВАНАХ (PATRICK KAVANAGH; 1905—1967) — ирландский поэт и прозаик. Автор сборников стихов «Пахарь и другие стихи» («Ploughman and Other Poems», 1936), «Продается душа» («A Soul for Sale», 1947), поэмы «Великий Голод» («The Great Hunger», 1942), романа «Тэрри Флинн» («Tarry Flynn», 1948) и др. произведений.
Публикуемые стихи взяты из «Собрания стихотворений» Патрика Каванаха («Collected Poems», London, 1964).

◆

В следующем номере:

ФЭЙ УЭЛДОН (Великобритания). «Поларис». Повесть о молодой женщине — жене офицера атомной подводной лодки.

ЭДГАР ЛОРЕНС ДОКТОРОУ (США). «Жизнь поэтов». Повесть о преуспевающем писателе из Нью-Йорка, о его окружении, его повседневных делах и заботах. Э. Л. Доктороу известен читателям «Иностранной литературы» как автор романа «Рэгтайм».

ВИШНУ С. КХАНДЕКАР (Индия). «Король Яяти». Современный роман о нравственности, основанный на легендах и мифах древней Индии.

СЛАВОМИР МРОЖЕК. Сатирические произведения известного польского писателя.

МАРК ШАГАЛ. Стихи (с рисунками автора).

ВЛАДИМИР ЗОТОВ. Публицистическая статья «Китай: десять лет по пути обновления».

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Т. П. ГРИГОРЬЕВА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Я. Н. ЗАСУРСКИЙ, Г. П. ЗЛОБИН, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, В. С. ПЕРЕХВАТОВ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ** (отв. секретарь), **Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам главного редактора).

Художественный редактор **Е. Н. Черняев.** Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 27.01. 88. Подписано в печать 04.03.88. Формат 70×108 1/16. Печать высокая. Объем 16 п. л., 22,4 усл. п. л., уч.-изд. л. 27,25.

Тираж 400 000 экз. (1-й завод: 1—350 000 экз.) Зак. 357.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

15 ИЛ № 4 ЭО

М. Бузубаа «Грёзы»

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394